

ДЖЕЙН  
**ОСТИН**

*Мэнсфилд-парк*



АЗБУКА КЛАССИКИ

Никчемна и ничем не примечательна жизнь обитателей английского поместья, мелки и ничтожны их интересы – личные удобства, честолюбие, деньги. Ложь, лицемерие, ханжество разрушают благополучие и порядок дома в Мэнсфилд-Парке, лишают его хозяев, их детей и родственников взаимопонимания и единства. Как жить? Как внести разумное начало в этот хаос всеобщего несогласия? Ответ на этот вопрос дает Джейн Остен, создав замечательный образ Фанни Прайс, с которой связана главная тема романа – тема нравственного прозрения.

---

- [Джейн Остин](#)
  - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
    - [Глава 5](#)
    - [Глава 6](#)
    - [Глава 7](#)
    - [Глава 8](#)
    - [Глава 9](#)
    - [Глава 10](#)
    - [Глава 11](#)
    - [Глава 12](#)
    - [Глава 13](#)
    - [Глава 14](#)
    - [Глава 15](#)
    - [Глава 16](#)
    - [Глава 17](#)
    - [Глава 18](#)
  - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
    - [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
    - [Глава 5](#)
    - [Глава 6](#)
    - [Глава 7](#)
    - [Глава 8](#)
    - [Глава 9](#)
    - [Глава 10](#)
    - [Глава 11](#)
    - [Глава 12](#)
    - [Глава 13](#)
  - [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
    - [Глава 1](#)

- [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
  - [Глава 14](#)
  - [Глава 15](#)
  - [Глава 16](#)
  - [Глава 17](#)
-

Джейн Остин  
Мэнсфилд-парк

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Лет тому тридцать мисс Марии Уорд из Хантингдона, имевшей всего семь тысяч фунтов, посчастливилось пленить сэра Томаса Бертрама из Мэнсфилд-парка, что в графстве Нортгемптоншир, и таким образом возвыситься до положения жены баронета, владелицы прекрасного дома и значительного дохода со всеми вытекающими отсюда удобствами и возможностями. Весь Хантингдон пришел в восторг от столь замечательной партии, а ее дядя, адвокат, к тому же расстарался, чтоб у ней оказалось еще, по крайней мере, на три тысячи фунтов меньше, чем полагалось бы невесте такого лица. У нее были две сестры, коим ее успех должен был помочь в жизни; и те из знакомых, кто почитал наружность старшей мисс Уорд и мисс Франсис такою же привлекательной, как и мисс Марии, не колеблясь, прочили им столь же завидное замужество. Но, право, на свете куда меньше мужчин с большим состоянием, нежели хорошеньких женщин, которые их достойны. По прошествии шести лет мисс Уорд вынуждена была связать свою судьбу с другом своего зятя, преподобным мистером Норрисом, у кого, можно сказать, и состояния-то никакого не было, а мисс Франсис преуспела и того менее. Благодаря попечению сэра Томаса, сумевшего предоставить своему другу место приходского священника в Мэнсфилде, брак мисс Уорд, в сущности, оказался не вовсе жалким, и семейное счастье четы Норрисов началось при доходе почти что в тысячу фунтов в год. А мисс Франсис вышла замуж, чтобы, как говорится, досадить своему семейству, чего и достигла в полной мере, связав жизнь с моряком, лейтенантом без образования, состояния и связей. Трудно было бы сделать выбор неудачнее. Сэр Томас Бертрам, человек влиятельный, столько же из принципа, сколько из гордости, а также из свойственного ему желания поступать по справедливости и видеть всех своих близких устроенными благопристойно, с радостью употребил бы свое влияние на пользу сестре леди Бертрам; но профессия ее мужа была такова, что это оказалось ему не по силам; и еще прежде, нежели он успел измыслить какой-либо иной способ помочь молодым супругам, между сестрами произошел совершенный разрыв. То было естественное следствие такого поведения обеих сторон, какое почти всегда вызывается опрометчивым браком. Желая избежать бесполезных увещаний, миссис Прайс написала обо всем семье, лишь когда бракосочетание уже совершилось. Леди Бертрам, наделенная характером на редкость покладистым и вялым, отчего ее трудно было вывести из равновесия, удовольствовалась бы тем, что просто махнула бы на сестру рукой и более не стала думать о произошедшем; но миссис Норрис, натура деятельная, не могла успокоиться, пока не написала Фанни длинное гневное письмо, а котором высказалась об ее безрассудном поведении и предвещала сестре всевозможные дурные последствия. Миссис Прайс, в свой черед, была уязвлена и разгневана; и ответное письмо, исполненное ожесточения против сестер и содержащее столь неуважительные замечания касательно сэра Бертрама, что миссис Норрис никак не могла сохранить его в тайне, надолго положило конец всяким отношениям между ними.

Они жили в таком отдалении друг от друга и вращались в кругах таких различных, что в последующие одиннадцать лет почти вовсе лишены были возможности получать вести друг о друге; во всяком случае, сэра Бертрама до крайности удивило, когда миссис Норрис вдруг сердито сообщила им – как она делала время от времени, – что у Фанни родился еще один ребенок. Но к концу этих одиннадцати лет миссис Прайс уже не могла долее позволить себе тешить свою гордость и обиду или пренебрегать родством, от которого можно было бы ждать помощи. Большая и все увеличивающаяся семья, муж, негодный к службе, однако же всегда готовый выпить в компании приятелей, и весьма скромные средства для

удовлетворения всех нужд заставили ее вспомнить о родных, от которых она так беспечно отказалась; она написала к леди Бертрам, и письмо ее свидетельствовало о таком искреннем раскаянии и унынии, о таком обилии детей и почти полном отсутствии чуть ли не всего прочего, что оно не могло не привести к всеобщему примирению. Миссис Прайс предстояли вскорости девятые роды, и, посетовав по сему поводу и прося о покровительстве ожидаемому младенцу, она не скрыла от родных, как важна была бы их поддержка для будущего благополучия ее восьмерых подрастающих отпрысков. Старшенький, красивый, живой мальчик, мечтает повидать мир, но как ему помочь? Не окажется ли он в дальнейшем полезен сэру Томасу в связи с его собственностью в Вест-Индии? Ему подойдет самая скромная должность... А что скажет сэр Томас о Вулидже? Или, может быть, отправить мальчика на Восток?

Письмо оказало свое действие. Оно восстановило мир и благожелательность. Сэр Томас передал дружеские заверения и советы. Леди Бертрам отправила деньги и детское приданое, миссис Норрис присовокупила к этому письма.

Таковы были последствия, но не прошло и года, как послание миссис Прайс принесло еще более весомые плоды.

Миссис Норрис часто говаривала, что бедняжка сестра и ее семейство не идут у ней из головы, и, как ни много уже для нее сделано, несчастная миссис Прайс, кажется, еще нуждается в помощи: надо бы ее полностью освободить от забот и трат, приходящихся на долю одного из ее многочисленных чад.

– Не взять ли нам на себя попечение об ее старшей дочери, девочке сейчас девять лет, этот возраст нуждается в большем внимании, нежели ей способна уделить бедняжка мать?хлопоты и расходы, каковые потребуются от родных, сущие пустяки по сравнению с таким благодеянием.

Леди Бертрам тотчас с нею согласилась.

– Лучше не придумашь, – сказала она. – Надобно послать за девочкой.

Сэр Томас не мог одобрить эту мысль столь же быстро и безоговорочно; он размышлял и колебался: это дело серьезное, девочка, достойным образом воспитанная, должна быть и соответственно обеспечена, в противном случае, забрав ее из семьи, они совершат не добро, а жестокость. Он думал о своих четверых детях, о двоих сыновьях, о любви, что нередко вспыхивает у кузенов, и тому подобном; но едва он стал осторожно высказывать свои возражения, как миссис Норрис прервала его и ответила на них все, высказанные и невысказанные.

– Любезный сэр Томас, я полностью вас понимаю и отдаю должное великодушию и деликатности ваших мнений, они, конечно же, всецело соответствуют вашим взглядам и поведению; я совершенно согласна с вами в главном, что касается до необходимости сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить дитя, за которое в известном смысле каждый из нас берет на себя ответственность. И уж конечно, ради такого случая я тоже внесу свою скромную лепту. Не имея собственных детей, кого же, кроме детей моих сестер, могу я почитать достойными той малости, что у меня есть?.. И я уверена, мистер Норрис уж такой справедливый, что... ну да вы знаете, не мастерица я говорить и заверять. Да не убоимся мы доброго дела из-за пустяка. Дайте девочке образование и надлежащим образом подготовьте ее к вступлению в жизнь, и можно ставить десять против одного, что все наладится безо всяких дополнительных расходов с чьей-либо стороны. Скажу прямо, нашей племяннице, или, уж во всяком случае, вашей, сэр Томас, ежели она вырастет в здешних местах, откроется множество возможностей. Не говорю, что в ней так же будет видна порода, как в ее кузинах. Боюсь, что нет; но она будет введена в общество при столь благоприятных обстоятельствах,

что, по всей вероятности, займет в нем подобающее место. Вы думаете о своих сыновьях... Но неужто вы не понимаете, что уж этого менее всего можно опасаться – ведь они стали бы расти вместе, как братья и сестры? То, чего вы страшитесь, совершенно невозможно. Я не знаю тому ни единого примера. Напротив, это самый верный способ предотвратить нежелательные отношения. Представьте, ежели она хорошенькая и Том или Эдмунд увидят ее впервые через семь лет, вот тут, смею сказать, жди беды. Самой мысли, что ей пришлось расти в отдалении ото всех нас, в бедности и небрежении, было бы довольно, чтобы любой из наших милых, добросердечных мальчиков в нее влюбился. Но ежели воспитывать ее с этих пор вместе с ними и пускай она окажется даже ангельски хороша, все равно она будет для них всего только сестрою.

– В ваших словах много правды, – отвечал сэр Томас, – и у меня и в мыслях не было воздвигать воображаемые препятствия перед планом, каковой так сообразуется с положением всех родственников. Я лишь хотел остеречь от поспешных решений, и, чтобы это действительно принесло пользу миссис Прайс и послужило к нашей чести, надо обеспечить девочку или почитать нашею обязанностью обеспечить ее, как пристало женщине нашего сословия, в будущем, когда в том возникнет необходимость, ежели судьба ее сложится не столь благополучно, как вы с такой уверенностью предсказали.

– Я совершенно вас понимаю! – воскликнула миссис Норрис. – Вы само великодушие и внимательность, и нам тут, конечно же, не о чем спорить. Вы ведь знаете, ради блага тех, кого я люблю, я на все готова; и хотя никогда я не буду питать к этой девочке и сотовой доли тех чувств, какие питаю к вашим милым деткам, потому как никоим образом не могу почитать ее до такой степени своею, однако же, я не прощу себе, ежели не стану об ней заботиться. Разве она не дитя моей сестры? И возможно ли для меня не поделиться с нею, ежели она будет в нужде, последним куском? Любезный сэр Томас, при всех моих недостатках у меня доброе сердце; и какая я ни бедная, а скорее откажу себе в самом необходимом, чем поступлю невеликодушно. Так что, ежели вы не против, я завтра же напишу к моей бедняжке сестре и сделаю ей это предложение: и коль скоро все будет улажено, сама озабочусь доставить девочку в Мэнсфилд, вам не надобно об этом беспокоиться. Вы ведь знаете, я не считаю за труд лишний раз побеспокоиться. Я нарочно для того пошлю в Лондон Ненни, она остановится у своего родича-шорника, и мы условимся, чтобы девочка там с нею и встретилась. Ее запросто могут отправить из Портсмута в Лондон почтовой каретою, препоручив заботам любого внушающего доверие попутчика. Среди пассажиров уж непременно окажется жена какого-нибудь почтенного торговца.

Сэр Томас запротестовал единственно против родича Ненни, других возражений у него не нашлось, тем самым место встречи заменили более пристойным, хотя и не столь экономным; было сочтено, что все устроилось, и они уже заранее наслаждались своим великодушным поступком. Строго говоря, радость, какую они испытывали, не должна была бы быть одинакова, ибо сэр Томас исполнился решимости стать истинным и неизменным покровителем маленькой избранницы, тогда как миссис Норрис не имела ни малейшего намерения входить в какие-либо расходы на ее содержание. Что до прогулок, разговоров, всяческих замыслов, тут миссис Норрис было не занимать щедрости, и никто не превзошел бы ее в искусстве требовать широты натуры от других; но любовь к деньгам была у ней равна любви распоряжаться, и потратить денешки своих родных она умела не хуже, чем сберечь свои кровные. Выйдя замуж за человека с доходом более скромным, чем ей хотелось бы, она поначалу вообразила, будто необходимо во всем соблюдать весьма строгую экономию; и то, чему сперва была причиною вынужденная расчетливость, в скором времени пришлось ей по вкусу, стало предметом неустанного попечения, обыкновенно направляемого



на детей, коих у ней не было. Ежели надо было бы содержать большое семейство, миссис Норрис никогда не сберегла бы свои деньги; но такой заботой она не была обременена, и оттого ничто не препятствовало ее бережливости и не убавляло удовольствия, какое приносил доход, что ежегодно пополнялся и превышал их надобности. Увлеченная страстью к накопительству и при этом не питая истинной привязанности к сестре, она готова была претендовать единственно на честь придумать и привести в действие столь дорогостоящую благотворительность; хотя, могло статься, она так плохо себя знала, что после беседы с сэром Томасом возвращалась домой в счастливой уверенности, будто, кроме нее, нет на свете сестры и тетушки, которой присуща была бы такая широта натуры.

Когда разговор о сем предмете зашел вновь, она высказалась более определенно, и в ответ на безмятежный вопрос леди Бертрам – «Куда девочку сперва привезут, сестра, к тебе или к нам?» – сэр Томас не без удивления услышал, что миссис Норрис ни в коем случае не может взять на себя присмотр за нею. Сэр Томас полагал, что в доме приходского священника, у тетушки, не имеющей своих детей, девочке будут особенно рады, но оказалось, он сильно ошибался. Миссис Норрис с огорчением сказала, что поселить у них ребенка и думать нечего, по крайней мере, при их теперешних обстоятельствах. Из-за незавидного состояния здоровья бедняжки мистера Норриса это никак невозможно: он столь же не в силах переносить шум, связанный с пребыванием в доме ребенка, как летать. Если его перестанет мучить подагра, тогда, конечно, другое дело. Сама она не посмотрит ни на какие неудобства и, в свой черед, будет с радостью брать племянницу к себе. Но как раз сейчас все ее время до минуты отдано бедняжке мистеру Норрису, с ним даже заговорить об этом нельзя, он наверняка тотчас расстроится.

– Тогда лучше ей приехать к нам, – невозмутимо заявила леди Бертрам.

И сэр Томас, подумав, прибавил с достоинством:

– Да, пускай ее дом будет у нас. Мы постараемся исполнить свой долг по отношению к ней, и для нее, по крайней мере, уже то будет хорошо, что она найдет сверстников и опытную гувернантку.

– Воистину так! – воскликнула миссис Норрис, – оба эти соображения очень важные, и мисс Ли, конечно же, все равно трех девочек учить или только двух – никакой разницы. Я и рада бы оказаться более полезной, но сами видите, я делаю все, что в моих силах. Я не из тех, кто избегает хлопот, Ненни непременно поедет за нею, как бы ни трудно мне было на три дня остаться без моей главной помощницы. Я думаю, сестра, ты поместишь девочку в белую комнатку наверху, рядом с бывшей детской. Это для нее самое подходящее место, совсем рядом с мисс Ли, и недалеко от девочек, и до горничных рукой подать, любая поможет ей одеться и присмотреть за одеждой, ты ведь, конечно, не думаешь, что Эллис или кто другой должен ей прислуживать как нашим девочкам. Право, не вижу, куда бы еще ты могла ее поместить.

Леди Бертрам не возражала.

– Надеюсь, она девочка добронравная и будет понимать, какое ей выпало редкостное счастье иметь таких покровителей, – продолжала миссис Норрис.

– Если же нрав у ней окажется дурной, мы из-за наших собственных детей не сможем оставить ее у нас, – сказал сэр Томас. – Но у нас нет оснований ждать такой беды. Многое в ней нам, вероятно, захочется изменить, и надо быть готовыми к вопиющему невежеству, к некоему убожеству взглядов и весьма неприятной вульгарности манер, но эти недостатки не из числа неисправимых, или, во всяком случае, они не опасны для окружающих. Будь она старше моих дочерей, я бы считал, что ввести ее в дом затея весьма рискованная, но при том, как обстоит дело, надеюсь, эта близость им ничем не повредит, а ей всячески пойдет на

пользу.

– Я думаю в точности так же и это самое говорила сегодня утром мужу, – воскликнула миссис Норрис. – Уже одно то, что она окажется в обществе своих кузин, будет способствовать ее воспитанию. Даже если ее ничему не научит мисс Ли, она наберется ума и благородства у них.

– Надеюсь, она не станет дразнить моего мопсика, – сказала леди Бертрам. – Мне едва удалось отвадить от него Джулию.

– Нам предстоит одна сложность, миссис Норрис, – заметил сэр Томас. – Речь идет о надлежащем различии, которое должно существовать между девочками, когда они подрастут: как сохранить у моих дочерей сознание, кто они такие, без того, чтобы они ставили кузину слишком уж низко, и как, не чересчур омрачая ее настроение, не дать ей забывать, что она отнюдь не мисс Бертрам. Я не против, чтобы они подружились, и никак не стал бы поощрять в своих дочерях ни малейшего высокомерия по отношению к их родственнице, но все же она им не ровня. Их положение, состояние, права, виды на будущее всегда будут несравнимы. Тут требуется величайшая деликатность, и вы должны нам помочь в наших стараниях избрать верную линию поведения.

Миссис Норрис заверила зятя, что она всецело к его услугам, и, хотя вполне согласна, что задача это нелегкая, конечно же, он может надеяться, что уж они-то справятся с ней без труда.

Легко поверить, что миссис Норрис написала сестре не напрасно. Миссис Прайс несколько удивилась, что выбор остановили на девочке, когда у ней столько прекрасных мальчиков, но с благодарностью приняла предложение и заверила родных, что ее дочь девочка благонравная, добросердечная и, она надеется, у них не будет причины отослать ее обратно. Далее она писала, что девочка хрупка и слабенькая, но от перемены обстановки, без сомнения, окрепнет. Бедная женщина, вероятно, думала, что перемена обстановки пошла бы на пользу всем ее многочисленным детям.

Девочка благополучно совершила долгое путешествие до Нортгемптона, где ее встретила тетушка Норрис, гордая своим великодушием и своей миссией – приветствовать племянницу, ввести в дом родных и вверить их доброте.

Фанни в ту пору было ровно десять лет, и хотя при первом знакомстве ее наружность ничем особенным не привлекла, но ничем и не оттолкнула. Для своих лет была она маленькая, личико без румянца, без иных бросающихся в глаза признаков красоты; до крайности застенчивая и робкая, она избегала привлекать к себе внимание; но в ее манерах, хотя и неловких, не ощущалось никакой вульгарности, голосок был нежный, и, когда она разговаривала, видно было, как она мила. Сэр Томас и леди Бертрам приняли ее очень сердечно, сэр Томас, видя, как она нуждается в ободрении, старался всячески ее приветить, но натолкнулся на весьма неуместную замкнутость, а леди Бертрам не приложила и половины его усилий, и там, где он произносил десяток слов, обходилась одним, но благодаря всего лишь ее добродушной улыбке девочка сразу же стала дичиться ее куда меньше, чем сэра Томаса.

Юное поколение всё находилось дома и охотно, без замешательства внесло свою долю в церемонию знакомства, по крайней мере, это можно было сказать о сыновьях, кои в свои семнадцать и шестнадцать не по годам высокие, показались маленькой кузине воплощением мужского великолепия. Девочки же, обе моложе братьев и куда больше братьев трепетавшие перед отцом, который обратился к ним в этот час с непомерной торжественностью, были несколько смущены. Но слишком привыкшие быть на людях и слышать похвалы в свой адрес, они не знали ничего похожего на истинную робость, и неуверенность кузины лишь прибавила им уверенности, так что скоро они уже со спокойным равнодушием принялись разглядывать ее лицо и платье.

В семействе Бертрам дети были как на подбор, сыновья хороши собой, девочки, можно сказать, настоящие красавицы, и все высокие, статные не по летам, и наружностью они отличались от кузины столь же разительно, как и манерами, отшлифованными воспитанием; и никому бы и в голову не пришло, что девочки так близки друг другу по возрасту. Младшую сестру и Фанни разделяли всего два года. Джулии Бертрам было только двенадцать, а Марии всего на год больше. Меж тем маленькая гостья чувствовала себя глубоко несчастной. Всех их она боялась, стыдилась себя, тосковала по оставленному дому и оттого не смела поднять глаз и говорила едва слышно или сквозь слезы. Всю дорогу от Нортгемптона миссис Норрис твердила, какое поразительное ей выпало счастье, и как велика должна быть ее благодарность, и как примерно следует себя вести, и вот теперь девочка страдала еще более от сознания, что это дурно – не чувствовать себя счастливой. Скоро оказала себя еще и усталость от столь долгого путешествия. Напрасны были исполненные самых добрых побуждений снисходительность сэра Томаса и настойчивые предсказания тетушки Норрис, что девочка будет хорошей, напрасно улыбалась леди Бертрам и усадила ее на диван рядом с собою и с мопсом, не утешил даже пирог с крыжовником; она и двух кусочков не съела, как опять полились слезы, и, подумав, что всего лучше ее успокоит сон, ее уложили в постель и оставили избывать свои горести.

– Начало не очень многообещающее, – сказала миссис Норрис, когда Фанни вышла. – После всего, что я говорила ей дорогою, я думала, она будет вести себя лучше; я объяснила, как важно ей произвести хорошее впечатление при первой встрече. Хотела бы я, чтобы в ней не было и толики угрюмости – ее мать, бедняжка, всегда этим отличалась; но нам не следует

забывать, что она еще ребенок, и вряд ли ей можно ставить в вину, что она горюет, расставшись со своим домом, ведь какой ни есть, это и вправду ее дом, и ей еще не понять, как изменится к лучшему ее жизнь; но все-таки во всем должно соблюдать умеренность.

Однако, чтобы Фанни примирилась с незнакомым ей прежде Мэнсфилд-парком и с разлукой со всем, к чему привыкла, потребовалось больше времени, чем склонна была ей дать тетушка Норрис. Всю остроту ее чувств толком не понимали и потому относились к ним без должного внимания. Никто не желал ей зла, но никто не собирался утруждать себя ради ее спокойствия.

Свободный от занятий день, который на завтра предоставили девочкам Бертрам, чтобы они не спеша познакомились со своей маленькой кухней и развлекли ее, никак их не сблизил. Узнав, что у ней всего две ленты и что она никогда не занималась французским, они потеряли к ней интерес; а когда поняли, что, милостиво исполнив для нее дуэт на фортепиано, никак ее не поразили своим искусством, им только и пришло в голову щедро одарить ее кое-какими наименее любимыми своими игрушками и предоставить ее самой себе, а потом они принялись за одно из тех занятий, каким в ту пору отдавали предпочтение в свободное время – стали делать искусственные цветы или попусту переводить золотую бумагу.

Рядом с кухнями или поодаль от них, в классной ли комнате, в гостиной, в садовой аллее, Фанни все время чего-нибудь в ком-нибудь боялась, и всюду она чувствовала себя несчастной и одинокой. Молчание леди Бертрам угнетало ее, серьезное лицо сэра Томаса внушало благоговейный страх, а наставления тетушки Норрис совсем подавляли. Кухни, старше нее по возрасту, унижали ее разговорами о том, что она слишком мала ростом, приводили в смущенье, замечая ее робость. Мисс Ли дивилась ее невежеству, горничные с презрением смотрели на ее платье; эти горести становились еще горше из-за мыслей о сестрах и братьях, для которых она была неизменной участницей игр, наставницей и нянькой; глубокая печаль снедала ее детское сердечко. Великолепие дома Бертрамов поражало ее, но утешить не могло. Комнаты были слишком велики, она чувствовала себя в них скованно, она боялась дотрагиваться до вещей – как бы чего не испортить, и двигалась по дому с опаской, вечно чего-то страшась; часто уходила в свою комнату поплакать; и та самая девочка, о которой, когда она вечером покидала гостиную, говорили, что она, как и хотелось бы, кажется, сознает, какое редкостное ей выпало счастье, каждый исполненный горестей день засыпала в слезах. Так прошла неделя, и по ее тихому покорному поведению никто ничего не подозревал, пока однажды утром ее кузен Эдмунд, младший из сыновей четы Бертрам, не застал ее плачущей на лестнице, ведущей вверх.

– Милая кузиночка, – сказал он с присущей его превосходной натуре мягкостью, – что такое случилось? – И, севши рядом с нею на ступеньку, он всеми силами старался преодолеть ее смущенье оттого, что ее застали врасплох, и уговаривал открыться ему. – Может быть, ей нездоровится? или кто-нибудь на нее рассердился? или она повздорила с Марией или Джулией? или чего-то не поняла из урока, он с радостью ей объяснит? Иными словами, не хочет ли она, чтобы он что-нибудь ей принес или что-нибудь для нее сделал?

Долгое время ему только и удавалось от нее услышать, что «нет, нет... вовсе нет... нет, спасибо», но он все не отступался, и, лишь когда заговорил об ее родном доме, усилившиеся рыдания объяснили ему, из-за чего она горюет. Он попытался ее утешить.

– Ты тоскуешь в разлуке с мамой, милая моя Фанни, – сказал он, – а это значит, что ты очень хорошая девочка. Но помни, Фанни, ты ведь сейчас у родных, у друзей, тебя все любят и все хотят, чтобы тебе было хорошо. Давай выйдем в парк, и ты мне расскажешь про своих братьев и сестер.

Продолжая расспрашивать, Эдмунд понял, что, как ни милы девочке все ее братья и

сестры, есть среди них один, кто ей всех дороже. Это Уильям, об нем она говорила больше всего, об нем больше всего тосковала. Уильям, старший брат годом старше нее, постоянный ее собеседник и друг, во всякой беде защитник перед матерью (которая любит его более всех остальных). Уильям не хотел, чтобы она уезжала... говорил, что будет очень о ней скучать.

– Но уж наверно Уильям будет писать тебе письма.

– Да, он обещал, но сказал, пускай первая напишет она.

– И когда ж ты напишешь?

Фанни опустила голову и ответила, запинаясь, что не знает, у ней нет ни листка бумаги.

– Если вся беда в этом, я дам тебе бумагу и все необходимое, и можешь писать к брату, когда тебе вздумается. Ты будешь довольна, если сможешь ему писать?

– Да, очень.

– Тогда не надо откладывать. Идем со мной в малую гостиную, там мы найдем все, что нужно, и никто нам не помешает, там сейчас никого нет.

– Кузен... а на почту письмо попадет?

– Конечно, это уж моя забота; его отправят со всеми остальными письмами; твой дядя заранее оплатит его и оно не введет Уильяма в расход.

– Дядя! – испуганно повторила Фанни.

– Когда напишешь, я отнесу письмо папеньке, и он его франкирует.

Фанни подумала, что это будет дерзость, но больше противиться не стала: и они вместе пошли в малую гостиную, там Эдмунд достал бумагу и разлиновал ее с такой охотой, будто сам Уильям, только, пожалуй, еще аккуратнее. Он оставался с Фанни все время, пока она писала, и, если надобно, пускал в ход свой перочинный ножик или говорил, как пишется то или иное слово, и сверх этих забот, на которые она отзывалась всей душой, выказал благожелательность к ее брату, что более всего обрадовало ее. Собственной рукою он приписал привет своему кузену Уильяму и, прежде чем запечатать письмо, вложил в него полгинеи. По этому случаю на Фанни нахлынули такие чувства, что, ей казалось, она не способна их выразить, но само ее лицо и несколько безыскусственных слов в полной мере передали ее признательность и восторг, и теперь кузен почувствовал к ней интерес. Он еще поговорил с нею, и все ею сказанное убедило его, что у ней любящее сердце и она полна желания вести себя наилучшим образом; и ему ясно стало, что крайняя уязвимость положения, в котором она оказалась, и крайняя робость и впредь дают ей право на внимание. Прежде он никогда сознательно не обижал ее, но теперь почувствовал, что она нуждается в большей доброте, и потому прежде всего старался умалить ее страх перед окружающими, да еще надавал ей множество добрых советов, вроде того, что надобно играть с Марией и Джулией и быть как можно веселее.

С этого дня Фанни стало уютнее. Она поняла, что у ней появился добрый друг, и от этого стала держаться уверенней со всеми остальными. Мэнсфилд-парк уже не казался таким чужим, а его обитатели такими грозными, и, если кое-кого она еще побаивалась, она хотя бы постепенно узнавала их привычки и училась наилучшим образом к ним применяться. Некоторая достойная сожаления неотесанность и угловатость, что поначалу доставляли неприятные минуты всем, и прежде всего ей самой, сгладились, как тому и следовало быть, и она уже, в сущности, не боялась показываться на глаза дяде и не слишком пугалась, услышав голос тетушки Норрис. Теперь кузины уже не тяготились ею и приглашали изредка в свои игры. Хотя, оттого что была она моложе и слабее, они не считали, что она достойна постоянно проводить время в их обществе, но в удовольствиях и забавах им иной раз бывало не обойтись без третьего, да еще когда этот третий такой услужливый и покладистый; и если тетушка расспрашивала их об ее промахах или брат Эдмунд убеждал их, что Фанни вправе

рассчитывать на их доброту, они не могли не признать, что «Фанни довольно милая».

Сам Эдмунд был неизменно добр, а что до Тома, она не видела от него ничего плохого, он всегда слегка над нею подшучивал, семнадцатилетнему юноше это казалось подходящим обращением с десятилетним ребенком. Том только еще вступал в жизнь, радость была в нем ключом, и, как истый старший сын, чувствующий, что рожден лишь для того, чтобы сорить деньгами и получать удовольствие, он был расположен ко всем и вся. Доброту по отношению к маленькой кузине он выражал в полном согласии со своим положением и правами: иной раз делал ей милые подарки и посмеивался над нею.

Когда наружность и настроение девочки улучшились, сэр Томас и тетушка Норрис стали думать о своем благоденствии с еще большим удовлетворением; и очень скоро между ними было решено, что хотя умной ее никак не назовешь, зато она выказала склонность к послушанию и, пожалуй, особых хлопот с ней не будет. Невысокого мнения об ее способностях придерживались не только они. Фанни и умела всего лишь читать, рукодельничать да писать, ничему другому ее не научили; и когда кузины обнаружили, что она понятия не имеет о многом, с чем сами они давно знакомы, они сочли ее невероятной тупицею, и первые две-три недели в подтверждение этого то и дело рассказывали в гостиной что-нибудь новенькое.

– Мамочка, дорогая, вы только подумайте, кузина не может правильно расположить ни одно государство на карте Европы... Или – кузина не может показать главные реки России... Или – она слыхом не слыхала про Малую Азию... Или – она не знает, какая разница между акварельными красками и цветными карандашами!.. Как же так!.. Вы когда-нибудь слыхали о такой тупости?

– Это, конечно, нехорошо, детка, – вступалась тактичная тетушка, – но нельзя ждать, чтобы все и каждый были такими же развитыми да способными, как ты сама.

– Но, тетушка, она уж такая невежда! Вы знаете, вчера вечером мы ее спросили, в какую сторону она поедет, чтобы попасть в Ирландию, и она сказала, она переправится на остров Уайт. Она только и думает, что об острове Уайт, она называет его просто Остров, будто других островов вообще нет на свете. Да я бы сгорела со стыда еще задолго до ее лет; если б вот так ничего не знала. Я уж и не помню, с каких пор я знаю много всего, об чем она еще и сейчас не имеет ни малейшего понятия. Тетушка, мы ведь давным-давно выучили, какие короли были в Англии, кто после кого взошел на престол и какие при этом были важнейшие события.

– Да, и римских императоров давно знаем, еще с Северия, – прибавила вторая кузина. – Да сколько языческих мифов, и все металлы, и металлоиды, и планеты, и знаменитых философов.

– Ну конечно, мои дорогие, но Господь наградил вас обеих замечательной памятью, а у вашей бедняжки кузины, может, и вовсе ее нет. Память бывает очень разная, как и все прочее, и потому надобно быть снисходительными к кузине, сожалеть об ее несовершенстве. И запомните, если вы такие сами умницы и так преуспеваете в ученье, вам надобно быть скромными: потому что, сколько бы вы уже ни знали, вам предстоит узнать еще куда больше.

– Да, конечно, до того, как мне исполнится семнадцать. Но я еще расскажу вам про Фанни, это так странно и так глупо. Вы знаете, она говорит, что не хочет учиться музыке и рисованию.

– Конечно, моя дорогая, это и вправду очень глупо и показывает, как основательно ей недостает способностей и стремления к самоусовершенствованию. Но если хорошенько подумать, пожалуй, так оно и лучше, потому что хотя, как вы знаете (благодаря мне), ваши папенька и маменька по доброте своей воспитывают ее вместе с вами, однако же ей вовсе

нет надобности быть такой же образованной, как вы, – напротив того, гораздо желательней, чтоб в этом было некоторое отличие.

Таковы были советы, с помощью которых миссис Норрис старалась воспитать души своих племянниц; и не удивительно, что при всех их многообещающих талантах и рано приобретенных знаниях, они были вовсе лишены не столь широко распространенных склонностей к самопознанию, великодушию и смирению. Они получали превосходное воспитание, которое касалось всего, кроме их характера. Сэр Томас не знал, чего им недостает, потому что, хотя и относился к отцовским обязанностям поистине ревностно, внешне отцовскую любовь не проявлял, и его сдержанность мешала детям давать при нем волю чувствам.

Леди Бертрам не уделяла образованию дочерей ни малейшего внимания. Для подобных забот у ней не хватало времени. Нарядно одетая, она целыми днями сидела на диване и занималась каким-нибудь бесконечным рукодельем, никому не нужным и некрасивым, думая при этом все больше о своем мопсе, а не о детях, но относилась к ним очень снисходительно, если только они не докучали ей, и во всех важных делах следовала советам сэра Томаса, а в заботах помельче – своей сестры. Будь у нее больше свободного времени, чтобы посвятить его дочерям, она бы, вероятно, сочла, что в этом нет необходимости, ведь они на попечении гувернантки, и у них прекрасные учителя, чего же еще надобно. А что до Фанниной тупости в ученье, «можно только сказать, это весьма прискорбно, но иные люди и вправду тупы, так что Фанни должна стараться, не жалея сил; ничего другого тут не придумаешь; и надобно прибавить, что, кроме такой неспособности, она, леди Бертрам, не видит в бедняжке ничего плохого, к тому же девочка всегда так ловко и проворно исполняет поручения и приносит все, за чем ее ни пошлешь».

При всей своей робости и пробелах в знаниях Фанни прижилась в Мэнсфилд-парке и, постепенно привязываясь к нему все сильнее, почти как к родному дому, росла не вовсе безрадостно в окружении кузенов и кузин. Мария и Джулия были не злы по натуре, и, хотя своим поведением нередко унижали Фанни, она была о себе такого невысокого мнения, что не чувствовала обиды.

Примерно в ту пору, когда она вошла в семью, леди Бертрам, из-за небольшого нездоровья и великой лени, отказалась от дома в Лондоне, где прежде проводила каждую весну, и жила теперь постоянно за городом, предоставив сэру Томасу исполнять его обязанности в парламенте и жить отныне с большим, а быть может, и с меньшим комфортом, вызванным ее отсутствием. Тем самым за городом обе мисс Бертрам продолжали упражнять память, разучивать на фортепиано дуэты и становились высокими и женственными; и их отец видел, что наружностью, поведением и достоинствами они делались такими, какими ему и хотелось их видеть. Старший сын рос беспечным расточителем и уже доставил отцу немало тревог; но от остальных детей можно было ждать только хорошего. Дочери, пока носят имя Бертрам, будут лишь способствовать его украшению, а расставшись с ним, без сомнения, соединят свое семейство с другими, столь же почтенными и родовитыми; характер же Эдмунда, отменный здравый смысл и сильно развитое чувство справедливости служили наилучшим образом к пользе, чести и счастью его самого и всех его близких. Ему предстояло стать священником.

За довольством и заботами, которые доставляли сэру Томасу собственные дети, он не забывал делать все возможное для детей миссис Прайс; он щедро помогал ей в образовании и дальнейшем устройстве сыновей, когда они достаточно подросли и пора было избрать для них постоянное поприще; и Фанни, хотя почти вовсе разлученная со своей семьей, искренне радовалась всякий раз, как слышала о любом проявлении доброты по отношению к ним,

любой малости, что сулила перемены к лучшему в их положении и поведении. Однажды, всего лишь однажды за многие годы ей выпало счастье побыть с Уильямом. Остальных же она никогда не видела; казалось, никто и не думал, что она когда-нибудь опять приедет к ним, пусть даже только погостить, казалось, дома никому она не нужна; но Уильяма, вскорости после ее отъезда решившего стать моряком, перед уходом в плавание пригласили в Нортгемптоншир провести неделю с сестрой. Горячую привязанность, проявившуюся при встрече, беспредельный восторг оттого, что они вместе, часы радостного веселья и минуты серьезных разговоров – все это можно представить; так же как бодрость и радость жизни, не оставлявшие брата даже и в последние минуты, и горе сестры, когда он уехал. По счастью, он гостил в Мэнсфилд-парке в рождественские праздники, и Фанни могла сразу же искать утешения у кузена Эдмунда; а он чудесно живописал ей, чем Уильяму предстоит заниматься сейчас и кем он станет в дальнейшем, и постепенно Фанни пришлось признать, что в их разлуке, возможно, есть кое-какой смысл. Дружба Эдмунда никогда ее не обманывала: окончание Итона и переход в Оксфорд ничуть не изменили его доброго нрава, лишь дали ему возможность чаще проявляться. Нисколько не кичась тем, что делает больше других, и нисколько не опасаясь, что делает слишком много, он неизменно и преданно пекся о благе девочки и со вниманием относился к ее чувствам, стараясь, чтобы ее достоинства были поняты и чтобы она преодолела неуверенность в себе, которая мешала им стать более очевидными; она находила у него советы, утешение и ободрение.

Все прочие мало ею интересовались, и поддержка его одного не могла приблизить к ним Фанни, однако же его внимательность была чрезвычайно важна в другом отношении: помогала совершенствовать ее ум и расширять получаемые от этого удовольствия. Он знал, что она девочка смышленная, понятливая, к тому же исполнена здравомыслия и любви к чтению, которое, должным образом направленное, уже само по себе есть образование. Мисс Ли учила ее французскому и слушала, как она читает ежедневный урок из истории; но Эдмунд рекомендовал ей книги, которые завораживали ее в часы досуга, он развивал ее вкус и поправлял ее суждения; чтение шло ей на пользу, так как Эдмунд беседовал с нею о прочитанном и благоразумной похвалою делал книгу еще привлекательнее. В ответ на его помощь Фанни любила его более всех на свете, кроме Уильяма; сердце ее принадлежало им двоим.



Первое важное событие в семье, смерть мистера Норриса, произошло, когда Фанни было около пятнадцати лет, и за ним неизбежно последовали перемены и новшества. Расставшись с домом приходского священника, миссис Норрис сначала переехала в Мэнсфилд-парк, а после в деревню, в скромный домик, принадлежащий сэру Томасу, и в потере мужа утешилась мыслью, что прекрасно может обойтись без него, а в сокращении своих средств – очевидною необходимостью более строгой экономии.

Приход предназначался Эдмунду, и, умри его дядюшка несколькими годами ранее, он был бы отдан кому-то из знакомых священнослужителей, чтобы перейти к Эдмунду, когда возраст позволит ему принять сан. Но расточительство Тома, предшествовавшее этому событию, было столь велико, что пришлось передать освободившееся место другому кандидату, и младший брат вынужден был расплачиваться за удовольствия старшего. Имелся и другой семейный приход, который, в сущности, придерживали для Эдмунда; но хотя благодаря сему обстоятельству совесть мучила сэра Томаса и несколько меньше, он полагал подобный выход из положения несправедливым и всячески старался внушить это убеждение старшему сыну, в надежде, что оно подействует куда более, нежели все то, что он говорил или делал прежде.

– Мне стыдно за тебя, Том, – с величайшим достоинством сказал он. – Мне стыдно за то средство, к которому я вынужден прибегнуть, и я полагаю, тебя можно пожалеть за то чувство, какое ты испытываешь сейчас по отношению к брату. На десять, двадцать, тридцать лет, а может быть, и на всю жизнь ты лишил Эдмунда более чем половины дохода, который он должен был получать. В будущем, возможно, я или ты еще сумеем обеспечить ему более высокое положение (я очень на это надеюсь); но не следует забывать, что, как ни хороша оказалась бы возможность, которую мы сумеем ему предоставить, с нашей стороны это будет лишь справедливое возмещение, на которое он, безусловно, вправе рассчитывать, и что никакая возможность не сравнится с тем преимуществом, от коего он сейчас вынужден отказаться из-за срочности твоих долгов.

Том слушал не без стыда и не без огорчения; но, постаравшись поскорее скрыться с глаз отца, он уже очень скоро с веселым эгоизмом размышлял, что, во-первых, его долг и вполнину не так велик, как у иных его приятелей, во-вторых, выговор отца прескучен, и в-третьих, будущий приходский священник, кто бы он ни был, всего вероятней, вскорости умрет.

После кончины мистера Норриса кандидат на его место, некий доктор Грант, по праву получил приход, приехал в Мэнсфилд и, оказавшись сорокапятилетним здоровяком, как будто должен был бы обмануть ожидания мистера Бертрама. Но нет, «это малый апоплексического склада, с короткой шеей, и, ежели его усердно потчуют хорошей стряпней, он не заживется на свете».

У доктора Гранта была жена лет на пятнадцать моложе, а детей не было, и соседи по обыкновению благосклонно отзывались об них как о людях почтенных и приятных.

Теперь, как надеялся сэр Томас, пришла пора свояченице принять участие в их племяннице, ибо оттого, что положение миссис Норрис изменилось, а Фанни подросла, казалось, не только исчезли причины, мешающие им жить вместе, но все самым решительным образом этому способствовало; а поскольку его собственные обстоятельства стали менее благоприятны, нежели прежде, так как в добавление к мотовству старшего сына он потерпел убытки в Вест-Индии, ему было бы желательно освободиться от затрат на ее

содержание и от обязательств обеспечивать ее в будущем. Совершенно уверенный, что так оно и должно быть, сэр Томас упомянул об этом жене; и случилось так, что, когда впервые после разговора с мужем она опять об этом вспомнила, Фанни была тут же, и тетушка спокойно заметила:

– Итак, Фанни, ты нас покидаешь и будешь жить у моей сестры. Ты довольна?

Фанни так поразились, что только и была в силах повторить слова тетушки «Покидаю вас?».

– Да, милочка, отчего ты так удивлена? Ты живешь у нас уже пять лет, а моя сестра всегда хотела взять тебя к себе, когда мистера Норриса не станет. Но ты все равно должна быть на высоте и следовать моим урокам.

Для Фанни новость была столь же неприятна, сколь и неожиданна. Она никогда не видела никакого добра от тетушки Норрис и оттого не могла ее полюбить.

– Мне так жалко будет вас покинуть, – запинаясь, сказала она.

– Уж наверно жалко, а как же иначе. Я думаю, с тех пор как ты переступила порог нашего дома, у тебя не было особых причин для огорчений.

– Надеюсь, я не была неблагодарной, тетушка, – скромно сказала Фанни.

– Нет, милочка, надеюсь, что нет. Я всегда считала тебя очень хорошей девочкой.

– И мне уже никогда тут не жить?

– Никогда, дорогая. Но у тебя, без сомнения, будет уютный дом. Да и какая тебе разница, здесь ли жить или у миссис Норрис.

Фанни вышла из комнаты с глубокой печалью на сердце; она чувствовала, что разница будет не маленькая, о жизни с тетушкой Норрис она думала безо всякого удовольствия. Едва повстречавшись с Эдмундом, она поведала ему свое горе.

– Кузен, – сказала она, – меня ждет перемена, и она меня совсем не радует. И хотя часто благодаря твоим уговорам я примирялась с тем, что поначалу было мне не по душе, на этот раз ты не сможешь меня уговорить. Мне предстоит навсегда переселиться к тетушке Норрис.

– Вот как!

– Да, тетушка Бертрам сегодня мне об этом сказала. Все уже условлено. Я должна покинуть Мэнсфилд-парк и отправиться в Белый коттедж, наверно, как только она туда переедет.

– Знаешь, Фанни, если бы тебе это не было неприятно, я бы сказал, что это превосходный план. – Нет-нет, кузен!

– Все прочее говорит в его пользу. Желая взять тебя к себе, тетушка поступает весьма благоразумно. Она выбирает друга и компаньонку как раз там, где надобно, и я рад, что ее любовь к деньгам не помешала этому. Ты будешь для нее тем, чем должна быть. Я надеюсь, это не слишком огорчает тебя, Фанни.

– Очень огорчает. Совсем мне это не по душе. Я люблю этот дом, все в этом доме. Там я ничего не люблю. Ты же знаешь, с нею мне всегда не по себе.

– Я не стану говорить о том, как она обращалась с тобой, когда ты была маленькая. Но она так же обращалась со всеми нами, или почти так же. Она никогда не умела быть приветливой с детьми. Но теперь ты уже в таком возрасте, когда с тобой надо обращаться лучше. По-моему, она уже держится лучше, а когда ты станешь ее единственной компаньонкой, она уж непременно станет тобою дорожить.

– Никогда никто не станет мною дорожить.

– Что этому мешает?

– Все... мое положение... моя глупость... нескладность.

– Что до твоей глупости и нескладности, милая Фанни, поверь мне, нет в тебе ничего

подобного, разве что ты употребляешь эти слова в неверном смысле. Нет решительно никаких причин, почему бы тобою не стали дорожить там, где тебя знают. Ты обладаешь здравым смыслом и милым нравом, и, я уверен, у тебя благодарное сердце, и на добро ты всегда пожелаешь ответить добром. Для друга и компаньонки нет на свете качеств лучше этих.

– Ты слишком добр, – сказала Фанни, краснея от такой похвалы. – Как же я сумею отблагодарить тебя за то, что ты такого хорошего мнения обо мне? Ох, кузен, если мне придется уехать, я всегда, до последней минуты жизни буду помнить твое великодушие.

– Ну, конечно, Фанни, в такой дали, как Белый коттедж, я надеюсь, ты будешь меня помнить. Ты говоришь так, будто уезжаешь за две сотни миль, а не всего лишь на другой конец парка. Ты будешь членом нашей семьи почти как до сих пор. Оба семейства будут видаться каждый Божий день. Вся разница только в том, что, живя с тетушкой, ты перестанешь оставаться в тени – и так и следует. Здесь, у нас, всегда находится кто-то, за чью спину ты можешь спрятаться, а вот у тетушки Норрис придется тебе говорить самой за себя.

– Прошу тебя, пожалуйста, не говори так!

– Я должен это сказать и говорю это с удовольствием. Миссис Норрис сейчас куда больше подходит для попечения о тебе, чем леди Бертрам. Для того, кем она действительно интересуется, она многое может сделать, такая у нее натура, и она заставит тебя по справедливости оценить твои природные достоинства.

– Мне видится все это не так, как тебе, – со вздохом сказала Фанни, – но надо бы поверить, что прав скорее ты, а не я, и я очень благодарна тебе, что ты стараешься примирить меня с неизбежным. Если бы думать, что тетушке я и вправду небезразлична, было бы восхитительно чувствовать, что для кого-то я что-то значу!.. Ведь я знаю, здесь я ни для кого ничего не значу, и однако я так люблю Мэнсфилд-парк.

– С Мэнсфилд-парком ты не расстанешься, Фанни, ты расстанешься только с домом. Ты, как и прежде, будешь вольна гулять и в парке и в саду. Даже твое привязчивое сердечко не должно пугаться такой ничтожной перемены. Ты будешь ходить по тем же дорожкам, в той же библиотеке будешь выбирать книги, тех же людей будешь встречать, на той же лошадке ездить верхом.

– Да, правда. Милый мой серый пони. Ах, кузен, как я вспомню, до чего меня пугала верховая езда, с каким страхом я слушала, когда говорили, что она пойдет мне на пользу (бывало, стоит дядюшке заговорить о лошадях, меня бросает в дрожь)... как подумаю, сколько же ты потратил усилий, чтобы урезонить меня, уговорить не бояться и убедить, что я вскоре полюблю ездить верхом, я чувствую, что ты всегда прав, и начинаю надеяться, что твои предсказания, как всегда, окажутся верны.

– И я совершенно убежден, что жизнь с миссис Норрис так же благотворно подействует на твою душу, как верховая езда на здоровье... и вдобавок послужит к твоему счастью.

Так окончилась их беседа, и хотя она могла сослужить Фанни хорошую службу, без нее вполне можно было бы обойтись, так как тетушка Норрис вовсе не имела намерения брать Фанни к себе. При настоящем положении дел она только и думала, как бы этого избежать. Чтобы никто не ждал от нее ничего подобного, она выбрала для себя самое маленькое жилище в мэнсфилдском приходе, которое при этом не умаляло бы ее достоинства; Белый коттедж только и мог вместить ее со слугами и еще оставалась комнатка для какой-нибудь гостии, на чем миссис Норрис особенно настаивала: при жизни мужа лишние комнаты никогда не требовались, а теперь она всякий раз непременно упоминала о необходимости такой комнаты. Однако же никакие ее предосторожности не помешали заподозрить ее в добром намерении; а, быть может, именно разговор о необходимости лишней комнаты и ввел

сэра Томаса в заблуждение, заставил предположить, что комната предназначена для Фанни. Уверенность в этом вскоре прозвучала в небрежном замечании леди Бертрам при разговоре с миссис Норрис:

– Я думаю, сестра, нам теперь не к чему держать мисс Ли, раз Фанни будет жить у тебя. Миссис Норрис даже вздрогнула.

– У меня, дорогая леди Бертрам? Что вы хотите этим сказать?

– А разве она не переедет к тебе?.. Я думала, ты уже условилась обо всем с сэром Томасом?

– Это я-то? Ничего подобного. Я и слова об этом не сказала с сэром Томасом, и он со мною тоже. Фанни будет жить со мной! У меня и в мыслях такого не было, да и ни одна душа, кто хорошо знает нас обеих, никогда б того не пожелала. Боже милостивый, да что мне с нею делать?.. Это я-то! бедная, беспомощная, одинокая вдова, ни на что не годная, сломленная несчастьями – что мне делать с пятнадцатилетней девушкой! С девушкой в ее летах, в тех самых летах, когда ото всех окружающих требуются особое внимание и заботы, и подвергаются испытанию даже самые жизнерадостные характеры. Да нет же, не мог сэр Томас и вправду ожидать от меня этого! Ведь сэр Томас мой искренний друг. Нет-нет, кто желает мне добра, нипочем не мог бы такое предложить. Как же так случилось, что сэр Томас заговорил с вами об этом?

– Право, не знаю. Наверно, он думал, что так будет лучше?

– Но что именно он сказал?.. Не мог он сказать, что желает, чтобы я взяла Фанни. Да нет же, в сердце своем не мог он этого желать.

– Нет, он только сказал, он думает, что это вполне вероятно... и я тоже так подумала. Мы оба подумали, что это будет тебе утешением. Но если тебе это не по душе, тогда и говорить больше не о чем. Фанни нам не обуза.

– Дорогая сестрица! Подумайте сами, как она может быть мне хотя каким-то утешением в моем бедственном положении? Я ведь несчастная, горькая вдова, я лишилась добрейшего, несравненного мужа, здоровье мое потеряно в уходе за ним и неустанном попечении, душевное состояние мое и того хуже, и не будет уже мне покоя на этом свете, средств моих едва хватит, чтобы жить как подобает женщине благородного сословия и не позорить памяти дорогого усопшего, – какое же мне может быть утешение, ежели я возложу на себя заботу о Фанни! Ежели б я могла пожелать этого ради себя, я нипочем не совершила бы такой несправедливости по отношению к бедняжке. Она в хороших руках, и ей это, без сомнения, на пользу. А я уж как могу должна сама справляться со своими горестями и затруднениями.

– Значит, ты не против жить совсем одна?

– Дорогая леди Бертрам, какой же еще может быть мой удел, кроме одиночества? Время от времени, я надеюсь, в моем домике погостит кто-нибудь из приятельниц, но по большей части я буду проводить свои дни в полном уединении. Только бы мне удалось сводить концы с концами, о большем я не прошу.

– Я надеюсь, сестра, если подумать, дела твои не вовсе уж плохи. Сэр Томас говорит, у тебя будет шестьсот фунтов в год.

– Я не жалуюсь, леди Бертрам. Я знаю, мне уже нельзя жить как прежде, мне теперь следует по одежке протягивать ножки и научиться лучше хозяйничать. Прежде я вела хозяйство на слишком широкую ногу, а теперь не стану стыдиться экономить. Положение мое изменилось столь же заметно, как и доход. От несчастного мистера Норриса как от приходского священника требовалось очень много такого, чего никто не вправе ожидать от меня. Никто не представляет, сколько шло с нашего стола всяким случайным посетителям. В Белом коттедже надо будет лучше за всем присматривать. Я непременно должна жить по

средствам, не то буду очень несчастна; и, признаться, я получу величайшее удовлетворение, если сумею сделать более того – к концу года отложу небольшую сумму.

– Уж конечно, сумеешь. Ты ведь всегда откладываешь, правда?

– Моя цель, леди Бертрам, быть полезной тем, кто останется после меня. Если я хочу быть богаче, так это ради ваших детей. Более мне заботиться не о ком, но мне приятно будет думать, что я сумела оставить им кое-какую малость, которая никак им не помешает.

– Ты очень добра, но не тревожься о них. Они, без сомненья, будут хорошо обеспечены. Сэр Томас об этом позаботится.

– Но ведь ежели владения на Антигуа будут приносить столь малый доход, сэр Томас окажется несколько ограничен в средствах.

– Ну, это-то скоро уладится. Сэр Томас уже написал по этому поводу.

– Что ж, леди Бертрам, – сказала миссис Норрис, собравшись уходить. – Я только могу сказать, что мое единственное желание – быть полезной вашему семейству... и ежели сэр Томас когда-нибудь опять заговорит о том, что я возьму к себе Фанни, вы сможете ему сказать, что при моем здоровье и душевном состоянии об этом не может быть и речи... к тому же у меня и места для нее не будет, ведь мне необходимо иметь комнату на случай, если кто-нибудь приедет погостить.

Леди Бертрам пересказала мужу этот разговор достаточно подробно, чтобы он мог убедиться, как сильно он ошибался относительно намерений свояченицы; и теперь та могла быть совершенно спокойна, что он ничего от нее не ждет и не позволит себе никаких намеков. Его лишь удивляло ее нежелание сделать хоть что-нибудь для племянницы, которую она первая сочла нужным взять на попечение; но поскольку она заранее позаботилась, чтобы он, как и леди Бертрам, понял, что все, чем она владеет, предназначается их семейству, он быстро примирился с некоей ее особенностью, которая, служа к выгоде и пользе их семейства, даст ему возможность лучше обеспечить Фанни самому.

Фанни вскорости стало известно, что ее страхи из-за переезда напрасны, и, узнав об этом, она так открыто, искренне обрадовалась, что это несколько утешило Эдмунда в его разочаровании из-за несбывшейся надежды на то, что, по его мнению, должно было послужить к ее вящей пользе. Миссис Норрис переехала в Белый коттедж, Гранты заняли дом приходского священника, и, когда эти события остались позади, несколько времени все в Мэнсфилде шло по-старому.

Чета Грантов, показав склонность к дружелюбию и общительности, вызвала у большинства своих новых знакомых величайшее удовлетворение. Были у них и свои недостатки, и миссис Норрис вскорости их обнаружила. Доктор Грант очень любил поесть, и ему всякий день требовались обильные обеды; а миссис Грант, вместо того чтобы умудряться потакать его пристрастию при самых скромных расходах, назначила своей кухарке почти столь же щедрое жалованье, как в Мэнсфилд-парке, и сама почти никогда не показывалась ни в кладовой, ни в кухне. Говоря о таких поводах для недовольства или о количестве сливочного масла и яиц, которые поглощались в доме нового священника, миссис Норрис была не в силах сохранять сдержанность. Кто ж, как не она, любил изобилие и гостеприимство... кто ж, как не она, терпеть не мог всяческую скарედность... в ее время приходский дом, уж конечно, никогда не испытывал недостатка во всякого рода удобствах, об нем никогда нельзя было сказать дурного слова, но то, как дом ведется сейчас, понять невозможно. Женщина с замашками аристократки в сельском приходе не к месту. Миссис Грант полезно было бы заглянуть в кладовую в Белом коттедже. Ведь кого ни спросишь, все говорят, что миссис Грант более пяти тысяч никогда и не имела.

Леди Бертрам слушала подобные обличительные речи без особого интереса. Вникать в

промахи миссис Грант, несовместные с представлением о бережливой хозяйке, она не могла, но красавица в ней была жестоко оскорблена тем, что, не отличаясь привлекательной наружностью, миссис Грант так хорошо устроилась на свете, и свое удивление по этому поводу она высказывала столь же часто, хотя и не столь многословно, как миссис Норрис – свое по тому другому поводу.

С этих обсуждений не минуло и года, а в жизни семейства Бертрам произошло новое событие такой важности, что по праву должно было занять кое-какое место в мыслях и разговорах сестер. Сэр Томас счел необходимым сам отправиться на Антигуа, чтобы лучше там всем распорядиться, и взял с собою старшего сына в надежде оторвать его от дурных знакомств дома. Они покинули Англию, предполагая пробыть в отъезде год.

Необходимость сей меры из-за состояния денежных дел и надежды, что она послужит к пользе сына, примирили сэра Томаса с решением покинуть семью и препоручить дочерей в столь решающем для их развития возрасте руководству других. Он не мог полагать, что леди Бертрам способна вполне им его заменить или хотя бы надлежащим образом исполнить обязанности матери, но был достаточно уверен в бдительном внимании миссис Норрис и в рассудительности Эдмунда и потому уехал не опасаясь, что они останутся без необходимого руководства.

Леди Бертрам совсем не нравилось, что супруг ее оставил; но ее не волновали ни тревога об его безопасности, ни забота об его удобстве, поскольку была она из тех людей, которые полагают, что ни для кого, кроме них самих, не существует ничего опасного, трудного или утомительного.

В связи с этим новым событием более всех других следовало пожалеть обеих мисс Бертран; не оттого, что они огорчались, но оттого, что не испытывали огорчения. Отец не пользовался их любовью, он никогда, казалось, особенно не потворствовал их развлечениям, и его отъезд был им, к сожалению, весьма приятен. Теперь можно было забыть обо всех ограничениях; и вовсе не стремясь к удовольствию, которое сэр Томас, вероятно, им бы запретил, они тотчас почувствовали, что стали сами себе хозяйки и могут угождать любой своей прихоти. Фанни испытала такое же облегчение, как и ее кузины, и вполне это понимала, но, от природы более совестливая, полагала это неблагодарностью и искренне горевала оттого, что не горюет. Сэр Томас так много сделал для нее и для ее братьев, а теперь уехал, и может быть, никогда не вернется!.. и проводить его без единой слезинки!.. это же постыдная бесчувственность. Более того, в последнее утро он высказал надежду, что следующей зимою ока, возможно, опять увидится с Уильямом, и велел, как только станет известно, что его эскадра прибыла в Англию, написать ему и пригласить в Мэнсфилд. Какое внимание, какая доброта!.. И если бы еще, говоря так, он улыбнулся или назвал ее «милая Фанни», вся его прежняя хмурость и холодное обращение с ней были бы забыты. Но под конец сэр Томас прибавил: «Ежели Уильям и вправду приедет в Мэнсфилд, я надеюсь, он сможет убедиться, что долгие годы, пока вы не виделись, не прошли для тебя без пользы... хотя, боюсь, он заметит, что в шестнадцать лет его сестра в некоторых отношениях осталась такою же, какой была в десять», – и эти слова жестоко ее обидели. Когда сэр Томас уехал, Фанни горько плакала, вспоминая эти слова, а кузины, видя ее покрасневшие глаза, сочли ее лицемеркой.

Том Бертрам в последнее время так редко бывал дома, что скучать об нем можно было разве только на словах; и леди Бертрам вскоре лишь диву давалась, как хорошо они обходятся и без сэра Томаса, как хорошо сумел его заменить Эдмунд, который самолично принимал решения, разговаривал с управляющим, переписывался с поверенным в делах, улаживал недоразумения со слугами, и при этом в каждой мелочи оберегал ее от возможной усталости и напряжения, предоставляя ей лишь самой адресовать письма.

Были получены первые сведения, что после приятного плавания путешественники благополучно прибыли на Антигуа, хотя дошли они не прежде, чем миссис Норрис позволила себе предаться невероятнейшим страхам, стараясь всякий раз, как заставляла Эдмунда в одиночестве, приобщить к ним и его; в надежде стать первой, кому доведется узнать о какой-нибудь катастрофе, она уже настроилась, как именно сообщит об ней всем остальным, но тут заверения сэра Томаса, что они с Томом живы и здоровы, вынудили ее отложить на время и волнение свое, и вкрадчивые вступления к роковой вести.

Наступила и миновала зима, а речи эти все были без надобности, вести по-прежнему приходили добрые; и миссис Норрис, в придачу ко всем заботам о собственном хозяйстве, кое-какому вмешательству в хозяйство сестры и наблюдению за расточительством миссис Грант, так была занята, содействуя развлечениям племянниц, поощряя их стремление наряжаться, выставя напоказ их совершенства и приглядывая им будущих мужей, что у ней почти не оставалось досуга опасаться за судьбу отсутствующих.

Обе мисс Бертрам теперь прочно утвердились среди местных красавиц; а так как их красота и блестящее воспитание сочетались с присущей им от природы естественной непринужденностью и заботливо привитой любезностью и обходительностью, они заслужили благосклонность и восхищение местного общества. Тщеславие у них было такого превосходного свойства, что казалось, они полностью его лишены, и они несколько не важничали; а похвалы, вызываемые таким поведением, сохраненные и пересказанные им тетушкой, укрепляли их веру в свою непогрешимость.

Леди Бертрам не сопровождала дочерей, когда они выезжали. Она была слишком тяжела на подъем, чтобы даже и ради удовольствия, какое получает любая мать, видя успех и радость своих детей, обречь себя на кое-какие неудобства, и попечение это было передано сестре, которая ничего лучше столь почетного представительства не желала, и со знанием дела упивалась открывшейся перед нею возможностью вращаться в обществе, не обременяя себя расходами на лошадей.

Фанни не участвовала в развлечениях этого сезона, но радовалась, что, когда они призывали всех прочих членов семейства, она, по общему признанию, оказывалась полезна в качестве тетушкиной компаньонки: а так как мисс Ли уже покинула Мэнсфилд, то в вечер бала или поездки в гости Фанни неизменно заменяла тетушке Бертрам всех и вся. Она разговаривала с тетушкой, слушала ее, читала ей; и покой этих вечеров, уверенность, что в их *tete-a-tete* ей не грозит ни единое недоброе слово, оказывались невыразимо приятны душе, которая лишь изредка бывала свободна от тревог и смущения. Что же до развлечений своих кузин и кузена, она любила слушать о них, особливо о балах и о том, с кем танцевал Эдмунд; но считала свое положение слишком скромным, чтобы воображать, будто и ей когда-нибудь позволят войти в этот мир, и потому слушала, вовсе не думая, что ей доведется узнать все это ближе. В целом этой зимою ей жилось уютно; ибо хотя Уильям так и не появился в Англии, надежда на его приезд, никогда не оставлявшая Фанни, очень ее поддерживала.

С наступлением весны Фанни лишилась своего дорогого друга, старого серого пони, и одно время ей грозила опасность, что утрата скажется не только на ее чувствах, но и на здоровье, ибо, хотя признано было, как необходима ей верховая езда, никто не позаботился, чтобы она опять стала ездить верхом, «потому что, – как заметили тетушки, – она может ездить на лошадях своих кузин во всякое время, когда те им не нужны»; но такого времени, разумеется, никогда не находилось, ведь в каждый погожий день обеим мисс Бертрам лошади неизменно бывали нужны, и при всей их благовоспитанности им и в голову не приходило, что не грех иной раз пожертвовать своим удовольствием. Погожим апрельским и майским утром они превесело отправлялись на прогулки верхом; а Фанни либо весь день сидела дома с одной тетушкой, либо гуляла до изнеможенья по наущению другой; ибо леди Бертрам, не любившая прогулки, полагала их ненужными и всем прочим, а миссис Норрис, которая весь день была на ногах, находила, что и все прочие не должны уступать ей в этом. Эдмунд в ту пору был в отъезде, не то зло было бы исправлено раньше. Когда он воротился, понял, в каком положении оказалась Фанни, и представил все дурные последствия этого, он решил, что выход может быть только один, и утверждение «У Фанни должна быть лошадь» противопоставил всем попыткам матери, порожденным бездеятельной натурой, и тетушки, заботящейся об одной лишь экономии, убедить его, что это совершенно не важно. Миссис Норрис хотела думать, что среди множества лошадей Мэнсфилд-парка наверняка найдется какая-нибудь старая лошадь, которая вполне сгодится для Фанни, или такую можно взять на время у их управляющего, или, быть может, иной раз брать у мистера Гранта пони, на котором ездят за почтой. По ее мнению, нет никакой необходимости и даже неприлично, чтобы у Фанни, так же, как у девиц Бертрам, была своя лошадь. Сэр Томас, разумеется, не имел такого намерения, и она, миссис Норрис, уверена, что делать такую покупку в его отсутствие, увеличивая и без того огромные расходы на конюшню в ту пору, когда значительная часть его доходов оказалась под угрозой, совершенно непростительно. «У Фанни должна быть лошадь», – отвечал Эдмунд на все возражения. Миссис Норрис не могла с ним согласиться. Леди Бертрам соглашалась; как и сын, она полагала это необходимым и не сомневалась, что так рассудил бы и его отец; она лишь умоляла его не торопиться, лишь хотела, чтобы он дождался возвращения сэра Томаса, и тогда сэр Томас все уладит сам. Он должен быть дома в сентябре, и что плохого, если они всего лишь подождут до сентября?

Хотя Эдмунд был куда больше недоволен тетушкой, почти не уделявшей внимания племяннице, чем матерью, он вынужден был прислушаться к ее словам и под конец избрал такую линию поведения, чтобы не опасаться, что отец подумает, будто он взял на себя слишком много, и при том не лишать Фанни столь ей необходимых для здоровья прогулок верхом. У него были три собственные лошади, но все неподходящие для женщины. Две были охотничьи, третья – хорошая ездовая лошадь; эту третью Эдмунд надумал обменять на такую, которая подойдет кухне для верховой езды; он знал, где ее сыскать, и, раз уже решил, быстро довел дело до конца. Новая кобыла оказалась истинным сокровищем; почти без труда она стала именно такою, как требовалось, и тогда была отдана Фанни чуть ли не в полное распоряжение. Прежде Фанни не представляла, чтобы кто-нибудь мог так же подойти ей, как старый серый пони; но ее восторг от кобылы Эдмунда значительно превосходил удовольствие, которое она получала раньше; и всякий раз при мысли о том, что своей радостью она обязана доброте Эдмунда, к ней прибавлялось еще что-то, чего она не в силах была выразить словами. В глазах Фанни кузен Эдмунд был воплощением всего, что только может быть хорошего и благородного, и этого никто, кроме нее, не способен оценить по достоинству, и он заслужил право на такую благодарность, какая, сколь бы ни была велика, все будет недостаточна. В отношении Фанни к Эдмунду слились чувства самые



почтительные, благодарные, исполненные доверия и нежности.

Так как и на словах и по существу лошадь оставалась собственностью Эдмунда, миссис Норрис могла допустить, чтобы на ней ездила Фанни; доведись леди Бертрам вспомнить свои возражения, Эдмунд был бы оправдан в ее глазах тем, что, хотя и не дождался сентября, когда сентябрь наступил, сэр Томас все еще находился за границей безо всякой надежды на скорое окончание дел. Когда все его помыслы уже обратились к Англии, неожиданно возникли неблагоприятные обстоятельства, и полнейшая неопределенность, в которой он оказался, побудила его отослать домой сына, а самому ждать, пока все не уладится. Том благополучно прибыл и сообщил, что отец находится в добром здравии; но, на взгляд миссис Норрис, особого смысла в его приезде не было. Она вообразила, что сэр Томас отослал сына, движимый отцовской любовью, в предвидении грозящей ему самому опасности, и ее стали одолевать ужасные предчувствия, которые долгими осенними вечерами, в печальном одиночестве ее коттеджа, так ее мучили, что днем ей приходилось искать спасения в столовой Мэнсфилд-парка. Возвращение зимнего сезона сыграло свою роль; и среди встреч и приглашений мысли ее так приятно были заняты устройством судьбы старшей племянницы, что нервы основательно поуспокоились. «Если бедняжке сэру Томасу не суждено вернуться, будет особенно утешительно знать, что Мария удачно выдана замуж», – обыкновенно думала она всякий раз, как они оказывались в обществе богатых мужчин, главным же образом когда им представляли молодого человека, который недавно унаследовал какое-нибудь из крупнейших состояний и прекраснейших имений Англии.

Мистер Рашуот был с самого начала покорен красотой старшей мисс Бертрам и, имея намерения жениться, скоро вообразил себя влюбленным. То был скучный молодой человек, отличавшийся разве что здравым смыслом; но так как ни в наружности его, ни в обращении не было ничего неприятного, его избранница была очень довольна своей победой. Марии Бертрам шел уже двадцать первый год, и она начинала считать замужество своим долгом; а так как брак с мистером Рашуотом сулил ей радость большего дохода, чем у отца, а также, без сомненья, дом в Лондоне, что было сейчас главной целью, она опять же по чувству долга сочла своей прямой обязанностью, если удастся, выйти замуж за мистера Рашуота. Тетушка Норрис весьма усердно способствовала заключению этого союза всяческими советами и затеями, которые и должны были сделать его еще привлекательней для обеих сторон; среди прочего она старалась завязать дружбу с матерью сего джентльмена, которая в настоящее время жила с ним одним домом, и вынудила леди Бертрам нанести ей утренний визит, для чего почтенной леди пришлось одолеть десять миль далеко не лучшей дороги. Очень скоро между матерью мистера Рашуота и миссис Норрис установилось взаимопонимание. Миссис Рашуот призналась, что весьма желает, чтобы сын женился, и объявила, что из всех барышень, каких ей довелось видеть, старшая мисс Бертрам, судя по ее привлекательности и прочим совершенствам, кажется, лучше всех других способна составить его счастье. Миссис Норрис вполне с этим согласилась и выразила восхищение проницательностью племянницы, сумевшей отличить человека, истинно достойного. Да, Мария и вправду гордость и радость всей их семьи, она безупречна, просто ангел; и, конечно, когда девушка так окружена поклонниками, сделать выбор нелегко; но насколько миссис Норрис может позволить себе судить при таком недолгом знакомстве, ей кажется, мистер Рашуот именно тот молодой человек, который заслуживает Марии и должен ее привлечь.

Протанцевав друг с другом на положенном числе балов, молодые люди подтвердили эти мнения, к явному удовольствию обоих семейств и многочисленных наблюдателей-соседей, которые уже много недель чувствовали, как уместен брак между мистером Рашуотом и

старшей мисс Бертрам, и с должным упоминанием об отсутствии сэра Томаса было договорено о предстоящей помолвке.

Согласие сэра Томаса можно было получить лишь через несколько месяцев; а пока суд да дело, поскольку никто не сомневался в его самом сердечном удовольствии от сего родства, оба семейства поддерживали между собою самую тесную связь, и попытка сохранить предстоящее в тайне состояла единственно в том, что тетушка Норрис говорила об этом повсюду как о событии, о котором пока еще говорить не следует. Из всего семейства один лишь Эдмунд полагал этот союз ошибкою; и как тетушка ни старалась представить мистера Рашуота в лучшем виде, Эдмунд не находил его подходящей для Марии партией. Он мог согласиться, что сестре лучше знать, в чем ее счастье, но его не радовало, что счастье она видит в больших деньгах; и, оказываясь в обществе Рашуота, частенько говаривал себе, что «не будь у этого малого двенадцати тысяч в год, он был бы обыкновенным тупицей».

Сэр Томас, однако ж, был поистине счастлив в предвидении союза столь бесспорно выигрышного и о котором он знал только все наилучшее и приятное. Это было как раз такое родство, как надобно – в том же графстве, земли по соседству; и он со всей поспешностью сообщил о своем сердечном согласии. Он лишь поставил условием, чтобы свадьба состоялась не прежде, чем он воротится, чего он опять ждал с величайшим нетерпением. Он написал в апреле и твердо надеялся полностью все уладить и уехать с Антигуа еще до окончания лета.

Так обстояли дела в июле месяце, и Фанни едва исполнилось восемнадцать лет, когда местное деревенское общество пополнилось братом и сестрой миссис Грант, некими мистером и мисс Крофорд, детьми ее матери от второго брака. Оба были молоды и богаты. У сына было хорошее имение в Норфолке, у дочери – двадцать тысяч фунтов. Когда они были детьми, сестра горячо их любила, но так как она вышла замуж вскоре после смерти их общей родительницы, а они остались на попечении брата их отца, которого миссис Грант совсем не знала, она с тех пор едва ли их и видела. Дом дядюшки стал для них истинным домом. Адмирала и миссис Крофорд, всегда и на все смотревших по-разному, объединила привязанность к этим детям, по крайней мере, они расходились только в том, что у каждого был свой любимец, которому они выказывали особую любовь. Адмирал восхищался мальчиком, его супруга души не чаяла в девочке; и как раз смерть леди Крофорд заставила ее protegee после нескольких месяцев дальнейших испытаний в доме дяди искать другого пристанища. Адмирал Крофорд, человек распущенный, вместо того чтобы удержать у себя племянницу, предпочел привести в дом любовницу; этому миссис Грант и была обязана желанием сестры приехать к ней, что было столь же приятно для одной стороны, как и уместно для другой; ибо к этому времени миссис Грант успела использовать все привычные возможности, которые предоставляет бездетному семейству деревенская жизнь, полностью, и даже с избытком, обставила свою любимую гостиную красивой мебелью, завела отменный сад и домашнюю птицу и уже стала жаждать каких-то перемен дома. Оттого приезд сестры, которую она всегда любила и теперь надеялась задержать у себя, пока та не выйдет замуж, был как нельзя более кстати; и беспокоилась она главным образом об том, чтобы не оказалось, что Мэнсфилд не удовлетворит привычки молодой девицы, до того жившей все больше в Лондоне.

Мисс Крофорд не вовсе была свободна от сходных опасений, правда, они в основном были вызваны сомнениями, подойдет ли ей стиль жизни сестры и достаточно ли изысканным окажется общество; и лишь после того, как она тщетно старалась уговорить брата поселиться с нею в загородном доме, она решилась попытать счастья у других родственников. К сожалению, Генри Крофорду было совсем не по вкусу подолгу жить под

какой-нибудь одной крышей либо ограничивать себя каким-нибудь одним обществом; он не мог поступить по желанию сестры в деле столь важном, но с величайшей любезностью сопровождал ее в Нортгемптоншир и, если бы ей там наскучило, по первому ее зову с такою же готовностью забрал бы ее оттуда.

Встреча вполне удовлетворила обе стороны. Мисс Крофорд нашла сестру отнюдь не педантичную или провинциальную, мужа сестры, похоже, настоящего джентльмена, и просторный, хорошо обставленный дом; а миссис Грант получила в тех, кого надеялась полюбить пуще прежнего, молодого человека и девушку весьма привлекательной наружности. Мэри Крофорд была необыкновенно хорошенькая, а Генри, хотя и не красавец, имел приятное выражение лица; держались оба мило и непринужденно, и миссис Грант незамедлительно отдала должное и всему прочему. Она была в восторге от обоих, но Мэри особенно ее покорила; и, ни в юности, ни в зрелые годы не имея оснований упиваться собственной красотой, она вовсю наслаждалась возможностью гордиться красотой сестры. Она не стала ждать приезда Мэри, чтобы подыскать ей подходящую партию; свой выбор она остановила на Томе Бертраме; девушка с двадцатью тысячами фунтов, со всеми ее совершенствами и изяществом, которые миссис Грант представляла заранее, была как раз под стать старшему сыну баронета; и Мэри не пробыла в доме сестры и трех часов, как та, добрая и откровенная, поведала ей о своих планах. Мисс Крофорд обрадовалась, узнав, что в такой близости от них есть столь высокопоставленное семейство, и у ней не вызвало неудовольствия ни то, что сестра заходя о ней позаботилась, ни то, на кого пал ее выбор. Брак был ее целью, при условии, что замужество будет удачным, и так как она видела Тома Бертрама в Лондоне, она понимала, что сам он может вызвать не больше возражений, нежели его положение в обществе. И оттого, относясь к затее сестры как к шутке, не забыла подумать об этом всерьез. В скором времени об этом было рассказано Генри Крофорду.

– А теперь, – прибавила миссис Грант, – в довершение всего я и еще кой о чем подумала. Я бы от души желала, чтобы вы оба обосновались в здешних краях, и потому, Генри, ты конечно женишься на младшей мисс Бертрам, это обворожительная красивая девушка, доброго нрава, и воспитание получила хорошее, она составит твоё счастье.

Генри поклонился и поблагодарил ее.

– Дорогая сестра, – сказала Мэри, – если вам удастся склонить его к этому, у меня будет еще одна причина радоваться, что я состою в родстве с особой столь тонкого ума, и мне останется лишь пожалеть, что у вас нет полудюжины дочерей, которых надобно пристроить. Если вы надеетесь склонить Генри жениться, вы должны обладать хитроумием француженки. Все, на что способны англичанки, было уже испробовано. У меня есть три весьма разборчивые подружки, и все они по очереди обмирали по нему; и даже вообразить нельзя, каких только усилий не прилагали они сами, их маменьки (женщины весьма тонкого ума), а также моя дорогая тетушка и я, чтобы урезонить его, уговорить или хитростью заставить жениться! Другого такого ловеласа не сыщешь в целом свете. Если сестры Бертрам не желают остаться с разбитыми сердцами, пускай лучше держатся от Генри подальше.

– Дорогой братец, я не могу этому поверить.

– Конечно, вы ведь такая добрая. Вы будете снисходительнее Мэри. Вы примете во внимание сомненья молодости и неопытности. Я по натуре осторожен и не желаю в спешке рисковать своим счастьем. К брачным узам я отношусь с величайшим почтеньем. Про жену-благословенье, мне кажется, всего лучше сказано в сдержанных словах поэта «Последний неба дар счастливый»<sup>1</sup>.

– Вот видите, миссис Грант, как он играет словом, и вы только посмотрите на его улыбку. Уверю вас, он ужасен. Дурной пример адмирала был слишком заразителен.

– Я не обращаю внимания на разговоры молодых о браке, – сказала миссис Грант. – Если они заявляют о своем отвращении к браку, я понимаю так, что они еще не встретили подходящей особы.

Доктор Грант, смеясь, поздравил мисс Крофорд с тем, что она такого отвращения не испытывает.

– О нет! И нисколько этого не стыжусь. Пускай бы все вступали в брак, если могут сыскать себе подходящую партию. Мне не нравится, когда растрачивают жизнь впустую. Но вступать в брак надобно, если это послужит к взаимной выгоде.

Молодые люди с самого начала понравились друг другу. У обеих сторон было много притягательного, и в скором времени с той быстротой, какую позволяло хорошее воспитание, знакомство обещало стать более тесным. Красота мисс Крофорд не вызвала неприязни у сестер Бертрам. Они слишком хороши были сами, чтобы невзлюбить за это другую женщину, и почти в той же мере, как братья, были очарованы ее живыми темными глазами, чистой смуглой кожей лица и общей прелестью. Будь она высокая, пухленькая и белокурая, это могло бы оказаться для них более серьезным испытанием, а при ее наружности не было и речи ни о каком сравнении, и ей позволительно было быть милой хорошенькой девушкой, при том, что они оставались первыми красавицами в здешнем краю.

Брат ее не был хорош собой; нет, когда они увидели его впервые, он показался им некрасивым и слишком смуглым; но все-таки он был джентльмен и отличался приятной манерою разговора. При второй встрече они нашли его уже не таким некрасивым; да, он некрасив, это несомненно, зато какое выражение лица, и зубы хороши, и так сложен превосходно, что скоро уже забываешь о его некрасивости; а после третьей беседы с ним, отобедавши в его обществе у викария, они уже никому больше не позволяли так о нем отзываться. Такого приятного молодого человека им никогда еще не доводилось видеть, и обе равно были в восторге от него. Помолвка старшей мисс Бертрам делала его по справедливости собственностью Джулии, что она вполне сознавала, и он еще и недели не пробыл в Мэнсфилде, а она уже совершенно была готова в него влюбиться.

Мысли Марии о сем предмете были более смутные и сбивчивые. Она не желала толком в них разобраться. «Что за беда, если ей понравится приятный человек... что она не свободна, всем известно... пускай мистер Крофорд сам поостережется». Мистер Крофорд ничуть не намерен был оказаться в опасности; обе мисс Бертрам стоят того, чтобы доставить им удовольствие, и они к тому готовы; и у него поначалу была единственная цель им понравиться. Он не желал, чтобы они умирали от любви; но при здравом уме и самообладании, благодаря которым ему следовало бы судить и чувствовать вернее, он позволял себе в таких делах большую свободу.

– Мне чрезвычайно нравятся обе ваши мисс Бертрам, сестра, – сказал он, воротясь, когда проводил их до кареты после того обеда, – они очень изящные, приятные барышни.

– Ну, конечно, конечно, и я рада это слышать. Но Джулия тебе нравится больше.

– О да! Джулия мне нравится больше.

– В самом деле? А ведь все почитают Марию красивейшей из них.

– И не удивительно. У ней и черты лучше, и выражение лица, на мой взгляд, милее... но Джулия мне нравится больше. Мария, конечно же, красивее и показалась мне приятнее, но Джулия всегда будет мне нравиться больше, потому что так вы мне приказали.

– Не стану тебя уговаривать, Генри, но знаю, в конце концов она уж непременно понравится тебе больше.

– Разве я не сказал вам, что она с самого начала понравилась мне больше?

– И кроме того, Мария обручена. Помни об этом, милый братец. Она уже сделала выбор.

– Да, и оттого она нравится мне еще более. Обрученная женщина всегда милее необрученной. Она довольна собою. Ее тревоженья позади, и она может на всех подряд испытывать свои чары. Обрученная девушка не представляет опасности, ей ничто не грозит.

– Ну что до этого... мистер Рашуот весьма достойный молодой человек, и для нее это замечательно удачный брак.

– Но мисс Бертрам ни в грош его не ставит; таково ваше мнение о вашей близкой подруге. Я бы под ним не подписался. Мисс Бертрам, без сомнения, питает великую привязанность к мистеру Рашуоту. Я прочел это в ее глазах, когда о нем упомянули. Я слишком хорошо думаю о мисс Бертрам, чтобы предположить, что она отдаст свою руку без любви.

– Мэри, ну что с ним поделать?

– По-моему, надобно предоставить его самому себе. Уговоры ни к чему не приведут. В конце концов он окажется в ловушке.

– Но я вовсе не желала бы, чтоб он оказался в ловушке, вовсе не желала бы, чтоб его одурачили, я бы желала, чтобы все было честно и благородно.

– О Господи!.. пусть его попытает счастья и окажется в ловушке. Не вижу в том ничего плохого. Рано или поздно всяк попадается.

– Но не всегда в браке, дорогая Мэри.

– Особливо в браке. Дорогая моя миссис Грант, при всем моем уважении к тем из присутствующих, кому случилось вступить в брак, все же из сотни людей не найдется ни единого мужчины или женщины, кто бы, вступив в брак, не оказался в ловушке. Куда ни гляну, всюду то же; и чувствую, что иначе и не может быть, ведь при этом каждый ждет от другого куда более, чем во всякой иной сделке, а сам всего менее намерен вести себя по чести.

– Ах, Мэри! На Хилл-стрит ты прошла плохую школу для супружества.

– Моей бедняжке тетушке и вправду не за что было так уж любить замужество, но, однако, по моему наблюдению, брак хитрая штука. Сколько ж я знаю случаев, когда вступали в брак полные надежды и веры, что нашли весьма удачную партию с точки зрения родства, или образованности и воспитания, или добрых свойств натуры, и оказывались совершенно обманутыми и вынуждены были мириться с полной противоположностью всему, чего ожидали! Что же это, как не ловушка?

– Дитя мое, боюсь, у тебя слишком разыгралось воображение. Ты уж извини, но я не могу полностью тебе поверить. Право же, ты видишь лишь одну сторону. Ты видишь дурное и не видишь утешения. Без кое-каких трудностей и разочарований ничто не обходится, и все мы склонны ждать чересчур многого; ну, а если не сбудется наше представление о счастье, человеческая натура такова, что тотчас же возникнет иное; если первый расчет окажется неверен, мы сделаем другой, получше; чем-нибудь да утешимся, милочка Мэри, – а те недоброжелатели, что смотрят со стороны и делают из мухи слона, куда вероятней окажутся и обманутыми и в ловушке, чем сами заинтересованные стороны.

– Браво, сестра! Я отдаю должное твоему *esprit du corps*. Когда я стану женою, я постараюсь быть такой же стойкой; и дай мне Бог таких же стойких друзей. Это избавило бы меня от многих страданий.

– Ну и хороша же ты, Мэри, не лучше своего братца. Но мы непременно вылечим вас обоих. Мэнсфилд вылечит вас обоих... и безо всяких ловушек. Оставайтесь с нами, и мы вас непременно вылечим.

Вовсе не желая, чтобы их вылечили, Крофорды, однако, очень хотели остаться. Дом викария пришелся Мэри по вкусу в качестве нового пристанища, и Генри тоже готов был задержаться здесь. Он приехал, намереваясь провести у Грантов всего несколько дней, но Мэнсфилд сулил приятное времяпрепровождение, и ничто не призывало его в какое-либо другое место. Миссис Грант была счастлива оказать гостеприимство им обоим, и доктор Грант соглашался на это с превеликим удовольствием; разговорчивая хорошенькая девушка вроде мисс Крофорд – всегда приятная компания для праздного домоседа; а присутствие в

доме мистера Крофорда давало повод что ни день пить кларет.

Восхищение, которое мистер Крофорд вызвал у сестер Бертрам, они изъясляли куда восторженней, чем то было в обычае у мисс Крофорд. Однако она признавала, что братья Бертрам прекрасные молодые люди, что двух таких сразу не часто встретишь и в Лондоне и что их манеры, особливо манеры старшего, на редкость хороши. Он много бывал в Лондоне, отличался большою живостью и галантностью, и оттого его следовало предпочесть Эдмунду; а то, что он из двоих старший, разумеется, было и еще одним серьезным достоинством. У ней скоро появилось предчувствие, что старший должен понравиться ей больше. Она знала: так ей суждено.

Тома Бертрама и вправду можно было счесть премилым молодым человеком; он был из тех, кто пользуется всеобщей любовью, его умение понравиться было такого рода, которое почитают приятным охотнее, нежели иные свойства более высокие, ибо он непринужденно держался, имел прекрасное расположение духа, широкое знакомство и за словом в карман не лез; а Мэнсфилд-парк и звание баронета, которое ему предстояло унаследовать, тоже не пустяк. Мисс Крофорд вскоре почувствовала, что он сам и его положение могли бы ее устроить. Она огляделась, поразмыслила и сочла, что почти все говорит в его пользу: и парк – настоящий парк пяти миль в окружности, и просторный, современной постройки дом так хорошо расположен и защищен, что ему место в любой коллекции гравюр, изображающих дворянские усадьбы английского королевства, разве только его требуется заново обставить, и сестры у Тома милые, маменька сдержанная, и сам он приятный человек, притом, дав слово отцу, отстал от карточной игры, а в будущем станет сэром Томасом. Это бы очень ей подошло; она была уверена, что следует отнестись к нему благосклонно; и соответственно стала проявлять некоторый интерес к его лошади, которая будет участвовать в скачках.

Из-за скачек он должен был уехать вскоре после того, как началось их знакомство, и поскольку, судя по предыдущим отъездам, семья могла ждать его возвращения лишь через много недель, это подвергло бы его страсть раннему испытанию. Со всем пылом влечения он чего только ни говорил, чтобы склонить ее присутствовать на скачках, и строил планы большого приема, на котором они будут присутствовать, но мисс Крофорд все это занимало лишь как тема для разговоров.

Ну а Фанни, что делала и думала все это время она? И каково было ее мнение о приезжих? Не многие восемнадцатилетние девицы так мало склонны высказывать свое мнение, как Фанни. Сдержанно, лишь изредка имея собеседника, она отдавала дань восхищения красоте мисс Крофорд; но, по-прежнему находя мистера Крофорда весьма некрасивым, хотя кузины постоянно утверждали обратное, об нем вовсе не упоминала. Интерес, который возбуждала она сама, был такого свойства:

– Я уже начинаю понимать вас всех, кроме мисс Прайс, – сказала мисс Крофорд, прогуливаясь с братьями Бертрам. – Скажите на милость, она выезжает или не выезжает?.. Я в недоумении... Она вместе со всеми вами обедала у викария, значит, похоже, она выезжает, и однако ж, она так неразговорчива, что трудно этому поверить.

Эдмунд, к которому прежде всего были обращены эти слова, ответил:

– Я, кажется, представляю, что вы имеете в виду... но не берусь ответить на ваш вопрос. Моя кузина уже не ребенок. По годам и здравому смыслу она взрослая, но выезжает или не выезжает – это выше моего понимания.

– И однако же, в этом очень просто разобраться. Различие столь велико. Манера поведения, а также внешний вид обычно совсем разные. До этого случая мне и в голову не приходило, будто можно ошибиться, выезжает девушка или нет. Если девушка не выезжает, она всегда определенным образом одета, носит, например, скромный капор, кажется очень

застенчивой и никогда слова не вымолвит. Можете улыбаться, но, уверяю вас, это так, и так и следует, хотя, случается, в этом чересчур усердствуют. Девушке положено быть тихой и скромной. Самая нежелательная сторона в этом, что, когда девушку вводят в общество, ее поведение часто меняется слишком резко. Иные в самое короткое время переходят от робости к полной ее противоположности – к самонадеянности! Вот в чем недостаток нынешнего порядка вещей. Неприятно видеть девушку восемнадцати, девятнадцати лет, которая так внезапно переменилась, особенно если вы видели ее год назад, когда она едва решалась заговорить. Мистер Бертрам, уж вам-то наверно приходилось иной раз наблюдать такое.

– Разумеется, приходилось. Но едва ли это справедливо. Я вижу, что у вас на уме. Вы подшучиваете надо мною и мисс Андерсон.

– Ни в коем случае. Мисс Андерсон! Я не понимаю, о ком или о чем вы говорите. Я в полном неведении. Но я с величайшим удовольствием стану над вами подшучивать, если вы объясните, о чем речь.

– О, как же ловко вы всё разыграли, но меня не так-то легко провести. Когда вы описывали изменившуюся молодую особу, у вас перед глазами уж наверно была мисс Андерсон. Вы слишком точно ее нарисовали, я не ошибся. Все было именно так. Андерсоны с Бейкер-стрит. Мы как раз вчера о них говорили. Эдмунд, ты ведь слышал, я упоминал Чарлза Андерсона. Как раз тот случай, о котором рассказала сия молодая особа. Когда Андерсон впервые представил меня своему семейству, тому года два, его сестра не выезжала и мне не удавалось втянуть ее в беседу. Однажды утром я просидел там час, дожидаясь Андерсона, в комнате была единственно эта девица да еще маленькая девочка, а может две – гувернантка то ли хворала, то ли отлучилась, маменька же всякую минуту появлялась и исчезала с деловыми письмами; и мне никак не удавалось удостоиться от молодой девицы ни словечка, ни взгляда, никакого подобающего ответа, она поджала губки и отворотилась от меня, да с каким видом! С того дня я не видел ее год. Она стала выезжать. Я встретил ее у миссис Холфорд – и не узнал. Она подошла ко мне, сказала, что мы знакомы, и так пристально на меня глядела, что я совсем смешался, а она знай себе щебечет и смеется, я уж просто не знал, куда деваться. Я чувствовал, что становлюсь всеобщим посмешищем... а мисс Крофорд, без сомнения, слышала эту историю.

– Прелестная история, и столь правдивая, что, осмелюсь сказать, она не к чести мисс Андерсон. Это слишком распространенный недостаток. Маменьки, конечно, еще не совсем верно направляют своих дочерей. Не знаю, в чем состоит их ошибка. Не решусь советовать, как ее избежать, но я, безусловно, вижу, что они часто ошибаются.

– Те, кто своим поведением показывает, как женщине следует себя вести, весьма способствуют исправлению этой ошибки, – галантно заметил мистер Бертрам.

– В чем состоит ошибка, достаточно ясно, – сказал не столь обходительный Эдмунд, – эти девицы плохо воспитаны. Им с самого начала внушили неверные понятия. Их поступки всегда вызываются тщеславием – ни до того, как они начинают появляться на людях, ни после в их поведении нет истинной скромности.

– Ну, не знаю, – нерешительно ответила мисс Крофорд. – Нет, я не могу с вами согласиться. Право же, это далеко не самое важное. Куда хуже, когда девушки, которые еще не выезжают, держатся так же высокомерно и осмеливаются вести себя так же, как если бы выезжали, а я такое видела. Вот это хуже некуда, вовсе отвратительно!

– Да, это и вправду никуда не годится, – сказал мистер Бертрам. – Это сбивает с толку, не знаешь, как себя вести. Плотно облегающий голову капор и эдакий смиренный вид, которые вы так хорошо описали, куда уж верней – сразу говорят, чего тут ждать; а из-за их отсутствия я в прошлом году попал в пренеприятную историю. Прошлым сентябрем, только воротясь из



Вест-Индии, я на неделю поехал в Рамсгит с приятелем, со Снидом, я уже упоминал о нем при тебе, Эдмунд. Там были его отец и мать и сестры, все новые для меня лица. Когда мы приехали, их не было дома; мы отправились на поиски и нашли их на пристани. Миссис Снид была там с двумя дочерьми и кое с кем из знакомых. Я, как положено, поклонился, и, поскольку миссис Снид была окружена мужчинами, присоединился к одной из ее дочерей, сопровождал ее всю дорогу домой и всячески старался ее занять; молодая девица держалась вполне непринужденно и говорила столь же охотно, как слушала. У меня и в мыслях не было, будто я веду себя не так, как положено. По виду сестры ничем не отличались друг от друга: обе хорошо одеты, с вуалями и зонтиками, как и все другие девицы; но после оказалось, что все свое внимание я уделил младшей сестре, которая не выезжала, и этим чрезвычайно обидел старшую. В ближайшие полгода мисс Огасту еще не следовало замечать, и, я думаю, мисс Снид никогда мне этого не простила.

– Да, и правда нехорошо. Бедная мисс Снид! Хотя у меня и нет младшей сестры, я ей сочувствую. Как это должно быть досадно, когда тебя раньше времени перестают замечать. Но тут во всем виновата маменька. Мисс Огасту должна была сопровождать гувернантка. Подобная половинчатость никогда не приводит ни к чему хорошему. Но теперь удовлетворите мое любопытство насчет мисс Прайс. Она выезжает на балы? А на обедах бывает всюду, не только у моей сестры?

– Нет, – отвечал Эдмунд, – не думаю, чтоб она хоть раз была на балу. Моя матушка редко ездит в гости, обедает единственно у миссис Грант, более ни у кого, и Фанни остается дома с нею.

– О, тогда все ясно. Мисс Прайс не выезжает.

Мистер Бертрам отправился в ... и мисс Крофорд была готова ощутить величайшую пустоту в обществе, образованном двумя их семействами, и даже скучать по нему во время их встреч, которые в последнее время происходили чуть не всякий день; и когда вскоре после его отъезда они все вместе обедали в Мэнсфилд-парке, она заняла свое излюбленное место неподалеку от конца стола, уверенная, что смена хозяина заставит ее почувствовать весьма печальную перемену. Она не сомневалась, что обед пройдет прескучно. Не в пример брату, Эдмунд не найдет тем для беседы. Супом станут обносить при унылом молчании, вино пить без всяких улыбок и милого вздора, дичину резать без сопровождения хотя бы одного-единственного рассказа о том, как вкусна была оленья нога в прошлый раз, или занимательной истории «об одном моем друге». Ей придется искать развлечение в том, что происходит в другом конце стола, или, наблюдая за мистером Рашуотом, который теперь появился в Мансфилде, впервые после приезда Крофордов. Он гостил в соседнем графстве у приятеля, у которого недавно на новый манер переустроили парк, и воротился полный мыслями об этом, снедаемый жаждой переустроить и свою усадьбу таким же манером; и хотя ничего толком рассказать не мог, говорил единственно о таком переустройстве. Это уже обсуждали в гостиной и теперь возобновили разговор в столовой. Было очевидно, что мистер Рашуот желал заинтересовать этим всего более мисс Бертрам и узнать ее мнение; и хотя ее поведение говорило скорее не о том, что она сколько-нибудь стремится пойти ему навстречу, но о том, что она сознает свое превосходство над ним, упоминание Созертон-корта и связанных с ним планов наполняло ее ощущением довольства и не позволяло вести себя совсем уж нелюбезно.

– Я бы хотел, чтобы вы увидели Комптон, – говорил он, – это само совершенство! Никогда в жизни не видел, чтобы усадьба так изменилась. Я сказал Смиту, что не понимаю, где я нахожусь. Такого красивого подъезда к дому не сыщешь во всей Англии. Дом открывается взгляду в совершенно неожиданном повороте. Право слово, приехав вчера в Созертон, я вдруг увидел, что он похож на тюрьму, на самую что ни на есть мрачную тюрьму.

– Стыд и срам! – воскликнула миссис Норрис. – Нечего сказать – тюрьма! Созертон – распрекраснейшая усадьба.

– Ее вне всякого сомнения необходимо переустроить, сударыня. В жизни не видел дома, который было бы так необходимо переустроить. И он такой унылый, просто ума не приложу, что с ним можно поделать.

– Не удивительно, что мистер Рашуот так думает именно сейчас, – с улыбкой сказала миссис Грант, обращаясь к миссис Норрис, – но будьте уверены, когда наступит время, которого он ждет всем сердцем, в Созертоне все будет переустроено.

– Мне надо попытаться что-то сделать со своей усадьбой, – сказал мистер Рашуот, – но что, я не знаю. Я надеюсь, у меня будет добрый друг, который мне поможет.

– Мне кажется, в таких обстоятельствах самым лучшим другом для вас был бы мистер Рептон<sup>2</sup>, – невозмутимо заметила старшая мисс Бертрам.

– Как раз об этом я и думал. Раз он так хорошо все сделал у Смита, я полагаю, мне надобно немедля с ним условиться. Он берет пять гиней за день.

– Да бери он все десять, уж вас-то наверняка это не должно останавливать! – воскликнула миссис Норрис. – Цена не должна быть вам помехой. Будь я на вашем месте, я б за ценой не постояла. Я велела бы все сделать в самом изысканном стиле и наилучшим образом. Такая усадьба, как Созертон-корт, заслуживает, чтоб там было сделано все, чего

можно достичь с помощью вкуса и денег. Там просторно, есть где развернуться, а парк с лихвой вознаградит вас за ваши старания. Коснись до меня, так, если б у меня была хоть пятая доля той земли, что у вас в Созертон-корте, я б постоянно что-нибудь сажала да что-нибудь переустраивала, уж очень мне это по сердцу и по нраву. В моем теперешнем пристанище земли всего пол-акра, и было бы вовсе нелепо что-нибудь такое затевать. Курам на смех. Но будь у меня поболее места, я б находила огромное удовольствие в переустройстве и посадках. В пасторате мы очень много этим занимались; он стал совсем не тот, каким был, когда мы приехали. Вы, молодежь, пожалуй, мало что помните о нем. Но был бы здесь дорогой сэр Томас, он-то мог бы вам рассказать, как и что мы переустроили: мы бы сделали и еще многое, если б не слабое здоровье бедного мистера Норриса. Он, бедняжка, почти никогда не выходил из дому, не мог порадоваться делам рук наших, и это лишало меня охоты заняться теми усовершенствованиями, о которых мы не раз говорили с сэром Томасом. Когда б не болезнь мистера Норриса, мы собирались продолжить ограду сада и насадить деревья, чтобы отгородить кладбище, как сделал доктор Грант. Мы и так всегда что-то делали. Всего за год до кончины мистера Норриса мы посадили у стены конюшни абрикос, и теперь он превратился в такое замечательное дерево, любо смотреть, сэр, – dokonчила она, обратясь к доктору Гранту.

– Дерево, без сомненья, прекрасно разрослось, сударыня, – отвечал доктор Грант – Почва хорошая, и не было случая, чтоб, пройдя мимо, я не пожалел, что плоды не стоят тех усилий, которые потребуются, чтобы их снять.

– Это вересковая пустошь, сэр, мы купили эту землю как пустошь, и она нам стоила... то есть это подарок сэра Томаса, но мне попался на глаза счет, и я знаю, земля стоит семь шиллингов и была записана как вересковая пустошь.

– Вас провели, сударыня, – отвечал доктор Грант. – Картофель, который мы сейчас едим, с таким же успехом можно принять за абрикос с вересковой пустоши, что и плод, который снят с того дерева. Он в лучшем случае безвкусный; хороший абрикос пригоден для еды, а ни один абрикос из моего сада непригоден.

– По правде говоря, сударыня, мистер Грант едва ли знает истинный вкус наших абрикосов, – через стол обращаясь к миссис Норрис, тихонько сказала миссис Грант, будто не желая, чтобы ее слышали другие. – Не знаю, удалось ли ему попробовать хотя один, – плод этот такой ценный и не требует особых трудов, а наши еще и замечательно крупные, хорошего сорта, так что при раннем варенье да пирогах с начинкой моя кухарка ухитряется употребить их все.

Миссис Норрис, которая стала уже покрываться краской, успокоилась, и некоторое время разговор шел не о переустройстве Созертон-корте, а об других материях. Доктор Грант и миссис Норрис редко находились в согласии; их знакомство началось со спора о деньгах за износ пасторского дома, и обыкновения у них были вовсе различные.

Немного погодя мистер Рашуот опять принялся за свое.

– Именем Смита восхищается все графство. А до того, как им занялся Рептон, там и смотреть было не на что. Я предполагаю сговориться с Рептоном.

– На вашем месте, мистер Рашуот, я бы насадила какой-нибудь миленький кустарник, – сказала леди Бертрам. – В хорошую погоду приятно выйти в аллею, обсаженную кустами.

Мистер Рашуот жаждал заверить ее светлость в своем совершенном согласии и попытался сказать что-то лестное; но, говоря о своей покорности именно ее вкусу, с которым будто бы неизменно совпадали и его всегдашние намерения, да еще сверх того стараясь дать понять, сколь неизменно он внимателен к удобству всех дам, и исподволь внушить, что лишь одной-единственной он страстно желает угождать, он совсем запутался, и Эдмунд был рад

положить конец его речи, предложив ему вина. Однако же мистеру Рашуоту, обыкновенно вовсе неразговорчивому, было еще что сказать о дорогом его сердцу предмете.

– У Смиа земли всего не многим более ста акров, само по себе маловато, и тем удивительней, что их удалось так переустроить. Ну, а в Созертоне у нас добрых семьсот акров, не считая заливных лугов; так что, я полагаю, если можно было так преобразить Комптон, нам отчаиваться незачем. Там срубили два не то три красивых старых дерева, которые росли чересчур близко к дому, и это удивительно, какой теперь открывается вид, так что я полагаю. Рептон, или кто-нибудь вроде него, в Созертоне непременно срубит аллею, знаете, ту, которая ведет с запада к вершине холма, – говорил он, обращаясь более всего к мисс Бертрам. Но мисс Бертрам подумала, что ей вот как пристало ответить:

– Аллея? Ах нет, не помню. Право же, я очень мало знаю о Созертоне.

Фанни, которая сидела по другую руку Эдмунда, как раз напротив мисс Крофорд, и внимательно слушала, теперь посмотрела на него и негромко сказала:

– Рубить аллею! Как жаль! Это не приводит тебе на мысль Купера? «Аллеи срублены, и вновь скорблю о вашей незаслуженной судьбе»З.

– Боюсь, аллее не на что надеяться, Фанни, – с улыбкой отвечал Эдмунд.

– Хотелось бы мне увидеть Созертон до того, как вырубят деревья, увидеть усадьбу такой, какая она сейчас, какой была с давних пор. Но, наверно, мне это не удастся. – Ты никогда там не была? Ну, конечно, у тебя не было случая. И к сожалению, верхом туда далеко. Надо нам что-нибудь придумать.

– Это не важно. Когда я его наконец увижу, ты мне расскажешь, что в нем изменили.

– Как я понимаю, Созертон старинная усадьба и не лишена величия, – сказала мисс Крофорд. – Она в каком-то определенном стиле?

– Дом построен во времена Елизаветы, он самый обыкновенный, кирпичный, обширный, тяжеловесный, но внушительный и со множеством хороших комнат. Расположен он неудачно, в одном из самых низких мест парка, и оттого его неудобно переустраивать. Но роща прекрасная, и есть ручей, который, надо полагать, может очень послужить к украшению усадьбы. Я думаю, мистер Рашуот совершенно прав, намереваясь придать ей современный вид, и нисколько не сомневаюсь, что все будет сделано наилучшим образом.

Мисс Крофорд слушала его уважительно и сказала себе: «Как прекрасно воспитан человек, он отлично вышел из трудного положения».

– Не хочу навязывать мистеру Рашуоту свое мнение, – продолжал Эдмунд, – но если бы я переделывал усадьбу на новый лад, я бы не стал доверяться чужим рукам. Пусть бы у меня получилось не так красиво, зато по моему собственному вкусу, и не разом, а постепенно. Я предпочел бы мириться с собственными промахами, а не с чужими.

– Вы-то, конечно, знали бы, чего хотите, а вот мне это не подходит. Не могу я в таких делах ничего ни представить заранее, ни измыслить, мне подавай все готовое; и будь у меня собственная усадьба, я была бы премного благодарна любому мистеру Рептону, лишь бы он взялся за это и с помощью моих денег навел там всю красоту, на какую способен; и покуда он все не закончит, я ни разу ни на что и не гляну.

– А для меня такая была бы радость видеть, как все постепенно меняется, – сказала Фанни.

– Ну, да, так уж вас воспитали. В мое образование это не входило, и единственный подобный урок, преподанный мне далеко не самым любимым человеком, показал мне, что постепенное переустройство поистине мученье. Три года назад адмирал, мой почтенный дядюшка, купил небольшой дом в Туикенеме, дабы нам всем было где проводить лето. И мы с тетужкой отправились туда в полном восторге, но, хотя дом был

прелестнейший, мы скоро поняли, что его необходимо переустроить. И три месяца повсюду была грязь и беспорядок, ни одна дорожка не посыпана песком, ни на одну скамью невозможно присесть. Я бы хотела, чтобы при загородном доме все доведено было до наивозможнейшего совершенства – аллеи, обсаженные кустами, и цветники, и множество садовых скамей. Но все должно быть сделано без моего попеченья. Генри – иной, он любит сам во всем участвовать.

Услыхав, как мисс Крофорд, которую Эдмунд весьма склонен был восхищаться, небрежно говорит о своем дяде, он огорчился. Это не согласовалось с его понятиями о приличиях, и он молчал до тех пор, пока ее дальнейшие улыбки и живость не побудили его пока отодвинуть эти мысли.

– Мистер Бертрам, – сказала она, – я наконец получила весть о своей арфе. Теперь я знаю, что она в Нортгемптоне, в целости-сохранности, и все десять дней, вероятно, там и была, несмотря на торжественные заверения в обратном.

Эдмунд выразил удовольствие и удивление.

– А все потому, что мы действовали слишком прямо: посылали слугу, ездили сами – от Лондона туда не будет и семидесяти миль, – но сегодня утром мы узнали про это верным путем. Арфу видел один арендатор и сказал мельнику, а мельник – мяснику, а зять мясника оставил записочку в лавке.

– Я очень рад, что так или иначе вы получили о ней известие, и, надеюсь, теперь уж не будет никаких проволочек.

– Я должна получить ее завтра. Но как, по-вашему, ее доставят? Не в фургоне или в двуколке. Нет, нет! Ничего такого здесь нанять невозможно. С таким же успехом я могла спросить носильщиков или ручную тележку.

– Я думаю, в разгар позднего сенокоса нелегко нанять лошадь и повозку?

– Я изумилась, узнав, какое это вызвало недовольство. Мне казалось, здесь сколько угодно лошадей и повозок, и я велела своей горничной с кем-нибудь сговориться; ведь стоит мне выглянуть в окошко из моей туалетной, и я вижу Деревенский двор, а гуляю в аллее – непременно пройду мимо другого двора, вот я и подумала, стоит спросить – и повозка к твоим услугам, и еще жалела, что не всем смогу предоставить такой выгодный случай. Вообразите же мое удивленье, когда оказалось, что просьба моя самая неразумная и невозможная на свете, что я провинилась перед всеми арендаторами, всеми работниками, перед самым сеном во всем приходе. А уж что до управляющего доктора Гранта, я чувствую, от него мне надобно держаться подальше. И даже мой брат, который вообще сама доброта, когда узнал, что я затеяла, посмотрел на меня довольно хмуро.

– От вас нельзя было ожидать, чтоб вы подумали об этом заранее, но теперь, когда вы уже задумались, вы должны понять, как важно убрать сено. Должно быть, нанять повозку в любое время не так легко, как вы полагаете, у наших арендаторов не в обычае отдавать их на сторону, а в страду им, верно, никак не обойтись без лошади.

– Со временем я пойму все ваши порядки. Но я приехала сюда с бесспорным лондонским правилом, что за деньги можно получить все, и поначалу была несколько смущена стойкой независимостью здешних обычаев. Однако же завтра арфу мне привезут. Генри само добросердечие, и он предложил привезти ее в своем ландо. Не правда ли, она будет доставлена с почетом?

Эдмунд сказал, что арфа – его любимый инструмент и он надеется, что в скором времени ему позволят ее послушать. Фанни вовсе никогда не слышала арфу и тоже очень хотела послушать.

– Я буду счастлива поиграть вам обоим, – отвечала мисс Крофорд, – по крайней мере

столько, сколько вы пожелаете слушать, возможно, даже много больше – ведь я сама горячо люблю музыку, а когда слушатели от природы наделены тонким вкусом, исполнителю много приятней. Пожалуйста, мистер Бертрам, если вы пишете своему брату, прошу вас заверить его, что моя арфа прибывает, он столько слышал, как я по ней тоскую. И если вам не трудно, можете сказать, что из сострадания к его чувствам я приготовлю к его возвращению самые грустные пьесы, ибо я знаю, что его лошадь потерпит поражение.

– Если буду писать, скажу все, что вы пожелаете; но пока я не предвижу такого случая.

– Да нет, вероятно, даже если б он уехал на год, будь ваша воля, ни вы бы ему, ни он вам ни разу не написали. Предвидеть такой случай поистине невозможно. Что за странные создания братья! Пока не возникнет самая настоятельная необходимость, вы нипочем не напишете друг другу; а когда вам все-таки приходится взять в руки перо, чтобы сказать, что такая-то лошадь заболела или такой-то родственник умер, вы стараетесь обойтись самым малым числом слов. У вас у всех одна манера письма. Я прекрасно ее знаю. Вот Генри во всем остальном самый образцовый брат, он любит меня, советуется со мною, доверяет мне и готов разговаривать со мною часами, и однако, он ни разу не написал мне более одной странички, а часто всего лишь – «Дорогая Мэри, я только что приехал. В Бате, кажется, полно народу, и все здесь как обыкновенно. Искренне твой». Такова чисто мужская манера, таков законченный образец братского письма.

– Когда они вдали от всей семьи, они пишут и длинные письма, – сказала Фанни, зардевшись при мысли об Уильяме.

– У мисс Прайс брат в море, – сказал Эдмунд, – он безупречный корреспондент, и это внушает ей мысль, что вы чересчур сурово о нас судите.

– В море, вот как?.. Конечно, в военном флоте?

Фанни предпочла бы, чтобы историю Уильяма поведал Эдмунд; но его решительное молчание вынудило ее самое рассказать о положении брата; говоря о его профессии и о чужеземных городах и странах, где он побывал, она оживилась, но стоило ей помянуть, сколько лет прошло с той поры, как он покинул родные края, и в глазах у ней заблестели слезы. Мисс Крофорд любезно пожелала ему скорейшего продвижения по службе.

– Вы ничего не знаете о капитане моего кузена? – спросил Эдмунд. – Капитан Маршалл? Сколько я понимаю, у вас широкое знакомство среди морских офицеров?

– Достаточно широкое среди адмиралов, но среди младших офицеров мы мало кого знаем, – сказала она надменно. – Капитаны, должно быть, превосходные люди, но они не нашего круга. Я могу много порассказать о разных адмиралах, и о них самих, и об их флагманских кораблях, и о том, У кого какое жалованье, и об их мелких ссорах и зависти. Но вообще могу вас заверить, что их всех обходят по службе и со всеми очень скверно обращаются. Жизнь в доме дяди, конечно же, свела меня с кругом адмиралов. Я много видела и контр-адмиралов и вице-адмиралов.

Эдмунд вновь стал серьезен и ответил только:

– Это благородная профессия.

– Да, профессия неплохая, но при двух условиях: если она дает возможность разбогатеть и если человек умеет не сорить деньгами. Иными словами, она не из любимых моих профессий. Мне она никогда не была по сердцу.

Эдмунд опять заговорил об арфе и о том, с какой радостью он предвкушает возможность услышать игру мисс Крофорд.

Меж тем остальные все еще рассуждали о переустройстве парка; и миссис Грант не могла не обратиться к брату, хоть и отвлекла этим его внимание от мисс Джулии Бертрам.

– Генри, дорогой, а тебе нечего сказать? Ты ведь сам занимался переустройством, и,

сколько я слышала, Эврингем может соперничать с лучшими усадьбами Англии. Его природные красоты несравненны. Мне и прежде казалось, Эврингем само совершенство: там такие волнистые земли и такие леса! Чего бы я не отдала, чтобы вновь его увидеть!

– Мне чрезвычайно приятно твое лестное мнение о нем, – отвечал Генри. – Но, боюсь, ты несколько разочаруешься. Он не будет соответствовать твоим нынешним вкусам. Там и земли-то всего ничего... Ты удивишься, как он мал, а что до переустройства, там почти ничего нельзя было сделать, сушие пустыки... Я предпочел бы заниматься этим куда более.

– Вы любите подобные занятия? – спросила Джулия.

– Безмерно. Но при столь благоприятном ландшафте, когда даже самому неопытному глазу было заметно, что там оставалось сделать совсем немного, и при вытекающих из этого моих намерениях Эврингем стал таким, каков он теперь, уже через три месяца после того, как я вступил в совершеннолетие. План переустройства возник у меня еще в Вестминстере, кое-что я, пожалуй, изменил, будучи в Кембридже, и двадцати одного года привел его в исполнение. Я склонен завидовать мистеру Рашуоту, у него впереди столько радости. А радость, которая предстояла мне, я вкусил в один краткий миг.

– Кто быстро понимает, тот быстро решает и быстро действует, – сказала Джулия. – Вот уж у вас никогда не будет недостатка в занятиях. Чем завидовать мистеру Рашуоту, помогите ему советом.

Миссис Грант услышала последние слова Джулии и горячо к ней присоединилась, заверяя всех, что никто не понимает в подобных делах лучше ее брата; а поскольку мисс Бертрам тоже загорелась этой мыслью и полностью ее поддержала, заявив, что, по ее мнению, куда лучше искать совета у друзей и бескорыстных советчиков, чем сразу же отдать все в руки специалиста, мистер Рашуот исполнился желания прибегнуть к помощи мистера Крофорда; и мистер Крофорд, как требовали приличия, заверив, что способности его весьма скромные, заявил, что он весь к его услугам и рад быть полезен. Тогда мистер Рашуот стал просить мистера Крофорда оказать ему честь пожаловать в Созертон и погостить там; а меж тем миссис Норрис, будто читая в умах своих племянниц, вовсе не пришедших в восторг от такого плана, ибо он лишал их общества мистера Крофорда, внесла свою поправку:

– Без сомненья, мистер Крофорд охотно поедет. Но почему не поехать и еще кое-кому из нас? Почему нам не составить ему компанию? Тут многим интересны ваши нововведения, дорогой мистер Рашуот, и многим хочется услышать мнение мистера Крофорда прямо на месте, и может быть, их мнения тоже вам сгодятся; а что до меня, я давно желаю снова нанести визит вашей почтенной матушке; моя невнимательность вызвана единственно отсутствием собственных лошадей; а теперь я могла бы поехать, и, пока все остальные ходили бы да судили-рядили, я бы посидела часок-другой с миссис Рашуот, а после мы все могли бы вернуться сюда к позднему обеду или, если то будет удобно вашей матушке, пообедать в Созертоне и в свое удовольствие прокатиться домой при луне. Я полагаю, мистер Крофорд посадит в свое ландо моих двух племянниц и меня, Эдмунд может поехать верхом, сестра, а Фанни останется с тобою дома.

Леди Бертрам возражать не стала, а все, кому предстояло ехать, поспешили выразить свою готовность, один только Эдмунд, все выслушав, не произнес ни слова.

– Скажи, Фанни, а как тебе теперь нравится мисс Крофорд? – спросил Эдмунд на другой день, после того, как сам поразмыслил об этом. – Как она понравилась тебе вчера?

– Понравилась... даже очень. Мне нравится, как она разговаривает. Ее интересно слушать, и она необыкновенно хорошенькая, просто удовольствие смотреть на нее.

– Наружность ее поистине очень привлекательна. У нее на редкость выразительное лицо! Но в ее словах, Фанни, тебя ничто не покорило?

– Да, правда! Ей не следовало так говорить о своем дяде. Я очень удивилась. Она жила у дяди столько лет, и, каковы бы ни были его недостатки, он так любит ее брата и, говорят, обращается с ним как с родным сыном. Я просто не поверила своим ушам!

– Я так и думал, что тебя это покорило. Не годится так говорить... некрасиво.

– И по-моему, сущая неблагодарность.

– Неблагодарность – весомое слово. Не знаю, есть ли у ее дяди хоть какое-то право ждать от мисс Крофорд благодарности; у жены его, без сомнения, было такое право; и как раз сердечное тепло и уважение к памяти тетушки сбили ее с толку. Она оказалась в трудном положении. С таким горячим сердцем и живой душой, должно быть, нелегко отдать должное своему чувству к миссис Крофорд, не бросив при этом тень на адмирала. Не берусь судить, кто больше повинен в их раздорах, хотя нынешнее поведение адмирала, пожалуй, склоняет к тому, чтобы занять сторону его жены; и то, что мисс Крофорд полностью ее оправдывает, только естественно и привлекательно. Я не осуждаю ее мнения, но высказывать их прилюдно, право же, неуместно.

– А не кажется тебе, – спросила Фанни, немного поразмыслив, – что эта неуместность бросает тень на саму миссис Крофорд, ведь племянницу полностью воспитала она? И, видно, не сумела внушить ей верное понятие о том, чем она обязана адмиралу.

– Справедливое замечание. Да, недостатки племянницы нам следует отнести на счет тетушки; и тогда еще понятней, в каких она росла неблагоприятных условиях. Но ее нынешний дом должен принести ей пользу. Миссис Грант всегда держит себя безупречно. Приятно слушать, с какой любовью мисс Крофорд говорит о своем брате.

– Да, только недовольна, что он пишет ей такие короткие письма. Она меня насмешила. Но я не могу так уж высоко ценить любовь и доброту брата, который не дает себе труда написать сестре, когда они в разлуке, ничего достойного внимания. Уж конечно, Уильям никогда, ни при каких обстоятельствах так со мною не обошелся бы. И какое у ней право думать, что и ты, если уедешь, не станешь писать длинных писем?

– Право живого ума, Фанни, который ловит всякий повод, лишь бы позабавиться или позабавить других. Это вполне позволительно, когда не сдобрено дурным настроением или грубостью. А ни в наружности, ни в манерах мисс Крофорд нет и тени этого – ничего резкого, кричащего, вульгарного. Она на редкость женственна, за исключением тех частностей, о которых мы говорили. Тут ей нет оправданий. Я рад, что в этом мы с тобою единомышленны.

Годами Эдмунд формировал ум Фанни, снискал ее привязанность, и не удивительно, что она переняла его образ мыслей; правда, теперь появилась опасность, что в эту пору и по этому поводу они разойдутся во взглядах, так как восхищение Эдмунда новой соседкою могло завести его туда, куда Фанни не в состоянии была за ним последовать. Очарование мисс Крофорд не ослабевало. В придачу к ее прелести, остроумию и неизменно хорошему настроению прибыла арфа, и, стоило только попросить, мисс Крофорд играла с величайшей



охотою, с выражением и вкусом, что необыкновенно ей шло, и после каждой пьесы находилось несколько к месту сказанных слов. Ради удовольствия послушать свой любимый инструмент Эдмунд бывал в пасторате всякий день; каждое утро он получал приглашение на завтрашнее утро, ибо мисс Крофорд приятно было иметь слушателя, и в скором времени все пошло так, как и следовало ожидать.

Молодая девица, хорошенькая, живая, с арфой, столь же элегантною, как она сама, подле окна, выходящего на газон, окруженный кустами в пышной летней листве, – этого было довольно, чтобы покорить сердце любого мужчины. Время года, место, сама атмосфера, все располагало к нежным чувствам. Миссис Грант со своими пальцами тоже была им не без пользы; все сливалось в гармонию; а так как когда рождается любовь, ей способствует всякая малость, то заслуживало внимания даже и блюдо с сэндвичами, которым оказывал честь доктор Грант. Не обдумывая происходящее, не зная, к чему стремится, Эдмунд, однако же, за неделю подобных встреч был уже порядком влюблен; и, к чести мисс Крофорд, надобно прибавить, что, хотя не был он ни светским человеком, ни старшим братом, хотя не владел искусством лести или занимательной светской беседы, он становился ей мил. Она это чувствовала, хотя никак не предвидела и едва ли могла понять; ведь приятен он был не на общепринятый лад – не болтал всякий вздор, не делал комплименты, в мнениях своих был непоколебим, внимание свое выражал спокойно и просто. Быть может, в его искренности, твердости, цельности было некое очарование, которое мисс Крофорд, вероятно, оказалась способна почувствовать, хотя и не умела отдать себе в нем отчет. Она, однако же, не слишком много размышляла о том: Эдмунд был ей приятен, ей нравилось его присутствие, довольно и этого.

Фанни не удивлялась, что каждое утро Эдмунд проводит в пасторате; она и сама была бы рада бывать там, будь у ней возможность являться без приглашений и никем не замеченной, единственно чтобы послушать арфу; не удивлялась она и тому, что, когда после вечерней прогулки оба семейства вновь расставались, Эдмунд считал уместным провожать миссис Грант с сестрою до их дома, меж тем как мистер Крофорд всецело посвящал себя дамам из усадьбы; но обмен этот она полагала весьма неравноценным, и если бы так было и за столом и Эдмунд не смешивал ей вино с водою, она предпочла бы вовсе обходиться без вина. Она несколько недоумевала, что он мог проводить столько часов с мисс Крофорд и не видеть притом недостатков, схожих с теми, которые уже заметил и о которых ей самой что-нибудь непременно напоминало почти всякий раз, как она оказывалась в обществе этой особы; но так уж оно было. Эдмунд любил говорить с нею о мисс Крофорд, но ему, казалось, довольно и того, что дядюшке адмиралу от нее уже больше не доставалось; и Фанни не решалась делиться с ним своими наблюдениями, опасаясь показаться недоброжелательной. Первая истинная боль, испытанная ею по вине мисс Крофорд, была следствием желания той научиться, по примеру молодых обитательниц усадьбы, ездить верхом, которое возникло у ней вскоре после приезда в Мэнсфилд и которое Эдмунд поддержал, когда их знакомство стало более тесным, и для первых попыток предложил свою спокойную кобылу как самую подходящую из всех имеющихся в обеих конюшнях. Однако ж этим предложением он вовсе не думал причинить боль или огорчение своей кузине: ее это не должно было ни на день лишить прогулки верхом. Кобылу станут забирать в пасторат лишь за полчаса до того, как мисс Крофорд вознамерится сесть в седло; и когда Эдмунд впервые предложил это, Фанни вовсе не почувствовала себя уязвленной, напротив, исполнилась благодарностию, ведь он спросил у ней разрешения отпустить кобылу.

Первое испытание мисс Крофорд выдержала с честью и не доставила Фанни никаких неудобств. Эдмунд, который привел кобылу и всем распоряжался, воротился с нею вовремя,

еще до того, как Фанни и степенный старый конюх, сопровождавший ее всякий раз как она ехала верхом, без своих кузин, были готовы отправиться в путь. Назавтра все прошло не столь безупречно. Мисс Крофорд получала такое удовольствие от верховой езды, что попросту не могла остановиться. Неугомонная и бесстрашная, и хотя небольшого роста, зато крепкого сложения, она, казалось, нарочно создана была стать наездницей; и к чистой и неподдельной радости, какую она получала от самих уроков верховой езды, что-то, вероятно, прибавилось от присутствия и наставлений Эдмунда, да еще от уверенности, что своими редкостными успехами она превосходит возможности, отпущенные природой женщине, и потому ей никак не хотелось спешиваться. Фанни была готова и ждала, и тетушка Норрис уже принялась распекал ее за то, что она мешкает, а ни лошади не было и в помине, ни Эдмунд не объявлялся. Чтобы избавиться от тетушки и поискать Эдмунда, Фанни вышла в парк.

Оба дома, хотя и разделенные едва ли полумилей, не были в пределах видимости друг друга; но если пройти от парадных дверей полсотни шагов и посмотреть вдоль парка, открывался вид на пасторат и все его уголья, полого поднимающиеся за сельской дорогой; и на лугу доктора Гранта Фанни тотчас всех увидела – Эдмунд и мисс Крофорд ехали бок о бок верхами, а доктор, и миссис Грант, и мистер Крофорд с двумя или тремя грумами стояли неподалеку и наблюдали. Ей показалось, что все они в наилучшем настроении, все исполнены интереса к одному и тому же, все, без сомненья, превеселы, ибо веселый шум достигал и до нее. А вот ее этот шум совсем не порадовал; подумалось, что Эдмунд, верно, забыл об ней, и вдруг больно сжалось сердце. Она не могла отвести глаз от луга, не могла не смотреть на все, что там происходит. Сперва мисс Крофорд и ее спутник шагом, по кругу, объехали поле, совсем не маленькое; потом, явно по ее предложенью, пустились галопом; и Фанни, при ее робкой натуре, поражалась, как ловко та сидит на лошади. Через несколько минут они остановились, Эдмунд был рядом с мисс Крофорд, что-то говорил, похоже, учил обращаться с поводьями, держал ее руку в своей; Фанни видела это, а быть может, дорисовала в своем воображении то, чего увидеть не могла. Ей не следует всему этому удивляться; что может быть естественней для Эдмунда, он ведь всегда старается каждому помочь, он со всеми и каждым неизменно добр. Но она невольно подумала, что мистер Крофорд вполне мог бы избавить его от беспокойства, что брату особенно пристало и прилично было бы взять такую заботу на себя; однако мистер Крофорд, при всем его хваленом добросердечии и при всем его уменье управляться с конем, вероятно, оказался бы тут профаном, и далеко ему было до деятельной доброты Эдмунда. Ей пришло на ум, что кобыле нелегко служить двум всадникам: уж если забыли о второй всаднице, должны бы подумать о бедняге лошади.

Вскоре, глядя на всадников, Фанни несколько успокоилась, так как общество на лугу рассеялось и мисс Крофорд, все еще верхом, но в сопровожденье пешего Эдмунда проехала через калитку в аллею, в парк, и направилась к месту, где стоял она. Теперь она была в страхе, как бы не показаться грубой и нетерпеливой, и пошла им навстречу, горячо желая избежать этого подозрения.

– Дорогая мисс Прайс, – сказала мисс Крофорд, едва подъехала настолько, чтобы ее можно было услышать, – я еду, чтоб самой принести извинения за то, что заставила вас ждать... но мне решительно нечем оправдаться... я знала, что уже поздно и что я веду себя весьма дурно. И потому очень вас прошу, вы должны меня простить. Эгоизм, знаете ли, всегда должно прощать, ведь его не вылечишь.

Фанни ответила чрезвычайно учтиво, и Эдмунд прибавил, что ей, конечно же, некуда спешить.

– Право, времени более чем достаточно, чтобы моя кузина могла успеть дважды

проехать то расстояние, какое обыкновенно проезжает, – сказал он, – и, помешав ей выехать на полчаса ранее, вы избавили ее от неудобства: сейчас натянуло облака, и она уже не будет страдать от жары. Надеюсь, вы сами не утомились от столь долгой тренировки. Я бы предпочел, чтоб вам не надо было возвращаться домой пешком.

– Уверяю вас, меня только и утомляет, что необходимость спешиться, – сказала мисс Крофорд, прыгнув на землю с его помощью. – Я очень крепкая. Меня никогда ничто не утомляет, кроме того, что мне не по вкусу. С очень большой неохотой уступаю вам место, мисс Прайс, но искренне надеюсь, что вам предстоит приятная прогулка и что я услышу одно только хорошее об этой милой, восхитительной, красивой лошади.

Старый конюх, который ждал поодаль со своей лошадью, теперь подошел к ним, посадил Фанни в седло, и они тронулись в противоположную сторону парка; и на душе у ней нисколько не полегчало, когда, оборотясь, она увидела, что мисс Крофорд и Эдмунд спускаются с холма по направлению к деревне; не порадовал ее и конюх своим разговором об том, как ловко мисс Крофорд ездит верхом, за чем он наблюдал почти с таким же интересом, как сама Фанни.

– Одно удовольствие глядеть, когда миледи так лихо ездит верхом! – говорил он. – Ни в жисть не видал, чтоб кто лучше сидел в седле. У ней вроде и в мыслях того нет, чтоб бояться. Совсем не так, как вы, мисс, когда впервой начали, на Пасху тому будет шесть лет. Господи помилуй! Да как же вы дрожали, когда сэр Томас велел посадить вас на лошадь!

В гостиной тоже превозносили мисс Крофорд. Сестры Бертрам полностью оценили ее достоинства – прирожденную силу и храбрость; она, как и они, получала удовольствие верховой езды, как они, обладала редкостными способностями к этому искусству, и они расхваливали ее с величайшим удовольствием.

– Я так и знала, что она будет хорошо ездить верхом, – говорила Джулия, – у ней для этого подходящее сложение. Фигура такая же складная, как у брата.

– И она тоже всегда хорошо настроена, и такая же деятельная, – прибавила Мария. – Поневоле думаешь, что искусство верховой езды во многом зависит от состояния духа.

Когда вечером они расходились, Эдмунд спросил Фанни, собирается ли она завтра кататься верхом.

– Нет, не знаю, если тебе нужна лошадь, то нет, – ответила она.

– Мне самому она вовсе не нужна, – сказал он, – но когда бы тебе ни пришла охота остаться дома, я думаю, мисс Крофорд была бы рада воспользоваться ею на более долгий срок... иными словами, на все утро. Она непременно желает доехать до Мэнсфилдского выгона, миссис Грант говорила ей, что оттуда открываются замечательные виды, и я нисколько не сомневаюсь, что ей вполне это по силам. Но для этого подойдет любое утро. Она была бы чрезвычайно огорчена, если бы помешала тебе. И это вправду было бы очень дурно... Ведь она катается единственно ради удовольствия, а ты ради здоровья.

– Завтра я определенно не поеду, – сказала Фанни. – Последнее время я каталась очень часто и охотнее останусь дома, ты ведь знаешь, я достаточно окрепла, и теперь вполне могу прогуливаться пешком.

Эдмунд был явно доволен, что должно было послужить утешением для Фанни, и конная прогулка к Мэнсфилдскому выгону состоялась на другое же утро; поехали все молодые люди, кроме нее, все получили большое удовольствие и во время поездки и еще того больше вечером, когда со вкусом ее обсуждали. Удавшийся замысел подобного рода обыкновенно рождает новый замысел, и, проехавшись к Мэнсфилдскому выгону, они все склонны были завтра же ехать куда-нибудь еще. Вокруг много было красивых видов, которыми стоило любоваться, и, хотя погода стояла жаркая, куда бы они ни поехали, всюду находились

тенистые дорожки. Для молодого общества всегда найдется тенистая дорожка. Четыре погожих утра одно за другим они провели подобным же образом, показывая Кроффордам окрестности и по-хозяйски знакомя их с самыми живописными уголками. Все шло как нельзя лучше; все были отменно настроены и веселы, а жара докучала лишь настолько, чтобы можно было с приятностью об этом поговорить – и так шло вплоть до четвертого дня, когда радость одной из участниц этих развлечений была сильно омрачена. То была мисс Бертрам. Эдмунда и Джулию пригласили на обед в пасторат, а ее – нет. Миссис Грант сделала это движимая самыми добрыми намерениями, имея в виду мистера Рашуота, которого отчасти ожидали сегодня в усадьбе; но мисс Бертрам восприняла это как жесточайшую обиду, и, пока не оказалась дома, ее умение вести себя, скрыть овладевшие ею досаду и гнев подверглось суровому испытанию. А мистер Рашуот не приехал, и оттого обида стала еще горше, и не было у ней даже того облегченья, чтобы показать свою власть над ним; ей только и оставалось, что сердиться на маменьку, тетушку и кузину и по мере возможностей омрачать их обед и десерт.

Между десятью и одиннадцатью в гостиную вошли Эдмунд и Джулия, бодрые от вечернего воздуха, сияющие и веселые, полная противоположность тому, какими они застали сидящих там трех дам, ибо Мария едва подняла глаза от книги, леди Бертрам пребывала в полудреме, и даже тетушка Норрис, расстроенная дурным настроением племянницы, задав два-три вопроса об обеде, на которые не тотчас получила ответ, казалось, чуть ли не дала себе зарок не произнести более ни слова. Первые несколько минут брат и сестра слишком рьяно восхваляли вечер и превозносили звезды, чтобы подумать о чем-то, что было выше их самих, но при первой же паузе Эдмунд огляделся по сторонам и спросил:

– А где же Фанни?.. Уже пошла спать?

– Нет, во всяком случае, я этого не знаю, – отвечала тетушка Норрис. – Она только что была здесь.

Тут с другого конца предлинной комнаты донесся мягкий голосок Фанни; оказалось, что она на диване. Тетушка Норрис принялась ее бранить.

– Это прескверная привычка, Фанни, весь вечер бездельничать на диване. Почему не подойдешь, не сядешь здесь и не займешься делом, как все мы?.. Если у тебя нет своей работы, я могу тебя снабдить из корзинки для бедных. Там есть новый миткаль, который принесли на прошлой неделе, к нему еще никто не прикоснулся. Я вся измучилась, кроивши. Надобно тебе научиться думать о других. Верь моему слову, для молодой девицы отвратительная привычка – вечно валяться на диване.

Тетушка еще и половины всего этого не сказала, а Фанни уже вернулась на свое место за столом и вновь взялась за рукоделье; и Джулия, отменно настроенная после развлечений этого дня, отдала Фанни должное, воскликнув:

– Могу сказать вам, тетушка, что Фанни менее всех в доме расслаивается на диване.

– Фанни, – сказал Эдмунд, со вниманием глядя на нее, – по-моему, у тебя болит голова?

Отрицать это она не могла, но сказала, что боль не очень сильная.

– Не верится мне, – возразил он. – И слишком хорошо знаю выражение твоего лица. Давно она началась?

– Незадолго до обеда. Это просто от жары.

– Ты в жару выходила?

– Выходила, а как же, – сказала тетушка Норрис. – А ты хотел бы, чтоб она в такой прекрасный день сидела дома? Все мы выходили, разве нет? Даже твоя маменька провела на воздухе более часу.

– И правда, Эдмунд, – прибавила ее светлость, полностью пробудясь, когда миссис

Норрис стала сердито выговаривать Фанни. – Я провела на воздухе более часу. Три четверти часа сидела в цветнике, а Фанни тем временем срезала розы, и, поверь, было очень приятно, только очень жарко. В беседке было довольно тенисто, но, скажу тебе, необходимость дойти до дому привела меня в совершеннейший ужас.

– А Фанни срезала розы, да?

– Да, боюсь, нынешний год это уж последние. Бедняжка! Ей так было жарко, но розы совсем распустились и долее ждать было нельзя.

– Право же, ничего нельзя было поделаться, – теперь уже мягче поддержала тетушка Норрис. – Уж не тогда ли у ней и заболела голова, сестра? Ничто так этому не способствует, как пребывание на жарком солнце, да еще склонившись. Но, мне кажется, к завтраму все пройдет. Ты бы дала ей понюхать ароматический уксус, вечно я забываю наполнить свой флакончик.

– Уксус у ней, – сказала леди Бертрам, – он у ней с тех пор, как она второй раз воротилась из твоего дому.

– Как! – воскликнул Эдмунд. – Она не только срезала розы, но и ходила по этой жаре через парк к вашему дому, сударыня, да еще дважды?.. Не удивительно, что у ней болит голова.

Миссис Норрис разговаривала с Джулией и не слыхала его слов.

– Я боялась, что ей будет трудно, – сказала леди Бертрам. – Но когда розы были собраны, твоя тетушка захотела поставить их у себя дома, и тогда, сам понимаешь, надобно было их отнести.

– И роз было так много, что ей пришлось ходить дважды?

– Нет, но их надобно было оставить в свободной комнате сохнуть, и, к сожалению, Фанни забыла замкнуть дверь и принести назад ключи, так что пришлось ей идти опять.

Эдмунд встал и зашагал по комнате.

– И неужто некого было послать с этим поручением, кроме Фанни? – сказал он. – Право слово, сударыня, в этом деле вы очень скверно распорядились.

– Вот уж не знаю, как тут можно было поступить лучше? – вскричала миссис Норрис, не в силах долее оставаться глухой, – разве только пойти мне самой. Но я не могу быть в двух местах разом, а в это самое время я по желанию твоей маменьки разговаривала с мистером Грином об ее скотнице и обещала Джону Груму написать миссис Джефферис об его сыне, и бедняга ждал меня уже полчаса. Я думаю, никому не придет в голову обвинять меня, будто я когда-нибудь себя щажу, но, право же, не могу я все делать сразу. А что Фанни ради меня прошлась до моего дому, так тут не многим более четверти мили, и я не думаю, чтоб моя просьба оказалась чрезмерной. Как часто я хожу туда и назад по три раза на дню, ранним утром и поздним вечером, да в любую погоду, и слова не говорю.

– Я хотел бы, чтобы у Фанни было хотя бы вполовину ваших сил, сударыня.

– Ежели б Фанни постоянно не пренебрегала моционом, она б не уставала так скоро. Она вон уж сколько времени не ездила верхом, а я убеждена, что, когда она не ездит верхом, ей надобно ходить. Если б она перед тем каталась, я б не стала ее посылать. Но я думала, что после того как она согнувшись срезала розы, ей это только пойдет на пользу, ведь после такого рода усталости лучше всего освежает прогулка пешком. Солнце, правда, было горячее, но вовсе не такая уж стояла жара. Между нами говоря, Эдмунд, – сказала она, многозначительно кивнув в сторону его матери, – весь вред был оттого, что она срезала розы и слонялась по цветнику.

– Боюсь, так оно и есть, – сказала более чистосердечная леди Бертрам, услышав эти слова. – Очень боюсь, что виною головной боли цветник, такая была жара, что и умереть

можно. Я сама едва перенесла ее. Сидела и звала мопса, не хотела пускать его на клумбы, и то едва выдержала.

Эдмунд не сказал дамам более ни слова, но тихонько пройдя к другому столу, на котором еще стоял поднос с ужином, принес Фанни стакан мадеры и чуть не весь заставил выпить. Она бы рада была отказаться, но из-за слез, вызванных сменяющимися друг друга чувствами, пить было легче, чем разговаривать.

Досадуя на мать и тетюшку, Эдмунд пуще того сердился на самого себя. Он забыл Фанни, и это хуже всего, что сделали они. Если б о ней должным образом подумали, ничего бы худого не случилось; но четыре дня подряд она была оставлена без внимания, не имея никакого выбора ни в обществе, ни в моционе, не имея никакого повода отказаться от всего того, что могли с нее спросить ее неразумные тетюшки. Стыдно ему было от мысли, что четыре дня подряд у ней не было возможности кататься верхом, и он дал себе зарок, что, хотя ему очень жаль лишать мисс Крофорд удовольствия, ничего подобного никогда больше не случится.

Фанни легла в постель с таким же тяжелым сердцем, как в первый вечер по приезде в Мэнсфилд-парк. В ее недомоганье отчасти было повинно и состояние духа, потому что вот уже несколько дней она чувствовала себя заброшенной и пыталась побороть недовольство и ревность. Когда она полулежала на диване, в дальнем углу, где укрылась от всех взглядов, душа у ней болела куда сильнее головы; а из-за внезапной перемены, которую вызвала доброта Эдмунда, она едва была в силах совладать с собою.

Фаннины прогулки верхом возобновились на другой же день, и, так как утро было славное, пронизанное свежестию, не такое жаркое, как все последнее время, Эдмунд верил, что ущерб, нанесенный ее здоровью и настроению, будет скоро возмещен. В ее отсутствие приехал мистер Рашуот, сопровождающий свою матушку, которая пожаловала, чтобы проявить любезность, в особенности приглашением посетить Созертон, поскольку план, который возник две недели назад, из-за последовавшего затем ее отъезда из дому, до сих пор не осуществили. Тетушка Норрис и ее племянницы чрезвычайно обрадовались его возрождению, и поездка была назначена на один из ближайших дней, при условии, что мистер Крофорд не будет занят; девицы не забыли поставить это условием, и, хотя тетушка Норрис готова была бы ответить за мистера Крофорда согласием, они не одобрили ее смелость, но и не пожелали идти на риск; и наконец, поняв намек мисс Бертрам, мистер Рашуот сообразил, что самое для него верное – тотчас же отправиться в пасторат, посетить мистера Крофорда и спросить, подходит ли ему среда.

Еще до того, как он воротился, пришли миссис Грант и мисс Крофорд. Они уже несколько времени гуляли и, выбрав другой путь в усадьбу, разминулись с ним. Однако ж они всех обнадежили, что он застанет мистера Крофорда дома. Было, разумеется, помянуто и о намерении ехать в Созертон. Право же, трудно представить, чтоб разговаривали о чем-либо, кроме этой поездки, так как миссис Норрис была из-за нее в приподнятом настроении, а миссис Рашуот, благожелательная, любезная, скучно-разговорчивая, напыщенная особа, которая лишь то и разумела, что касалось ее самой или ее сына, настоятельно уговаривала леди Бертрам поехать вместе со всеми. Леди Бертрам неизменно отклоняла приглашение, но спокойная манера отказа никак не убеждала миссис Рашуот, и она поняла, что миссис Бертрам подлинно не хочет ехать, лишь когда вмешалась миссис Норрис и куда многословней и громче объяснила ей правду.

– Для сестры это будет чересчур утомительно, уверяю вас, чересчур утомительно, дорогая миссис Рашуот. Ведь туда десять миль да назад десять. Вы уж извините на сей раз мою сестру и удовольствуйтесь двумя нашими милыми девочками и мною. Созертон единственное место, куда она и рада бы поехать в такую даль, но, право же, это невозможно. Фанни Прайс, знаете ли, составит ей компанию, и все будет хорошо; а что до Эдмунда, поскольку его тут нет, чтоб сказать самому, я отвечу за него – конечно, он будет счастлив присоединиться к остальному обществу. Он ведь может поехать верхом.

Миссис Рашуот, вынужденная согласиться с тем, что леди Бертрам останется дома, только и могла об этом пожалеть. Отсутствие ее светлости будет большим изъяном, и, конечно, было бы чрезвычайно приятно видеть у себя и молодую особу, мисс Прайс, она ведь еще не бывала в Созертоне, и такая жалость, что она его не увидит.

– Вы очень добры, вы сама доброта, сударыня! – воскликнула миссис Норрис, – но что до Фанни, у ней еще будет множество случаев увидеть Созертон. У ней впереди довольно времени, и о ее поездке сейчас не может быть и речи. Леди Бертрам никак без нее не обойтись.

– Да, да!.. Я не могу остаться без Фанни.

Убежденная, что все жаждут увидеть Созертон, миссис Рашуот затем пригласила и мисс Крофорд; и хотя миссис Грант которая, поселившись по соседству, за все время не потрудилась нанести визит миссис Рашуот и сейчас учтиво отклонила приглашение, она была рада любому случаю оставить удовольствие сестре; и Мэри, после должных уговоров и

разговоров, любезно приняла любезное приглашение. Мистер Рашуот воротился из пастората с успехом; и Эдмунд появился как раз вовремя, чтобы узнать, о чем условлено на среду, проводить миссис Рашуот до кареты, а двух других дам провести по парку до середины пути.

Возвратясь в малую гостиную, он застал там миссис Норрис, которая все никак не могла решить, желательно или нет чтобы мисс Крофорд тоже ехала в Созертон, и не будет ли ландо брата полно и без нее. Обе мисс Бертрам посмеялись над ее опасениями, заверив ее, что четверо прекрасно там поместятся, а есть ведь еще и козлы, на которые кто-нибудь может сесть с ним рядом.

– Но почему же ехать в экипаже Крофорда или в одном только его экипаже? – сказал Эдмунд. – Почему не воспользоваться маменькиным фаэтоном? Когда на днях впервые заговорили об этой поездке, я не мог понять, почему не поехать в собственном экипаже, если речь идет о семейном визите.

– Как? – вскричала Джулия. – По такой-то погоде тесниться втроем в закрытой карете, когда можно расположиться в ландо! Нет, дорогой Эдмунд, это нам вовсе не подходит.

– Притом, я знаю, что мистер Крофорд надеется самолично нас повезти, – сказала Мария. – После того, что было сказано поначалу, он, конечно, счел наши слова за обещанье.

– И потом, дорогой Эдмунд, брать два экипажа, когда довольно и одного, это только напрасное беспокойство, – прибавила миссис Норрис. – И между нами говоря, кучер не в восторге от дорог между Мэнсфилдом и Созертоном, он вечно жалуется, что аллеи узкие и карета всегда поцарапанная, и кому ж это надобно, чтоб дорогой наш сэр Томас воротился домой, а у кареты весь лак стерт.

– Воспользоваться экипажем мистера Крофорда по этой причине было бы не очень красиво, – сказала Мария. – Но все дело в том, что Уилкокс – бестолковый старик и никудышный кучер. Ручаюсь, что в среду узкие дороги не причинят нам никакого неудобства.

– Я не вижу беды в том, чтоб ехать на козлах, – сказал Эдмунд, – ничего тут нет неприятного.

– Неприятного! – воскликнула Мария. – О Господи, я уверена, всем захотелось бы занять это место. С козел лучше всего можно любоваться окрестностями. Наверно, мисс Крофорд захочет сидеть на козлах.

– Тогда может поехать и Фанни, без сомнения, для нее хватит места.

– Фанни! – повторила тетушка Норрис. – Дорогой Эдмунд, о том, чтоб ей ехать с нами, и думать нечего. Она остается со своей тетушкой. Я так и сказала миссис Рашуот. Ее там не ждут.

– Я полагаю, сударыня, – сказал он, обращаясь к матери, – у вас нет причин не желать, чтобы Фанни приняла участие в поездке, кроме той, что касается до вас, до вашего удобства. Если бы вы могли обойтись без нее, разве вы желали бы задержать ее дома?

– Нет, конечно, но я никак не могу без нее обойтись.

– Можете, если я останусь с вами дома, а я намерен остаться.

В ответ раздались общие громкие протесты.

– Да, – продолжал Эдмунд. – Мне нет никакой надобности ехать, и я намерен остаться дома. А Фанни горячо желает увидеть Созертон. Я знаю, ей очень этого хочется. Она не часто получает подобное удовольствие, и я уверен, сударыня, вам было бы приятно доставить ей эту радость.

– О да! Очень приятно, если только у твоей тетушки нет возражений.

У миссис Норрис тотчас нашлось единственное возражение, какое еще оставалось, –



ведь они определенно заверили миссис Рашуот, что Фанни не сможет приехать, и престранно будет выглядеть, если они возьмут ее с собою, право же, осложнение это вовсе непреодолимо. Это бы выглядело более чем странно! Такою это было бы бесцеремонностью, так граничило бы с неуважением к миссис Рашуот, чьи манеры являют образец столь превосходного воспитания и внимательности, что по сравнению с нею она, миссис Норрис, чувствует себя сущей невежей. Тетушка Норрис не питала ни малейшей привязанности к Фанни, не было у нее и желания чем-нибудь порадовать племянницу, но на сей раз она противоречила Эдмунду скорее из пристрастия к своему прожекту, единственно потому, что не кто-нибудь, а она его замыслила. Ей казалось, что она устроила все как нельзя лучше и все перемены будут только к худшему. Поэтому когда Эдмунд, дождавшись минуты, чтоб она замолчала, сказал в ответ, что ей не надобно беспокоиться насчет миссис Рашуот, потому что, идя с нею через прихожую, он упомянул о мисс Прайс, которая, возможно, тоже поедет, и немедля получил для кухни весьма любезное приглашение, миссис Норрис была слишком раздосадована, чтобы охотно покориться, и только и сказала:

– Хорошо, прекрасно, как тебе угодно, поступай по-своему, мне все равно.

– По-моему, это неслыханно, чтоб ты остался дома вместо Фанни, – сказала Мария.

– Она, без сомнения, должна быть тебе очень признательна, – прибавила Джулия, поспешно выходя из комнаты с сознанием, что надо бы самой остаться дома.

– Фанни будет благодарна в той мере, в какой требует случай, – только и сказал Эдмунд, и на том разговор кончился.

Когда Фанни об этом узнала, благодарность ее много превзошла удовольствие. Она ощущала доброту Эдмунда со всей свойственной ей впечатлительностию и даже глубже, чем он мог вообразить, не подозревая о ее нежной привязанности к нему; но ей было больно оттого, что ради нее он отказался хотя бы от малого, да и без него возможность увидеть Созертон была ей не в радость.

При следующей встрече двух мэнсфилдских семейств в предполагаемую поездку были внесены еще изменения, да такие, которые встречены были всеобщим одобрением. Миссис Грант вызвалась составить компанию леди Бертрам вместо сына, а доктор Грант должен будет присоединиться к ним за обедом. Леди Бертрам была весьма довольна этой переменою, а молодые девицы вновь пришли в прекрасное расположение духа. Даже Эдмунд был явно благодарен, что все устроилось так, чтоб он мог принять участие в поездке; и миссис Норрис тоже сочла, что это прекрасная мысль, она и сама до этого додумалась и только хотела высказать вслух, но ее опередила миссис Грант.

В среду день выдался прекрасный, и вскоре после завтрака прибыло ландо, Крофорд привез сестер; к тому времени все были уже готовы, теперь оставалось только миссис Грант выйти из экипажа, а остальным занять места. Всем местам место, предмет всеобщей зависти, самое почетное сиденье осталось свободным. Кому выпадет счастливый жребий его занять? Пока сестры Бертрам размышляли, как верней, да еще изобразив это так, будто делаешь другим одолжение, сохранить его за собою, сомнения разрешила миссис Грант, которая, выходя из ландо, сказала:

– Вас пятеро, значит, одной лучше сесть с Генри, а ведь вы, Джулия, недавно говорили, что хотели бы научиться править лошадьми, так вот, по-моему, для вас подходящий случай взять урок.

Как повезло Джулии! Как не повезло Марии! Первая вмиг оказалась на козлах, вторая, хмурая и разобиженная, заняла место внутри; и экипаж тронулся, сопровождаемый добрыми пожеланиями двух оставшихся дам и лаем мопса, которого хозяйка держала в объятиях.

Дорога пролежала по приятной местности, и Фанни, которая в своих прогулках верхом

особенно не отдалялась от дому, скоро с великой радостью уже смотрела на все то, чего не видела прежде, и любовалась открывающейся ей красотой. Во время беседы к ней обращались не часто, да ей этого и не хотелось. Собственные мысли и раздумья были по обыкновению лучшими ее собеседниками, и, замечая новые окрестности, коттеджи, стада, ребяташек, направление дорог, разницу в почвах, хороши ли хлеба и травы, она находила в том развлечение, которое могло стать отраднее единственно, если б она могла поделиться своими чувствами с Эдмундом. Только в этом и было у ней сходство с молодой особой, которая сидела рядом; во всем, кроме расположения к Эдмунду, мисс Крофорд ничуть на нее не походила. Совсем у ней не было присущей Фанни тонкости вкуса, ума, чувств; она едва замечала природу, неодушевленную природу; весь ее интерес был устремлен на людей, а склонность она имела к тому, что ярко и весело. Однако, глядя назад, на Эдмунда, когда дорога не петляла или, если он догонял их, когда дорога шла круто вверх, девицы были единодушны, и не раз в один и тот же миг восклицали «а вот и он».

Первые семь миль мисс Бертрам едва ли было чем утешиться; взгляд ее постоянно упирался в Крофорда и Джулию, которые сидели бок о бок и прескучно без умолку болтали; и, видя его выразительный профиль, когда он с улыбкою поворачивался к сестре, или слыша ее смех, Мария неизменно испытывала досаду, которую из чувства приличия ей удавалось лишь слегка притушить. Когда Джулия оборачивалась, на лице у ней было написано удовольствие, и всякий раз, как она заговаривала с ними, ясно было, что она в наилучшем настроении – с ее места открывается очаровательный вид на окрестности, ей хотелось бы, чтобы они все могли им полюбоваться, и т. д. – но поменяться местами она предложила единственный раз, когда они достигли вершины пологого холма. Слова ее: «Ах, какой отсюда открывается прекрасный вид! Я бы хотела, чтоб вы сели на мое место, но, как бы я вас ни уговаривала, боюсь, вы не согласитесь» – обращены были к мисс Крофорд и прозвучали не слишком настойчиво, а не успела еще мисс Крофорд толком ответить, как экипаж опять покатиł с большой скоростью.

Когда они оказались в пределах, наводящих на мысли о Созертоне, мисс Бертрам, о которой можно сказать, что ее влекло в две противоположные стороны, испытала облегчение. У ней были чувства к Рашуоту и чувства к Крофорду, и поблизости от Созертонна первые значительно возобладали. Положение мистера Рашуота весьма завидное, и она чувствовала себя причастной к этому положению. Стоило ей сказать мисс Крофорд: «Эти леса входят в имение Созертон» – или небрежно заметить, что, «кажется, сейчас по обе стороны дороги всё собственность мистера Рашуота», и сердце ее ликовало; и удовольствию этому предстояло возрасть по мере их приближенья к превосходному особняку и старинной усадьбе рода, который у себя в имении олицетворял высшую власть.

– Теперь колдобин на дорогах не будет, мисс Крофорд, наши неприятности позади. Дальше дорога будет такая, как полагается. Мистер Рашуот привел ее в порядок, когда унаследовал имение. Отсюда начинается деревня. Вон те домишки поистине позор. Церковный шпиль почитают замечательно красивым. Я рада, что церковь не так близко к самому особняку, как часто бывает в старинных усадьбах. Колокольный звон, должно быть, ужасно досаждал. Здесь есть и пасторат; с виду приятный домик, и, сколько я понимаю, священник и его жена очень достойные люди. Вон там приют, его построил кто-то из Рашуотов. По правую руку дом управляющего, он весьма почтенный человек. Сейчас мы подъезжаем к главным воротам парка, но предстоит еще чуть не милю ехать по парку. Вы видите, в этом конце он не уродлив, здесь есть красивые деревья, но расположен дом ужасно неудачно. Мы полмили едем к нему вниз по холму, и это жаль; будь подъезд к усадьбе лучше, она выглядела бы совсем недурно.

Мисс Крофорд поспешила выразить свое восхищение; она без сомнения догадывалась о чувствах мисс Бертрам и считала за честь всеми силами способствовать ее удовольствию. Миссис Норрис была сама говорливость и восторг; и даже у Фанни нашлись восторженные слова и наверно были приняты снисходительно. Она жадно вбирала все, что могла охватить взглядом; и после того как ей с трудом удалось увидеть дом, она заметила, что такие постройки называют в ней почтительность, и еще прибавила:

– А где же та аллея? Сколько я понимаю, дом обращен на восток. Так что аллея, должно быть, по другую сторону. Мистер Рашуот говорил о западном фасаде.

– Да, она как раз за домом, начинается чуть поодаль и тянется на полмили до самого конца парка. Часть ее можно увидеть отсюда... самые отдаленные деревья. Это все дубы.

Теперь мисс Бертрам могла с уверенностью говорить о том, в чем прежде, когда Рашуот спрашивал ее мнение, ничего не понимала, и, когда они подкатили к широкому каменному крыльцу перед парадным входом, ею овладело такое радостное волнение, какое только способны породить суетность и тщеславие.

Рашуот встретил свою прекрасную леди на пороге и с должным радушием приветствовал все общество. В гостиной их столь же сердечно приняла его матушка, и оба они с такой любезностью отличали из всех старшую мисс Бертрам, что большего она и желать не могла. После того как все поздоровались, надобно было первым делом откусать, двери широко распахнулись, и все прошли чрез несколько комнат в столовую, где их ждал изысканный и обильный завтрак. Было много сказано, много съедено, и все шло хорошо. Потом заговорили о том предмете, что был особою целью сегодняшней поездки. Как желал бы мистер Крофорд, каким образом он предпочел бы осмотреть парк?.. Мистер Рашуот предложил свой кабриолет. Мистер Крофорд дал понять, что куда желательней экипаж, в котором могут поместиться более двух человек.

Лишить себя счастливой возможности увидеть и глазами других, услышать и другие суждения было бы грешно, даже хуже, чем отказаться от удовольствия, которое мы получаем сейчас.

Миссис Рашуот сказала, чтоб они взяли и фаэтон, но это едва ли пришлось по вкусу: молодые девицы в ответ не улыбнулись и не сказали ни слова. Ее следующее предложение – показать дом тем из них, кто не был здесь прежде, оказалось приятнее, ибо Мария Бертрам обрадовалась случаю похвастать его размерами, и все рады были чем-то заняться.

Соответственно все общество поднялось, и миссис Рашуот провела гостей чрез множество комнат с высокими потолками, иные весьма внушительных размеров, щедро обставленные во вкусе полувековой давности, с блестящими полами, массивным красным деревом, богатым Дамаском, мрамором, резьбой и позолотой, каждая хороша на свой лад. Картин было в изобилии, из них несколько хороших, но большая часть фамильные портреты, уже никому ничего не говорящие, кроме миссис Рашуот, которая с великим старанием разузнала у домоправительницы все, чему та могла научить, и теперь почти с таким же успехом могла показывать дом. На сей раз она обращалась главным образом к мисс Крофорд и к Фанни, но готовность внимать ей была у них несравнима, ибо мисс Крофорд, которая уже повидала десятки великолепных домов и ко всем осталась равнодушна, теперь только делала вид, будто вежливо слушает, тогда как Фанни, которой все было почти столь же интересно, сколь ново, с непритворной серьезностью выслушивала все, что миссис Рашуот могла поведать о прошлом своего семейства, о его подъеме и величии, о королевских посещениях и свидетельствах преданности королю, и с радостью связывала эти события с уже известными ей из истории либо вызывала в воображении сцены былого.

Дом расположен был так, что ни из одной комнаты не открывался особо широкий вид, и, пока Фанни и другие слушали миссис Рашуот, Генри Крофорд озабоченно выглядывал из окон и качал головою. Из всех комнат, выходящих на западный фасад, был виден газон, а далее, сразу же за высоким железным палисадом и воротами, начиналась аллея.

Пройдя еще по множеству комнат, которые служили, казалось, только для того, чтоб можно было взимать оконный налог и дать занятие горничным, миссис Рашуот сказала:

– Теперь мы направляемся в домашнюю церковь, в нее надобно входить сверху и сверху же на нее смотреть, но все мы здесь свои люди и, с вашего позволения, я проведу вас отсюда.

Они вошли. Фанни воображала нечто большее, нежели просторную продолговатую комнату, обставленную так, чтоб располагать к молитве, – здесь не было ничего более внушительного или впечатляющего, чем обилие красного дерева и подушек темно-красного бархата, что представлялись взгляду на идущей поверху семейной галерее.

– Я разочарована, – тихонько сказала Фанни Эдмунду. – Не такой я представляла домашнюю церковь. Нет в ней ничего, внушающего благоговенье, ничего печального, ничего величественного. Здесь нет боковых приделов, нет арок, нет надписей, нет хоругвей. Нет хоругвей, кузен, что "развевал бы ветер ночи, дующий с небес»<sup>4</sup>. Нет указанья, «под камнем сим шотландский спит монарх».

– Ты забываешь, Фанни, как недавно все это построено и с какой ограниченной целью по сравнению со старинными часовнями в замках и монастырях. Она была предназначена всего лишь для надобностей одной семьи. Я думаю, хоронили членов семейства в приходской церкви. Там ты и найдешь хоругви и гербы.

– Глупо, что мне это не пришло в голову, но все равно я разочарована.

Миссис Рашуот начала свой рассказ:

– Эта церковь была украшена так, как вы ее видите, во времена Якова Второго. Сколько я знаю, до того эти скамьи были просто деревянные, и есть некоторые основания думать, что покровы и подушки на кафедре и семейной скамье были просто бордового сукна, но это лишь предположения. Церковь красивая, и прежде в ней служили постоянно, и утром и вечером. На памяти многих здесь всегда читал проповеди домашний священник. Однако покойный мистер Рашуот покончил с этим.

– Каждое поколение вносит свои усовершенствования, – с улыбкою сказала мисс Крофорд Эдмунду.

Миссис Рашуот отошла, дабы повторить то же самое мистеру Крофорду, а Эдмунд, Фанни и мисс Крофорд остались стоять вместе, одной стайкой.

– Как жаль, что этому обычаю был положен конец! – воскликнула Фанни. – То была драгоценная принадлежность прежних времен. В домашней церкви, в домашнем священнике есть что-то такое, что очень согласно с большим величественным домом, представляется, что именно таков в нем должен быть обиход! Вся семья в одни и те же часы собирается для молитвы, это прекрасно!

– Еще как прекрасно! – со смехом сказала мисс Крофорд. – Главам семей, без сомненья, весьма полезно заставлять всех несчастных горничных и лакеев бросать дела и удовольствия и дважды в день молиться, меж тем как сами хозяева измышляют предлоги, чтобы при этом не присутствовать.

– Едва ли Фанни таким образом представляет себе семейные собрания, – заметил Эдмунд. – Если хозяин и хозяйка сами на них не присутствуют, в этом обычае должно быть не столько хорошего, сколько дурного.

– Во всяком случае, в таких материях лучше предоставить людей самим себе. Каждый предпочитает идти своим путем – выбрать, когда и как предаваться молитве. Обязанность присутствовать на службе, сама долгая церемония, скованность – все вместе тяжкое испытание и никому не нравится; и если б почтенные прихожане, которые изо дня в день преклоняли колени и зевали на галерее, могли предвидеть, что еще настанет пора, когда, проснувшись с головною болью, можно будет полежать лишние десять минут, не страшась осужденья за то, что пропустил службу, они запрыгали бы от радости и зависти. Вообразите, с какой неохотою часто отправлялись в домашнюю церковь бывшие красавицы из рода Рашуотов? Разные молодые миссис Элинора и миссис Бриджет напускали на себя притворную набожность, а головы их были полны совсем иных мыслей, особенно если бедняга священник был нехорош собою, а в те времена, я думаю, они были еще непригляднее, чем теперь.

На несколько мгновений слова ее повисли в воздухе. Фанни покраснела и подняла глаза на Эдмунда, но была так разгневана, что не могла вымолвить ни слова; ему и самому прежде,

чем заговорить, потребовалось как-то собраться с мыслями:

– При вашем живом уме вы едва ли можете отнестись серьезно даже к серьезным предметам. Вы нарисовали нам забавную картинку, и наши слабости не позволяют сказать, что так не могло быть. Иной раз мы все чувствуем, как трудно сосредоточиться в той мере, в какой было бы желательно; но если предположить, что это случается часто, то есть что из-за нерадивости слабость обращается в привычку, чего ж можно ждать от такого человека, предоставив ему молиться в уединении? Неужто вы полагаете, что душа, которая страдает и позволяет себе отвлекаться от молитвы в церкви, была бы сосредоточенней в тесноте спальни?

– Да, очень вероятно. У ней будет, по крайности, два преимущества. Там меньше внешних отвлечений и душа не так долго будет подвергаться испытанию.

– Я думаю, душа, которая не борется с собою при одних обстоятельствах, найдет, на что отвлечься и при других, и влияние самого места и примера может зачастую вызвать лучшие чувства, чем те, которые были при начале. Однако признаюсь, долгая служба иной раз чересчур большое напряжение для души. Хорошо бы это было не так, но я не столь давно уехал из Оксфорда, чтобы забыть, каковы богослуженья при множестве народу.

Пока происходил этот разговор, а остальное общество разбрелось по церкви, Джулия обратила внимание Крофорда на свою сестру.

– Посмотрите-ка на мистера Рашуота и Марию, – сказала она, – стоят рядком, будто перед бракосочетаньем. И вид у них такой, правда?

Крофорд улыбкою выразил согласие, подошел к Марии и сказал так, что она одна могла услышать:

– Мне неприятно видеть мисс Бертрам столь близко к алтарю.

Вздрогнув, та невольно сделала шаг-другой, но тотчас опомнилась, деланно засмеялась и спросила его почти так же тихо, не будет ли он посаженным отцом.

– Боюсь, у меня это выйдет пренеловко, – отвечал он и посмотрел на нее со значеньем.

В ту минуту к ним подошла Джулия и подхватила шутку.

– Честное слово, вот ведь жалость, что нельзя совершить это немедленно, всего-то и недостает разрешения венчать без церковного оглашения, мы уже все здесь, и получилось бы так мило и славно.

Она говорила об этом и смеялась почти безо всякой осторожности, будто желая привлечь внимание Рашуота и его матушки и заставить сестру выслушивать любезности, произносимые вполголоса влюбленным, меж тем как миссис Рашуот, с подобающим достоинством и улыбками, говорила, что, когда бы сие событие ни произошло, она этим будет весьма счастлива.

– Был бы уж Эдмунд священником! – воскликнула Джулия и, подбежав туда, где он стоял с мисс Крофорд и Фанни, продолжала: – Эдмунд, дорогой, был бы ты уже священником, ты мог бы их обвенчать немедленно. Как жаль, что ты еще не посвящен в сан, мистер Рашуот и Мария вполне готовы к венцу.

Выражение лица мисс Крофорд при словах Джулии могло бы позабавить стороннего наблюдателя. Новость, которую она только теперь узнала, поистине ошеломила ее. Фанни стало ее жаль. «Как она будет терзаться оттого, что совсем недавно сказала», – промелькнуло у ней в голове.

– Посвящен в сан! – сказала мисс Крофорд. – Как, разве вы собираетесь стать священником?

– Да, вскоре после возвращения моего отца я приму сан... возможно, на Рождество.

Придя в себя от неожиданности и вновь обретя прежний цвет лица, мисс Крофорд

только и сказала:

– Знай я это прежде, я б отозвалась о духовенстве с большим уважением, – и переменяла предмет разговора.

Вскоре церковь вновь была предоставлена тишине и покою, которые за редким исключением царили здесь круглый год. Мария Бертрам, недовольная сестрой, шла впереди, и у всех, казалось, было такое чувство, что пробыли они там слишком долго.

Нижний этаж теперь был уже весь показан, и миссис Рашуот которая в подобных случаях нисколько не уставала от своей роли, уже собралась проследовать к главной лестнице и вести гостей чрез все комнаты наверху, но тут вмешался сын, не уверенный, что им хватит на это времени.

– Ведь если мы слишком долго будем ходить по дому, – высказал он самоочевидное предположение, одно из тех, которые иной раз приходят на ум людям и с головою куда более ясной, – нам не останется времени посмотреть, что надобно сделать в парке. Уже половина третьего, а в пять мы обедаем.

Миссис Рашуот подчинилась, и теперь, вероятно, надобно было ждать, что все примутся оживленней прежнего обсуждать, кто и на чем отправится обозревать парк, и миссис Норрис приготавливалась заняться тем, какие всего лучше подобрать экипажи и лошадей, когда молодые люди, оказавшись пред входною дверью, соблазнительно растворенною на лестничный марш, ведущий прямо к кустам и всем усадям обложенной дерном площадки для игр, все словно в едином порыве, в жажде воздуха и свободы, вышли наружу.

– А почему бы нам пока не повернуть вот сюда, – сказала миссис Рашуот, тотчас же поняв намеки и следуя за ними. – Тут всего более растений, и тут удивительные фазаны.

– А не найдется ли здесь чего-нибудь для нас интересного, прежде чем мы пойдем дальше? – сказал мистер Крофорд, оглядываясь кругом. – Вот я вижу весьма многообещающие стены. Мистер Рашуот, не посоветаться ли нам на этом газоне?

– Джеймс, – заметила сыну миссис Рашуот, – я полагаю, девственная часть парка будет вновь для всего общества. Обе мисс Бертрам еще никогда такого не видали.

Возражений на это не последовало, но несколько времени, казалось, никто не склонен был ни присоединиться к чьему-то предложению, ни куда-то направиться. Поначалу всех привлекли разнообразные растения и фазаны, и, наслаждаясь волей, все разбрелись в разные стороны. Крофорд первый двинулся вперед, желая представить, каковы возможности дома с этого края. Газон, опоясанный высокой стеною, впереди упирался в кустарник, далее располагалась лужайка для игр в шары, а за нею газон уступами уходил вдаль и упирался в железную ограду, за которой с него видны были вершины деревьев, вплотную подступившей к нему неухоженной части парка. Место было самое подходящее для придинок. За Крофордом вскоре последовали Мария Бертрам и Рашуот, а когда немного погода остальные тоже сошлись по несколько человек, Эдмунд, мисс Крофорд и Фанни, которые соединились, казалось, столь же естественно, как и первые трое, нашли их на террасе занятых обсуждением, ненадолго разделили их недоуменья и озабоченность, а затем покинули их и двинулись дальше. Последние трое, – миссис Рашуот, миссис Норрис и Джулия, все еще оставались далеко позади; ибо Джулия, которой более не светила счастливая звезда, вынуждена была держаться подле миссис Рашуот и приноравливать свой нетерпеливый шаг к ее медленной поступи, меж тем как миссис Норрис, случайно встретясь с домоправительницей, которая вышла покормить фазанов, остановилась с нею посудачить. Бедняжка Джулия, единственная из девяти вовсе не удовлетворенная своим жребием, теперь все время горько раскаивалась, и вполне возможно вообразить, сколь отличалась она от Джулии, что восседала на козлах ландо. Учивость, воспитанная в ней как безусловная ее

обязанность, не позволяла ей сбежать; а недостаток того истинного самообладания, того необходимого внимания к другим, того знания собственного сердца, того принципа справедливости, которые отнюдь не составляли основу ее воспитания, делали ее несчастною.

– Какая несносная жара, – сказала мисс Крофорд, когда они одолели уступчатый газон и во второй раз оказались у калитки напротив середины дома, выходящей к неухоженной части парка.

– Наверное, все мы не прочь отдышаться? Вон там прелестный лесок, если б только удалось в него попасть. Вот счастье, да только если калитка не на запоре! Но она, конечно же, на запоре, в этих огромных усадьбах одни только садовники и могут ходить, куда им угодно.

Калитка, однако, оказалась не заперта, и они все согласно и с радостью прошли через нее и оставили позади безжалостный блеск дня. Довольно длинный лестничный марш привел их в дальнюю часть парка, в насаженную рощу площадью около двух акров, и хотя состояла она главным образом из бука, пихты и лаврового дерева и была наполовину вырублена, и хотя разбита была с чересчур большой правильностью, здесь, в сравнение с лужайкой для игры в шары и уступчатым газоном, царили сумрак и тень и естественная красота. Все они ощутили ее свежесть и несколько времени только шли и восхищались. Наконец после недолгого молчания заговорила мисс Крофорд:

– Итак, вы собираетесь стать священником, мистер Бертрам. Меня это несколько удивляет.

– Почему ж это должно вас удивлять? Вы, несомненно, полагали, что я готовлю себя к какому-то поприщу, и могли понять, что я не пойду ни в законники, ни в военные, ни в моряки.

– Да, правда. Но, короче говоря, мне это не пришло в голову. И ведь обыкновенно находится дядюшка или дед, который оставляет наследство второму сыну.

– Весьма похвальное обыкновение, – сказал Эдмунд, – но так бывает не всегда. Я одно из этих исключений и оттого должен сам о себе позаботиться.

– Но чего ради вам становиться священником? Я думала, это всегда удел самого младшего сына, когда много братьев и всем предоставляется выбор до него.

– Значит, вы думаете, что сама по себе церковь никогда никого не привлекает?

– «Никогда» – злое слово. Но если употребить «никогда» в обиходном смысле, что означает «довольно редко», то да, я и вправду так думаю. Ведь чего можно достичь в церкви? Мужчины любят отличаться, и на любом другом поприще можно отличиться, только не в церкви. Священник – ничто.

– Надеюсь, «ничто» в обиходном употреблении, так же как «никогда», имеет степени. Священнику не дано занимать высокое положение или главенствовать в свете. Он не должен предводительствовать толпами или задавать тон в одежде. Но я не могу назвать ничтожной роль, которая обязывает заботиться о том, что всего важнее для человечества, имея в виду каждого человека в отдельности или все общество в целом, жизнь земную и вечную, обязывает печься о религии и нравственности, а тем самым о поведении, которое из них проистекает. Такое служение никто не может назвать ничтожным. Если ничтожен человек, принявший его, то потому, что пренебрегает своим долгом, забывает о том, сколь важен этот долг, выступает в роли, в какой ему выступать не следует.

– Вы приписываете священнику большую роль, чем обыкновенно от него ждут или чем я в состоянии понять. Важность этой роли и то, что из нее проистекает, не очень и заметишь в обществе, и как это может быть достигнуто, если священнослужители почти не появляются



на людях? Две проповеди в неделю, даже если они стоят того, чтобы их слушать, даже если у проповедника хватает ума написать их самому, а не заимствовать у Блэра, как могут они совершить все то, о чем вы говорите? Руководить поведением и нравами большого прихода во все прочие дни недели? Ведь священника редко где увидишь, кроме как на кафедре во время службы.

– Вы говорите о Лондоне, я же говорю обо всем государстве.

– Мне кажется, по столице можно довольно верно судить о любом другом месте.

– Нет, хочу надеяться, что не тогда, когда речь идет о соотношении добродетели и порока в королевстве. Не в больших городах мы ищем высочайшую мораль. Уважаемые люди любого звания не там могут творить всего более добра; и конечно, не там можно всего более ощутить влияние духовенства. За хорошим проповедником следуют, им восхищаются; но не только хорошими проповедями полезен священник своему приходу и округе, когда приход и округа невелики и всем виден его образ жизни, его личность и поведение, что в Лондоне бывает не часто. Там духовенство теряется в толпах прихожан. Священники известны по большей части единственно как проповедники. А что до их влияния на поведение людей, я не хочу, чтобы мисс Крофорд поняла меня превратно, подумала, будто я почитаю их судьями хорошего воспитания, учителями благовоспитанности и учтивости, знатоками этикета. «Поведение», о котором я говорю, можно скорее назвать «нравами», пожалуй, следствием добрых принципов; короче говоря, следствием тех доктрин, которые им положено проповедовать, к которым положено приобщать свою паству; и я убежден, повсюду можно заметить, что, каково духовенство – такое, как ему быть должно, или не такое, – таков и весь прочий люд.

– Несомненно, – со спокойной уверенностью сказала Фанни.

– Вот вам, – воскликнула мисс Крофорд, – вы уже совершенно убедили мисс Прайс!

– Я был бы рад убедить мисс Крофорд.

– Не думаю, чтоб вам когда-нибудь это удалось, – отвечала та с лукавой улыбкой. – Я и сейчас удивляюсь ничуть не меньше, чем вначале, что вы намерены принять сан. Право же, вы созданы для чего-то лучшего. Ну передумайте же. Еще не поздно. Займитесь правом.

– Заняться правом! – Вы это советуете с такой же легкостью, как мне было сказано войти в эти заросли.

– Теперь вы собираетесь сказать, будто из двух этих занятий право более походит на непролазные заросли, но я вас опережаю; запомните, я вас опередила.

– Чтоб помешать мне сказать *bon-mot*, вам вовсе не надобно торопиться, по натуре я нисколько не остроумен. Я выражаюсь просто и без затей и, прежде чем подыскать остроумное словцо, буду маяться добрых полчаса.

За этим последовало общее молчание. Каждый был погружен в свои мысли. Первой заговорила Фанни:

– Вот уж не думала, что устану оттого, что всего только пройду по этому прелестному лесу, но, когда дойдем до первой же скамейки, я буду рада немного посидеть.

– Фанни, дорогая, – воскликнул Эдмунд и тотчас предложил ей опереться на его руку, – как же это я не подумал! Надеюсь, ты не очень устала. Быть может, и моя вторая спутница окажет мне честь и обопрется на мою руку, – оборотился он к мисс Крофорд.

– Благодарю вас, но я ничуть не устала. – Говоря так, она, однако ж, оперлась на его руку. И, довольный этим, впервые ощущая ее близость, он на время забыл про Фанни.

– Вы едва коснулись меня, – сказал он. – Вам нет от меня никакой помощи. Поразительно, насколько женская рука легче мужской! В Оксфорде я привык, что на улице на меня опирался кто-нибудь из мужчин, и по сравнению с ними вы всего лишь пушинка.

– Я правда не устала, чему даже удивляюсь, мы ведь прошли по этому лесу, должно быть, никак не меньше мили. Вам не кажется?

– Меньше полумили. – твердо отвечал Эдмунд: не настолько еще он был влюблен, чтобы измерять расстояние или считать время с женской небрежностью.

– О, вы не принимаете в расчет, сколько мы тут кружили. Мы шли такой извилистой тропой, а лес сам по себе занимает не менее полумили, если идти прямо, ведь с тех пор, как мы сошли с дороги, мы все еще не видели, где он кончается.

– Но если помните, прежде чем мы сошли с дороги, нам уже виден был его конец. Мы смотрели вдоль просеки и видели, что она упирается в железные ворота, и до них было не более фарлонга.

– О, я ничего знать не знаю про ваши фарлонги, но я уверена, что этот лес тянется очень далеко и что мы едва вошли в него, как стали кружить, и потому, когда я говорю, что мы прошли по нему добрую милю, я имею в виду во всех направлениях.

– Мы пробыли здесь ровно четверть часа, – сказал Эдмунд, доставая часы. – Неужели вы думаете, что мы идем со скоростью четыре мили в час?

– О, не донимайте меня своими часами. Часы вечно либо спешат, либо отстают. Не желаю я, чтобы мною управляли часы.

Еще несколько шагов – и тропинка вывела их на ту самую дорогу, о которой они говорили; и, чуть отступя от нее, хорошо затененная и укрытая листвой, обращенная к идущей по канаве изгороди, что отделяла парк, стояла удобная широкая скамья, на которую все они и опустились.

– Боюсь, ты слишком устала, Фанни, – сказал, поглядев на нее, Эдмунд, – ну отчего ты не сказала о том пораньше? Что тебе за удовольствие от сегодняшней поездки, если ты переутомишься. Представьте, мисс Крофорд, она тотчас устает от любой прогулки, кроме верховой езды.

– Как же тогда гадко, что всю прошлую неделю вы предоставляли мне ее лошадь! Мне стыдно за вас и за себя, но больше это не повторится.

– Ваша внимательность и забота заставляет меня еще острее почувствовать свою небрежность. Вы более меня печетесь о Фанни.

– Однако ее сегодняшняя усталость ничуть меня не удивляет; ведь ни одна из наших обязанностей так не утомляет, как наше утреннее занятие, – мы осматривали большой дом, слонялись по комнатам, напрягали зрение и внимание. Слушать то, чего не понимаешь, восхищаться тем, до чего нет дела, – по общему мнению, нет ничего скучней на свете, и мисс Прайс, сама того не ведая, в этом убедилась.

– Я скоро приду в себя, – сказала Фанни. – Сидеть в тени в такой прекрасный день и смотреть на зелень – это превосходный отдых.

Немного погодя мисс Крофорд уже опять была на ногах.

– Мне надобно двигаться, – сказала она, – отдых меня утомляет. Я смотрела поверх изгороди, пока не устала. Хочу пойти посмотреть на тот же вид через железные ворота, оттуда я смогу толком все рассмотреть.

Эдмунд тоже поднялся со скамейки.

– Послушайте, мисс Крофорд, если вы посмотрите вдоль аллеи, вы убедитесь, что тут не может быть более полумили или даже четверти мили.

– Расстояние огромное, – сказала она, – это сразу видно.

Эдмунд все пытался ее переубедить, но напрасно. Она не желала подсчитывать, не желала сравнивать. Она лишь улыбалась и твердила свое. Высочайшая степень согласия и та не была бы так увлекательна, и они беседовали с обоюдным удовольствием. Наконец

сошлись на том, что они постараются определить размеры леса, еще немного по нему похажив. Они пройдут в один конец, по тому направлению, на котором находятся, прямо по зеленой дорожке вдоль изгороди, и возможно, чуть свернут в сторону, если им покажется, что это им поможет, и через несколько минут воротятся. Фанни сказала, что отдохнула и тоже готова идти, но ей не позволили. Эдмунд так настойчиво уговаривал ее не двигаться с места, что она не могла ему противиться и осталась на скамейке, где сидела, и с удовольствием думала о заботливости кузена, но с великим сожаленьем о том, как недостает ей выносливости. Она смотрела им вслед, пока они не скрылись за поворотом, и прислушивалась до тех пор, пока не перестала их слышать. Продолжение

Прошло четверть часа, двадцать минут, а Фанни все размышляла об Эдмунде, мисс Крофорд и о себе, и никто не нарушал ход ее мыслей. Она стала удивляться, что ее оставили так надолго, и прислушалась – ей не терпелось снова услышать их голоса и шаги. Она прислушивалась и наконец услышала, услышала голоса и приближающиеся шаги; но едва убедилась, что это не те, кого она ждет, как на дорожке, по которой пришла и она, появились и встали перед нею Мария, Рашуот и Крофорд.

«Мисс Прайс совсем одна!» и «Дорогая моя Фанни, как же так?» были их первые приветствия. Она поведала им, что произошло.

– Фанни, бедняжка моя! – воскликнула ее кузина. – Как дурно они обошлись с тобою! Лучше бы ты оставалась с нами.

Потом, сидя на скамейке меж двух джентльменов, она возобновила разговор, который они вели прежде, и принялась горячо обсуждать возможные преобразования усадьбы. Еще ничего не решили, но Генри Крофорд был полон идей и проектов, и, стоило ему что-нибудь предложить, это незамедлительно одобрялось сперва Марией, а после Рашуотом, который, казалось, только и делал, что слушал других, и едва ли рискнул высказать хотя бы единую собственную мысль, кроме желания, чтоб они увидели усадьбу его друга Смита.

Так прошли несколько минут, после чего мисс Бертрам, заметив железную калитку, выразила желание пройти через нее в парк, чтобы их представления и планы стали более полными. По мнению Генри Крофорда, именно этого должны были бы желать и все прочие, это единственный путь, который приведет их к наилучшему решению; и он немедля увидел бугор, не далее как в полумиле, с которого как раз и откроется необходимый вид на дом. Так что всем надобно идти к тому бугру, через калитку; но калитка оказалась заперта. Мистер Рашуот пожалел, что не взял с собою ключ; и ведь подумал было, не взять ли; уж теперь-то он нипочем не выйдет из дому без ключа; но пока это никак не помогло делу. Пройти в парк было невозможно; а так как намеренье мисс Бертрам ничуть не ослабело, кончилось все заявлением мистера Рашуота, что он тотчас пойдет и возьмет ключ. И он тотчас отправился.

– Раз мы уже так далеко от дома, без сомнения, ничего лучше и не придумаешь, – сказал мистер Крофорд, когда тот ушел.

– Да, больше ничего не придумаешь. Но скажите откровенно, вы не находите, что усадьба в целом хуже, чем вы ожидали?

– Разумеется, нет, совсем напротив. Я нахожу ее лучше, величественней, более законченной в своем стиле, хотя стиль этот, быть может, и не самый лучший. И сказать по правде, – прибавил он, понизив голос, – я не думаю, что когда-нибудь еще Созертон доставит мне такое удовольствие, как сейчас. Следующим летом он вряд ли покажется мне лучше.

После мгновенного замешательства его спутница так ему отвечала:

– Вы слишком светский человек, чтоб не видеть все глазами света. Если общество сочтет, что Созертон стал лучше, я не сомневаюсь, что и вы так подумаете.

– Боюсь, в некоторых отношениях я не настолько светский человек, как было бы к моему благу. Мои чувства не столь мимолетны, и я не так умело властвую над памятью о прошлом, как свойственно светскому человеку.

Последовало недолгое молчание. И опять заговорила мисс Бертрам.

– Поездка сюда нынче утром, кажется, доставила вам большое удовольствие. Мне приятно было видеть, что вы с Джулией так прекрасно развлекали друг друга. Вы оба всю

дорогу смеялись.

– Разве? Да, в самом деле, но, убей меня Бог не могу вспомнить чему. А, ну как же, я рассказывал ей смешные истории про ирландца, слугу моего дядюшки. Ваша сестра любит смеяться.

– Вы находите ее веселей меня?

– Ее легче развлечь, – отвечал Крофорд, – а потому, знаете ли, она лучше в качестве спутницы, – продолжал он с улыбкою. – Вам, боюсь, было бы скучно все десять миль слушать ирландские анекдоты.

– Мне кажется, от природы во мне не меньше живости, чем в Джулии, но сейчас мне особенно есть о чем подумать.

– Несомненно... и бывают положения, когда чрезмерная веселость означает бесчувственность. Однако ваши виды слишком хороши, чтоб оправдать недостаток задора. Впереди вам все улыбается.

– Вы имеете в виду буквально или фигурально? Буквально, я думаю. Да, конечно, солнце светит, и парк так радуется глаз. Но, к сожалению, из-за этой железной калитки, этой ограды, я будто скована, чего-то лишена. Я не могу вырваться, как говорил тот скворец<sup>5</sup>.

При этих словах, а были они сказаны с выражением, она пошла к калитке; Крофорд последовал за нею.

– Как долго мистер Рашуот не несет ключ!

– А вы ни за что на свете не выйдете без ключа, без соизволения и защиты мистера Рашуота, не то, я думаю, вы могли бы с моею помощью довольно легко пройти вот здесь, подле калитки; я думаю, это вполне возможно, если вы и правда хотите почувствовать себя свободнее и позволите себе подумать, что сие не запрещено.

– Запрещено! Чепуха! Я и вправду могу выйти таким образом и выйду. Мистер Рашуот вот-вот будет здесь, мы еще не скроемся из виду.

– А если скроемся, мисс Прайс будет так добра и скажет ему, что он найдет нас у того пригорка, у дубовой рощи на пригорке.

Чувствуя, что их затея к добру не приведет, Фанни не могла не попытаться ей помешать:

– Ты поранишься, Мария, – воскликнула она, – ты непременно поранишься об эти зубцы, порвешь платье, соскользнешь в канаву. Лучше тебе не ходить.

Пока произносились эти слова, ее кухня в целостности-сохранности была уже по другую сторону изгороди и, улыбаясь со всем добродушием, какое придает успех, сказала:

– Благодарю, дорогая Фанни, но и я и мое платье живы-здоровы, так что до свиданья.

Фанни опять была оставлена в одиночестве, и настроение у ней несколько не улучшилось, ее огорчало чуть ли не все, что она увидела и услышала, удивляло поведение Марии, и она сердилась на Крофорда. Избрав кружной и, как ей виделось, далеко не лучший путь к пригорку, те двое скоро скрылись из глаз; и еще несколько минут она оставалась, не слыша и не видя никого вокруг. Казалось, этот лесок отдан ей одной. Она могла бы даже подумать, что Эдмунд и мисс Крофорд совсем его покинули, но ведь не мог же Эдмунд вовсе о ней забыть.

Неожиданные шаги ворвались в ее неприятные размышления, кто-то торопливо шел по главной дорожке. Она ожидала увидеть Рашуота, но оказалось, это Джулия, разгоряченная, запыхавшаяся; при виде Фанни она разочарованно воскликнула:

– Вот так так! А где же остальные? Я думала, Мария и мистер Крофорд тут с тобой.

Фанни объяснила.

– Ну и история, право слово! Их нигде не видно, – она нетерпеливо оглядывала парк. – Но они не могли далеко уйти, и я не хуже Марии могу одолеть эту изгородь, даже безо всякой

помощи.

– Но, Джулия, мистер Рашуот с минуты на минуту будет здесь с ключом. Дождись же мистера Рашуота.

– Нет уж. Хватит с меня на сегодня этого семейства. Видишь ли, милая, я только что сбежала от его ужасной маменьки. Пока ты сидела тут спокойная и довольная, я такое вытерпела наказание! Надо бы тебе оказаться на моем месте, но ты всегда ухитряешься избежать таких переделок.

Были это на редкость несправедливые слова, однако Фанни не придавала им значения, пропустила мимо ушей: Джулия была раздосадована, а нрав имела вспыльчивый, но чувствовалось, что она скоро отойдет, и оттого Фанни не стала ей возражать, только спросила, не видела ли она мистера Рашуота.

– Да, да, мы его видели. Он так мчался, будто дело шло о жизни и смерти, и только и успел сказать, почему торопится и где вы все.

– Жаль, что ему напрасно причинили столько хлопот.

– Это уж забота мисс Марии. Я не обязана наказывать себя за ее грехи. От его маменьки мне некуда было деться, поскольку моя прескучная тетушка вилась вокруг здешней экономки, но уж от сына я ускользну.

И она немедля протиснулась меж прутьев ограды и пошла прочь, не слушая последнего вопроса Фанни, не видела ли она где-нибудь мисс Крофорд и Эдмунда. Однако Фанни теперь почти с ужасом ждала возвращения Рашуота, и это мешало ей совершенно погрузиться в мысли об их столь долгом отсутствии. Она чувствовала, что с ним обошлись очень дурно, и была удручена, что должна будет сообщить ему обо всем происшедшем. Он присоединился ней через пять минут после того, как скрылась Джулия; и, хотя Фанни представила все в наилучшем свете, он был явно обижен и недоволен сверх всякой меры. Поначалу он едва ли вымолвил слово; только лицо его выражало чрезвычайное удивление и досаду, он отошел к калитке и стоял там, казалось, не зная, как быть.

– Они пожелали, чтоб я тут осталась – моя кузина Мария поручила мне сказать вам, что вы найдете их у того пригорка или поблизости.

– Навряд ли я пойду дальше, – угрюмо сказал мистер Рашуот. – Их нигде не видать. Пока я дойду до пригорка, они могут еще куда-нибудь уйти. Довольно я находился.

И он с самым мрачным видом сел подле Фанни.

– Мне очень жаль, – сказала она, – так все неудачно получилось. – А уж как хотелось ей суметь сказать что-нибудь более утешительное.

Они помолчали, потом мистер Рашуот проговорил:

– Я думаю, они с таким же успехом могли меня дождаться.

– Мисс Бертрам думала, вы ее догоните.

– Я б не должен был ее догонять, если б она меня дождалась.

На это нечего было возразить, и Фанни промолчала. Немного спустя он продолжал:

– Прошу вас, мисс Прайс, скажите, вы тоже в таком восторге от этого мистера Крофорда, как иные? Что до меня, ничего хорошего я в нем не нахожу.

– Мне он вовсе не кажется красивым.

– Красивым! Да кто ж назовет красивым такого коротышку. В нем нет и пяти футов девяти дюймов. А может быть, только пять футов и восемь, я и этому не удивлюсь. Я думаю, этот господин совсем нехорош собою. По моему мнению, эти Крофорды не очень-то ценное приобретение для нашего общества. Мы прекрасно обходились без них.

Легкий вздох слетел с губ Фанни – что тут можно было возразить.

– Добро б я не сразу согласился принести ключ, но ведь стоило ей пожелать, и я сразу

пошел.

– Вы вели себя любезней некуда, и, мне кажется, вы шли очень быстро; но ведь, знаете, расстояние тут немалое, отсюда и до дома и в самом доме, а когда люди ждут, они не умеют верно судить о времени, и каждые полминутки им кажутся за пять.

Рашуот поднялся и опять пошел к калитке и вслух досадовал, что тогда не было с ним ключа. По тому, как он стоял, Фанни почудилось, что он оттаял, и она решилась на еще одну попытку и потому сказала:

– Жаль, что вы к ним не присоединитесь. Они надеялись, что из той части парка им лучше будет виден дом и можно будет подумать, как его перестроить: а ведь, знаете, все это без вас не решишь.

Оказалось, ей легче удастся отослать собеседника, чем удержать подле себя. Рашуот не остался глух к ее словам.

– Что ж, – сказал он, – если вы и впрямь так думаете, я лучше пойду; было бы глупо принести ключ понапрасну. – И, отворив калитку, он без дальнейших церемоний двинулся прочь.

Теперь мыслями Фанни всецело завладели те двое, которые так давно ее бросили, и, окончательно потеряв терпенье, она решила отправиться на поиски. Она пошла в ту сторону, и только собралась свернуть с главной дорожки, как до ее слуха донесся голос и смех мисс Крофорд; звуки приближались, и, пройдя еще немного по извилистой тропинке, Фанни оказалась с ними лицом к лицу. Они как раз возвращались в рощу из парка, куда вскоре после того, как они расстались с нею, их заманила незапертая боковая калитка, а побывали они в той части парка, в той самой аллее, куда Фанни мечтала попасть все утро, и сидели там под деревом. Таков был их рассказ. Они, видно, провели время приятнейшим образом и даже не заметили, как долго отсутствовали. Единственным утешением ей служили заверения Эдмунда, что он очень хотел вернуться за нею и, не будь она к тому времени уже такая усталая, конечно, вернулся бы; но этих его слов было недостаточно ни чтоб утолить боль оттого, что ее покинули на целый час, тогда как рассказал он всего о нескольких минутах, ни чтоб избавиться от известного любопытства, о чем же они беседовали все это время; и когда по общему согласию они стали собираться домой, Фанни охватило разочарование и уныние.

Через полтора часа после того как все вышли из дому, в конце уступчатого газона появились и миссис Рашуот с миссис Норрис, готовые войти в рощу. Миссис Норрис была слишком занята беседою и оттого не смогла двигаться быстрее. Разные неприятные неожиданности омрачили настроение племянниц, а вот ей это утро принесло одни удовольствия – ибо домоправительница, выслушав великое множество похвал тому, каких прекрасных здесь сумели развести фазанов, повела ее на сыроварню, рассказала все про здешних коров и дала рецепт знаменитого сливочного сыра; а после того как их покинула Джулия, им встретился садовник, с которым миссис Норрис свела весьма полезное знакомство, ибо наставила его по поводу болезни внука, убедила, что это лихорадка, и пообещала самое чудодейственное лекарство, а он в ответ провел ее в самые свои лучшие оранжереи и преподнес весьма любопытный экземпляр вереска.

Случайно встретясь, они все вместе направились к дому и там кто как мог в праздности проводили время – сидели на диванах, болтали о том о сем, листали «Куотерли ревью», – пока не воротились остальные и не наступило время обеда. Сестры Бертрам с обоими джентльменами пришли уже довольно поздно, и было похоже, что прогулка их не очень удалась и ничуть не приблизила к цели сегодняшнего дня. По их рассказам, они бродили в поисках друг друга, и когда все наконец соединились, это, на взгляд Фанни, произошло слишком поздно и для того, чтобы вновь воцарились гармония, и, по общему признанию, для

того, чтобы решить, что и как требуется переустроить. Глядя на Джулию и Рашуота, Фанни чувствовала, что не у ней единственной нехорошо на душе: о том же говорили их сумрачные лица. Крофорд и Мария были много веселей, и Фанни показалось, что мистер Крофорд во время обеда прилагал особые старания, чтобы развеять некоторую обиду тех двоих и восстановить общее хорошее расположение духа.

За обедом скоро последовал чай и кофий, а предстоящие десять миль обратного пути не позволяли особенно задерживаться, и с того времени, как сели за стол, все обменивались торопливыми замечаниями по пустякам, пока к крыльцу не подали ландо, и миссис Норрис засуетилась, взяла у домоправительницы несколько фазаньих яиц и сливочный сыр, обрушила на миссис Рашуот поток любезностей и, наконец, была готова первой ступить за порог. В тот же миг мистер Крофорд, подойдя к Джулии, сказал:

– Надеюсь, моя спутница не лишит меня своего общества, разве что на вечернем воздухе ее испугает такое незащищенное место в экипаже.

Джулия не ждала этого вопроса, но ответила любезным согласием, и похоже было, что для нее сегодняшний день кончится почти так же хорошо, как начался. Мария настроилась на нечто иное и была несколько разочарована, но уверенность, что подлинное предпочтение отдано ей, все же утешила ее и помогла как должно принять прощальные знаки внимания Рашуота. Ему явно было куда приятней посадить ее в ландо, чем помочь взобраться на козлы, и этим он, видно, остался очень доволен.

– Ну, Фанни, видит Бог, ты прекрасно провела день, – проговорила тетушка Норрис, когда они ехали по парку. – От начала и до конца одно сплошное удовольствие! Ты уж так должна быть благодарна твоей тетушке Бертрам и мне, что мы позволили тебе ехать. Весь день знай себе развлекалась!

Мария была достаточно раздосадована и оттого прямо ей и сказала:

– Я думаю, вам и самой грех жаловаться, сударыня. Вон у вас сколько всякого добра на коленях, да еще вот корзинка между нами, она все время безжалостно ударяет меня по локтю.

– Дорогая моя, это всего лишь отросточек прелестного вереска, меня заставил его взять милейший старик садовник, но, если он тебе мешает, я тотчас же поставлю его себе на колени. Ну-ка, Фанни, держи вот этот сверток, да поосторожней, смотри не оброни, тут сливочный сыр, такой же превосходный, как тот, что подавали за обедом. Эта добрая душа миссис Уитикер никак не могла успокоиться, непременно хотела всучить мне какой-нибудь из сыров. Я противилась до тех пор, пока она чуть не заплакала, да притом я знаю, именно такой сыр очень любит сестра. Эта миссис Уитикер истинное сокровище! Она была просто шокирована, когда я спросила, дозволяется ли вино за столом прислуги, и она отослала прочь двух горничных за то, что они пришли в белых платьях. Осторожно держи сыр, Фанни. Теперь я могу отлично поместить другой сверток и корзинку.

– Чем еще вы разжились? – спросила Мария, не без удовольствия оттого, что Созертон так расхваливают.

– Разжилась, дорогая моя! Это всего лишь четыре прелестных фазаньих яйца, миссис Уитикер мне их буквально навязала, никаких отказов и слушать не хотела. Говорит, раз, сколько она понимает, я живу совсем одна, будет очень забавно иметь таких вот птичек, и оно и вправду так. Я велю коровнице положить их под первую же свободную курицу, и если они вылупятся, их можно отнести ко мне домой и взять взаймы клетку, и в часы одиночества мне великая радость будет ухаживать за ними. И ежели мне повезет, твоей маменьке они тоже достанутся.

Вечер был прелестный, мягкий, безветренный, и, оттого что в природе был разлит такой покой, поездка была на редкость приятная; но, когда миссис Норрис замолчала, никто более



не вымолвил ни слова. Все утомились душою, почти все, верно, размышляли сейчас, чего более принес этот день – удовольствия или огорчения.

День в Созертоне, при всех его несовершенствах, вызвал у сестер Бертрам куда более приятные чувства, чем они испытали при чтении писем с острова Антигуа, которые скоро после того прибыли в Мэнсфилд. Много приятней было думать о Генри Крофорде, чем об отце; а думать о том, что через несколько времени папенька вернется в Англию, о чем напоминали эти письма, было и вовсе несносно.

Ноябрь был тот недобрый месяц, когда следовало ждать его возвращения. Сэр Томас писал об этом с той мерой уверенности, какую могли позволить опыт и горячее желание. Дела его уже почти завершились. Это давало основания предполагать, что он отправится сентябрьским пакетботом, и тем самым он мог надеяться на встречу со своим любимым семейством в начале ноября.

Марию стоило пожалеть более, нежели Джулию, ибо для нее возвращение отца означало замужество, поскольку отец, который прежде всего заботился об ее счастье, соединит ее с влюбленным в нее Рашуотом, союз с которым, как она полагала недавно, сделает ее счастливой. Будущее казалось ей мрачным, и только и оставалось, что закрыть его самой от себя некоей туманной завесой в надежде, что, когда завеса рассеется, она увидит что-нибудь иное. Вряд ли папенька воротится в самом начале ноября, всегда неизбежны задержки, отсутствие попутного ветра или что-нибудь еще; любезное нам «что-нибудь», коим успокаивает себя всякий, кто закрывает глаза, чтобы не видеть, и не слушает доводов рассудка, чтобы не уступить им! Может быть, он появится хотя бы в середине ноября; до середины ноября еще три месяца. Три месяца заключают в себе тринадцать недель. За тринадцать недель многое может случиться.

Сэр Томас был бы глубоко оскорблен, догадываясь он хотя бы наполовину о чувствах, которые испытывали дочери по поводу его возвращенья, и навряд утешился бы, зная он об интересе, который оно возбудило в груди другой молодой особы. Мисс Крофорд, отправясь с братом в Мэнсфилд-парк, чтобы провести там вечер, услышала сию добрую весть; и, хотя ее это словно бы не касалось и она только из вежливости спокойно всех поздравила с возвращением главы семьи, она выслушала весть с интересом, который не так-то легко было насытить. Миссис Норрис поведала подробности, почерпнутые из писем, и на том разговор кончился; но после чаю, когда мисс Крофорд стояла с Эдмундом и Фанни у раскрытого окна, глядя, как в сгущающихся сумерках тонут окрестности, а сестры Бертрам, Рашуот и Генри Крофорд хлопотали вокруг свечей на фортепиано, она вдруг поворотилась, глянула на них и вернулась к прежнему разговору:

– Какой счастливый вид у мистера Рашуота! Он думает о ноябре.

Эдмунд тоже обернулся и посмотрел на Рашуота, но не нашел что сказать.

– Возвращение вашего отца будет поистине событием.

– Да, несомненно, после столь долгого отсутствия, да притом полного опасностей.

– Оно будет также предвестником других событий: ваша сестра выйдет замуж, а вы примете сан.

– Да.

– Не обижайтесь, – смеясь сказала мисс Крофорд, – но мне, право, приходят на ум некоторые древние герои-язычники, которые, совершив великие подвиги в чужой земле, приносят жертвы богам за свое благополучное возвращенье.

– В этом случае никакой жертвы нет, – отвечал Эдмунд с серьезной улыбкою и опять бросил взгляд на фортепиано. – Сестра сама решила выйти за него замуж.

– О да! Я знаю. Я просто пошутила. Она поступила всего лишь так, как поступила бы всякая молодая девушка, и я не сомневаюсь, что она совершенно счастлива. Какую вторую жертву я имею в виду, вы, конечно, не понимаете.

– Я принимаю сан так же добровольно, как Мария выходит замуж.

– Какая удача, что ваши наклонности и удобство вашего родителя так совпали. Я полагаю, здесь поблизости вас дожидается очень хороший приход.

– Который, по-вашему, и влияет на мое решение.

– Вот уж ничего похожего! – воскликнула Фанни.

– Спасибо тебе на добром слове, Фанни, но сам я не сказал бы этого с такою уверенностью. Напротив, сознание, что меня ожидает хорошее обеспечение, и вправду повлияло на меня. И я не вижу в том ничего дурного. Мне не пришлось преодолевать никакого предубеждения, и я не вижу, почему человек станет менее достойным священнослужителем, если ему известно, что он смолоду будет жить в достатке. Я был в верных руках. Я надеюсь, что не склонился бы в дурную сторону, и убежден, что отец мой слишком совестлив, чтобы позволить мне подобное. На меня, без сомненья, было оказано влияние, но, по-моему, это не заслуживает упрека.

– Это то же самое, как если сын адмирала идет во флот или сын генерала – в армию, и никто не видит в том ничего дурного, – сказала Фанни после короткого молчания. – Никого не удивляет, что они выбрали путь, на котором им всего лучше послужат друзья, никто не подозревает их в том, будто их выбор менее серьезен, чем кажется.

– Нет, дорогая мисс Прайс, не то же самое, и на то есть веские причины. Профессия моряка или солдата говорит сама за себя. Все свидетельствует в их пользу: героизм, опасность, общий толк, обычай. Солдаты и моряки всегда угодны свету. Никого не может удивить, что мужчины становятся солдатами или моряками.

– А мотивы человека, который принимает сан, со всей определенностью предпочтя его иным поприщам, по-вашему, достойны подозрений? – сказал Эдмунд. – Чтобы оправдать себя в ваших глазах, он должен так поступить, не имея ни малейшей уверенности, что будет хоть сколько-нибудь обеспечен.

– Как? Принять сан, не имея прихода! Ну что вы, да это безумие, совершенное безумие!

– Позвольте тогда спросить вас, откуда ж братья служителям церкви, если человек не должен принимать сан, надеется ли он на достаток или не надеется? Нет, вам, конечно же, нечего ответить. Но я попросил бы вас отдать должное священнику, исходя из ваших же доводов. Если на него не должны влиять чувства, которые достойны, по вашему мнению, соблазнить и вознаградить при выборе профессии солдата и моряка, если героизм, шумиха, мода – все это не про него, значит, тем менее оснований подозревать его выбор в недостатке искренности и добрых намерений.

– О, он, без сомненья, искренен, предпочитая верный доход необходимости трудиться ради него; и у него самые прекрасные намерения до конца дней своих ничего не делать, только есть, пить и жиреть. Это праздность, мистер Бертрам, и ничто иное. Праздность и любовь к покою. Недостаток столь похвального честолубия, вкуса к интересному обществу или охоты взять на себя заботу быть приятным в общении – вот что рождает священников. Священнику только и остается, что быть неряхой и себялюбцем, читать газету, следить погоду да пререкаться с женою. Всю работу за него исполняет викарий, а дело его жизни – обедать.

– Есть, разумеется, такие, но, я думаю, их не так много, чтобы согласиться с мисс Крофорд, полагающей, будто таков вообще и есть священник. Я подозреваю, что сие исчерпывающее и, да позволено мне будет сказать, банальное суждение принадлежит не вам,

но тем предубежденным особам, чьи мнения вы постоянно слышали. Невозможно, чтоб ваши собственные наблюдения дали вам достаточное представление о духовенстве. Вы сами могли быть знакомы всего лишь с несколькими из того круга людей, которых так решительно осуждаете. Вы повторяете то, что вам говорили за столом вашего дядюшки.

– Я повторяю то, что мне кажется общепризнанным мнением, а что общепризнано, то обычно верно. Хотя сама я мало видела домашнюю жизнь духовного сословия, ее видели слишком многие, чтобы можно было говорить о каком-либо недостатке знания.

– Там, где огульно осуждается любая категория образованных людей, кем бы они ни были, там неизбежно недостает знания или (улыбнулся Эдмунд) чего-то еще. Ваш дядя и его собратья адмиралы, вероятно, мало знают священников, кроме судовых, от которых, хороши они или плохи, всегда рады бы избавиться.

– Бедный Уильям! Судовой священник на «Антверпене» был так к нему добр, – мягко прозвучал риторический возглас Фанни, как нельзя более отвечающий если не сей беседе, то ее чувствам.

– Я так мало была склонна заимствовать мнения у дядюшки, что вряд ли вы правы, – сказала мисс Крофорд. – Но коль скоро вы настаиваете, должна заметить, что, поскольку я гощу сейчас у своего брата доктора Гранта, я не вовсе лишена возможностей наблюдать духовенство. И хотя со мною доктор Грант чрезвычайно добр и предупредителен, и хотя он поистине джентльмен и, мне кажется, человек ученый, умный и весьма почтенный, и его проповеди часто очень хороши, я вижу, что он праздный себялюбивый бонвиван, у него все зависит от того, вкусно ли он поел, он и пальцем не шевельнет ради чьего-либо удобства, более того, если кухарка допустила промах, он гневается на свою превосходную жену. Сказать по правде, нынче вечером нас с Генри отчасти выгнало из дому его разочарование в недожаренном гусе, с которым он не мог совладать. Моя бедная сестра вынуждена была остаться и терпеть его недовольство.

– Право же, я не удивлен, что вы его осуждаете. Это большой недостаток, усугубленный прескверной привычкой потворствовать своим желаниям. И при вашей чувствительной натуре вам, должно быть, весьма больно видеть, как страдает от этого ваша сестра. Это свидетельствует против нас, Фанни. Нам нельзя пытаться защитить доктора Гранта.

– Да, – отвечала Фанни, – но это вовсе не значит, что нам не следует защищать его профессию. Ведь какую бы профессию доктор Грант ни избрал, он остался бы при своем характере. А так как во флоте ли, в армии ли под его началом оказалось бы куда больше людей, чем сейчас, я думаю, будь он моряком или солдатом, а не священником, плохо пришлось бы куда большему числу людей. И еще я поневоле думаю, что малоприятным свойствам доктора Гранта грозила бы еще большая опасность усугубиться, когда бы он избрал занятие более деятельное и мирское, где он имел бы меньше времени и обязательств перед самим собой, где не обязан был бы познать самого себя, во всяком случае, не так часто вынужден был бы пытаться познать самого себя, чего никак не избежать в нынешней его профессии. Человек, такой здравомыслящий человек, как доктор Грант, который привычен каждую неделю наставлять других в их обязанностях, каждое воскресенье дважды ходить в церковь и так прекрасно произносить такие прекрасные проповеди, поневоле при этом и сам становится лучше. Это должно побуждать его думать, и я не сомневаюсь, что он чаще старается сдерживаться, чем если бы был не священником, а кем-нибудь другим.

– Противное мы, конечно, не можем доказать, но я желаю вам лучшей судьбы, мисс Прайс, чем стать женою человека, чья благожелательность покоится на его проповедях, потому что, хотя каждой воскресной проповедью он может привести себя в хорошее настроение, совсем нерадостно, если с утра понедельника и до вечера субботы он будет

препираться из-за недожаренного гуся.

– По-моему, на того, кто способен часто пререкаться Фанни, никакие проповеди не подействуют, – с нежностью сказал Эдмунд.

Фанни еще более отворотилась к окну, а мисс Крофорд едва успела очень мило сказать: «Сколько я понимаю, мисс Прайс чаще заслуживает похвалы, чем слышит ее», – как сестры Бертрам принялись усердно приглашать ее присоединиться к их веселому пенью, и она быстро прошла к фортепиано, а Эдмунд смотрел ей вслед в безмерном восторге ото всего множества ее добродетелей, начиная с предупредительности и кончая легкой грациозной походкою.

– Вот оно, воплощение доброго нрава, – сказал он через минуту. – Вот натура, которая никого не заставит страдать. Какая у ней прелестная походка! и с какой легкостью она отзывается желаниям других людей! идет навстречу, едва ее позовут. – И на миг задумавшись, прибавил: – Какая жалость, что она была в таких руках! Фанни согласилась с этим и имела удовольствие видеть, что, несмотря на ожидавшееся пение, Эдмунд все еще стоит с нею у окна: вскоре он обратил взгляд за окно, где все, что было внушительного, навевающего покой, радующего глаз, предстало во всем великолепии ясной ночи, на фоне укрытой тенью рощи. Фанни дала волю чувствам.

– Это истинная гармония! – сказала она. – Истинный покой! То, с чем не сравнится никакая живопись, никакая музыка, о чем одной поэзии дано попытаться поведать. Вот что может утишить любую тревогу, вызвать в душе восторг! Когда я смотрю на такую ночь, мне кажется, будто на свете нет ни зла, ни горя; ведь конечно же, и того и другого будет меньше, если чаще внимать величию природы и, созерцая подобный вид, люди будут чаще печься не о себе.

– Меня радует твое воодушевление, Фанни. Ночь восхитительная, и можно лишь очень пожалеть тех, кого не научили чувствовать с той же глубиной, как ты, кого сызмала хотя бы не приохотили к природе. Они так много теряют.

– Это ты, кузен, научил меня думать о ней и чувствовать ее.

– У меня была очень способная ученица. Вон Арктур, он сегодня очень яркий.

– Да, и Большая Медведица. Хорошо бы увидеть Кассиопею.

– Для этого надобно выйти на газон. Ты бы не побоялась?

– Нисколько. Мы уже так давно не наблюдали звезды.

– Да, не знаю даже, отчего это получилось. – У фортепиано запели. – Мыждемся, пока они кончат, Фанни, – сказал Эдмунд, отворотясь от окна; а те все пели и пели, и она с обидой замечала, что он понемногу, шаг за шагом отходит к фортепиано, и, когда певцы умолкли, он был рядом с ними и один из тех, кто всего настойчивей выражал желание послушать их еще.

Фанни вздыхала в одиночестве, пока тетушка Норрис не разбранила ее за неосторожность – так ведь недолго и простыть – и не отогнала от окна.

Сэр Томас должен был воротиться в ноябре, старшего же сына дела призвали домой раньше. Приближение сентября принесло вести о мистере Бертраме, сперва в письме к леснику, а потом в письме к Эдмунду; а в конце августа приехал и он сам, по-прежнему готовый быть веселым, милым и галантным, как располагали обстоятельства или требовало присутствие мисс Крофорд, готовый рассказывать о скачках и Уэймуте, об увеселительных прогулках и знакомых, что полтора месяца назад было бы ей небезынтересно, а теперь силою наглядного сравнения привело к убеждению, что она решительно предпочитает ему младшего брата.

Это было весьма неприятно, и она искренне огорчалась, но так уж оно вышло; и теперь она столь далека была от намерения стать женою старшего, что, не считая простейших притязаний красавицы, знающей себе цену, даже не стремилась его пленять; его затянувшееся отсутствие из Мэнсфилда, вызванное одной только жаждой удовольствий да потворством собственной прихоти, с совершенной ясностью показало ей, что он ее не любит; но его равнодушие далеко уступало ее собственному, так что, окажись он уже сейчас новым сэром Томасом, полновластным владельцем Мэнсфилд-парка, каковым ему со временем предстояло стать, она и то навряд ли приняла бы его предложение.

Время года и те же дела, которые привели мистера Бертрама в Мэнсфилд, вынудили мистера Крофорда отправиться в Норфолк. В начале сентября Эверингем не мог без него обойтись. Он уехал на две недели; две недели такого уныния для сестер Бертрам, что это должно было бы их насторожить, и Джулию, при ее ревности к сестре, заставило даже признать, что нельзя доверять его ухаживанью, и уж лучше бы он не возвращался; в эти две недели, когда между охотой с ружьем и сном было вдоволь досуга, и, будь сей джентльмен более привычен разбираться в своих побуждениях и размышлять, к чему ведет его праздное тщеславие, он убедился бы, что ему следует задержаться подольше; но преуспевание и дурной пример сделали его слишком беспечным себялюбцем, и он не заглядывал в завтрашний день. Красивые, умные и столь много обещающие сестры забавляли его пресыщенную душу и, не найдя в Норфолке ничего, что могло бы сравниться с развлечениями мэнсфилдского общества, он с удовольствием возвратился к ним в назначенное время и с таким же удовольствием был там встречен теми, с кем намеревался развлекаться и дальше.

Мария, которую окружал вниманьем один только мистер Рашуот, обреченная выслушивать все одни и те же подробности его ежедневных занятий, удач и неудач, его похвальбу своими собаками, его завистливые сетования на соседей, его сомненья в связи с новым законом об охоте и гнев на браконьеров – предметы, которые находят путь к сердцу женщины единственно если есть кое-какой дар у рассказчика либо кое-какая привязанность у слушательницы, отчаянно скучала без мистера Крофорда; а Джулия, никем и ничем не занятая, чувствовала себя вправе скучать по нем и того более. Каждая из сестер полагала, что предпочтение отдано ей. Джулию могли в том оправдать намеки миссис Грант, склонной верить в то, чего ей хотелось, а Марию – намеки самого мистера Крофорда. С его возвращением все вошло в ту же колею, что и до отъезда: с сестрами Бертрам он держался, не изменяя той живости и приятности, которая позволяла сохранить расположение обеих, но без тени того постоянства, прочности, заботы, тепла, которые бы могли привлечь внимание общества.

Фанни, единственная из всех, ощущала в происходящем что-то такое, что вызывало у ней неприязнь; но с того самого дня в Созертоне она, видя Крофорда с какой-либо из сестер,

уже не могла не наблюдать за ними и почти всегда удивлялась или порицала; и, будь она уверена, что ее суждения в этом случае могут сравняться с ее оценками во всех прочих, не сомневайся она, ясно ли видит и не пристрастно ли судит, она бы, вероятно, поделилась иными важными мыслями со своим всегдашним наперсником. Однако же сейчас осмелилась лишь на единый намек, но и он пропал втуне.

– Меня несколько удивляет, что мистер Крофорд так скоро воротился после того, как пробыл здесь так долго, целых семь недель, – сказала она. – Мне казалось, он так любит смену впечатлений и переезды, и я думала, раз он уехал, что-нибудь непременно повлечет его куда-нибудь еще. Он ведь привык к местам куда более веселым, чем Мэнсфилд.

– Это к его чести, – был ответ Эдмунда, – и, по-моему, его сестру это радует. Ей не нравится неустойчивость его склонностей.

– Сколь мил он моим кузинам!

– Да, его обхождение с женщинами должно доставлять им удовольствие. По-моему, миссис Грант воображает, будто он отдает предпочтение Джулии; я же этого не замечаю, но был бы рад, будь это правда. Его недостатки не таковы, чтобы истинное чувство не могло их преодолеть.

– Не будь Мария обручена, я иной раз готова была бы подумать, что ею он восхищается больше, чем Джулией, – осторожно сказала Фанни.

– Что, быть может, скорее свидетельствует о том, что он увлечен Джулией сильнее, чем ты можешь предположить. Я полагаю, так случается часто – прежде, чем принять окончательное решение, мужчина куда более отличает сестру или закадычную подругу той, которая подлинно занимает его мысли, чем ее самое. Крофорд слишком разумен и не оставался бы тут, если б ему грозила какая-нибудь опасность со стороны Марии. А за нее, после того как она столь ясно показала, что сильное чувство ей не свойственно, я нисколько не опасуюсь.

Фанни решила, что, должно быть, ошиблась, и положила впредь думать по-иному; но, как ни привыкла следовать за Эдмундом, как ни помогали утвердиться в его мнение взгляды и намеки, которые она замечала со стороны кое-кого из окружающих и которые словно бы говорили, что Крофорд избрал Джулию, она подчас не знала, что и подумать. Однажды вечером она ненароком услышала о надеждах своей тетушки Норрис на сей предмет, а также о ее чувствах и о сходных чувствах миссис Рашуот, и, слушая, только диву давалась; и как же она была бы рада не присутствовать при разговоре, ибо происходил он, когда остальная молодежь танцевала, а она с великой неохотой сидела у камина в обществе пожилых дам, всем сердцем желая, чтобы вновь появился старший кузен, на кого она возлагала все надежды как на единственного свободного в ту минуту партнера. То был ее первый бал, хотя без приготовлений и великолепия, какие сопровождают первый бал многих молодых особ, ибо о нем подумали лишь сегодня днем, благодаря тому что на половине слуг недавно завелся скрипач, а к мистеру Бертраму только что пожаловал новый закадычный друг и с помощью миссис Грант можно было составить пять пар. Фанни, однако ж, была поистине счастлива, протанцевав первые четыре танца, и ей жаль было терять даже четверть часа. Пока она ждала и надеялась, поглядывая то на танцующих, то на дверь, она и услышала невольно разговор вышеупомянутых дам:

– Я полагаю, сударыня, мы сейчас опять увидим счастливые лица, – сказала тетушка Норрис, глядя на Рашуота и Марию, которые во второй раз танцевали вместе.

– Да, сударыня, без сомнения, – отвечала миссис Рашуот с величественной и самодовольною улыбкой. – Теперь будет на что посмотреть с некоторым удовлетвореньем, и я полагаю, это такая жалость, что они должны были расстаться. Молодым людям в их

положении надо бы позволить несколько отступить от общепринятых правил. Удивляюсь, что мой сын этого не предложил.

– Мне кажется, он предложил, сударыня... Мистер Рашуот всегда так внимателен. Но у нашей душеньки Марии уж очень строгое понятие о приличиях и столько в ней истинного такта, какой нынче не часто встретишь, миссис Рашуот, такое стремление избежать фамильярности!.. Дорогая сударыня, вы только взгляните, какое у ней сейчас лицо... совсем не то, что во время двух предыдущих танцев!

Мисс Бертрам и вправду выглядела счастливой, глаза у ней лучились радостью, и разговаривала она с большим одушевлением, потому что Джулия и ее партнер мистер Крофорд были с нею рядом; все они сейчас сошлись на одном месте. Как она выглядела перед тем, Фанни не могла вспомнить, ибо сама танцевала с Эдмундом и о ней не думала.

Миссис Норрис продолжала:

– Просто душа радуется, сударыня, когда видишь, что молодые люди таким надлежащим образом счастливы, так подходят друг другу, именно то, что надобно! Не могу не подумать, в каком восторге будет наш дорогой сэр Томас. А как вам кажется, сударыня, каковы надежды на второй брак? Мистер Рашуот подал хороший пример, а подобные примеры весьма заразительны.

Вопрос этот привел миссис Рашуот, которая не видела никого и ничего, кроме собственного сына, в совершенное недоумение.

– Вон те двое, сударыня. Вы не видите там никаких признаков?

– Боже мой!.. Мисс Джулия и мистер Крофорд. Да, в самом деле, очень милая пара. Каков его доход?

– Четыре тысячи в год.

– Прекрасно... Те, у кого собственность невелика, должны довольствоваться тем, что имеют... Четыре тысячи в год неплохое состояние, и он как будто весьма любезный, уравновешенный молодой человек, так что, я надеюсь, мисс Джулия будет очень счастлива.

– Тут еще ничего не условлено, сударыня... Мы пока говорим об этом единственно меж друзей. Но у меня почти нет сомнений, этого не миновать. Он последнее время уделяет ей совершенно исключительное внимание.

Дальше Фанни слушать не могла. На время она перестала и слушать и интересоваться услышанным, потому что в комнате снова появился мистер Бертрам, и, хотя она чувствовала, что быть приглашенной им большая честь, ей казалось, он все-таки ее пригласит. Он подошел к их кружку, но вместо того, чтоб пригласить ее на танец, пододвинул к ней стул и доложил ей, в каком состоянии сейчас находится его больная лошадь и каково мнение на этот счет его конюшего, с которым он только что расстался. Фанни поняла, что танцевать они не будут, и по свойственной ей скромности тотчас же почувствовала, что ожидать этого было вовсе неразумно. Поведав про свою лошадь, мистер Бертрам взял со стола газету и, со скучающим видом глядя поверх нее, сказал:

– Если ты хочешь танцевать, Фанни, я к твоим услугам.

Предложение было отклонено еще того учтивей – танцевать она не хотела.

– Я рад, – сказал он куда оживленней и отложил газету, – а то я до смерти устал. Я только диву даюсь, как это почтеннейшая публика выдерживает столь долгое время. Чтоб находить в такой глупости хотя какое-то удовольствие, они все должны быть влюблены, и, наверно, так оно и есть. Если поглядеть на них, сразу видно, что они все тут влюбленные, все, кроме Йейтса и миссис Грант... а между нами говоря, ей, бедняжке, возлюбленный надобен, должно быть, не меньше, чем им всем. С этим доктором жизнь у ней, должно быть, отчаянно скучная, – он лукаво покосился в сторону доктора, но, оказалось, тот сидит совсем рядом, и



выражение лица и предмет разговора так мгновенно переменились, что Фанни, несмотря ни на что, едва удержалась от смеха. – Странная эта история в Америке, доктор Грант!.. Что вы о ней скажете?.. Я всегда обращаюсь к вам, чтоб знать, что мне следует думать о делах государственных.

– Дорогой мой Том! – вскорости воскликнула тетушка Норрис, раз ты не танцуешь, я полагаю, ты не откажешься присоединиться к робберу, не так ли? – и, поднявшись со своего места и подойдя к нему, чтоб настоять на своем, прибавила шепотом: – Видишь ли, мы хотим составить партию для миссис Рашуот... Твоя маменька очень этого желает, но сама не может уделить нам время и сесть с нами, так она занята своим рукоделем. А ты, я и доктор Грант как раз будет то, что надобно, и, хотя мы-то ставим по полкроны, ты можешь ставить против него полгинеи.

– Я был бы весьма счастлив, – отвечал Том и поспешно вскочил, – до чрезвычайности приятно... но только сейчас я буду танцевать. Пойдем, Фанни, – сказал он, взяв ее за руку, – довольно попусту терять время, не то танец кончится.

Фанни очень охотно дала себя увести, хотя не испытывала к нему особой благодарности и, в отличие от него, не видела никакой разницы между эгоизмом тетушки Норрис и его собственным.

– Ну и просьбица, ей-Богу! – негодуяще воскликнул он, едва они отошли от почтенных дам. – Вздумала пригвоздить меня к карточному столу на целых два часа, с собою и доктором Грантом, с которым они вечно препираются, и с этой настырной старухой, которая понимает в висте не больше, чем в алгебре. Я бы предпочел, чтоб моя почтенная тетушка была не так навязчива. И таким вот образом меня попросить! Безо всяких церемоний, при них при всех, чтоб я не мог отказаться! Как раз это я особенно не люблю. Больше всего меня злит, когда делают вид, будто тебя спрашивают или предоставляют тебе выбор, а в действительности так к тебе обращаются, чтоб вынудить поступить только по их желанию... о чем бы ни шла речь! Не приди мне в голову счастливая мысль танцевать с тобою, нипочем бы не отвертеться. Прямо беда. Но когда тетушка заберет что-нибудь в голову, ее не остановишь.

Достопочтенный Джон Йейтс, сей новоиспеченный друг, не мог ничем особенно похвалиться, кроме привычки вести светскую жизнь и сорить деньгами и тем, что был он младшим сыном некоего лорда с приличным независимым состоянием; и сэр Томас, вероятно, счел бы его появление в Мэнсфилде вовсе нежелательным. Мистер Бертрам свел с ним знакомство в Уэймуте, где они вместе провели десять ей в одной компании, и дружба их, если то можно назвать дружбою, была закреплена и упрочена приглашением мистера Йейтса в Мэнсфилд, когда ему будет удобно заглянуть туда по пути, и его обещанием приехать; и он и вправду приехал, еще раньше, чем его ожидали, ввиду того, что большое общество, собравшееся, чтобы повеселиться в доме его друга, ради встречи с которым он покинул Уэймут, вынуждено было разъехаться. Он прилетел на крыльях разочарования, с головою, полной мыслей о выступлении на сцене, так как то общество собиралось ставить спектакль; и пьесу, в которой была роль и у него, уже через два дня должны были представлять, когда внезапная кончина одной из ближайших родственниц того семейства нарушила их планы и рассеяла исполнителей. Быть так близко к счастью, так близко к славе, так близко к большой хвалебной статье о домашнем спектакле в Эклсфорде, поместье достопочтенного лорда Рэвеншо в Корнуолле, которая, конечно же, увековечит имена всех участников, по крайней мере, на год! Быть так близко, и все потерять, – рана была так болезненна, что ни о чем другом мистер Йейтс говорить не мог. Эклсфорд и его театр, всевозможные приготовления, наряды, репетиции, шутки – то был неизменный предмет его речей, а похвальба этим недавним прошлым – единственное утешенье.

По счастью для него, любовь к театру столь всеобща, а стремление выступать на сцене у молодых людей столь сильно, что его разговоры явно упали в добрую почву. Начиная с распределения ролей и до самого эпилога, все пленяло, и лишь немногие не желали бы принять в этом участие или не решились бы попробовать себя в какой-нибудь роли. Пьеса называлась «Обеты любви»<sup>6</sup>, и мистер Йейтс должен был быть графом Кэсселом.

– Роль пустяковая и совсем не в моем вкусе, на такую в другой раз я нипочем бы не согласился. Но я порешил ничего не усложнять. Лорд Рэвеншо и герцог завладели двумя единственно стоящими ролями еще до того, как я приехал в Эклсфорд. И хотя лорд Рэвеншо предложил отказаться от своей роли в мою пользу, но, сами понимаете, согласиться я не мог. Мне было жаль, что он так переоценил свои возможности, он совсем не подходил для Барона! Маленького роста, слабый голос, и уже через десять минут становится хриплым! Это причинило бы пьесе заметный ущерб, но я-то порешил ничего не усложнять. Сэр Генри полагал, что герцог не подходит для Фредерика, но лишь потому, что сам хотел исполнять эту роль, тогда как из них двоих герцог был куда более на месте. Я был поражен, что сэр Генри такой тупица. По счастью, сила пьесы не в нем. Наша Агата неподражаема, и, на взгляд многих, герцог был тоже очень хорош. И в целом спектакль был бы замечательный.

«Вот ей-Богу незадача» и «Да, вас, конечно, можно пожалеть», – доброжелательно и сочувственно отзывались слушатели.

– Не стоит жаловаться, но, право же, эта родственница не могла выбрать более неподходящего времени, чтобы отправиться на тот свет. И как тут не пожелать, чтобы эту новость придержали всего на три денька, которые нам требовались. Каких-нибудь три дня, и была-то она всего лишь бабушка, и случилось все за двести миль оттуда, так что большой беды не было бы, и я знаю, это предлагали, но лорд Рэвеншо, который, по моему мнению, соблюдает приличия строже всех в Англии, и слушать об этом не хотел.

– Вместо комедии совсем иное действо, – сказал мистер Бертрам. – С «Обетами любви» было покончено, и лорд и леди Рэвеншо отправились одни исполнять пьесу «Моя бабушка». Что ж, его-то наверно утешит наследство; и, между нами говоря, он, быть может, стал опасаться, как бы роль Барона не повредила его доброму имени и его легким, и не жалел, что уезжает; а чтоб утешить вас, Йейтс, я думаю, нам надобно разыграть небольшую пьеску в Мэнсфилде и попросить вас быть нашим распорядителем.

Хотя мысль эта родилась только сию минуту, она не оказалась сиюминутною прихотью, так как склонность к игре уже пробудилась и всего сильнее завладела именно тем, кто был сейчас хозяином дома и кто, имея столько досуга, что почти любое новшество было для него благом, обладал к тому же той мерой живости и вкуса к комическому, какая и надобна, чтобы применить к этому новшеству – игре на сцене. Мысль эта возвращалась опять и опять.

– О! Вот бы нам устроить что-нибудь вроде Эклсфордского театра.

Желание его эхом отозвалось в душах обеих сестер; и Генри Крофорд, который, хоть и жил в вихре наслаждений, этого удовольствия еще не отведал, горячо поддержал такое намеренье.

– Право же, у меня сейчас хватит глупости согласиться на любую роль, – сказал он, – начиная с Шейлока и Ричарда III до героя какого-нибудь фарса, который распевает песенки, вырядившись в алый мундир и треуголку. У меня такое чувство, будто я могу быть кем угодно, могу произносить громкие речи и неистовствовать, или вздыхать, или выделять антраша в любой трагедии или комедии, написанной на нашем родном языке. Давайте что-нибудь делать. Пусть это будет всего половина пьесы... один акт... одна сцена; что нам может помешать? По вашим лицам мне ясно, что вы не против, – сказал он, глядя в сторону сестер Бертрам, – а театр... что такое, в сущности, театр? Мы только развлечемся. Нам подойдет в этом доме любая комната.

– Необходим занавес, – сказал Том Бертрам, – несколько ярдов зеленого сукна для занавеса, и, пожалуй, достаточно.

– О, вполне достаточно! – воскликнул мистер Йейтс, – еще только сделать на скорую руку одну-две кулисы, в глубине – дверь и три-четыре легких декорации; более ничего не надобно. Раз мы все затеваем единственно для собственного развлечения, нам ничего более не потребуется.

– По-моему, нам следует удовольствоваться еще меньшим, – сказала Мария. – У нас и времени неостанет, и возникнут новые осложнения. Нам следует согласиться с мнением мистера Крофорда и устроить представление, а не спектакль. В наших лучших пьесах найдется немало сцен, где можно обойтись без декораций.

– Нет, – сказал Эдмунд, который стал прислушиваться к разговору с тревогою. – Давайте ничего не будем делать наполовину. Если уж играть, пусть это будет театр как театр, с партером, ложей, галеркой, и давайте возьмем пьесу целиком, от начала и до конца; так что, если то будет немецкая пьеса, неважно какая, пусть в ней будут остроумные шутки, меняющийся дивертисмент, и пантомима, и матросский танец, и между актами песня. Если мы не превзойдем Эклсфорд, не стоит и приниматься.

– Послушай, Эдмунд, не порть нам удовольствие, – сказала Джулия. – Ты как никто любишь театр и, чтоб посмотреть спектакль, готов отправиться хоть на край света.

– Верно, чтобы увидеть настоящую игру, хорошую, настоящую профессиональную игру; но я вряд ли перейду из этой комнаты в соседнюю, чтобы посмотреть на неловкие попытки тех, кто не был обучен актерскому искусству, – на компанию дам и господ, образованность и хорошее воспитание которых будут только помехою для лицедейства.

После недолгого молчания разговор, однако, был продолжен, спор разгорелся еще жарче, и стремление каждого, подогретое спором и уверенностью, что он не одинок в своем стремлении, еще возросло; и хотя ни на чем еще не сошлись, кроме того, что Том Бертрам предпочел бы комедию, а его сестры и Генри Крофорд – трагедию, и что найти пьесу, которая угодит им всем, проще простого, в решимости играть не то, так другое, утвердились все, и Эдмунду стало очень не по себе. Он задумал предотвратить это, если возможно, хотя его мать, которая тоже слышала разговор, происходивший за столом, не выказала ни малейшего неодобрения.

В тот же вечер ему выпал случай попытать свои силы. Мария, Джулия, Генри Крофорд и Йейтс были в бильярдной. Том воротился оттуда в гостиную, где Эдмунд в задумчивости стоял у горящего камина, леди Бертрам расположилась чуть поодаль на диване, а Фанни подле нее приводила в порядок ее рукоделье, и, едва войдя, заговорил:

– Такого отвратительного бильярда, как у нас, по-моему, не встретишь нигде на свете. Я больше не в силах его терпеть, и пожалуй, уже ничто не соблазнит меня к нему воротиться. Но зато мне пришла в голову недурная мысль. Бильярдная как раз подходит для театра, у ней именно та форма и длина, какие надобны, и в дальнем конце можно растворить двери, стоит только переставить книжный шкаф в папенькиной комнате; если мы решимся, лучшего и желать нельзя. А папенькина комната будет отличная артистическая. Она будто нарочно для того и соединена с бильярдной.

– Не всерьез же ты собрался играть на сцене, Том? – негромко спросил Эдмунд, когда брат подошел к камину.

– Не всерьез? Еще как всерьез, можешь мне поверить. А что тебя в этом удивляет?

– По-моему, это никуда не годится. Если говорить вообще, домашние представления – затея отнюдь не бесспорная, а уж в наших обстоятельствах предпринимать что-нибудь в таком роде вовсе неблагоприятно, и даже более того. Это показало бы вопиющий недостаток сочувствия к отцу, которого с нами сейчас нет и который до известной степени находится в постоянной опасности; и, по-моему, это было бы опрометчиво, имея в виду Марию, ведь ее положение сейчас требует такта, я бы сказал, принимая во внимание все обстоятельства, величайшего такта.

– Ты смотришь на это так серьезно, будто мы собираемся играть трижды в неделю, покуда не вернется отец, и приглашать в зрители всю округу. Но мы ничего подобного не затеваем. Мы только и хотим сами немного развлечься, просто для разнообразия, и попробовать свои силы в чем-то новом. Мы не ищем ни публики, ни публичности. Я думаю, можно не сомневаться, что мы выберем совершенно безупречную пьесу, и я не вижу особого вреда или опасности ни для кого из нас в том, что мы станем обмениваться изысканными фразами, написанными каким-нибудь почтенным автором, а не болтать на своем привычном языке. Я не чувствую ни опасений, ни угрызений совести. А что до отсутствия отца, это уж никак не может служить препятствием, скорее даже поводом, поскольку для маменьки ожидание его, конечно, пора весьма тревожная, и, если мы поможем ей скоротать время и поддержим бодрость духа в предстоящие недели, я сочту, что мы распорядились своим временем наилучшим образом, и, уверен, с этим согласится и он. Для маменьки это очень тревожная пора.

При этих словах оба посмотрели на мать. Леди Бертрам откинулась на спинку в углу дивана – воплощенное здоровье, благополучие, покой и уравновешенность, ее как раз одолела сладкая дрема, а Фанни исправляла разные огрехи в ее рукоделье.

Эдмунд улыбнулся и покачал головою.

– О Господи! ну что тут скажешь, – воскликнул Том и, от души рассмеявшись, уселся в

кресло. – Право слово, ваша тревога, дорогая маменька... я попал пальцем в небо.

– Что такое? – спросила ее светлость недовольным спросонья голосом. – Я не спала.

– Ох, дорогая маменька, конечно же нет... никто этого и не заподозрил... Так вот, Эдмунд, – возвратился он к предмету их разговора, снова приосанившись и взяв прежний тон, едва леди Бертрам опять стала клевать носом, – я буду стоять на своем... в нашей затее нет решительно ничего дурного.

– Не могу с тобой согласиться... Я убежден, что отец ни в коем случае не одобрил бы ее.

– А я убежден в противном. Отец, как никто другой, любит, чтоб молодежь находила применение своим талантам, и всячески ее в том поощряет; а все, что имеет касательство к игре, ораторскому искусству, декламации, я думаю, ему всегда по вкусу. Когда мы были мальчиками, он, без сомненья, поощрял это в нас. Сколько раз в этой самой комнате, мы ему на радость скорбели над мертвым телом Юлия Цезаря и повторяли «быть или не быть!». И еще помню, однажды во время рождественских вакаций каждый вечер я непременно декламировал «мое имя Норвал».

– Это совсем другое дело. Ты должен сам видеть разницу. Отец хотел, чтоб мы, школьники, хорошо говорили, но он никогда б не захотел, чтоб его взрослые дочери играли в спектакле. Во всем, что касается приличий, он весьма строг.

– Я все это знаю, – с неудовольствием сказал Том. – Я не хуже тебя знаю отца и позабочусь, чтоб его дочери ничем его не огорчили. Занимайся своими делами, Эдмунд, а я позабочусь об остальных членах семьи.

– Если ты определенно решился на спектакль, я надеюсь, все будет очень скромно и без шума, – отвечал упорствующий Эдмунд, – и я полагаю, о театре не может быть и речи, Это означало бы непозволительное обращение с отцовским домом в его отсутствие, чего никак нельзя оправдать.

– За все, что касается до этих дел, отвечать буду я, – решительно заявил Том. – Дом нашего отца останется в целостности-сохранности. Я не меньше тебя озабочен тем, чтобы не нанести дому никакого ущерба. А что до перемен, какие я только что предложил – подвинуть книжный шкаф, отпереть дверь или даже на неделю воспользоваться бильярдной и это время не играть там на бильярде, – с таким же успехом можно предположить, будто отец станет возражать, что после его отъезда мы проводим больше времени в этой комнате, а не в малой гостиной, как при нем, или что фортепиано сестер передвигают из одного конца комнаты в другой. Совершенная чепуха!

– Ежели нет ничего плохого в самом новшестве, плохо уже то, что оно будет стоить денег.

– Да, денег это будет стоить огромных! Возможно, даже целых двадцать фунтов. Что-нибудь вроде театра нам непременно надобно будет устроить, но мы сделаем это простейшим образом: суконный занавес и кое-какие плотничьи работы... вот и все. А поскольку плотничьи работы все будут сделаны дома Кристофером Джексонсом, о лишнем тратах смешно и говорить. Раз этим займется Джексон, сэра Томаса расходы не могут беспокоить. Не воображай, будто в этом доме ты единственный способен видеть и здраво рассуждать. Если тебе самому играть не по вкусу, не играй, но не жди, что все другие станут тебя слушаться.

– Нет, чтоб мне играть, об этом не может быть и речи, – отвечал Эдмунд.

После его слов Том вышел из комнаты, а Эдмунд сидел и задумчиво, с досадою помешивал уголья в камине.

Фанни, которая слышала все от начала до конца и испытывала совершенно те же чувства, что и Эдмунд, желая сколько-нибудь его утешить, отважилась нарушить молчанье:

– Быть может, им не удастся найти подходящую пьесу, у твоего брата и у сестер вкусы, кажется, совсем разные.

– Нет у меня на это надежды, Фанни. Если они не откажутся от своей затеи, они что-нибудь да найдут. Я поговорю с сестрами и постараюсь разубедить хотя бы их, ничего другого я сделать не могу.

– Мне кажется, на твоей стороне будет тетушка Норрис.

– Скорей всего. Но и Том и сестры так мало к ней прислушиваются, что это не поможет. И если сам я не смогу их убедить, к ее помощи я прибегать не стану, пускай тогда все идет своим чередом. Нет ничего хуже семейных раздоров, надобно идти на все, лишь бы избежать ссоры.

Случай поговорить с сестрами представился на другое утро, но они были столь же нетерпимы к его совету, столь же неподатливы на его уговоры и столь же непреклонны, когда дело касалось до их удовольствия, как Том. У маменьки затея не вызвала никаких возражений, и они нимало не боялись папенькиного неодобренья. Какой может принести вред то, что делается в таком множестве почтенных семей таким множеством самых уважаемых дам. И одна лишь сумасбродная щепетильность способна увидеть что-то заслуживающее осуждения в их затее, ведь участвовать будут только братья, сестры да ближайшие друзья, и, кроме них одних, о ней никто и знать не будет. Джулия, правда, склонна была согласиться, что положение Марии и вправду, пожалуй, требует особой осторожности и такта... но на нее-то это никак не распространяется, она-то свободна; а Мария, по-видимому, полагала, что помолвка лишь возносит ее надо всякими ограничениями и оставляет еще менее оснований, чем Джулии, советоваться с маменькой ли, с папенькой... Эдмунду не на что было особенно надеяться, однако ж он все говорил о том же, когда появился Генри Крофорд, только что из пастората, и воскликнул:

– В нашем театре нет недостатка в исполнителях, мисс Бертрам. Нет недостатка в исполнителях второстепенных ролей... Моя сестра шлет всем нежный привет и надеется, что ее примут в труппу, и рада будет изобразить какую-нибудь старую дуэнью или послушную наперсницу, роль которой вам самим, быть может, окажется не по вкусу.

Мария бросила на Эдмунда взгляд, который означал: «Ну, что ты теперь скажешь? Можем мы быть неправы, если Мэри Крофорд чувствует как мы?» И Эдмунд замолчал, поневоле признавая, что великое обаяние игры на сцене может соблазнить и незаурядный ум; с чистосердечием любви он поневоле увидел в ее приветствии и надежде прежде всего любезность и услужливость.

Затея продвигалась. Сопротивление ни к чему не привело; а что до тетушки Норрис, Эдмунд ошибся, полагая, будто она хоть как-то его поддержит. Все ее возраженья оказались таковы, что старшие племянник и племянница, которые отлично умели с ней обходиться, разбили их в первые же пять минут; а поскольку все приготовления требовали совсем небольших расходов, а от нее и вовсе никаких, поскольку она предвидела для себя всяческие удобства, которые будут вызваны спешкой, суматохой и важностью происходящего, и тотчас же извлекла для себя пользу, вообразив, будто ей надобно покинуть свой дом, где она уже целый месяц жила на собственный счет, и поселиться у них, дабы в любое время быть в их распоряжении, в душе она была чрезвычайно довольна их выдумкой.

Похоже было, что Фанни ближе к правде, чем предполагал Эдмунд. Найти пьесу, которая была бы по вкусу всем, оказалось и впрямь нелегко; и уже плотник получил распоряженья и снял размеры, уже предложил, как устранить по меньшей мере два вида помех, и, доказав неизбежность расширения работ и расходов, уже принялся за дело, а поиски пьесы все продолжались. Шли и другие приготовления. Из Нортгемптона доставили огромный рулон зеленого сукна, и тетюшка Норрис раскроила его (да так искусно, что сберегла добрых три четверти ярда), и горничные уже шили из него занавес, а пьесу все еще не подыскивали; и когда подобным манером прошли три дня, Эдмунд начал было надеяться, что ее так никогда и не найдут.

Тут ведь о стольком требовалось позаботиться, стольким участникам угодить, столько требовалось приятных ролей, да, сверх того, чтоб пьеса была одновременно и трагедия и комедия, что надежды прийти к согласию, казалось, и вправду так мало, как бывает во всем, что затевается с пылом юности.

Сторонниками трагедии были обе мисс Бертрам, Генри Крофорд и мистер Йейтс, комедии – Том Бертрам, правда, не в полном одиночестве, поскольку того же явно желала и Мэри Крофорд, однако из вежливости хранила молчание; но при его решительном нраве и воле союзники, казалось, и не надобны; и независимо от столь несовместимых требований всем хотелось пьесу, в которой ролей было бы немного, но все преотличные, и три главные – женские. Все лучшие пьесы были просмотрены попусту. Ни «Гамлет», «Макбет», ни «Отелло», ни «Дуглас», ни «Игрок» не содержали в себе ничего, что удовлетворило бы даже сторонников трагедии; а «Соперники», «Школа злословия», Колесо судьбы», «Законный наследник»<sup>7</sup> и многие прочие вызвали еще более горячие возражения и были отклонены одна за другой. Стоило назвать пьесу, и кто-нибудь непременно находил в ней недостатки, и то с одной стороны, то с другой неизменно слышалось:

- О нет, это не годится. Лучше обойдемся без напыщенных трагедий.
- Слишком много действующих лиц.
- Во всей пьесе нет ни одной сносной женской роли.
- Дорогой мой Том, что угодно, только не это. У нас неостанет исполнителей.
- Ну кто ж захочет исполнять такую роль.
- От начала до конца одна буффонада. Это, может быть, и годится, да только для ролей простонародья.

– Если вам непременно требуется мое мнение, по-моему, у нас в Англии нет и не было пьесы более пресной.

– Я не хочу спорить, только порадуюсь, если от меня будет хоть какой-то прок, но, думаю, это уж вовсе неудачный выбор.

Фанни наблюдала и слушала, и втайне забавлялась, примечая эгоизм, который, более или менее замаскированный, казалось, управлял всеми, и гадала, чем же дело кончится. Для собственного удовольствия она могла бы пожелать, чтобы какая-нибудь пьеса все-таки была разыграна, поскольку ни единого спектакля никогда не видела, но все прочие более серьезные соображения были против того.

– Так у нас ничего не получится, – сказал наконец Том Бертрам. – Мы непростительно тратим время попусту. Надобно на чем-то остановиться. Неважно на чем, лишь бы хоть что-то выбрать. Уж чересчур мы разборчивы. Незачем пугаться, если действующих лиц будет несколько больше. Можно исполнять и по две роли. Хватит нам так уж заноситься. Если роль

незначительна, тем больше чести чего-нибудь в ней достичь. С этой минуты я согласен на все. Я беру любую роль, какую бы мне ни предложили, лишь бы она была комическая. Пусть она будет комическая, Других условий я не ставлю.

И затем, кажется, уже в пятый раз, предложил «Законного наследника», сомневаясь единственно в том, кого предпочесть самому – Лорда Дьюберли или Доктора Панглоса, и очень серьезно, но безрезультатно пытался убедить остальных, что среди прочих персонажей есть прекрасные трагические роли.

Молчание, которое последовало за этой бесплодной попыткой, он же и нарушил, когда, взявши один из множества лежащих на столе томов с пьесами и полистав его, вдруг воскликнул:

– «Обеты любви»! А почему бы нам не взять «Обеты любви», которые ставили у Рэвеншо? Как это нам прежде не пришло в голову! Меня вдруг осенило, вот оно то, что надо. Что вы на это скажете?.. Здесь две ведущие трагические роли для Йейтса и Крофорда и говорящий стихами дворецкий для меня – если на него нет других желающих, – роль пустяковая, но из тех, которые мне не противны, и, как я уже говорил, я готов взять любую роль и стараться изо всех сил. А что до остальных ролей, они подойдут любому. Остаются лишь Граф Кэссел и Анхельт.

Предложение было всеми одобрено. Все уже начали уставать от неопределенности, и первое, о чем подумал каждый, что из всех пьес, какие они перебрали, эта для всех самая подходящая. Особенно был доволен мистер Йейтс – он еще в Эклсфорде вздыхал по роли Барона, жаждал ее сыграть, завидовал каждой тираде лорда Рэвеншо, и ему только и оставалось повторять их все у себя в комнате. Неистовствовать в роли Барона Уилденхейма было пределом его театральных мечтаний, и, уже зная половину сцен наизусть, он с великой поспешностью предложил себя на эту роль. Надобно, однако ж, отдать ему справедливость, он не собирался ее присваивать, но, помня, что есть и еще прекрасная возможность произносить громкие речи в роли Фредерика, заявил, что равно готов и на нее. Генри Крофорд был согласен на любую из этих ролей. Какую бы ни выбрал мистер Йейтс, он никак не станет возражать против оставшейся. Тут последовал короткий обмен комплиментами. Мисс Бертрам, весьма заинтересованная в роли Агаты, взяла решение на себя, заметив мистеру Йейтсу, что здесь надобно подумать и о росте и о фигуре, а поскольку он выше, он особенно подходит для Барона. Все признали ее правоту, две эти роли распределили соответственно, и она получила уверенность, что Фредериком будет именно тот, кто ей желателен. Теперь три роли были уже взяты, оставался единственно мистер Рашуот, за которого Мария всегда отвечала, что он согласен быть кем угодно; и тут Джулия, которая, как и сестра, намеревалась стать Агатой, изъявила величайшую заботу об интересах мисс Крофорд.

– Мы забываем об отсутствующей, – сказала она. – В пьесе недостаточно женских ролей. Амелия и Агата могут подойти Марии и мне, а для вашей сестры, мистер Крофорд, ничего нет.

Мистер Крофорд выразил желание, чтоб никто об этом не тревожился; он совершенно уверен, что у сестры нет охоты играть, разве что понадобилась бы ее помощь, а в данном случае она бы и помыслить не могла, чтоб ее принимали во внимание. Но ему тотчас возразил Том Бертрам, заявив, что роль Амелии во всех отношениях подходит мисс Крофорд, если только она согласится ее сыграть.

– Амелия прямо создана для нее, – сказал он. – Как Агата для любой из моих сестер. И они тут ничем не жертвуют, ведь роль в высшей степени комическая.

Последовало короткое молчание. На лицах обеих сестер выразилась тревога, ведь каждая чувствовала, что именно у ней есть особое право на Агату, и надеялась, что остальные будут



настаивать, чтоб она ее сыграла. Меж тем Генри Крофорд, который взял пьесу и нарочито небрежно листал начало, скоро все уладил.

– Я вынужден умолять мисс Джулию Бертрам не соглашаться на роль Агаты, – сказал он, – не то мне не сохранить необходимой серьезности. Вы не должны, право, не должны (оборотился он к ней). Я не выдержу, если увижу на вашем лице бледную и скорбную маску. Мы столько с вами смеялись, что я неизбежно вспомню про то и Фредерик с его ранцем будет вынужден ретироваться.

Мило, учтиво было сказано, но что касается чувств Джулии, эта любезная манера ее не обманула. Она подметила взгляд Марии, который убедил ее, что она обиделась даром; это уловка, хитрость, ею пренебрегли, предпочли Марию; торжествующая улыбка, которую Мария не сумела скрыть, выдала, как отлично она все поняла, и не успела еще Джулия взять себя в руки, чтобы заговорить, а уже против нее подал голос и родной брат:

– Да, да, Агатой должна быть Мария. Марии она лучше удастся. Хотя Джулия воображает, будто предпочитает трагедию, тут бы я на нее не положился. Нет в ней ничего такого, чего требует трагедия. И наружность не та. У ней и черты не трагические, и походка слишком быстрая, и разговор слишком быстрый, и серьезного вида она не сохранит. Лучше ей сыграть деревенскую старуху, Жену крестьянина, право слово, лучше, Джулия. Эта роль совсем неплохая, поверь. Старушка с немалою силой духа поддерживает высочайшее добросердечие мужа. Тебе играть Жену крестьянина.

– Жена крестьянина! – воскликнул Йейтс. – О чем вы говорите? Самая незначительная, ничтожная роль, такая будничная... Ни единой выигрышной реплики. Такую роль вашей сестре! Да это оскорбление – предложить такое. В Экслфорде эта роль предназначалась гувернантке. Мы все сошлись на том, что никому другому нельзя ее предложить. Прошу вас, уважаемый распорядитель, чуть больше справедливости. Если вы не можете по достоинству оценить таланты вашей труппы, вы не заслуживаете своей должности.

– Ну, что до этого, дорогой друг, так прежде, чем я и моя труппа начнем играть, нам предстоит немного поломать голову. Но я вовсе не желал умалять достоинства Джулии. Нам ни к чему две Агаты, и нам необходима Жена крестьянина. И вот же я сам подал сестре пример скромности, довольствуясь стариком дворецким. Когда роль пустяковая, тем больше чести, если Джулия сумеет что-нибудь из нее сделать. Если же она так решительно настроена против всего смешного, пусть говорит то, что произносит Крестьянин, а не Жена крестьянина, и по всей пьесе поменяет их ролями; он-то серьезен и, без сомненья, достаточно трогателен. А для пьесы никакой разницы; что же до самого Крестьянина, раз ему достанутся реплики его жены, я сам охотно сыграю эту роль.

– При всем вашем пристрастии к Жене крестьянина, ничего с этой ролью не сделаешь, чтоб она подошла вашей сестре, – возразил Генри Крофорд, – и не годится нам испытывать ее доброту и навязывать ей такую роль. Мы просто не позволим ей согласиться. Не пристало нам пользоваться ее любезностью. Ее таланты понадобятся для роли Амелии. Амелия такой персонаж, что сыграть ее трудней, чем даже Агату. На мой взгляд, эта роль самая трудная в пьесе. Чтоб выразить игривость и простодушие Амелии, не впадая в крайность, требуются большие способности, большая изощренность. Я видел, как хорошие актрисы терпели неудачу в этой роли. Простодушие и правда редко удаются даже профессиональным актрисам. Тут требуется тонкость чувств, которой они не обладают. Тут требуется благородное происхождение, одним словом, некая Джулия Бертрам. Надеюсь, вы согласитесь? – Он повернулся к Джулии с видом тревожно умоляющим, который ее несколько смягчил; но пока она колебалась, не зная, как ответить, опять вмешался ее брат и заявил, будто у мисс Крофорд больше оснований сыграть эту роль. – Нет, нет, Джулия не

должна быть Амелией. Эта роль совсем не для нее. Ей она не понравится. И не получится у нее. Джулия слишком высокая и крепкая. Амелии пристало быть маленькой, легкой, с девичьей фигуркой и непоседливостью. Роль эта подходит мисс Крофорд, и только мисс Крофорд, уверяю вас, мисс Крофорд похожа на Амелию и, конечно же, сыграет ее замечательно.

Не слушая его, Генри Крофорд продолжал умолять Джулию:

– Вы должны оказать нам услугу, – говорил он. – Право, должны. Когда вы обдумаете эту роль, вы, безусловно, увидите, что она вам подходит. Пусть ваш выбор трагедия, но, без сомнения, окажется, что вас выбирает комедия. Вам предстоит навестить меня в темнице с корзинкою провизии: вы ведь не откажетесь навестить меня в темнице. Мне кажется, я даже вижу, как вы входите с корзинкою.

Его уговоры не оставили Джулию равнодушной. Она заколебалась; но не старается ли он всего лишь утешить и успокоить ее и заставить забыть о недавней обиде? Она не доверяла ему. Он пренебрег ею слишком явно. Его настояния, возможно, не более как вероломная игра. Джулия подозрительно глянула на сестру; все решит выражение ее лица: не встревожена ли она, не раздосадована? Но на лице Марии покой и довольство, а Джулия хорошо знала, что в этой затее Мария может быть счастлива только за ее счет. И потому, мигом вознегодовав, она дрожащим голосом сказала Генри Крофорду:

– Похоже, вы не боитесь, что не сумеете сдержать смех, когда я войду с корзинкой провизии... а ведь можно было бы этого ждать... но я вам так опасна единственно в роли Агаты!

Она замолчала. У Генри Крофорда вид был довольно глупый, казалось, он не знает, что сказать. И опять принялся за свое Том Бертрам:

– Мисс Крофорд должна быть Амелией... Она будет превосходной Амелией.

– Не бойся, я не хочу эту роль, – сердито, торопливо воскликнула Джулия. – Мне не быть Агатой, а никого другого я нипочем играть не стану. А что до Амелии, она мне отвратительней всех ролей. Я ее просто ненавижу. Противная, ничтожная, назойливая, ненатуральная, нахальная девица. Я всегда возражала против комедии, а это комедия в ее худшем виде.

И так сказав, она поспешно вышла из комнаты, и почти всем стало неловко, но особого сочувствия к ней не испытал никто, кроме Фанни, которая тихонько все слушала и с великой жалостью думала, что причина волнений Джулии – жестокая ревность.

После ухода Джулии наступило недолгое молчание, но скоро брат ее воротился к делу, к «Обетам любви» и вместе с мистером Йейтсом стал нетерпеливо просматривать пьесу, чтобы удостовериться, какие понадобятся декорации, а тем временем Мария и Генри Крофорд беседовали вполголоса, и утверждение, с которого она начала. – «Конечно же, я очень охотно уступила бы эту роль Джулии, но, хотя сама я, пожалуй, сыграю ее совсем дурно, я убеждена, что она сыграет еще хуже», – утверждение это, разумеется, удостоилось всех похвал, каких она ждала.

Так продолжалось какое-то время, а потом общество и вовсе распалось, поскольку Том Бертрам и мистер Йейтс отправились для дальнейших совещаний в комнату, которой теперь предстояло называться Театром, а мисс Бертрам вздумала пойти в пасторат, чтобы самой предложить роль Амелии мисс Крофорд; и Фанни осталась одна.

Оказавшись в одиночестве, она первым долгом взяла лежащий на столе том и стала читать пьесу, о которой столько слышала. В ней проснулось любопытство, и она пробежала страницу за страницей с жадностью, которая время от времени сменялась разве что удивлением – как можно было это предложить и принять для домашнего театра! Агата и

Амелия, каждая на свой лад, показались ей столь неподходящими для домашнего представления, положение одной и язык другой столь непригодными для изображения любой достойной женщиной, что она и помыслить не могла, будто ее кузины имеют понятие о том, чем занялись; и она жаждала, чтоб увещевания Эдмунда, которых, конечно же, не миновать, поскорей заставили их опомниться.

Мисс Крофорд приняла роль очень охотно, а вскоре после возвращения мисс Бертрам из пастората приехал мистер Рашуот, и тем самым нашелся исполнитель еще одной роли. Ему предложили на выбор Графа Кэссела и Анхельта, и поначалу он не знал, на ком остановиться, и просил совета мисс Бертрам, но когда ему объяснили, как различны эти персонажи и каков каждый из них, и он вспомнил, что однажды видел эту пьесу в Лондоне и счел Анхельта изрядным тупицею, он вскоре избрал роль Графа. Мисс Бертрам одобрила его решение, ведь чем меньше ему придется заучивать, тем лучше; и хотя она не могла разделить его желание, чтоб Граф и Агата играли вместе, и с трудом сдерживала нетерпение, пока он медленно переворачивал страницы в надежде все же найти такую сцену, она премило взяла его роль в руки и сократила все реплики, которые поддавались сокращению; кроме того, сказала, что ему надобно роскошно одеться, и выбрала для него цвета. Необходимость разодеться была весьма любезна мистеру Рашуоту, хотя он и делал вид, будто относится к этому с презрением, и он слишком был занят мыслями о том, как будет выглядеть, чтобы думать о других или прийти к какому-нибудь из тех заключений или испытать какое-нибудь из тех неудовольствий, к которым уже отчасти приготовилась Мария.

Вот сколько дел уладилось, прежде чем обо всем узнал Эдмунд, ибо он с утра отсутствовал; но когда перед обедом он вошел в гостиную, там стоял шум от жаркого спора, в котором участвовали Том, Мария и Йейтс, а Рашуот нетерпеливо шагнул ему навстречу, спеша поведать приятные новости.

– Мы нашли пьесу, – сказал он, – «Обеты любви», и я буду Графом Кэсселом и в первый раз появлюсь в голубом фраке и розовом шелковом плаще, а потом и в другом затейливом костюме, вроде охотничьего. Еще не знаю, как мне это понравится.

Фанни слушала и не спускала глаз с Эдмунда, и сердце ее трепетало за него, и она видела его взгляд и понимала, каковы сейчас его чувства.

– «Обеты любви»! – с величайшим изумленьем только и вымолвил он в ответ Рашуоту и повернулся к брату и сестрам, словно едва ли сомневался, что они это опровергнут.

– Да! – воскликнул мистер Йейтс. – После всех обсуждений и споров мы сошлись на том, что для нас «Обеты любви» безупречней всех прочих пьес и более всех прочих нам подходят. Удивительно, как это мы не подумали о них прежде. Моя тупость чудовищна, ведь по сравнению с Экслсфордом у нас здесь все преимущества, и так удобно, когда уже есть для нас пример, коему следовать. Мы успели распределить почти что все роли.

– И женские тоже? – мрачно спросил Эдмунд, глядя на Марию.

– Я взяла роль, которую должна была исполнять леди Рэвеншо, – отвечала Мария, невольно краснея. И докончила смелее: – А мисс Крофорд будет Амелией.

– Не думал я, что у нас так легко найдутся охотники играть подобную пьесу, – заметил Эдмунд, отворотясь к камину, где расположились его мать, тетушка и Фанни, и с видом крайне раздосадованным сел.

Мистер Рашуот последовал за ним и продолжал:

– Я выхожу на сцену трижды, и в моей роли сорок две реплики. Немало, правда?.. Только мне не очень по вкусу, что надобно вырядиться таким франтом... В голубом фраке да в розовом шелковом плаще я, пожалуй, и не узнаю себя.

Эдмунду нечего было ему ответить. Несколько минут спустя мистера Бертрама вызвали из комнаты, чтобы он разрешил кое-какие сомнения плотника, и, так как с ним вышел и мистер Йейтс, а вскоре за ними последовал и мистер Рашуот, Эдмунд поспешил

воспользоваться случаем:

– При мистере Йейтсе я не мог сказать, как я отношусь к сей пьесе, не бросив тень на его друзей в Эклсфорде, – заговорил он. – Но теперь я должен сказать, дорогая моя Мария, что нахожу ее совершенно неподходящей для представления на домашнем театре, и надеюсь, ты от нее откажешься... Когда ты внимательно ее прочтешь, не сомневаюсь, ты непременно откажешься. Прочти вслух маменьке или тетушке всего лишь первый акт, и увидишь сама, возможно ли тебе ее одобрить. Я уверен, уже не понадобится прибегать к авторитету папеньки.

– Мы очень по-разному смотрим на вещи! – воскликнула Мария. – Уверяю тебя, я отлично знакома с пьесой, и, если кое-что опустить, совсем немного, что, конечно, будет сделано, я не вижу в ней ничего нежелательного. И тебе надобно знать, что я не единственная девица, кто находит ее вполне подходящей для домашнего представления.

– Мне очень жаль, – был ответ. – Но в этом деле решающее слово будет за тобою. Ты должна подать пример. Если другие совершили ошибку, ты должна направить их на путь истинный и послужить образцом подлинного такта. Во всем, что касается до приличий, именно твое поведение должно быть законом для всех остальных.

Он изобразил Марию столь значительной особой, что это отчасти подействовало, поскольку была она большая любительница задавать тон; и она ответила уже куда дружелюбнее:

– Я очень тебе признательна, Эдмунд, у тебя, без сомненья, самые добрые намерения, но мне по-прежнему кажется, что ты судишь чересчур строго, и я, право же, не решусь переубеждать остальных. Вот уж это, по-моему, и вправду было бы неприлично.

– Неужто ты вообразила, что мне могло это прийти в голову? Нет... пусть переубеждает единственно твое поведение. Скажи, что, ознакомься с ролью, ты чувствуешь, что она тебе не подходит, что она, по-твоему, требует таких сил и уверенности в себе, какими ты не обладаешь. Скажи так с твердостью, и этого будет вполне довольно. Все, кто способен разобраться, поймут, что тобою движет. От пьесы откажутся, и твоему такту воздадут должное.

– Не исполняй ничего предосудительного, дорогая моя, – сказала леди Бертрам. – Сэр Томас был бы недоволен... Фанни, позвони, пожалуйста, мне пора обедать. Надеюсь, Джулия уже одета.

– Сэр Томас, несомненно, был бы недоволен, сударыня, – сказал Эдмунд еще прежде, чем Фанни успела позвонить.

– Вот видишь, моя дорогая, что говорит Эдмунд?

– Если б я отказалась от роли, ее непременно взяла бы Джулия, – с вновь вспыхнувшей горячностью возразила Мария.

– Как? – воскликнул Эдмунд. – Если будет знать, что тобою движет?

– Но она может подумать, что она и я – не одно и то же... мы в разном положении... и ей незачем быть столь щепетильной, как полагаю для себя нужным я. Я уверена, она рассудит именно так. Нет, ты уж меня извини, я не могу взять свое согласие. Все уже твердо условлено, нельзя всех так разочаровать. Том был бы вне себя. И если уж мы такие привередливые, мы никогда ничего не сыграем.

– Я как раз собиралась сказать в точности то же, – вмешалась тетушка Норрис, – ежели возражать против каждой пьесы, вы никогда ничего не сыграете... и все деньги, какие пошли на приготовления, окажутся выброшенными на ветер... и уж тогда-то всем нам стыда не обобратся. Я пьесу не знаю, но Мария говорит, ежели там и есть какие нескромности, а без того редкая пьеса обходится, их легко опустить. Не к чему нам быть уж такими

требовательными, Эдмунд. Раз мистер Рашуот тоже намерен играть, значит, не может тут быть ничего дурного. Вот единственно Тому надобно было получше знать, чего он хочет, когда разговаривал с плотниками, потому как из-за этих боковых дверей они полдня работали понапрасну. Однако ж, занавес будет лучше некуда. Горничные очень хорошо его делают, и, я думаю, мы сможем отослать обратно несколько дюжин колец. Чего ради пришивать их так часто. Надеюсь, есть кой-какая польза и от меня, надо ж кому-то приглядывать за работами и чтоб ничего не пропадало даром. Когда собирается столько молодежи, непременно требуется какая-нибудь трезвая голова, чтоб ее направлять. Я забыла рассказать Тому, что нынче видела своими глазами. Была я на птичьем дворе, гляжу по сторонам, и только собралась выйти, вдруг вижу – кого б вы думали? – Дик Джексон подходит к дверям для прислуги, а в руках у него две сосновые досточки, как пить дать несет отцу; мать, верно, послала его с каким-нибудь поручением к отцу, а тот велел принести две досточки, не мог без них обойтись. Я тотчас же смекнула, что к чему, ведь тут как раз звонок возвестил слугам обед, и не терплю я людей, которые зарятся на чужое добро, – а Джексоны такие и есть, я всегда это говорила, именно из тех, кто всегда присвоит что плохо лежит, – ну, я так прямо и говорю мальчишке – большой лоботряс вымахал, уж десять лет ему, пора бы, кажется, иметь совесть, – я, мол, сама отнесу досточки отцу, Дик, так что беги-ка домой, да побыстрей. У мальчишки вид был преглупый, он поворотился и ни единого словечка не сказал, думаю, я разговаривала с ним довольно сурово; надеюсь, он на время излечится, не станет ходить по дому мародерствовать... Не терплю эдакую жадность... и ведь твой отец столько добра сделал этому семейству: круглый год дает Джексону работу!

Никто не потруился ей ответить; скоро воротились остальные, и Эдмунд понял, что не найдет покоя, если не постарается изо всех сил обратить их на путь истинный. Обед прошел тягостно. Тетушка Норрис опять поведала о своей победе над Диком Джексонем, но более ни о пьесе, ни о приготовлениях к ней особенно не разговаривали, ибо все чувствовали неодобрение Эдмунда, даже его брат, хотя ни за что бы в том не признался. Марии сейчас не доставало воодушевляющей поддержки Генри Крофорда, и она предпочитала избегать сего предмета. Мистер Йейтс, который старался полюбить Джулии, понял, что любым разговором есть надежда рассеять ее мрачность скорее, чем сожаленьями о том, что она ушла из их труппы, а мистер Рашуот, занятый единственно мыслями о своей роли и своем наряде, скоро уже переговорил о том и другом все, что только можно было сказать.

Но театральные заботы были отставлены всего на час-другой; дел предстояло еще великое множество; и к вечеру, прибодрясь и ощутив новый прилив сил, Том, Мария и Йейтс, вновь сойдясь в гостиной, вскоре расположились за отдельным столом, раскрыли пьесу, и, только что в нее углубились, их прервал весьма желанный приход Генри и Мэри Крофорд, которые, как ни грязно и темно было на улице, уступили желанию прийти и встречены были с превеликой радостью.

«Ну как подвигаются дела?», «На чем вы порешили?», «Да без вас у нас ничего не получается» – слышалось после первых приветствий; и скоро Генри Крофорд уже сидел с теми тремя за столом, меж тем как его сестра с любезнейшими поздравлениями подошла к... леди Бертрам.

– Право, я должна вас поздравить, ваша светлость, с выбранною пьесой, – сказала она. – Хотя вы и проявили завидное терпенье, вам, уж конечно, надоели наши споры и неурядицы. Актеры могут радоваться, что решение найдено, но сторонние наблюдатели должны быть несравненно благодарней. И я искренне вас поздравляю, сударыня, а также миссис Норрис и всех остальных, кто находился в том же неприятном положении, – и опасно, и лукаво она, минуя Фанни, глянула на Эдмунда.

Леди Бертрам ответила ей весьма любезно, но Эдмунд промолчал. Не возразил против того, что он всего лишь сторонний наблюдатель. Поболтав еще несколько минут с теми, кто сидел у камина, мисс Крофорд воротилась к сидящим у стола и, стоя подле них, как будто заинтересовалась их планами, но внезапно, словно что-то вспомнив, воскликнула:

– Друзья мои, вы так усердно и спокойно занимаетесь всеми этими коттеджами и питейными домами, но, прошу вас, позвольте мне меж тем узнать мою судьбу. Кто будет Анхельтом? Кому из присутствующих здесь джентльменов я буду иметь удовольствие отдать свое сердце?

В первое мгновение никто не произнес ни слова, потом сразу несколько голосов сообщили печальную правду, – что Анхельта у них еще нет.

– Мистер Рашуот согласился на роль Графа Кэссела, но Анхельта еще не взял никто.

– У меня был выбор, – сказал мистер Рашуот, – но я подумал, что Граф мне больше подходит... хотя для меня не слишком большое удовольствие разодеться в пух и прах.

– Вы, без сомненья, выбрали весьма мудро, – просияв, заметила мисс Крофорд. – Анхельт – нудная роль.

– У Графа сорок две реплики, – отвечал мистер Рашуот, – а это не пустяк.

– Я несколько не удивлена, что никто не вызвался быть Анхельтом, – после короткого молчания сказала мисс Крофорд. – Ничего лучшего Амелия и не заслуживает. Такая развязная девица напугает любого мужчину.

– Я был бы только счастлив взять эту роль на себя! – воскликнул Том. – Но это невозможно. К сожалению, Дворецкий и Анхельт участвуют в одних и тех же сценах. Однако ж я не откажусь от этой мысли... посмотрю, нельзя ли что-нибудь придумать... еще раз пролистаю пьесу.

– Эту роль следовало бы взять вашему брату, – вполголоса сказал мистер Йейтс. – Вы полагаете, он не согласится?

– Я не стану его спрашивать, – холодно, решительно отвечал Том.

Мисс Крофорд заговорила о чем-то еще, а несколько времени спустя вновь присоединилась к сидящим у камина.

– Я им совсем не нужна, – сказала она, садясь. – Я их только озадачиваю и вынуждаю говорить любезности. Мистер Эдмунд Бертрам, раз уж сами вы не играете, вы можете посоветовать как человек не заинтересованный, и потому я обращаюсь именно к вам. Как нам быть с Анхельтом? Возможно ли, чтоб кто-нибудь из участников взял его в качестве второй роли? Что вы посоветуете?

– Я посоветую найти другую пьесу, – спокойно сказал Эдмунд.

– Я бы не возражала, – отвечала она, – хотя не сказала б, что роль Амелии, если хорошо ее исполнить, так уж мне не нравится... то есть если все идет хорошо... я бы не хотела никому причинять беспокойство... но если те за столом предпочитают не слышать вашего совета (мисс Крофорд оглянулась по сторонам) – они, разумеется, вас не послушают.

Эдмунд промолчал.

– Если существует роль, которая могла бы вас соблазнить, я думаю, это как раз Анхельт, – немного погодя лукаво заметила сия особа, – ведь он священник.

– Это никак бы меня не соблазнило, мне было бы жаль выставить его на посмешище из-за плохой игры, – отвечал Эдмунд. – Очень трудно сыграть так, чтоб Анхельт не показался сухим, напыщенным педантом. И человек, который избирает профессию священника, вероятно, менее всех прочих пожелает исполнять эту роль на сцене.

Мисс Крофорд нечего было на это возразить, и с некоторой обидой и разочарованием она подвинула свой стул значительно ближе к чайному столу и направила все свое внимание

на миссис Норрис, которая там главенствовала.

– Фанни, – окликнул Том Бертрам с другого стола, где они все еще оживленно совещались и разговор не умолкал ни на миг, – нам требуются твои услуги.

Фанни вскочила, ожидая какого-нибудь порученья, ибо, несмотря на все старания Эдмунда, к ней по привычке еще обращались в подобных случаях.

– Нет, нет, мы не хотим срывать тебя с места. Сию минуту нам ничего от тебя не надобно. Мы только хотим, чтоб ты участвовала в спектакле. Ты должна быть Женою крестьянина.

– Я?! – воскликнула Фанни и опять села, с видом крайне испуганным. – Право, увольте. Да хоть озолотите меня, я ни одной роли не смогу сыграть. Право же, я не умею представлять.

– Хочешь не хочешь, а ты должна, мы не можем без тебя обойтись. И ты напрасно пугаешься, роль пустяковая, сущий пустяк, на все про все не более полдюжины реплик, и особой беды не будет, если никто ничего и не услышит, так что можешь оставаться такой же тихой мышкой, но появиться на сцене ты должна, чтоб было на кого смотреть.

– Если вас пугает полдюжины реплик, что ж тогда говорить мне при моей-то роли? – воскликнул Рашуот. – Мне надобно заучить сорок две.

– Вовсе не того я боюсь, что надобно учить наизусть, – возразила Фанни, со страхом увидев, что в комнате все смолкло и на нее обращены едва ли не все взгляды, – но я правда не умею играть.

– Да как ни сыграешь, для нас и того будет довольно. Твое дело – знать слова, а всему остальному мы тебя научим. Ты появляешься только в двух сценах, а так как Крестьянином буду я, я тебя поддержу и помогу, и ты прекрасно справишься, ручаюсь тебе.

– Нет, право, мистер Бертрам, увольте меня. Вы не понимаете. Для меня это никак невозможно. Если мне пришлось бы согласиться, я бы вас только разочаровала.

– Вздор! Вздор! Не будь такой скромницей, ты прекрасно справишься. Тебе сделаны будут всяческие послабления. Мы не ждем совершенства. Тебе потребуется коричневое платье, белый фартук и домашний чепец, и мы нарисуем тебе морщины и мелкие морщинки в уголках глаз, и из тебя получится весьма пристойная старушка.

– Пожалуйста, увольте меня, право же, увольте, – воскликнула Фанни, от чрезмерного волнения все более заливаясь краскою и горестно глядя на Эдмунда, который дружелюбно смотрел на нее, но, не желая раздражать брата своим вмешательством, только ободряюще ей улыбался. Ее мольбы не оказывали на Тома ни малейшего действия; он опять повторил то, что уже говорил прежде, и теперь требовал не один Том, его поддерживали Мария, и мистер Крофорд, и мистер Йейтс, они тоже настаивали, кто мягче, кто учтивей, и перед таким напором она совсем растерялась; не успевала она перевести дух, как всему делу положила конец тетушка Норрис, которая заговорила с ней шепотом и сердитым и громким:

– Что это за суету ты подняла по пустякам? Мне просто стыдно за тебя, Фанни, как же ты не желаешь оказать услугу кухне и кузену в такой малости... Они-то вон как к тебе добры... Учтиво согласись на эту роль, и, прошу тебя, чтоб о том больше и разговору не было.

– Не понуждайте ее, сударыня, – сказал Эдмунд. – Так принуждать не годится. Вы ж видите, игра ей не по душе. Пусть, как и все мы, сама решает, чего она хочет. Нет никакой причины не доверять ее суждению. Не принуждайте ее больше.

– Я и не собираюсь ее принуждать, – резко отвечала миссис Норрис, – но если она не сделает то, чего от нее хотят ее тетушка и кузен с кузиною, я буду почитать ее весьма упрямой и неблагодарной девицей, да-да, весьма неблагодарной, принимая во внимание, кто



она и что.

Эдмунд так был возмущен, что не мог произнести ни слова, но мисс Крофорд, удивленно поглядев на миссис Норрис, а потом на Фанни, у которой уже навертывались слезы на глаза, тотчас сказала не без язвительности:

– Не нравится мне мое место, для меня тут слишком жарко. – И отодвинула стул к другому концу стола, поближе к Фанни, а усевшись, ласково, тихонько заговорила:

– Не огорчайтесь, милая мисс Прайс... это досадливый вечер... все досадуют и сердятся... но Бог с ними. – И с подчеркнутым вниманием продолжала с нею разговаривать и пыталась хоть немного развеселить ее, хотя самой было совсем не весело.

Выразительно поглядев на брата, она тем самым положила конец дальнейшим настояниям со стороны устроителей спектакля, а истинно добрые чувства, которые почти одни ею сейчас и руководили, быстро восполнили то небольшое, что она было потеряла в глазах Эдмунда.

Фанни не любила мисс Крофорд, но была чрезвычайно благодарна ей за сочувствие; а та не оставила незамеченным вышиванье, и посетовала, что не умеет сама так хорошо вышивать, и попросила разрешения заимствовать ее рисунок, и предположила, что Фанни, должно быть, теперь готовится выезжать, чего ей, конечно же, не миновать, когда ее кузина выйдет замуж, а потом принялась расспрашивать, давно ли у ней были вести от брата-моряка, и сказала, что ей так любопытно его увидеть и что он, наверно, очень красивый молодой человек, и посоветовала Фанни заказать его портрет, прежде чем он снова отправится в плаванье, – и Фанни не могла устоять перед столь понятной лестью и невольно слушала и отвечала куда оживленней, чем хотела бы.

Устроители все продолжали совещаться по поводу пьесы, и внимание мисс Крофорд впервые отвлек от Фанни Том Бертрам, который поведал ей, что, увы, у него нет никакой возможности взять на себя роль Анхельта в дополнение к Дворецкому; он всячески старался что-нибудь придумать, но ничего не выходит, он вынужден сдаться.

– Но найти исполнителя для Анхельта ничуть не трудно, – прибавил он. – Стоит только сказать слово – и можно выбирать с пристрастием. Я прямо сейчас могу назвать по меньшей мере шестерых молодых людей не далее чем в шести милях от нас, которые жаждут быть принятыми в нашем обществе, и один-двое таковы, что никак нас не посрамят. На любого из Оливеров или на Чарлза Мэдокса я не побоялся бы положиться. Том Оливер очень толковый малый, а Чарлз Мэдокс человек на редкость воспитанный, так что завтра рано поутру я проедусь верхом в Сток и с кем-нибудь из них условлюсь.

Он говорил, а Мария тем временем опасливо посматривала на Эдмунда, ожидая, что он сейчас воспротивится подобному расширению их замысла, идущего вразрез со всеми их торжественными заверениями; но Эдмунд молчал. Мисс Крофорд на миг задумалась, потом спокойно ответила:

– Что до меня, я не стану возражать ни против чего, что вам всем кажется подходящим. Я кого-нибудь из этих джентльменов видела? Ах да, мистер Чарлз Мэдокс однажды обедал у сестры, не правда ли. Генри? Такой с виду тихий молодой человек. Да, я его помню. Если можно, обратитесь, пожалуйста, к нему, это будет не так неприятно, как иметь дело с совсем незнакомым человеком.

Выбор остановили на Чарлзе Мэдоксе. Том повторил, что намерен отправиться к нему завтра рано поутру; и хотя Джулия, которая во все это время едва ли проронила хоть слово, язвительно заметила, глянув сперва на Марию, а после на Эдмунда, что «мэнсфилдский спектакль до крайности взбудоражит всю округу», Эдмунд все еще хранил молчание, и его чувства выражались лишь в непреклонной серьезности.

— Я не в таком радужном свете вижу наш спектакль, — вполголоса молвила мисс Крофорд, наклонясь к Фанни. — И могу сказать мистеру Мэдоксу, что до того, как мы станем вместе репетировать, я несколько сокращу его роль и основательно сокращу свою. Играть с ним пренеприятно, совсем не то, что я ожидала.

Как ни старалась мисс Крофорд, ей не удалось уговорить Фанни и вправду забыть, что произошло. Когда вечер подошел к концу, она легла в постель, полная мыслями об этом, не в силах успокоиться от ошеломившего ее нападения кузена Тома, столь прилюдного и упорного, подавленная суровым осуждением и упреками тетушки. Так вот оказаться средоточием всеобщего внимания, узнать, что это еще только прелюдия к чему-то куда более неприятному, выслушать требование, чтоб она сделала нечто совсем невозможное – стала играть на сцене, – а затем и обвинение в упрямстве и неблагодарности, усиленное намеком на ее зависимое положение, – все это было слишком мучительно, и, оставшись одна, Фанни вспоминала обо всем почти с тою же болью, да еще прибавился ужас перед завтрашним днем, когда может последовать продолжение, которое уж вовсе неизвестно к чему приведет. Мисс Крофорд защитила ее только на то время, пока была рядом; а если, когда они окажутся лишь среди своих, Том и Мария опять станут ее просить, со всей присущей им властной настойчивостью, а Эдмунда как раз не будет дома, – что ж ей тогда делать? Она уснула, так и не найдя ответа на этот вопрос, и, когда наутро проснулась, он оставался все таким же неразрешимым. Белая комнатка под крышей, что оставалась ее спальней с того первого дня, когда она вошла в эту семью, не могла подсказать какой-либо ответ, и, едва одевшись, она пошла искать спасенья в другой комнате, более просторной, где можно было походить и подумать и где она уже несколько времени была почти что хозяйкою. Прежде то была их классная; она носила это название, пока сестры Бертрам не запретили так ее называть, и до недавних пор была жилою комнатою. Здесь жила мисс Ли, и здесь, не считая последних трех лет, когда она уехала от своих подросших воспитанниц, они читали, писали, болтали, смеялись. Комната осталась без употребления и одно время пустовала, никто в ней не бывал, кроме Фанни, когда она навещала свои комнатные растения или ей требовалась какая-нибудь из книг, которые по недостатку места в ее каморке наверху она, радуясь такой возможности, по-прежнему держала здесь; но постепенно, когда необходимость в этой более удобной комнате становилась острее, Фанни присоединила ее к своим владениям, проводила в ней многие часы; и, не встречая никакой помехи, освоилась тут столь бесхитростно и естественно, что теперь уже все числили эту комнату за нею. Восточная комната, как ее называли с тех самых пор, когда Марии Бертрам исполнилось шестнадцать, теперь считалась Фанниной почти так же безусловно, как белая спальня; была она такая крохотная, что Фанни имела все основания пользоваться другою комнатою, и оттого кухни, чьи покои несравненно ее превосходили, как того требовало их чувство собственного превосходства, вполне это одобрили; а тетушка Норрис, поставив условием, чтоб для одной Фанни там никогда не топили, поворчав, согласилась, чтоб она пользовалась тем, что никому другому не надобно, однако же иной раз говорила о сей милости так, будто речь идет о самой что ни на есть лучшей комнате в доме.

Расположение комнаты было столь благоприятным, что при Фанниной неприхотливости она и нетопленная часто поутру раннею весной и поздней осенью была ей мила, а когда туда проникал луч солнца, Фанни надеялась, что ее и вовсе никто не заставит покинуть это убежище, даже если задерживалась там уж очень надолго. Она могла укрыться там после каких-нибудь неприятностей внизу и тотчас же находила утешенье в каком-нибудь занятии или в раздумьях о том, что в тот час ее занимало. Ее цветы, книги – а она их собирала с того самого часу, когда впервые ей можно стало распорядиться хотя бы шиллингом, – конторка для письма, шитье для бедных или искусное рукоделье – все здесь было под рукой; а если к

этому не лежала душа, если только и хотелось, что поразмыслить, в этой комнате при взгляде чуть ли не на каждый предмет рождались милые воспоминания. Тут каждая вещь была другом или наводила на мысль о друге; и хотя иногда Фанни приходилось горько страдать, хотя ее побуждения часто понимали превратно, с ее чувствами не считались, а ее разумение недооценивали, хотя она познала муки тирании, осмеянья и пренебреженья, однако ж всякий раз, обращаясь к ним, она находила в них что-либо утешительное: тетушка Бертрам заступилась за нее, или мисс Ли ее ободрила, или, что случалось чаще и было ей всего дороже, Эдмунд – ее защитник и друг – стал на ее сторону, или объяснил, что она имела в виду, или уговаривал ее не плакать и чем-то выказал свою привязанность, отчего слезы стали так сладостны; и все вместе теперь уже перемешалось, и даль времен все привела в созвучье, и оттого в каждой прошлой горести таилось свое очарованье. Комната так ей была мила, что Фанни ни за что не поменяла бы в ней мебель на самую наилучшую в доме, хотя, изначально совсем простая, она чего только не вытерпела от детей, и самыми элегантными предметами и украшением здесь были выцветшая скамеечка для ног работы Джулии, слишком неказистая, чтоб ей нашлось место в гостиной, три транспаранта, сделанные в разгар моды на транспаранты, предназначавшиеся для трех нижних стекол окна, где Тинтернское аббатство расположилось между какой-то итальянской пещерой и освещенным луною озером в Камберленде; над камином коллекция семейных профилей, которую сочли недостойной других комнат, и рядом небольшой рисунок, прикрепленный кнопкой к стене – набросок корабля, четыре года назад посланный Уильямом со Средиземного моря, с подписью внизу буквами вышиною с грот-мачту – К.Е.В. «Антверпен».

В это уютное гнездышко и отправилась теперь взволнованная, полная сомнений Фанни в надежде на его благотворное влияние – может быть, удастся, глядя на профиль Эдмунда, услышать душою хоть какой-нибудь его совет, либо, дав дохнуть свежего воздуха своей герани, выставив ее за окно, и самой ощутить прилив душевных сил. Но не только страх пред собственным упорством предстояло ей одолеть, теперь она заколебалась, как же тут должно поступить; и пока она ходила по комнате, ее сомнения росли. Права ли она, отказывая в том, о чем ее так горячо просят, чего так сильно желают? Что есть неоценимо важного в затее, которой увлеклись иные из тех, кому она столь многим обязана? Не дурной ли нрав ею руководит... не себялюбие ли и боязнь выставить себя напоказ? И довольно ли мнения Эдмунда, его убеждения, что сэр Томас все это не одобрил бы, чтобы оправдать ее решительный отказ наперекор воле всех остальных? Игра на сцене так ее ужасала, что она склонна была усомниться в истинности и чистоте своих сомнений, и, пока смотрела по сторонам, настойчивые просьбы кузины и кузена оказать им любезность становились все весомей по мере того, как на глаза один за другим попадались подарки, которые она от них получала. Стол между окнами уставлен был корзинками для рукоделья, подаренными в разное время по большей части Томом; и, глядя на все эти свидетельства их доброты, Фанни приходила в смущенье оттого, в каком же она долгу перед ними. Стук в дверь вспугнул ее, когда она пыталась разобраться, как же ей должно поступить, и в ответ на ее кроткое «Войдите» появился тот, кому она обыкновенно высказывала все свои сомненья. При виде Эдмунда глаза ее засветились радостью.

– Можно поговорить с тобою несколько минут, Фанни? – спросил он.

– Да, конечно.

– Мне надобно посоветоваться. Мне надобно твое мнение.

– Мое мнение! – воскликнула она, отказываясь поверить таким лестным словам, хотя они безмерно ее обрадовали.

– Да, твой совет и твое мнение. Я не знаю, как быть. С этой театральной затеей час от

часу не легче. Выбрали пьесу хуже некуда, а теперь для полноты картины намерены обратиться за помощью к молодому человеку, который нам едва знаком. Тогда конец всякой скромности и благопристойности, о чем шла речь поначалу. Я не знаю о Чарлзе Мэдоксе ничего дурного, но оттого, что он будет введен в наше общество таким образом, неизбежно чересчур тесное знакомство, крайне нежелательное, и не просто тесное знакомство, а близость. Я даже и подумать об этом не могу, – и таким мне это представляется серьезным злом, что, если возможно, его непременно следует предотвратить. Разве ты не так же думаешь?

– Так же, но что можно поделать? Твой брат настроен столь решительно.

– Только одно, Фанни. Роль Анхельта должен взять я сам. Мне совершенно ясно, что иначе Том не уgomонится.

Фанни не находила слов.

– Мне это совсем не нравится, – продолжал Эдмунд. – Кому понравится поневоле в глазах всех оказаться столь непоследовательным. Коль скоро я, как известно, с самого начала возражал против этой затеи, что может быть нелепей моего желания присоединиться к ним теперь, когда они во всех отношениях зашли гораздо дальше; но я не вижу другого выхода. А ты, Фанни?

– Нет, – раздумчиво отвечала она, – пока нет... но...

– Но что? Я вижу, ты со мною не согласна. Подумай еще, Фанни. Возможно, ты недостаточно отдаешь себе отчет в том зле, которое может произойти, в тех неприятных последствиях, которые неизбежны, когда малознакомый молодой человек введен в дом таким образом... принят у нас... получает право приходить в любое время... и вдруг поставлен в такое положение, при каком неизбежно должен отказаться от сдержанности. Стоит только подумать о вольности, к которой неизбежно будет вести каждая репетиция. Все это очень дурно! Поставь себя на место мисс Крофорд, Фанни. Представь, каково играть Амелию с незнакомым человеком. Она вправе рассчитывать на сочувствие, потому что, без сомнения, сокрушается из-за этого. Я довольно слышал вчера вечером из вашего с нею разговора, чтоб понять ее нежелание играть с незнакомым человеком. И вероятно, когда она соглашалась на эту роль, у ней были иные надежды – быть может, она не обдумала все как следует и оттого не представляла, что из этого получится, но было бы невеликодушно, было бы поистине дурно подвергнуть ее такому испытанию. Ее чувства следует уважать. Тебе так не кажется, Фанни? Ты, я вижу, в сомнении.

– Мне жаль мисс Крофорд, но еще того более я жалею тебя, видя, что тебе приходится делать то, против чего ты возражал и что, как ты знаешь, будет неприятно дядюшке. Все станут так торжествовать!

– У них не будет особых причин торжествовать, когда они увидят, как скверно я играю. Однако торжества не миновать, и мне надобно достойно его встретить. Но если мое участие поможет избежать разговоров касательно этой затеи, ограничить представление, ввести наше безрассудное предприятие в более тесные рамки, я буду вознагражден. При нынешнем моем положении я не имею на них влияния, ничего не могу поделать; я их обидел, и они не станут меня слушать, но когда, уступив им, я приведу их в хорошее расположение духа, появится надежда уговорить их намного сузить круг зрителей по сравнению с тем, к чему они сейчас стремятся. Это будет немалый выигрыш. Моя цель ограничить его четой Грантов и матушкой мистера Рашута. Разве ради такого выигрыша не стоит уступить?

– Да, это будет очень важно.

– Но ты по-прежнему этого не одобряешь. Можешь ты назвать какой-либо иной путь, который поможет принести такую же пользу?

– Нет, мне ничего не приходит в голову.

– Тогда скажи, что ты меня одобряешь, Фанни. Иначе мне неспокойно.

– О кузен!

– Если ты против меня, мне не следует себе доверять... и однако ж... Но ведь совершенно невозможно, чтоб Том поступил по-своему, стал ездить по округе в поисках кого-нибудь, кого удастся уговорить участвовать в нашем спектакле, кого угодно, лишь бы хоть с виду то был порядочный человек. Я надеялся, что ты больше посчитаешься с чувствами мисс Крофорд.

– Она, несомненно, обрадуется. Для нее это будет большое облегчение, – сказала Фанни, стараясь, чтоб голос ее звучал сердечней.

– Она никогда еще не была так благожелательна по отношению к тебе, как вчера вечером. Это дает ей особое право на мое расположение.

– Она и вправду была очень добра, и я рада, что она будет избавлена...

Фанни не смогла закончить свои великодушные речи. Совесть остановила ее посередине, но Эдмунд был удовлетворен.

– Я пойду сразу же после завтрака, – сказал он, – и уверен, что там будут довольны. А теперь, милая Фанни, я больше не стану тебе мешать. Тебе хочется читать. Но я не мог успокоиться, пока не поговорил с тобой и не пришел к решению. Во сне и наяву меня всю ночь преследовала их затея. Это зло, но я, безусловно, делаю его меньше, чем оно могло бы быть. Если Том уже встал, я прямо иду к нему и покончу с этим; и, когда мы встретимся за завтраком, у нас будет отличное настроение от предвкушенья, как мы столь единодушно будем участвовать в этой глупости. А ты меж тем, должно быть, отправишься путешествовать по Китаю. Как продвигается лорд Макартни? – Он открыл лежащий на столе том, а потом взял и другие. – А вот и «Истории» Крабба, и «Бездельник» тут же, чтоб развлечь тебя, если утомишься от столь серьезной книги. Меня поистине восхищает, как ты распределяешь свой день. И как только я уйду, ты выкинешь из головы всю эту театральную чепуху и уютно устроишься за своим столом. Но смотри не пересиди здесь, а то замерзнешь.

Он ушел; но не до чтения было Фанни, не до Китая, не до покоя. Такую невероятную, такую непостижимую, такую недобрую весть он ей принес; и ни о чем другом она думать не могла. Он будет играть! После всех его возражений, – возражений столь справедливых и всеми услышанных! После всего того, что он ей говорил, и ведь она видела и знала, каковы его чувства. Возможно ли? Где же его стойкость? Не обманывает ли он себя? Не ошибается ли? Увы, это все мисс Крофорд. В каждом слове Эдмунда чувствовала Фанни ее влияние и оттого страдала. Сомнения и страхи из-за собственного поведения, которые мучили ее прежде, а пока она его слушала, затаились, теперь уже не имели значения. Их поглотила тревога более глубокая. Пусть все идет своим чередом, чем бы это ни кончилось. Том и Мария могут на нее нападать, но им ее не допечь. Она недосягаема для них; и если она все-таки вынуждена будет покориться – что за важность? Все равно ее удел – страдание.

Для мистера Бертрама и Марии это и вправду был день торжества. Такой победы над благоразумием Эдмунда никто не ждал и она привела их в восторг. Теперь уже ничто не мешало дорогому их сердцу предприятию, и, ликуя, удовлетворенные во всех отношениях, они наедине поздравили друг друга с завистливым безволием, которому и приписали эту перемену. Пусть Эдмунд по-прежнему напускает на себя серьезность и говорит, что их затея ему не нравится, что выбор пьесы он и вовсе не одобряет, а все-таки все вышло как они хотели: он согласился играть, и лишь потому, что уступил своему себялюбию. В их глазах Эдмунд спустился с нравственной высоты, на какой всегда был прежде, и оба они оттого стали и лучше и счастливей.

С Эдмундом они, однако ж, повели себя при этом безукоризненно, ничем не выдали свою бурную радость, разве только едва заметной тенью улыбки, и, казалось, они почитают замечательной удачей, что избавлены от вторжения в их общество Чарлза Мэдокса, как если б им его навязывали помимо их воли. Им ведь только и надобно было, чтоб все происходило в семейном кругу. С появлением среди них незнакомого человека стало бы так неуютно! И когда, развивая эту мысль, Эдмунд намекнул о своей надежде ограничить число зрителей, они под влиянием минуты готовы были любезно пообещать все что угодно. Все были отменно настроены и воодушевлены. Тетушка Норрис предложила придумать ему костюм, мистер Йейтс заверил его, что и в последней сцене Анхельта с Бароном можно дать волю живости и выразительности, а мистер Рашуот взял на себя труд подсчитать, сколько у него реплик.

– Может быть, теперь и Фанни охотнее нам поможет, – сказал Том. – Может быть, ты и ее убедишь.

– Нет, она совершенно непреклонна. Она ни в коем случае не будет играть.

– Вот как! Ну хорошо.

И ни слова более, но Фанни опять почувствовала себя в опасности, а равнодушие к опасности уже начинало ей изменять.

В пасторате перемена в Эдмунде вызвала не меньше радостных улыбок, чем в усадьбе; мисс Крофорд они были очень к лицу, и, вмиг, обретя прежнюю веселость, она стала входить во все подробности, а это, конечно, не могло на него не подействовать. Разумеется, он прав, нельзя не уважать подобные чувства, и он рад, что решился на это. И утро проходило во всеобщем довольстве, если и не таком уж глубоком, зато таком сладостном. Была от него польза и для Фанни: поддавшись уговорам мисс Крофорд, миссис Грант со своей обычной благожелательностью согласилась на роль, которую прежде навязывали Фанни, – вот и все, чем порадовал бедняжку этот день, и даже это известие, переданное ей Эдмундом, причинило внезапную острую боль, потому что она обязана теперь именно мисс Крофорд, именно ее добрым стараниям должна быть благодарна, и, говоря об этом как о заслуге мисс Крофорд, Эдмунд сиял от восхищения. Теперь она в безопасности; но безопасность не принесла ей покоя. Никогда еще не было у ней так беспокойно на душе. Ей вовсе не казалось, будто она поступила дурно, но все остальное вселяло в нее тревогу. И сердцем и разумом она равно была против решения Эдмунда; не могла она оправдать его непоследовательность, а то, что благодаря этой перемене он счастлив, приводило ее в отчаянье. Ревность и смятение снедали ее. Мисс Крофорд подошла к ней веселая, и это ее оскорбило; дружески заговорила с нею, и Фанни стоило труда ответить учтиво. Вокруг нее каждый был весел и деятелен, упоен собственной значительностью и собственными успехами, у каждого был свой интерес, своя

роль, свой костюм, своя любимая сцена, свои друзья и союзники, все были заняты, совещались, сравнивали или находили развлечение в шутливых причудах. Она одна была печальна и никому не нужна; ни в чем не участвовала, могла уйти или остаться, могла окунуться в их шум и суету или удалиться в уединение Восточной комнаты, и никто ее не замечал и ни разу ее не хватился. Ей уже чуть ли не казалось, будто все что угодно предпочтительней ее теперешнего положения. Миссис Грант была незаменима; это о ней говорили, что добрый нрав делает ей честь, с ее вкусом и временем считались, в ее присутствии нуждались, ее общества искали и оказывали ей внимание, и перевозносили ее; и вначале Фанни едва не стала завидовать роли, которую та взялась исполнить. Но раздумье пробудило в ней более достойные чувства, она признала за миссис Грант право на уважение, какого сама она никогда не заслуживала, и даже достанься ей еще большее уважение, чем миссис Грант, если б она присоединилась к затее, которую, думая хотя бы о дядюшке, следовало полностью осудить, вовсе не стало бы у ней легко на душе.

Как скоро поняла Фанни, не ей одной было грустно. Джулия тоже страдала, хотя и не столь безвинно.

Генри Крофорд подшутил над ее чувствами; но она так долго принимала его благосклонное внимание и даже искала его, притом далеко не без причины ревнуя к сестре, что должна была бы уже исцелиться; и теперь, когда невозможно было не видеть, что он предпочел Марию, она покорилась, нисколько не тревожась за положение сестры и даже не пытаясь образумиться и успокоиться. И либо сидела в угрюмом молчании, охваченная такою печалью, которую ничто не могло развеять, при которой не было места никакому любопытству и не могло позабавить острое словцо; либо, благосклонно принимая внимание мистера Йейтса, с насильственной веселостью разговаривала с ним одним и насмехалась над игрою всех прочих.

Первые день-два после того, как Джулии была нанесена обида, Генри Крофорд пытался все загладить своим обычным манером – чрезвычайной обходительностью и комплиментами, но не настолько о том заботился, чтобы, несколько раз подряд получив отпор, продолжать свои попытки; и скоро, поглощенный пьесой и не имея времени более чем на флирт с одной девицей, он стал равнодушен к их размолвке, вернее даже счел ее удачей, которая тихонько положила конец тому, что в недалеком будущем могло породить надежды не у одной только миссис Грант. Ей было неприятно видеть, что Джулия не участвует в пьесе, сидит в сторонке и никому нет до нее дела; раз тут и речи нет о счастье Джулии, а Генри самому видней, в чем состоит его счастье, раз он с обезоруживающей улыбкою ее заверил, что ни у него, ни у Джулии никогда не было серьезных мыслей друг о друге, ей только и оставалось вернуться к своим опасениям касательно старшей сестры, умолять его не слишком ею восхищаться, не рисковать своим спокойствием, после чего она с удовольствием приняла участие во всем, что радовало все молодое общество и что в особенности служило к развлечению двоих, которые ей были так дороги.

– Я даже удивляюсь, что Джулия не влюблена в Генри, – заметила она однажды в разговоре с Мэри.

– А я полагаю, она влюблена, – холодно отвечала Мэри. – Я думаю, влюблены обе сестры.

– Обе! Нет, нет, этого не может быть. Смотри не намеки ему на это. Подумай о мистере Рашуоте.

– Лучше посоветуй мисс Бертрам подумать о мистере Рашуоте. Ей это пошло бы на пользу. Я часто думаю об имени и независимости мистера Рашуота и хотела бы, чтоб это досталось другому... но о нем самом я никогда не думаю. Человек с такими земельными



владениями может представлять графство в парламенте, может пренебречь профессией и заседать в парламенте.

– Наверно, он и вправду будет скоро в парламенте. Когда воротится сэр Томас, кандидатуру мистера Рашуота, наверно, выставят от какого-нибудь избирательного округа, но пока не нашлось никого, кто бы его надоумил, что пора действовать.

– Сколько великих дел ждет сэра Томаса, когда он воротится домой, – помолчав, сказала Мэри. – Помнишь «Обращенье к табаку» Хокинса Брауна 9 в подражание Поупу?

*О, чудо-лист, чей дух дарует разом  
Солдатам скромность, слугам церкви – разум.*

– Я б такую написала пародию:

*О сэр, чей властный вид дарует разом  
Щедроты чадам, Рашуоту разум.*

– Не правда ли, подходит, миссис Грант? Похоже, что решительно все зависит от возвращения сэра Томаса.

– Уверяю тебя, когда ты увидишь его в семье, ты поймешь, что он не зря и по заслугам пользуется таким влиянием. Не думаю, что мы так уж хорошо обходимся без него. У него превосходная, исполненная величайшего достоинства манера поведения, как и подобает главе такого дома, и он всех держит в повиновении. Леди Бертрам, кажется, имеет сейчас еще менее весу, чем при нем, и никто, кроме него, не умеет обуздывать миссис Норрис. Но, Мэри, пожалуйста, не воображай, будто Мария Бертрам равнодушна к Генри. Я не сомневаюсь, что и Джулия к нему равнодушна, не то не стала б она вчера вечером флиртовать с Йейтсом; и хотя Генри и Мария очень дружны, я думаю, ей слишком нравится Созертон, чтоб она оказалась непостоянной.

– Если б Генри вступил в игру до того, как состоялся сговор, думаю, Рашуоту не на что было б особенно надеяться.

– Если у тебя такие подозрения, надо что-то делать, и как только с пьесой будет покончено, мы с ним серьезно поговорим и постараемся, чтоб он разобрался, чего он хочет; и если у него ничего серьезного на уме, хотя это и Генри, на время отправим его отсюда.

Джулия, однако ж, и вправду страдала, хотя миссис Грант этого не разглядела, и от внимания многих членов ее собственной семьи это тоже ускользнуло. Она полюбила, она и сейчас еще любила, и испытывала все муки, выпадающие на долю пылкой и жизнерадостной натуры, когда она разочаровывается в пусть безрассудной, но милой ее сердцу надежде и всем существом чувствует, что с ней обошлись несправедливо. Душа ее была оскорблена и разгневана, и лишь мысли, порожденные гневом, могли принести ей утешенье. Сестра, с которой она обыкновенно неплохо ладила, стала ей теперь злейшим врагом; они отделились друг от друга, и Джулии не достало благородства – она надеялась, что ухаживанья, которые там все еще продолжались, приведут к какой-нибудь крупной неприятности и Мария понесет наказание за то, что так постыдно ведет себя по отношению к ней, а также и к мистеру Рашуоту. Сестры не отличались особо трудными характерами, не расходились во мнениях, что могло бы помешать их дружбе, пока их интересы были одинаковы, но при теперешнем испытании им не достало, любви ли, нравственных ли устоев, чтобы сделать их

снисходительными или справедливыми, наделить добродетелью или состраданием. Мария ощущала свое торжество и шла к цели, нимало не заботясь о Джулии; а Джулия, стоило ей увидеть, как Генри Крофорд отличает Марию, надеялась, что это неизбежно вызовет ревность и рано или поздно заставит окружающих возмутиться.

Фанни понимала многое из того, что творилось в душе Джулии, и жалела ее; но открытой близости между ними не было. Джулия не делилась с нею, и Фанни не осмеливалась ей навязываться. Каждая страдала в одиночестве, вернее, их соединяло единственно Фаннино понимание.

Оба брата и тетушка, занятые собственными заботами, не замечали расстроенного вида Джулии, были слепы к истинной причине его. Они были полностью поглощены каждый своим. Томом завладели дела театральные, и он не замечал ничего, что не имело к ним прямого отношения. Эдмунд, разрываясь меж своею театральной и истинной ролью, меж притязаниями мисс Крофорд и мыслями о собственном поведении, меж любовью и последовательностью, был равно ненаблюдателен; а тетушка Норрис была слишком занята – пеклась обо всех необходимых мелочах их труппы, надзирала за приготовлением костюмов, всячески исхитряясь при этом, дабы побольше сэкономить, за что никто ей не был благодарен, и с тайным самодовольством сберегала для отсутствующего сэра Томаса полкроны на том, полкроны на сем, – где уж ей было присматривать за поведением и оберегать счастье его дочерей.

Все теперь шло своим чередом; театр, актеры, актрисы, костюмы – все продвигалось вперед; но, хотя никаких новых серьезных помех не возникло, Фанни вскорости заметила, что для самих участников спектакля это отнюдь не сплошь одно удовольствие и что не видно уже того общего воодушевления и восторга, которые поначалу ей даже трудно было переносить. У каждого появились поводы для досады. У Эдмунда их было немало. Совершенно наперекор его мнению из города приехал декоратор и принялся за дело, что значительно увеличило расходы и, того хуже, умножило молву об их приготовлениях; а брат, вместо того чтобы и вправду послушаться его и ограничить представление самым узким кругом, раздавал приглашения налево и направо. Сам же Том стал беспокоиться, что у декоратора дело продвигается слишком медленно, и мучился ожиданием. Он уже выучил свою роль – все свои роли, – поскольку взял на себя все самые пустячные роли, которые не мешали бы исполнять роль Дворецкого, и ему не терпелось играть; и с каждым таким пустым днем росло ощущение незначительности всех вместе взятых его ролей, и чем дальше, тем более он сожалел, что они не выбрали какую-нибудь иную пьесу.

На долю Фанни, которая была весьма учливой слушательницей и часто единственная оказывалась под рукой, доставались жалобы и огорчения большинства. Не кто-нибудь, а она узнавала, что, по общему мнению, мистер Йейтс чересчур напыщен, а сам мистер Йейтс разочарован в Генри Крофорде, что Том Бертрам так быстро говорит – ничего не разберешь, а миссис Грант все портит неуместным смехом, что Эдмунд не поспевает со своей ролью и что просто беда иметь дело с мистером Рашуотом, ему для каждой реплики требуется суфлер. Она знала также, что бедняге Рашуоту вечно не с кем репетировать: он тоже, как прочие, изливал свои жалобы ей; она же, ясно видя, что кузина Мария слишком старательно его избегает и слишком часто безо всякой необходимости репетирует свою первую сцену с Генри Крофордом, в скором времени уже со страхом ждала других его жалоб. Она поняла, что каждый из них, далеко не всем удовлетворенный и не ото всего получающий радость, требует чего-то, чего у него нет, и тем самым дает остальным повод к неудовольствию. У каждого роль либо слишком длинна, либо слишком коротка; никто не слушает партнера с должным вниманием, никто не помнит, с какой стороны следует выходить на сцену, никто, кроме самого жалобщика, не соблюдает никаких указаний.

Фанни казалось, что она извлекает из этой затеи ничуть не меньше невинного удовольствия, чем любой из участников; Генри Крофорд играл хорошо, и, прокравшись в театр, она наслаждалась репетицией первого акта, несмотря на чувства, которые в ней возбуждали иные реплики Марии. Мария, по ее мнению, тоже хорошо играла... слишком хорошо; и после первых нескольких репетиций Фанни единственная и представляла их публику и, то в качестве суфлера, то в качестве зрителя, часто оказывалась весьма полезной. Сколько она могла судить, мистер Крофорд намного превосходил всех как актер; у него было более уверенности, чем у Эдмунда, более здравомыслия, чем у Тома, более таланта и вкуса, чем у мистера Йейтса. Как человек он ей не нравился, но она не могла не признать, что актер он был самый лучший, и на сей счет мало кто придерживался другого мнения. Мистер Йейтс, правда, роптал на его безжизненность и вялость, и настал наконец день, когда мистер Рашуот, хмуро глядя на Фанни, сказал:

– Неужто вы и впрямь находите, что все идет так замечательно? Убей меня Бог, вот уж никак не могу я восхищаться мистером Крофордом... и, говоря между нами, по-моему, просто смешно, когда такого недомерка, коротышку, человека самой заурядной внешности

превозносят, будто замечательного актера.

С этого часу возродилась его прежняя ревность, которую Мария, чьи надежды на Крофорда все возрастали, не давала себе труда рассеять; и едва ли можно было ждать, что мистер Рашуот когда-нибудь выучит свои сорок две реплики. И ни у кого, кроме его маменьки, и в мыслях не было, что он хотя в малой мере справится со своею ролью. Она-то, разумеется, хотела бы, чтоб его роль была более значительной, и откладывала приезд в Мэнсфилд до того времени, когда они настолько продвинутся в репетициях, что включают все его сцены, но остальные только того и желали, чтоб он запомнил реплику партнера, после которой ему надобно произнести свои начальные слова, а далее послушно следовал бы за суфлером. Фанни, исполненная добросердечия и жалости, изо всех сил старалась втолковать ему, как заучивать роль, всячески направляла его и приходила на помощь, подыскивая для него мнемонические приемы запоминания, сама заучивала каждое слово его роли, но он едва продвигался вперед.

Фанни, конечно же, одолевали разнообразные тревоги, опасенья, страхи; но, со всем тем и при постоянных посягательствах на ее время и внимание, она вовсе не чувствовала себя среди участников представления бесполезной или не у дел, как не была и одинока в своем беспокойстве, и уж вовсе не испытывала недостатка в покушениях на ее досуг или сочувствие. Мрачность ее первоначальных опасений оказалась напрасной. Она постоянно была нужна то одному, то другому; она успокоилась, должно быть, не менее всех прочих.

Было к тому же много шитья, и здесь требовалась ее помощь; а тетушка Норрис, как и остальные, считала Фанни вполне умелой, что явствовало из ее тона, когда она взывала:

– Поди-ка сюда, Фанни! Славное у тебя выдалось времечко, да только разве ж можно знай себе похаживать из комнаты в комнату да пялить на все глаза... ты мне нужна. Я тут надрываюсь, прямо с ног валюсь, надобно было исхитриться поэкономнее скроить мистеру Рашуоту плащ, не прикупать атласу; а теперь, я полагаю, ты можешь мне помочь его сшить. Тут всего-то три шва, ты мигом прострочишь. Я тоже рада б делать единственно то, что мне укажут, чтоб не самой ломать голову. Тебе легче, можешь мне поверить. А только ежели все будут таково прохлаждаться, мы не скоро дело сделаем.

Фанни покорно взялась за работу, не пытаясь и слова сказать в свою защиту; но тетушка Бертрам была добрей и вступилась за нее:

– Не удивительно, что Фанни так радуется, сестра. Ей ведь это в новинку... Мы с тобой сами, бывало, очень любили спектакли... Я и по сей день люблю; вот буду малость посвободней, тоже непременно побываю у них на репетициях. О чем она, эта пьеса, Фанни, ты мне еще не рассказывала?

– Ох, сестра, прошу тебя, не проси ее сейчас; Фанни не из тех, кто умеет сразу и работать и разговаривать. Это про обеты в любви.

– По-моему, завтра вечером будут репетировать три акта, – сказала Фанни тетушке Бертрам. – И вы сможете посмотреть сразу всех актеров.

– Ты уж лучше обожди, пока повесят занавес, – вмешалась миссис Норрис. – Через день-два его повесят... без занавеса что за представление, и я думаю, не ошибусь, если скажу, что фестоны ты сочтешь весьма красивыми.

Леди Бертрам, казалось, вполне готова была покорно ждать. Фанни не разделяла спокойствия тетушки: завтрашний вечер не шел у ней из головы – ведь если станут репетировать все три акта, Эдмунд будет впервые играть вместе с мисс Крофорд; в третьем акте есть сцена, которая ей особенно интересна, которую она и жаждала и страшилась посмотреть в их исполнении. Сцена эта вся о любви: мужчине предстоит поведать о прелестях брака по любви, а партнерше – чуть ли не признаться ему в любви.

Фанни читала и перечитывала эту сцену, и множество чувств, мучительных и озадачивающих, одолевали ее, и она нетерпеливо ждала представления как события поистине чрезвычайного. И не верилось ей, что они уже репетировали эту сцену, хотя бы и без свидетелей.

Наступило завтра, вечернюю репетицию не отменили, и Фанни думала о ней все с тем же волнением. Она усердно трудилась, исполняя все наставления тетушки Норрис, но за усердием и молчанием таилась душа растревоженная, очень далекая от сиюминутных занятий; и около полудня, не желая присутствовать при еще одной и, по ее понятию, вовсе не нужной репетиции первого акта, которую только что предложил Генри Крофорд, она вместе со своею работой ускользнула в Восточную комнату, чтобы побыть в одиночестве и при том избежать встречи с мистером Рашуотом. Проходя через холл, она мельком увидела мисс Крофорд и миссис Грант, которые только что пришли из пастората, что никак не изменило ее желания уединиться, и с четверть часа она шила и размышляла без помех в Восточной комнате, а затем в дверь негромко постучали и появилась мисс Крофорд.

– Я не ошиблась? Да, это Восточная комната. Милая мисс Прайс, прошу меня извинить, но я пришла сюда, чтоб попросить вас о помощи.

Фанни, весьма удивленная, постаралась со всей учтивостью показать себя хозяйкою комнаты и бросила озабоченный взгляд на блестящую каминную решетку, на которой не было ни единого полена.

– Не беспокойтесь, мне не холодно, ничуть не холодно. Позвольте мне еще немного побыть здесь и не откажите в любезности прослушать мой третий акт. Я принесла свою книгу, и, если вы просто прорепетируете со мной, я так вам буду благодарна! Я пришла сегодня в надежде порепетировать с Эдмундом – вдвоем – еще до вечера, но он куда-то запропастился; и даже и окажись он здесь, боюсь, с ним я не смогла бы, мне надо прежде привыкнуть к роли, ведь, право, в ней есть такие две-три реплики... Вы мне не откажете, правда?

Фанни весьма учтиво ее в том заверила, хотя голос ее прозвучал не очень твердо.

– Скажите, вам не приходилось заглянуть в мою роль? – продолжала мисс Крофорд, открывая книгу. – Вот она. Вначале я отнеслась к ней легко, но, право же... Вот посмотрите на эту реплику; и на эту, и на эту. Как же мне произносить такие слова, глядя ему в лицо? Вы бы могли? Но он ведь ваш кузен, это совсем другое дело. Пожалуйста, прорепетируйте со мной, и я буду воображать, будто вы – это он, и стану постепенно привыкать. Вы иногда и впрямь на него походите.

– Неужели?.. Я с величайшей готовностью сделаю все что смогу, но мне придется читать, наизусть я мало что знаю.

– Я думаю, совсем не знаете. Книга, конечно, будет у вас. Ну, за дело. Нам надобно иметь под рукой два стула, чтоб вы вынесли их на авансцену. Вот... настоящие стулья из классной комнаты, я бы сказала, совсем не для театра; они куда больше подходят для маленьких девочек, чтоб сидеть и болтать ножками, когда учишь уроки. Что бы сказали ваша гувернантка и ваш дядюшка, увидев, для чего мы их взяли? Если б сэр Томас мог нас всех сейчас увидеть, он бы осенил себя крестным знаменiem: ведь репетиции идут по всему дому. Йейтс буйствует в столовой. Я слышала его, когда поднималась по лестнице, а в театре, конечно же, репетируют неутомимые Агата и Фредерик. Уж если они не достигли совершенства, я буду весьма удивлена. Кстати, пять минут назад я туда заглянула, и как раз это было одно из тех мгновений, когда они старались не заключить друг друга в объятия, а со мною был мистер Рашуот. Я смотрю, у него вдруг сделалось такое странное лицо, и я сразу все повернула по-другому, сказала ему шепотом: «У нас будет превосходная Агата, в самой ее

манере столько материнского, такой у ней материнский голос и выражение лица». Неплохо придумала, правда? Он тут же повеселел. Теперь – за мой монолог.

Мисс Крофорд начала, и Фанни присоединилась к ней с тем сдержанным чувством, какое рассчитывали в ней вызвать самой мыслью, что она представляет Эдмунда; но вид ее и голос были столь женственны, что не очень правдоподобно изобразила она мужчину. Однако ж при таком Анхельте мисс Крофорд набралась кое-какой храбрости, и они уже оставили позади первую половину сцены, когда стук в дверь заставил их умолкнуть, а в следующий миг появился Эдмунд и положил конец репетиции.

Удивление, понимание, удовольствие эта неожиданная встреча вызвала у всех троих; а поскольку Эдмунда привела сюда та же самая нужда, что и мисс Крофорд, их понимание и удовольствие оказались отнюдь не мимолетными. Он тоже захватил с собою книгу и искал Фанни, чтоб попросить ее порепетировать с ним и помочь подготовиться к вечеру, вовсе не зная, что мисс Крофорд уже в доме; и как же они обрадовались и воодушевились оттого, что столкнулись здесь, оттого, что одна и та же мысль привела их сюда, оттого, что оба так оценили доброту Фанни.

Она же не могла разделить их пыл. В их безудержном сиянии ее оживление угасло, и, чувствуя, что обоим уже делается не до нее, она не в силах была утешиться тем, что каждый из них искал у ней помощи. Теперь им надобно репетировать вместе. Эдмунд предложил это, настаивал, просил, пока мисс Крофорд, не слишком сопротивлявшаяся с самого начала, уже не могла более отказываться – и Фанни нужна была единственно, чтобы подсказывать и делать замечания. Ее, в сущности, облекли полномочиями судьи и критика, и она всею душой желала справиться и говорить им о каждом их промахе; но все ее чувства противились этому, не могла она этого, не хотела, не смела; будь ей даже свойственно критиковать, на сей раз совесть не позволила бы ей высказать неодобренье. Ей казалось, все чувства, о которых говорилось в этой сцене, ей самой слишком близки, чтоб она могла по совести и верно судить о частностях. Быть суфлером – этого ей вполне довольно, а иногда более чем довольно, ибо не всегда она способна была помнить о книге. Глядя на них, она забывалась и, взволнованная нараставшей увлеченностью Эдмунда, однажды закрыла книгу и отворотилась как раз в ту минуту, когда ему нужна была ее помощь. Это приписали вполне естественной усталости и ее поблагодарили и пожалели, но она заслуживала куда большей жалости, о чем, как она надеялась, им никогда не догадаться. Наконец сцена кончилась, и Фанни заставила себя присовокупить свои похвалы к тем лестным отзывам друг о друге, которыми они обменивались; и когда она опять осталась одна и могла все вспомнить, ей подумалось, что они так исполняют свои роли, игра их пронизана таким чувством, что, без сомнения, успех им обеспечен, а для нее зрелище это будет поистине мучительным. Но как бы оно ни подействовало, она сегодня же снова должна выдержать это тяжелое испытание.

Первая настоящая репетиция трех актов непременно состоится нынче вечером; было условлено, что миссис Грант и Крофорды воротятся тотчас как отобедают; и каждый участник был исполнен нетерпеливого предвкушения. Казалось, по этому случаю всеми овладело радостное волнение; Том ликовал, что дело близится к завершению; Эдмунда воодушевила утренняя репетиция, и разных досаждавших всем пустяков как не бывало. Все были оживлены, охвачены горячкою ожидания; дамы скоро покинули столовую, за ними скоро последовали мужчины, и, за исключением леди Бертрам, тетушки Норрис и Джулии, все спозаранку оказались в театре, зажгли столько ламп, сколько позволяла его незаконченная сцена, и ждали только миссис Грант и Крофордов, чтоб начать репетицию.

Долго ждать Крофордов не пришлось, но миссис Грант с ними не оказалось. Она не могла прийти. Доктор Грант, во всеуслышанье заявив, что ему нездоровится, к чему его

трезво мыслящая свояченица отнеслась без особого доверия, не мог отпустить жену.

– Доктор Грант болен, – сказала мисс Крофорд с мнимой серьезностью. – Еще с каких пор болен, он нынче не стал есть фазана. Вообразил, будто фазан жесткий, отослал свою тарелку на кухню и с тех пор страдает.

Ну и разочарованье! Отсутствие миссис Грант поистине огорчительно. Ее приятные манеры и веселую покладистость неизменно ценили все и каждый, но уж сейчас-то она была совершенно необходима! Без нее ни игра, ни сама репетиция не доставят им ни малейшего удовлетворения. Весь вечер погублен. Что ж было делать? Том, Крестьянин, был вне себя. После растерянного молчания иные взгляды обратились к Фанни, раздался один голос, второй: «Может быть, Мисс Прайс будет так любезна и согласится хотя бы читать роль миссис Грант». На нее тотчас обрушились мольбы, просили все, даже Эдмунд сказал: «Право, согласишься, Фанни, если тебе это не слишком неприятно».

Но Фанни все не решалась. Ей претила самая мысль об этом. Почему бы им не попросить и мисс Крофорд? Зачем она не укрылась в своей комнате, вместо того чтоб приходить на репетицию, ведь чувствовала же, что так оно безопасней? Знала же, что репетиция и раздосадует ее, и огорчит, знала, что ее дело – держаться подальше. Она наказана по заслугам.

– Вам ведь надо только читать, – вновь взмолился Генри Крофорд.

– А я совершенно уверена, что она знает эту роль от начала до конца, – прибавила Мария, – вчера она сто раз поправляла миссис Грант. Фанни, ну, конечно же, ты знаешь роль.

Не могла Фанни сказать, что не знает, а между тем они продолжали настаивать, и Эдмунд опять повторил, что хочет того же, и смотрел так, будто напрасно понадеялся на ее добросердечие, и пришлось ей уступить. Она постарается изо всех сил. Все успокоились, и, пока они готовились начать, Фанни оставалось лишь слушать, как бьется ее трепещущее сердце.

Они и вправду начали и, слишком поглощенные шумом, который при этом подняли сами, не слышали непривычный шум в другой половине дома и какое-то время продолжали репетицию, но вдруг дверь в комнату распахнулась, на пороге возникла Джулия с побелевшим от страха лицом и воскликнула:

– Папенька приехал! Он сейчас в прихожей.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ



Как описать смущенье, какое охватило участников репетиции? Почти для всех то был миг невыразимого ужаса. Сэр Томас в доме! Все мгновенно в это поверили. Никто не питал ни малой надежды на обман или ошибку. Вид Джулии был самым бесспорным тому свидетельством; и после первого смятения и восклицаний долгие полминуты никто не произнес ни слова; каждый с изменившимся лицом уставился в лицо другого, и почти каждый принял это как неприятнейшее известие, весьма несвоевременное, ошеломляющее! Мистер Йейтс мог полагать это всего только досадной помехой на нынешний вечер, а мистер Рашуот мог воображать это благом, но у всех прочих на сердце лег тяжкий груз самообвинений и неясной тревоги, все прочие вопрошали в сердце своем: «Что же с нами станется? Как теперь быть?» Ужасное то было молчание, и ужасны были для каждого подтверждающие эту весть звуки растворяемых дверей и близящихся шагов.

Джулия первая вышла из оцепенения и заговорила. Ревность и горечь поначалу отпустили ее, эгоизм отступил перед общей бедою, но в миг ее появления Фредерик благоговейно слушал повесть Агаты и руку ее прижимал к своему сердцу, и едва Джулия заметила, что, несмотря на потрясенье от ее слов, он не переменил позы, не отпустил руку Марии, в ее оскорбленном сердце вновь вспыхнула обида, бледность в лице сменилась жаркою краской и она вышла из комнаты со словами: «Мне-то нечего бояться предстать перед ним».

Ее уход подстегнул остальных, и в один и тот же миг выступили вперед оба брата – оба почувствовали необходимость что-то предпринять. Им довольно было обменяться всего несколькими словами. Разницы во мнениях тут быть не могло; им следует немедленно отправиться в гостиную. С тем же намереньем к ним присоединилась Мария, как раз теперь самая решительная из них троих; ибо именно то, из-за чего так стремительно вышла Джулия, было ей сладостной поддержкою. Генри Крофорд не выпустил ее руку в такую минуту, в минуту такого испытания и важности, это стоит целого века сомнений и тревог. Она сочла это залогом самых серьезных намерений, и даже встреча с отцом ее не страшила. Они вышли, не обращая никакого внимания на мистера Рашуота, который вопрошал: «А мне тоже пойти? Может быть, мне лучше тоже пойти? Наверно, мне тоже следует пойти?», но, едва они переступили порог, Генри Крофорд не замедлил ответить на его тревожные вопросы и, усердно одобряя его намерение тотчас же засвидетельствовать свое почтение сэру Томасу, с радостью поспешил отослать его вслед за остальными.

Теперь Фанни осталась только с Крофордами и мистером Йейтсом. Кузины и кузены вовсе о ней не подумали; а ее понятие о праве на привязанность сэра Томаса было более чем скромным, и потому, не смея ставить себя наравне с его детьми, она рада была повременить и перевести дух. По складу характера, при котором даже невиновность не избавляла от страданий, она волновалась и тревожилась более остальных. Она едва не теряла сознание: к ней воротился привычный страх пред дядюшкою, и, представляя, как все ему будет рассказано, она жалела и его и всех других, а беспокойство ее за Эдмунда и вовсе не поддавалось описанию. Она села в уголке и, вся дрожа, погрузилась в эти пугающие мысли, а трое остальных, не имея более надобности сдерживаться, дали выход досаде и горько жаловались на столь непредвиденно ранний приезд хозяина дома, оказавшийся совсем некстати, и, нисколько не жалея бедного сэра Томаса, сетовали, что он не пробыл в дороге вдвое дольше или еще не задержался на Антигуа.

Крофорды говорили горячее, нежели мистер Йейтс, ведь они лучше понимали семью

Бертрамов и ясней судили, как худо все это может обернуться. Гибель театра для них была несомненна, они чувствовали, что их затее грозит неминуемая и скорая гибель; мистер же Йейтс почитал это лишь временною помехой, бедой на один вечер и даже предположил, что репетицию, быть может, удастся возобновить после чаю, когда суматоха, вызванная приездом сэра Томаса, уляжется, и пьеса на досуге его позабавит. Крофордов эта мысль только насмешила, и вскоре, порешив, что им всего лучше тихонько отправиться домой и оставить Бертрамов в семейном кругу, они предложили мистеру Йейтсу пойти с ними и провести вечер в пасторате. Но мистер Йейтс, никогда еще не имевший дела с теми, для кого власть отца и семейное доверие отнюдь не пустые слова, вовсе не счел это необходимым и потому, поблагодарив их, предпочел остаться, «чтоб наилучшим образом засвидетельствовать свое почтение старому джентльмену, раз уж он приехал», да к тому ж несправедливо будет по отношению к другим участникам спектакля, если все от них сбегут.

Как раз в это время Фанни начала приходить в себя, почувствовала, что, если и дальше уклоняться от встречи, это могут счесть непочтительностью, и, приняв поручение Крофордов передать их извинения и видя, что они готовы удалиться, вышла из комнаты, чтоб исполнить ужасавший ее долг – предстать перед дядюшкой.

Слишком быстро оказалась она у двери гостиной, и, постояв с минуту в ожидании того, на что нечего было и надеяться, ибо никогда ни у какой двери не обретала она мужество, она в отчаянии повернула ручку – и вот перед нею огни гостиной и вся семья Бертрам. Войдя, она краем уха услышала свое имя. Сэр Томас оглядывался по сторонам со словами «Но где же Фанни? Почему я не вижу мою малышку Фанни?», а заметив ее, пошел ей навстречу и с удивившей и тронувшей ее добротою назвал милой Фанни, нежно ее поцеловал и с явным удовольствием отозвался о том, как сильно она выросла. Фанни не знала, что и думать, куда смотреть. Она была совсем подавлена. Никогда еще не был он с нею так добр, так удивительно добр. Казалось, он стал другим; радостно взволнованный, он говорил теперь быстро, и все, что было пугающего в его величии, казалось, растаяло в нежности. Он подвел ее поближе к свету и опять на нее посмотрел – стал расспрашивать об ее здоровье, а потом перебил себя, заметив, что можно и не спрашивать, ее наружность говорит сама за себя. Прелестный румянец, которому уступила место прежняя бледность, подтверждает, что она и поздоровела и похорошела. Он расспрашивал Фанни о ее родных, особенно же об Уильяме; и доброта его даже заставила ее упрекнуть себя за то, что она слишком мало его любит и сочла его приезд бедою: и когда, набравшись храбрости, она подняла на него глаза и увидела, что он похудел и словно обожжен солнцем, осунулся, изнурен усталостью и жарким климатом, в ней всколыхнулась вся ее нежность, и горько ей стало при мысли, какая его поджидает нежданная неприятность.

Сэр Томас был поистине душою общества, которое в этот час по его предложенью разместилось у камина. Кто как не он был сейчас вправе говорить более других; и от радости, что после столь долгой разлуки он опять у себя дома, в кругу семьи, он сделался непривычно общителен и словоохотлив; он готов был рассказывать обо всех подробностях своей поездки и отвечать на каждый вопрос обоих сыновей едва ли не до того, как они успевали спросить. Его дела на Антигуа в последнее время стали быстро налаживаться, и он приехал сейчас прямиком из Ливерпуля, куда по счастливой случайности приплыл на частном судне, вместо того чтобы дожидаться пакетбота; и, сидя подле леди Бертрам и с сердечным удовольствием глядя на окружающие его лица, он тотчас же поведал обо всех мелких частностях, о своих трудах и хлопотах, приездах и отъездах, однако ж не раз прерывал себя, чтобы заметить, как ему посчастливилось, что хотя он и приехал столь неожиданно, но застал всех вместе, чего он столь горячо желал, но на что не смел надеяться. Не был забыт и

мистер Рашуот – его ждал самый радушный прием и сердечное рукопожатие, и теперь он с подчеркнутым вниманием был включен в беседу, касающуюся до предметов, самым тесным образом связанных с Мэнсфилдом. В наружности мистера Рашуота не было ничего неприятного, и сэру Томасу он сразу понравился.

Никто из окружавшего сэра Томаса общества не слушал его с таким безоблачным искренним наслаждением, как его жена, которая и вправду так безмерно обрадовалась и оживилась от его неожиданного приезда, что, кажется, впервые за последние двадцать лет чуть ли не пришла в волнение. Несколько мгновений она даже трепетала, но при всем оживлении не изменила обычной рассудительности, отложила рукоделье, отодвинула от себя мопса и уделила мужу все свое внимание и все оставшееся на диване место. Ни из-за кого она не тревожилась, и потому ее собственного удовольствия ничто не могло омрачить; все время его отсутствия она провела безупречно; прилежно вышивала скатерть и сплела много ярдов бахромы, и с такою же чистой совестью, как о себе, могла бы сказать обо всей молодежи, что вели они себя хорошо и время проводили с пользою. Ей так было приятно снова его видеть и слушать его разговор, его рассказы так развлекали слух и давали пищу разумению, что сейчас она стала особенно понимать, как, должно быть, о нем скучала и как невозможно было бы переносить долее его затянувшееся отсутствие.

Миссис Норрис была совсем не так рада и счастлива, как сестра. Не то чтобы ее, как других, одолевали страхи из-за того, что, когда сэр Томас увидит, в каком состоянии находится дом, это вызовет его неодобренье, поскольку столь слепа она была в своих суждениях, что, хотя при появлении зятя чутье заставило ее убрать с глаз долой розовый шелковый плащ мистера Рашуота, она более, пожалуй, ничем не обнаружила признаков тревоги; зато ее раздосадовало то, каким образом он воротился. Ей при этом решительно ничего не оставалось делать. Чем бы ему прежде всего послать за нею, чтобы она первая его увидела и разнесла счастливую весть по всему дому, а вместо того сэр Томас, вполне разумно полагаясь на крепость нервов жены и детей, не искал иного доверенного лица, кроме дворецкого, и почти немедленно последовал за ним в гостиную. Миссис Норрис чувствовала себя обманутой, ее лишили миссии, на которую она всегда рассчитывала – быть вестницей его возвращения или смерти, смотря чем кончится его отсутствие; и теперь она пыталась суесться, хотя суесться было не из-за чего, силилась напустить на себя важность, когда только и требовалось что спокойствие и молчание. Согласись сэр Томас откусать, она кинулась бы к экономке с назойливыми наставленьями и оскорбила бы лакеев, гоняя их куда попало; но сэр Томас решительно отказался от всякого обеда, он ничего в рот не возьмет, ничего – до самого чаю, он предпочитает дожидаться чаю. Однако ж миссис Норрис время от времени пыталась навязать ему что-нибудь, и в самую интересную минуту его плавания в Англию, в минуту высочайшего волнения на капере, она вторглась в его повествование, предлагая поесть супу.

– Право же, дорогой сэр Томас, тарелка супу будет для вас куда лучше чаю. Съешьте супу, прошу вас.

Сэр Томас не поддавался.

– Вы по-прежнему беспокоитесь об удобстве всех и каждого, дорогая миссис Норрис, – был его ответ. – Но я вправду ничего не хочу, кроме чаю.

– Леди Бертрам, тогда б вы приказали подавать чай немедленно, поторопили бы Бэдли, он сегодня, кажется, опаздывает.

Тут ей удалось добиться своего, и сэр Томас продолжал рассказ.

Наконец он умолк. Самые первостепенные сообщения были исчерпаны, и, казалось, ему довольно с веселым сердцем смотреть по сторонам, то на одного, то на другого из

окружавших его любимых чад и домочадцев; но молчание длилось недолго: душевный подъем сделал леди Бертрам разговорчивой, и каково же было удивление ее детей, когда они услышали от нее такие слова.

– Как, по-твоему, сэр Томас, развлекалась в последнее время наша молодежь? Они представляли. Мы все увлеклись их представлением.

– Неужели? И что ж за представление?

– О, они тебе все расскажут.

– Обо всем будет рассказано, – поспешно воскликнул Том и продолжал с напускной беззаботностью: – Но сейчас не стоит надоедать этим папеньке. Вы достаточно услышите о том завтра, сэр. Последнюю неделю, чтоб чем-то заняться и развлечь маменьку, мы просто пытались разыграть несколько сценок, сущий пустяк. Чуть не с октября зарядили дожди, и мы целыми днями вынуждены были сидеть взаперти. После третьего я едва ли хоть раз брался за ружье. Сносно поохотился первые три дня, но с тех пор и не пробовал. В первый день я отправился в Мэнсфилдский лес, а Эдмунд облюбовал рощу за Истоном, и мы вдвоем принесли шесть пар, и каждый мог подстрелить в шесть раз больше; но, уверяю вас, сэр, мы бережем ваших фазанов, как вы сами того б желали. Не думаю, чтоб вы сочли, что в ваших лесах стало меньше дичи. В жизни я не видел в Мэнсфилдском лесу столько фазанов, как в нынешний год. Надеюсь, вы скоро и сами поохотитесь денек, сэр.

На время опасность миновала, и Фаннины страхи улеглись; но когда вскорости принесли чай и сэр Томас поднялся и сказал, что нет, не может он долее, находясь дома, хотя бы мимолетно не взглянуть на свой милый сердцу кабинет, вновь вспыхнуло всяческое волнение. Он вышел прежде, чем его успели подготовить к перемене, которую он там обнаружит; и после его ухода воцарилось тревожное молчанье. Первым заговорил Эдмунд:

– Что-то надо делать, – сказал он.

– Пора подумать о наших гостях, – сказала Мария, все еще чувствуя, что ее рука прижата к сердцу Генри Крофорда, и ничем другим не интересуясь. – Где ты оставила мисс Крофорд, Фанни?

Фанни рассказала, как ушли Крофорды, и передала то, о чем они ее просили.

– Стало быть, бедняга Йейтс совсем один, – воскликнул Том. – Пойду приведу его. Он будет неплохой помощник, когда все выйдет наружу.

И он отправился в театр и поспел как раз вовремя, чтоб присутствовать при первой встрече отца с его другом. Сэр Томас был немало удивлен, увидев, что в его комнате зажжены свечи, а когда бросил взгляд по сторонам, заметил еще и следы чьего-то недавнего здесь пребывания и общий беспорядок в расстановке мебели. Книжный шкаф, отодвинутый от двери, ведущей в бильярдную, особенно его поразил, но только он успел подивиться всему этому, как звуки, доносящиеся из бильярдной, изумили его и того более. Кто-то там разговаривал весьма громким голосом – голос был ему незнаком, – и не просто разговаривал, нет, скорее что-то выкрикивал. Сэр Томас ступил к двери, радуясь, что может прямоком войти в бильярдную, и, отворив ее, оказался на подмостках лицом к лицу с декламирующим молодым человеком, который, казалось, того гляди собьет его с ног. В ту самую минуту, когда Йейтс заметил сэра Томаса и куда успешней, чем за все время репетиции, вошел в свою роль, в другом конце комнаты появился Том Бертрам; и никогда еще ему не стоило такого труда удержаться от смеха. Серьезное и изумленное лицо отца, впервые в жизни очутившегося на сцене, и постепенная метаморфоза, превратившая охваченного страстью Барона Уилденхейма в прекрасно воспитанного и непринужденного мистера Йейтса, который с поклоном приносил сэру Томасу Бертраму свои извинения, – это было такое зрелище, такая поистине театральная сцена, какую Том не пропустил бы ни за что на свете. Это последняя,

по всей вероятности, последняя сцена на сих подмостках, подумал он, но лучшей и разыграть невозможно. Театр закроется при величайшем успехе.

У него, однако ж, не было времени потворствовать какому бы то ни было веселью. Надобно было подойти к ним и представить их друг другу, и, испытывая немалую неловкость, он сделал все, что мог. Сэр Томас, верный своему характеру, принял мистера Йейтса с видом весьма радушным, на самом же деле он радовался этому неизбежному знакомству не более, нежели тому, каким образом оно началось. Семья и связи мистера Йейтса были ему достаточно известны, чтобы представление его в качестве «особо близкого друга», еще одного из сотни особо близких друзей сына, было для него чрезвычайно нежелательным; лишь блаженство оттого, что он снова дома, и вся проистекавшая от этого снисходительность помогли сэру Томасу не разгневаться, когда в собственном доме он был поставлен в неловкое положение, оказался участником нелепейшей сцены посреди всей этой театральной чепухи, и так не вовремя вынужден был согласиться на знакомство с молодым человеком, каковой, без сомнения, будет ему не по душе и чье невозмутимое спокойствие и разговорчивость в первые же пять минут словно свидетельствовали о том, что из них двоих он чувствует себя в этом доме куда более непринужденно.

Том понимал чувства отца и, горячо желая, чтоб он всегда был так же хорошо настроен и выражал их лишь отчасти, теперь ясней, чем когда бы то ни было, представлял, что у сэра Томаса могли быть основания почитать себя оскорбленным, могли быть причины для того взгляда, каким он окинул потолок и лепнину в своей комнате, и что, когда он с оттенком печали справился о судьбе бильярдного стола, его любопытство было вполне законным. Всего несколько минут потребовалось обоим сторонам для этих неприятных ощущений; и после того, как сэр Томас даже вынудил себя сказать несколько спокойных одобрительных слов в ответ на нетерпеливые вопросы мистера Йейтса, что ведь правда все очень удачно устроено, три джентльмена вместе возвратились в гостиную, причем сэр Томас с видом заметно опечаленным, что не прошло незамеченным для всего общества.

– Я был в вашем театре, – сдержанно сказал он, садясь. – Я оказался в нем довольно для себя неожиданно. Его близость к моей комнате... но он, разумеется, во всех отношениях застал меня врасплох, поскольку я никак не предполагал, что все это приняло столь серьезный оборот. Однако ж, сколько я мог заметить при свете свечей, все выполнено искусно и делает честь моему другу Кристоферу Джексону.

И он переменял предмет разговора и мирно попивал кофе, обсуждая домашние дела более спокойного свойства; но Йейтс не сумел постичь значение слов сэра Томаса, ему не хватило ни скромности, ни такта, чтобы, участвуя в общем разговоре, никому себя не навязывать, и он не давал сэру Томасу отвлечься от театра, донимал вопросами и замечаниями, связанными с ним, и в конце концов заставил его выслушать всю историю своего разочарования в Эклсфорде. Сэр Томас слушал его чрезвычайно учтиво, но весь этот рассказ, от начала до конца, во многом оскорблял его представление о приличиях и утвердил в дурном мнении об образе мыслей мистера Йейтса; и когда тот кончил, он выразил свое сочувствие всего лишь легким кивком.

– Это, в сущности, и вызвало к жизни наш театр, – на миг задумавшись, сказал Том. – Мой друг Йейтс занес эту заразу из Эклсфорда, и она распространилась, сэр, как, знаете ли, неизбежно распространяются подобные вещи, – вероятно, тем быстрее, что прежде вы сами так часто поощряли в нас приверженность к подобным занятиям. Мы словно вновь ступили на знакомую землю.

Едва представилась возможность, Йейтс подхватил слова друга, и тотчас же дал сэру Томасу отчет в том, в чем они уже преуспели, чем заняты теперь, поведал о постепенном

расширении их замыслов, о счастливом разрешении первых трудностей и о нынешнем многообещающем положении дел; рассказывал он все это в таком ослеплении, что не только вовсе не обращал внимания на то, как ерзают на месте многие его друзья, как меняется выражение их лиц, как они волнуются, беспокойно покашливают, но не замечал и выражение лица, с которого не сводил глаз, – не замечал, как сэр Томас потемнел, как хмурится, серьезно и испытующе смотрит на дочерей и Эдмунда, на нем особенно задерживая взгляд, всем своим видом выражая протест, укор, которые ощущал в своем сердце. Не менее остро все это ощущала и Фанни, которая, задвинув свой стул за дальний край тетушкиного дивана, укрылась ото всех глаз, а сама не упускала ничего из происходящего. Она не думала-не гадала, что когда-нибудь ей доведется увидеть столь укоризненный взгляд отца, обращенный к Эдмунду; и чувствовать, что в какой-то мере он заслужен, было, конечно же, особенно тяжело. «Именно на твою рассудительность, Эдмунд, я полагался, – говорил этот взгляд. – Чем же ты был занят?» В душе она взывала к дядюшке с мольбой, и из груди ее готовы были вырваться слова: «Ох, только не на него. Смотрите так на всех остальных, но только не на него!»

А мистер Йейтс все говорил:

– Сказать по правде, сэр Томас, когда вы приехали нынче вечером, мы репетировали. Мы играли первые три акта, и в целом не без успеха. Наша труппа сейчас далеко не в полном составе, из-за того что Крофорды ушли домой, так что сегодня мы уже ничего более сделать не сможем, но, если завтра вечером вы окажете нам честь своим присутствием, за результат я бы не побоялся. Мы рассчитываем на вашу снисходительность, вы сами понимаете, как начинающие актеры, мы рассчитываем на вашу снисходительность.

– Моя снисходительность вам обеспечена, сэр, – серьезно отвечал сэр Томас, – но только безо всяких репетиций. – И прибавил мягче, с улыбкою: – Я приехал домой, чтобы радоваться и оказывать снисхождение. – И повернувшись к кому-то другому или ко всем остальным, спокойно сказал: – О мистере и мисс Крофорд мне поминали в последних письмах из Мэнсфилда. Вы почитаете это знакомство приятным?

Том единственный из всех был готов ответить на этот вопрос, но, не питая ни к нему, ни к ней особого расположения, а также не терзаемый ревностью, ни любовной, ни актерской, отозвался о них обоих весьма лестно:

– Мистер Крофорд очень приятный человек, истый джентльмен; его сестра милая, хорошенькая, элегантная, веселая девушка.

Рашуот не мог далее молчать:

– В общем-то он, конечно, джентльмен, но вам следовало бы сказать вашему отцу, что в нем не более пяти футов восьми дюймов росту, не то можно подумать, будто он хорош собою.

Сэр Томас не очень это понял и взглянул на говорящего с некоторым удивленьем.

– Ежели требуется сказать, что я думаю, – продолжал Рашуот, – по моему мнению, весьма неприятно, когда без конца репетируют. Хорошенького понемножку. Теперь мне уже не так нравится театр, как вначале. По-моему, куда лучше сидеть вот так уютно, без посторонних и ничего не делать.

Сэр Томас опять на него посмотрел и потом ответил, одобрительно улыбаясь:

– Рад узнать, что наши чувства касательно сего предмета так схожи. Это приносит мне искреннее удовлетворенье. Что я предусмотрителен, и проницателен, и полон угрызений совести, каких не испытывают мои дети, это совершенно естественно; равно как и то, что я куда более, чем они, ценю домашний покой, дом, в коем нет места шумным развлечениям. Но испытывать те же чувства в вашем возрасте чрезвычайно благоприятно и для вас самих, и для

всех, кто вас окружает; и я отдаю себе отчет в том, как важно иметь столь весомого союзника.

Сэр Томас постарался выразить мнение мистера Рашуота более вразумительно, нежели тот сумел сделать это сам. Он понимал, что мистер Рашуот отнюдь не гений, но готов был высоко ценить его как человека рассудительного, уравновешенного, с понятиями куда более достойными, чем он способен был высказать. Мало кто смог удержаться от улыбки. Мистер Рашуот едва ли способен был все это уразуметь, но всем своим видом показывал, как он доволен добрым мнением сэра Томаса, и не сказал далее почти ни слова, чем весьма способствовал тому, чтоб это мнение сохранилось еще несколько долее.

Наутро Эдмунд первым делом постарался увидаться с отцом наедине и честно рассказал ему обо всей театральной затее, защищая себя лишь настолько, насколько, как он понимал теперь, в более трезвую минуту, того заслуживали его побуждения, и признавая с полной искренностью, что его уступка, хотя и вызванная соображениями справедливости, сопровождалась такой личной заинтересованностью, что делала его суждение весьма сомнительным. Обвиняя себя самого, он старался ни о ком другом не сказать ничего дурного; но лишь говоря о поведении одной, не должен был защищать ее или преуменьшать ее вину.

– Все мы в той или иной мере виноваты, – говорил он – все, за исключением Фанни. Фанни единственная судила верно и во всем была последовательна. В сердце своем она от начала и до конца упорно не принимала эту затею. Она неизменно думала о нашем долге перед вами. Вы увидите, Фанни такова, какую вы желали бы ее видеть.

Сэр Томас ощутил всю неуместность их затеи в столь неподходящем обществе и в столь неподходящее время с тою силой, какую только и мог ждать от него сын; он и вправду был слишком взволнован, чтобы много говорить; он пожал руку Эдмунду и порешил, что, едва дом будет очищен от последней малости, наталкивающей на мысли о театре, и приведен в прежний вид, он постарается отбросить неприятные впечатления и как можно скорее забыть обо всем, как забыли его самого. Он не стал выражать неудовольствие другим своим детям: ему хотелось верить, что они чувствуют свою ошибку, а не заниматься дознанием, рискуя убедиться в противном. Уже одно то, что всему положен конец и стерты все следы приготовлений, послужит достаточным укором.

Был, однако ж, в доме человек, кому он хотел дать понятие о своих чувствах не только чрез свое поведение. Как было не намекнуть миссис Норрис об обманутой надежде, что ее совет мог бы воспрепятствовать тому, чего она, конечно же, никак не одобряла. Затеявая эту постановку, молодежь действовала весьма легкомысленно, им и самим следовало быть благоразумнее; но они молоды, и, за исключением Эдмунда, пожалуй, всё натуры неустойчивые; и потому для него тем неожиданнее, что она участвовала в их необдуманных действиях и поддерживала их рискованные развлечения куда более определенно, чем заслуживали подобные действия и подобные развлечения. Миссис Норрис была несколько смущена и чуть ли не лишилась дара речи, чего с ней во всю ее жизнь не случалось; ибо ей стыдно было сказать, что она вовсе не видела того неприличия, которое так бросалось в глаза сэру Томасу, и она нипочем не призналась бы, что ее влияние недостаточное и к ее словам навряд ли прислушались бы. Ей только и оставалось сейчас по возможности скорее перевести разговор и направить мысли сэра Томаса в иное, более радостное русло. Она могла обиняком сказать о многом, что послужило бы к ее чести, ведь она так неусыпно пеклась о пользе и покое его семьи, могла помянуть о неизменном своем усердии и многих жертвах, вроде поспешных хождений и неожиданных отлучек от своего очага и несчетных тонких намеков леди Бертрам и Эдмунду касательно их излишней доверчивости и недостаточной бережливости, чем она всегда способствовала весьма значительной экономии и уличению недобросовестных слуг. Но главная ее заслуга, конечно же, связана с Созертоном. Ее величайшая опора и слава заключались в том, что она сумела упрочить знакомство с Рашуотами. Тут она была неуязвима. Это полностью ее заслуга, что восхищенье мистера Рашуота Марией было доведено до хотя каких-то практических шагов.

– Ежели б я сидела сложа руки и не поставила себе целью быть представленной его матери, а потом не убедила бы сестру первой нанести ей визит, вот не сойти мне с места,



ничего б из этого не получилось, потому как мистер Рашуот из тех милых, скромных молодых людей, коих надобно основательно подбадривать, и, ежели б мы ничего не предпринимали, тут довольно девиц, которые на него охотились. Но я сделала все возможное и невозможное. Я готова была перевернуть небо и землю, чтоб уговорить сестру, и наконец уговорила. Расстоянье до Созертонна вам известно; было это посреди зимы, и дороги почти что непроезжие, но все же я ее уговорила.

– Я знаю, сколь велико, сколь по справедливости велико ваше влияние на леди Бертрам и ее детей, и тем более огорчен, что оно не было употреблено на...

– Любезнейший сэр Томас, видели бы вы, каковы в тот день были дороги! Я уж думала, нам нипочем по ним не проехать, хотя запряжены были, разумеется, четыре лошади; и из-за великой своей любви и доброты нас повез бедняга старый кучер, хотя едва мог усидеть на козлах по причине ревматизма, который я врачевала с самого Михайлова дня. В конце концов я его вылечила, но всю зиму он был очень плох, а день был такой, что прежде, чем выехать, я не могла не подняться к нему в комнату, чтоб посоветовать ему не рисковать, – прихожу, а он надевает парик, ну, я ему и говорю: «Кучер, лучше вам не ездить, ваша госпожа и я будем в полной безопасности, вы ведь знаете, какой надежный малый Стивен, и Чарлз теперь уж так часто управляет передними, что, конечно же, можно ничего не бояться». Однако ж вскорости мне стало ясно, что ничего из этого не выйдет: он порешил ехать, а так как я терпеть не могу надоедать да настырничать, я более ничего не сказала; но при каждом толчке у меня за него сердце кровью обливало, а когда мы выехали на ухабистые дороги вокруг Стока, а там на камнях снег да иней, это уж было хуже не придумаешь, и я из-за него вовсе исстрадалась. А еще бедняжки лошади! Видеть, как они тянут из последних сил! Вы ведь знаете, я всегда душой болею за лошадей. И вот подъезжаем мы к подножью Сэндкрофтского холма, и как вы думаете, что я сделала? Вы станете надо мною смеяться, но я вышла из кареты и пошла пешком. Право слово. Наверно, это не больно им помогло, а все же не могла я сидеть в свое удовольствие, а чтоб благородные животные надрывались. Я ужасно простыла, но это меня не заботило. Цель моя была достигнута – визит состоялся.

– Надеюсь, мы всегда будем почитать это знакомство достойным тех трудов, коих оно потребовало. Изысканностью манер мистер Рашуот не отличается, но вчера вечером я был доволен его мнением об одном предмете – решительным предпочтением, которое он отдает спокойному семейному времяпрепровождению перед шумом и суетою актерства. Похоже, его чувства именно таковы, как только и можно желать.

– Воистину так, и чем ближе вы его узнаете, тем он более будет вам нравиться. Он ничем особенно не блещет, но у него тысячи прекрасных свойств! И он так склонен смотреть на вас снизу вверх, что меня из-за этого совсем засмеяли, поскольку все полагают это делом моих рук. «Право слово, миссис Норрис, – говорит вчера миссис Грант, – будь мистер Рашуот вашим родным сыном, он бы и тогда не мог питать к сэру Томасу большее уважение».

Сбитый с толку ее увертками, обезоруженный лестью, сэр Томас отказался от своего намерения и вынужден был остаться при убеждении, что, когда на карту поставлено нынешнее удовольствие тех, кого она любит, ее рассудительность иной раз отступает пред ее добротой.

В то утро у него было множество дел. Беседы с Эдмундом и с миссис Норрис заняли лишь малую его часть. Надобно было вновь окунуться во все привычные заботы своей мэнсфилдской жизни, встретиться с управляющим и дворецким – выслушать их доклады и проверить счета, а в промежутках между делами наведаться в конюшни, и в парк, и на ближние поля; но, деятельный и методический, он не только управился со всем этим еще до того, как вновь занял свое место главы дома за обедом, а еще и распорядился, чтоб плотник

разобрал то, что так недавно возводил в бильярдной, и отпустил декоратора, да столь надолго, чтоб оправдать приятную уверенность, что тот окажется уж никак не ближе Нортгемптона. Декоратор отбыл, успев испортить только пол в одной комнате, погубить все конюховы губки и превратить пятерых младших слуг в недовольных бездельников; и сэр Томас питал надежду, что еще одного-двух дней будет довольно, чтобы стереть все внешние следы того, что тут натворили, вплоть до уничтожения всех переплетенных экземпляров «Обетов любви», ибо каждый попадавшийся ему на глаза он сжигал.

Мистер Йейтс уже начал понимать намерения сэра Томаса, хотя по-прежнему был далек от понимания их причины. И он и его друг, взявши ружья, почти на все утро ушли из дому, и Том воспользовался случаем объяснить ему, с подобающими извинениями за странности отца, чего теперь надо ожидать. Йейтс, разумеется, был глубоко уязвлен. Второй раз разочароваться на один и тот же манер – это уж чересчур жестокое невезенье; и он вознегодовал, что, не будь это неучтиво по отношению к другу и к его младшей сестре, он бы уж наверно раскритиковал баронета за его нелепые действия и постарался бы его несколько урезонить. Он был твердо в том уверен, пока они ходили по Мэнсфилдскому лесу и всю дорогу домой; но когда все они сидели за одним столом, что-то он такое увидел в сэре Томасе, из-за чего счел более разумным предоставить ему действовать по-своему и, почитая его действия глупостью, не перечить. Он и прежде знал неговорчивых отцов и часто сталкивался с неудобствами, которые они причиняют, но ни разу на своем веку не встречал подобного человека, столь непостижимо нравственного, столь постыдно деспотического, как сэр Томас. Его можно терпеть единственно ради его детей, и пусть благодарит свою красавицу дочь Джулию за то, что мистер Йейтс все-таки намерен остаться под его крышей еще несколько дней.

Вечер прошел по видимости спокойно, хотя почти у каждого на душе кошки скребли; дочери по просьбе сэра Томаса музицировали, и музыка помогла скрыть недостаток истинной гармонии. Мария была в большом волнении. Она полагала совершенно очевидным, что теперь Крофорд должен, не теряя времени, объявить о своих намерениях, и ее тревожило, если даже один день проходил, никак не приближая ее к цели. Все утро она его ждала и весь вечер еще не теряла надежды его дождаться. Рашуот уехал рано, спеша принести в Созертон важное известие о возвращении сэра Томаса; и Мария горячо надеялась, что вот-вот все прояснится и он будет навсегда избавлен от труда приезжать сюда снова. Но из пастората никого не было видно, ни единой души, и никаких вестей не поступало, за исключением любезной записочки от миссис Грант к леди Бертрам, которой она поздравила ее с приездом сэра Томаса и осведомлялась о его здоровье. Впервые за много, много недель эти две семьи весь день были полностью разделены. С самого начала августа не проходило дня, чтоб они так или иначе не встретились. Грустный это был день и тревожный; и завтрашний день, хотя и по-иному, был тоже несчастливый. Вслед за несколькими минутами лихорадочной радости наступили долгие часы жгучего страдания. Генри Крофорд снова был в доме; он пришел вместе с доктором Грантом, который жаждал засвидетельствовать свое почтение сэру Томасу, и в довольно ранний час их ввели в малую гостиную, где находилась большая часть семьи. Вскоро появился сэр Томас, и Мария с восторгом и волнением смотрела, как представляют ее отцу человека, которого она любит. Чувства ее трудно описать, и столь же трудно описать, каковы были они несколько минут спустя, когда Генри Крофорд, который сидел между нею и Томом, вполголоса спросил последнего, собираются ли они вернуться к спектаклю после теперешнего счастливого перерыва (тут он учтиво поглядел в сторону сэра Томаса), потому что в этом случае он сочтет своим долгом воротиться в Мэнсфилд в любое время, когда потребуется обществу; он уезжает немедленно, поскольку должен безотлагательно

встретиться в Бате со своим дядюшкой, но, если есть какая-то надежда на возобновление «Обетов любви», он будет полагать себя решительно связанным, отбросит все прочие обязательства и твердо договорится с дядюшкой, что он явится сюда, как только в том возникнет надобность. Из-за его отсутствия спектакль не должен погибнуть.

– Из любого места Англии, где бы я ни был – из Бата, Норфолка, Лондона, Йорка, – я тут же являюсь по первому зову.

Хорошо, что в эту минуту должен был отвечать Том, а не его сестра. Ему ничего не стоило тотчас сказать:

– Мне жаль, что вы уезжаете... но что до пьесы, с нею покончено, совершенно и безвозвратно. – И он многозначительно посмотрел на отца. – Вчера был отослан декоратор, и завтра от театра мало что останется. Я с самого начала знал, как это будет... Для Бата еще рано. Там вы никого не застанете.

– Это примерно дядюшкино обычное время.

– Когда вы думаете ехать?

– Вероятно, сегодня буду уже не ближе Бенбери.

– Чьими конюшнями вы пользуетесь в Бате? – был следующий вопрос, и, пока они об этом беседовали, Мария, у которой не было недостатка ни в гордости, ни в решительности, готовилась с завидным спокойствием вынести свою долю беседы с Генри Крофордом.

К ней он вскорости и оборотился и повторил многое из того, что уже сказал, лишь несколько мягче и при том яснее выражая свое сожаление. Но что толку от его выражения и тона? Он уезжает, и, если уезжает и не по собственной воле, он по собственной воле намерен оставаться вдали: ибо, исключая то, что можно счесть его долгом пред дядюшкой, все остальные обязательства зависят единственно от его желания. Он может сколько угодно говорить о необходимости, но ей известна его независимость... Рука, которая так прижимала ее руку к своему сердцу! Теперь и рука и сердце равно пребывают в покое! Внутренняя сила поддерживала Марию, но душа была жестоко уязвлена... Ей недолго пришлось терпеть то, что поднималось в ней, когда она слушала его слова, которые противоречили его поступкам, или скрывать смятение чувств за необходимой сдержанностью, ведь обыкновенная воспитанность требовала, чтоб он немного спустя перенес свое внимание на других, и прощальный визит, каким было затем провозглашено это посещение, оказался весьма недолог. Он отбыл... в последний раз коснулся ее руки, отвесил последний общий поклон, теперь сразу же можно будет вкусить все, что способно дать уединение. Генри Крофорд отбыл, отбыл из их дому и в ближайшие два часа – из пастората; итак, конец всем надеждам, которые его себялюбивая суетность внушила Марии и Джулии Бертрам.

Джулия могла радоваться, что он отбыл. Его присутствие уже становилось ей ненавистно; и раз Марии он не достался, никакой иной мести ей уже не надобно. Она не желала, чтоб к его бегству прибавилось еще и разоблачение. Генри Крофорд отбыл, теперь сестру можно даже пожалеть.

Фанни возрадовалась от происшедшего куда более чистой радостью. Она услышала новость за обедом и благословила ее. Все прочие поминали об этом с сожалением, отдавая дань достоинствам Крофорда каждый в меру своих чувств – от слишком пристрастного, искреннего уважения Эдмунда до безразличия его матери, равнодушно произносящей заученные слова. Тетушка Норрис наконец задумалась и подивилась, что его влюбленность в Джулию кончилась ничем; и готова была испугаться собственной нерадивости, из-за коей недостаточно способствовала счастливой развязке; но когда столько забот, где ж тут успеешь исполнить все задуманное, даже и при ее расторопности?

Еще через день-другой отбыл и мистер Йейтс. Вот в чьем отъезде был крайне

заинтересован сэр Томас; когда жаждешь остаться наедине со своим семейством, тяготишься присутствием постороннего и получишь мистера Йейтса; а он – незначительный и самоуверенный, праздный и расточительный – обременял до крайности. Сам по себе утомительный, он в качестве друга Тома и поклонника Джулии оказался непереносим. Сэру Томасу было вовсе безразлично, уедет или останется мистер Крофорд, но, сопровождая мистера Йейтса до дверей, он желал ему всяческого благополучия и доброго пути с искренним удовлетворением. Мистер Йейтс видел собственными глазами, как пришел конец всем театральным приготовлениям в Мэнсфилде, как было убрано все, что имело касательство к спектаклю; он покинул усадьбу, когда она вновь обрела всю свойственную ей умеренность; и, выпроваживая его, сэр Томас надеялся, что расстанется с наихудшей принадлежностью этой затеи, и притом с последней, которая неизбежно напоминала бы о ее недавнем существовании.

Тетушка Норрис ухитрилась убрать с его глаз один предмет, который мог бы его огорчить. Занавес, шитьем которого она заправляла с таким талантом и успехом, отправился с нею в ее коттедж, где, надо ж так случиться, у ней как раз была надобность в зеленом сукне.

Возвращение сэра Томаса произвело разительную перемену в образе жизни обитателей усадьбы, независимо от «Обетов любви». Когда он взял бразды правления в свои руки, Мэнсфилд преобразился. От некоторых членов общества избавились, и многие другие погрузнели, и по сравнению с недавним прошлым дни потянулись однообразные и пасмурные; унылые семейные сборища редко оживлялись. С обитателями пастората почти не виделись. Сэр Томас, и всегда избегавший тесной дружбы, в нынешнюю пору был особенно не склонен к каким-либо встречам, за единственным исключением. Одних только Рашуотов считал он возможным вводить в семейный круг.

Эдмунд не удивлялся, что таковы были чувства отца, и не сожалел ни о чем – только общества Грантов ему не доставало.

– Ведь они вправе рассчитывать на наше внимание, – говорил он Фанни. – По-моему, они срослись с нами... по-моему, они неотъемлемая часть нашей жизни. Мне хотелось бы, чтоб отец лучше понимал, как внимательны они были к нашей матери и сестрам, пока он отсутствовал. Боюсь, как бы они не подумали, что ими пренебрегают. Но все дело в том, что отец почти их не знает. Когда он уехал из Англии, они еще и года здесь не прожили. Знай он их лучше, он бы по заслугам дорожил их обществом, ведь они именно такие люди, какие ему по душе. В нашем замкнутом семейном кругу иной раз недостает веселого оживленья; сестры не в духе, и Тому явно не по себе. Доктор и миссис Грант внесли бы оживление, и наши вечера проходили бы куда отраднее даже для отца.

– Ты так думаешь? – сказала Фанни, – По-моему, дядюшке не понравилось бы никакое пополнение нашего общества. Я думаю, как раз тишиной, о которой ты говоришь, он и дорожит, ему только и требуется, что спокойствие семейного круга. И мне совсем не кажется, будто мы сейчас серьезней, чем прежде; я хочу сказать, до того, как дядюшка уехал в чужие края. Сколько я помню, всегда примерно так и было. При нем никогда особенно много не смеялись; а если какая-то разница и есть, то не больше, чем ей положено быть вначале после столь долгого отсутствия. Не может не проявиться хоть некоторая робость. Но я не припоминаю, чтоб вечерами мы уж очень веселились, разве только когда дядюшка уезжал в город. Наверно, молодежь и вообще не веселится на глазах у тех, на кого смотрит снизу вверх.

– Вероятно, ты права, Фанни, – после недолгого раздумья отвечал Эдмунд. – Вероятно, наши вечера не преобразились, а скорее стали опять такими, как были всегда. Новшеством была как раз их оживленность... Однако ж какое сильное впечатление они произвели, эти немногие недели! У меня такое чувство, будто так, как сейчас, мы не жили никогда.

– Во мне, верно, нет той живости, что в других, – сказала Фанни. – И вечера не кажутся мне слишком длинными. Я люблю дядюшкины рассказы об островах Вест-Индии. Я могла бы слушать его часами. Меня это развлекает более многого иного, но, боюсь, я просто непохожа на других.

– Почему именно этого ты боишься? – спросил он с улыбкою. – Ты хочешь услышать, что непохожа на других оттого, что благоразумней и скромнее? Но, Фанни, разве я хоть раз хвалил в глаза тебя или кого-нибудь другого? Если хочешь, чтоб тебя похвалили, поди к папеньке. Он тебя порадует. Спроси своего дядюшку, что он о тебе думает, и услышишь достаточно похвал; и, хотя они, вероятно, будут относиться главным образом к твоей внешности, придется тебе сэтим примириться и поверить, что со временем он оценит и красоту твоей души.

Подобные речи так были ей внове, что совершенно ее смутили.

– Твой дядя почитает тебя очень хорошенькой, милая Фанни, вот в чем все дело. Любой другой на моем месте много чего бы тут наговорил, а на твоём месте любая другая обиделась бы, что прежде ее не почитали очень хорошенькой; но правда вот она: до последнего времени твой дядюшка никогда тобою не любовался, а теперь любит. У тебя стал такой прелестный цвет лица!.. И ты так похорошела... и весь твой облик... Нет, Фанни, не возмущайся... это всего лишь твой дядюшка. Если ты не способна вынести восхищение дядюшки, что с тобою будет? Право же, тебе следует приучить себя к мысли, что на тебя можно заглядеться. Постарайся не сокрушаться, что из тебя выйдет хорошенькая женщина.

– Ох, Эдмунд! Не говори так, не говори! – воскликнула Фанни, которую терзали чувства, о каких Эдмунд не подозревал; но, видя, что она огорчена, он не стал продолжать этот разговор и только прибавил серьезнее:

– Твой дядя склонен быть довольным тобою во всех отношениях, и мне хотелось бы только, чтоб ты больше с ним разговаривала. Ты одна из тех, кто слишком молчалив вечерами в нашем семейном кружке.

– Но я и так разговариваю с ним больше прежнего. Да, я в этом уверена. Ты разве не слышал вчера вечером, как я его спросила про торговлю рабами?

– Слышал... и надеялся, что за этим вопросом последуют другие. Твой дядя был бы рад, чтоб его расспрашивали и далее.

– И мне очень хотелось его расспросить... но стояла такая мертвая тишина! А ведь кузины были тут же и не произнесли ни слова, и, похоже, им это было совсем неинтересно, и мне стало неприятно... я подумала, может показаться, будто я хочу перещеголять их, выказывая интерес к его рассказу и удовольствие, какие он бы, наверно, хотел найти в своих дочерях.

– Мисс Крофорд была совершенно права на днях, когда сказала, что ты почти так же боишься оказаться на виду и услышать похвалу, как другие женщины боятся невнимания. Мы говорили о тебе в пасторате, и так она сказала. Она на редкость проницательна. Я не знаю никого, кто бы так хорошо разбирался в людях. В столь молодые годы это поразительно!. Она, без сомнения, понимает тебя лучше, чем почти все, кто знает тебя давным-давно; а что до некоторых других, я могу представить, по иным ее живым намекам, по нечаянно сорвавшимся с языка словам, что если бы не свойственный ей такт, она могла бы с такою же точностью отозваться о многих. Хотел бы я знать, что она думает о папеньке? Он должен восхищать ее как видный мужчина с достоинством и манерами истинного джентльмена; но оттого, что она знакома с ним так мало, его сдержанность должна ее отталкивать. Если бы они могли долее побыть в обществе друг друга, они, без сомнения, прониклись бы взаимною симпатией. Ему бы доставила удовольствие ее живость, а у ней вдоволь прозорливости, чтобы оценить его одаренность. Хорошо бы им встречаться почаще! Надеюсь, ей не кажется, будто он испытывает к ней неприязнь.

– Она уж конечно так уверена в расположении всех остальных в вашем семействе, что вряд ли у ней возникнут такие опасения, – с легким вздохом сказала Фанни. – И желание сэра Томаса быть самое первое время наедине со своей семьей так естественно, что ничего не говорит об его отношении к мисс Крофорд. Я думаю, немного погодя мы опять будем встречаться, как и прежде, ну, разумеется, насколько позволяет время года.

– Это первый октябрь со времени ее младенчества, который она проводит в деревне. Танбридж и Челтнем деревней не назовешь; а ноябрь еще угрюмей, и я вижу, что миссис Грант весьма встревожена, как бы с приближением зимы Мэнсфилд не показался сестре слишком унылым.

Фанни многое могла бы сказать, но куда безопасней не говорить ничего и не касаться времяпрепровождения мисс Крофорд, ее достоинств, ее настроения, ее ощущения собственной значительности, ее друзей, не то можно случайно обронить замечание, которое покажется невеликодушным. Доброе мнение о ней мисс Крофорд заслуживает по меньшей мере благодарной снисходительности, и Фанни перевела разговор.

– Завтра, по-моему, дядюшка обедает в Созертоне, и ты и мистер Бертрам тоже. Дома окажется совсем небольшое общество. Надеюсь, дядюшка будет по-прежнему благоволить к мистеру Рашуоту.

– Это невозможно, Фанни. После завтрашнего визита он станет относиться к нему хуже, ведь мы проведем в его обществе добрых пять часов. Я был бы в ужасе от того, какой скучнейший день нам предстоит, если б не куда большая беда, которая за ним последует, – впечатление, которое он произведет на сэра Томаса. Не сможет он долее себя обманывать. Мне жаль их всех, и я был бы рад, если б мистер Рашуот и Мария никогда не повстречались.

Что касается мистера Рашуота, сэра Томаса, безусловно, ждало разочарование. Как ни расположен он был к мистеру Рашуоту, как ни почтительно относился к нему мистер Рашуот, это не помешало ему вскорости разглядеть хотя бы часть правды – что тот весьма ничтожный молодой человек, не сведущий ни в делах, ни в книгах, не имеющий, как правило, собственного мнения и, похоже, сам того не сознающий.

Совсем иного зятя ожидал он; и, огорчаясь за Марию, он пытался представить, что же чувствует она сама. Ему не пришлось долго наблюдать, чтоб заметить, что в лучшем случае она к мистеру Рашуоту равнодушна. Она обращалась с ним небрежно и холодно. Не мог он ей нравиться, и не нравился. Сэр Томас решил поговорить с ней серьезно. Каким бы выгодным ни был этот союз, как долго и гласно ни были бы они обручены, невозможно ради этого жертвовать ее счастьем. Она дала свое согласие после слишком недолгого знакомства, а узнав Рашуота лучше, раскаивается.

Благожелательно и серьезно заговорил с дочерью сэр Томас: высказал ей свои опасения, спросил, чего она желает, убеждал быть с ним откровенной и искренней и заверил ее, что он бесстрашно встретит все затруднения, и ежели она несчастлива из-за предстоящих уз, надобно от них немедля отказаться. Он все возьмет на себя и освободит ее. Слушая его, Мария на миг заколебалась, но только на миг; едва отец умолк, она тотчас же ему ответила, ответила решительно и не выказывая волнения. Она поблагодарила его за великую заботу, за отеческую доброту, но он явно ошибается, полагая, что у ней есть хотя бы малейшее желание расстроить помолвку или что у ней изменилось суждение или намерение. Она самого высокого мнения о мистере Рашуоте и его нраве и нисколько не сомневается, что будет с ним счастлива.

Сэр Томас был удовлетворен; пожалуй, даже чересчур обрадовался тому, что услышал от дочери, и оттого не стал углубляться далее, что при своем здравомыслии, должно быть, посоветовал бы всякому другому. Это был союз, отказ от которого сильно бы его огорчил, и он рассудил таким образом: Рашуот еще достаточно молод и может измениться к лучшему; в хорошем окружении он должен измениться к лучшему и изменится; и ежели Мария могла сейчас сказать с такой уверенностью, что будет с ним счастлива, причем говорила не пристрастно, не в ослеплении любви, ей следует верить. Она, вероятно, не очень пылкая по натуре, он и всегда так полагал, но от этого ей вовсе не должно быть хуже, и, ежели она не стремится видеть в муже человека выдающегося и блистательного, все прочее будет в ее пользу. Благожелательная девушка, которая выходит замуж не по любви, обыкновенно тем сильнее привязана к родительскому дому, и близость Созертон к Мэнсфилду послужит великим соблазном и, по всей вероятности, станет постоянным источником наиприятнейших

и невинных удовольствий. Вот так и в таком роде рассуждал сэр Томас – счастливый тем, что избавлен от всех пагубных неловкостей разрыва – от неизбежных в подобном случае удивления, осуждения, позора, счастливый тем, что состоится брак, который прибавит ему чести и влияния; и особенно счастливый тем, что обнаружил в дочери свойства наиболее благоприятные для сей цели.

Мария была удовлетворена беседою не менее сэра Томаса. В ее теперешнем настроении она радовалась, что заново связала себя с Созертоном и может не опасаться дать Крофорду повод торжествовать, позволив ему определять ее настроение и погубить ее виды на будущее; и удалилась в гордой решимости, с твердым намерением впредь вести себя по отношению к Рашуоту осмотрительней.

Обратись сэр Томас к дочери в первые три-четыре дня после того, как Генри Крофорд уехал из Мэнсфилда, пока чувства ее не успели хоть сколько-нибудь успокоиться и она еще не вовсе отказалась от своих надежд на него и не порешила терпеть его соперника, ее ответ отцу мог бы быть иным; но когда прошло еще три-четыре дня и Крофорд не воротился, не прислал письма, не передал приветов, – ничем не показал, что сердце его смягчилось, не оставил надежды, что расставанье послужило к ее выгоде, – она образумилась настолько, что стала искать утешения, какое только способна дать гордость и возможность вознаградить себя за поражение.

Генри Крофорд погубил ее счастье, но не узнать ему о том; не погубить ее доброе имя, ее внешность и ее успех тоже. Не придется ему воображать, будто из-за него она обрекла себя на затворничество в Мэнсфилде, отказалась от Созертона и Лондона, от независимости и роскоши. Независимость была ей сейчас надобна, как никогда; в Мэнсфилде ее особенно не доставало. Все менее и менее склонна она была терпеть ограничения, которые предписывал отец. Свобода, которую она вкусила во время его отъезда, была сейчас совершенно необходима. Ей не терпелось вырваться из отцовских и мэнсфилдских пут и найти утешенье для раненой души в богатстве и высоком положении, в суете, в свете. Она была исполнена решимости и не знала сомнений.

При таких чувствах медлить было бы мучительно, даже медлить из-за необходимых приготовлений, и сам Рашуот едва ли ждал свадьбы с таким нетерпением, как Мария. В душе ее все важнейшие приготовления уже завершились; к супружеству ее понуждала ненависть к дому, ограничения, однообразие; и еще мука от разочарования в любви и презрение к человеку, который должен был стать ее мужем. Все остальное может обождать. Обзаведение новыми каретами и мебелью может обождать до Лондона, до весны, когда она даст волю своему вкусу.

Поскольку все заинтересованные лица выразили свое согласие, вскорости стало ясно, что для всех хлопот, какие должны предшествовать свадьбе, довольно нескольких недель.

Миссис Рашуот была совершенно готова удалиться на покой и уступить бразды правления молодой женщине, коей посчастливилось стать избранницею ее дорогого сына; и в самом начале ноября она снялась с места и со своей горничной, ливрейным лакеем, фаэтоном и законным вдовьим имуществом отправилась в Бат, дабы по вечерам похвалиться созертонскими чудесами пред своими гостями и в воодушевлении карточной игры радоваться им куда более, нежели когда-либо у себя дома; и еще до середины того же месяца состоялось торжество, которое подарило Созертону новую хозяйку.

Свадьба была весьма достойная. Невеста предстала в элегантном туалете, подружки невесты, как тому и быть должно, ей уступали, сэр Томас был посаженным отцом, мать, готовясь взволноваться, держала в руках флакончик с нюхательной солью, тетюшка Норрис тщила заплакать, а доктор Грант с чувством совершил обряд венчания. Толкуя о брачной



церемонии, соседи всё одобрили, кроме одного, что экипаж, который доставил новобрачных и Джулию от дверей церкви в Созертон, оказался тою же каретою, в какой мистер Рашуот ездил еще за год до того. Во всем прочем этикет сего дня мог выдержать самую суровую критику.

Все свершилось, и они уехали. Сэр Томас беспокоился, как и положено заботливому отцу, и охвачен был чуть ли не таким же сильным волнением, какого опасалась для себя, но, по счастью, не испытала, его жена. Тетушка Норрис, вполне готовая разделить с домочадцами Бертрамов заботы сего дня, провела его в усадьбе, поддерживая настроение сестры и выпивая за здоровье мистера и миссис Рашуот лишний стаканчик-другой, и была рада и счастлива, ведь именно благодаря ей состоялась эта свадьба, все это дело ее рук, и, глядя, как она торжествует, никто бы не подумал, что ей доводилось слышать, будто на свете существуют несчастливые браки или что она имеет хотя бы малейшее представление о том, как настроена ее племянница, выросшая и воспитанная у ней на глазах.

Молодая чета намеревалась в ближайшие дни проследовать в Брайтон и на несколько недель снять там дом. Всякий курорт был Марии внове, а в Брайтоне зимою почти так же оживленно, как летом. Когда здешние развлечения им прискучат, будет самое время отправиться за новыми развлечениями в Лондон.

Джулия ехала с ними в Брайтон. С тех пор как соперничество меж сестрами кончилось, они постепенно обретали прежнее взаимопониманье; и, во всяком случае, уже настолько опять сблизились, что обе чрезвычайно довольны были оказаться в такое время вместе. Отнюдь не общество Рашуота было всего заманчивей для его супруги, и Джулия жаждала новизны и удовольствий ничуть не менее Марии, хотя достались они ей куда легче, и зависимое положение она переносила куда лучше.

Их отъезд произвел еще одну заметную перемену в Мэнсфилде – образовалась некая пустота, которую далеко не сразу можно было заполнить. Семейный кружок значительно сузился, и хотя от обеих мисс Бертрам в последнее время особого веселья не было, по ним, конечно же, скучали. Даже их мать скучала, и несравненно более их мягкосердечная кузина, которая бродила по дому и думала о них и сочувствовала им с такою нежной жалостью, какую они мало чем заслужили.

С отъездом кузин Фанни стала больше значить в семье Бертрамов. Она оказалась единственной молодой девушкой в гостиной, единственной из той всегда интересной части любого семейства, в которой до сего времени занимала всего лишь скромное третье место и теперь ее больше, чем когда-либо, замечали, больше думали о ней, больше заботились; и чаще слышалось «А где Фанни?», даже когда никому не требовались ее услуги.

Ее теперь больше ценили не только в усадьбе, но и в пасторате. В доме, где после смерти мистера Норриса она бывала разве что дважды в год, она стала званой дорогой гостьей, самой желанной для Мэри Крофорд в хмурые, непогожие дни ноября. Вначале она оказалась там случайно, а после стала приходить по настойчивой просьбе миссис Грант, которая, искренне желая хоть немного разнообразить жизнь сестры, с помощью простейшего самообмана убедила себя, что уговаривает Фанни почаще их навещать для ее же, Фанниного, блага, предоставляет ей счастливую возможность для всяческого совершенствования.

Однажды тетушка Норрис послала Фанни с каким-то поручением в деревню, и неподалеку от пастората ее застиг ливень, а когда она пыталась укрыться среди ветвей и листьев дуба, растущего у самого двора, ее заметили из окна и, хотя она застенчиво сопротивлялась, настояли, чтоб она вошла. Почтительному слуге она противилась, но когда, раскрыв зонт, вышел сам доктор Грант, ей ничего не оставалось как, отчаянно устыдившись, поскорее войти в дом; а бедняжка мисс Крофорд, которая только что жаловалась на гнетущий дождь и в полном унынии вздыхала по своим несбывшимся мечтам об утренней прогулке и хоть малой надежде увидеть в ближайшие двадцать четыре часа кого-нибудь, кроме собственных домочадцев, услышав суету у парадной двери и увидев в прихожей изрядно промокшую мисс Прайс, просто возликовала. И как же ей было не оценить такое событие в дождливый день в деревне. Она мигом вновь воспрянула духом, едва ли не всех расторопней помогала Фанни привести себя в порядок, первой обнаружила, что та вымокла сильнее, чем поначалу позволила заметить, и снабдила ее сухим платьем; а Фанни, после того, как была вынуждена подчиниться всем этим заботам и принять помощь и любезность хозяек и горничных, была вынуждена также вернуться вниз, где на тот час, пока не кончился дождь, ее усадили в гостиную, и тем самым продлилось блаженство мисс Крофорд оттого, что она увидела не приевшееся лицо и получила повод для свежих мыслей, и потому ее хорошее настроение сохранилось на время переодевания к обеду и на самый обед.

Обе сестры были так добры к Фанни и так милы, что она радовалась бы своему пребыванию у них, если б могла поверить, что никак им не мешает, и могла надеяться, что через час дождь и вправду перестанет и ей не придется, к немалому своему смущению, возвращаться домой в экипаже доктора Гранта, о чем ей уже было сказано. Что же до тревоги, которую могло вызвать дома ее отсутствие в такую погоду, об этом она несколько не беспокоилась, ведь о том, что она ушла, знали только ее тетушки и, как она прекрасно понимала, ничуть не тревожились, и в каком бы коттедже, по мнению тетушки Норрис, она ни пережидала дождь, у тетушки Бертрам это не вызовет ни малейших опасений.

За окнами несколько прояснилось, когда, заметив в комнате арфу, Фанни стала о ней расспрашивать, а затем высказала горячее желание послушать ее и призналась, хотя этому трудно было поверить, что с тех самых пор, как арфу доставили в Мэнсфилд, ни разу ее не слушала. Самой Фанни казалось, что это вполне естественно и просто. С тех пор, как привезли инструмент, она едва ли хоть раз побывала в пасторате, не было для того никаких поводов; но мисс Крофорд, вспомнив Фаннино давно высказанное желание на сей предмет,

огорчилась своей небрежностью; и охотно, с готовностью стала ее немедленно спрашивать: «Сыграть вам прямо сейчас?», «Что вы хотите послушать?»

И сразу же заиграла, радуясь новой слушательнице, слушательнице столь благодарной, да еще, по всей видимости, не обиженной вкусом. Она до тех пор играла, пока по глазам Фанни, устремленным за окно, где как будто уже распогодилось, поняла, как следует поступить.

– Еще четверть часа, и тогда будет видно, не польет ли опять, – сказала мисс Крофорд. – Не убегайте при первом же просвете. Вон те тучи внушают опасения.

– Но они прошли, – отвечала Фанни. – Я за ними наблюдала. Это все идет с юга.

– С юга ли, с севера, туча есть туча, и, пока она нависает, вам лучше обождать. И к тому же я хочу сыграть вам еще кое-что, очень милую вещицу, ваш кузен Эдмунд ее любит больше всего. Непременно останьтесь и послушайте любимую пьесу вашего кузена.

Фанни чувствовала, что и вправду надо послушать; и хотя ей не надобно было ждать таких слов, чтоб подумать об Эдмунде, но это напоминанье помогло особенно ясно представить его мысли и чувства, и ей вообразилось, как он снова и снова сидит в этой комнате, быть может, на том самом месте, где сидит сейчас она, с неустанным восхищением слушает любимую мелодию, исполняемую, как ей казалось, изысканно и выразительно; и хотя сама она слушала эту музыку с удовольствием, и рада была, что ей понравилось то, что нравится ему, когда музыка смолкла, ей захотелось уйти еще нетерпеливей, чем прежде; и поскольку это было очевидно, ее весьма любезно попросили побывать у них еще, заходить за ними всякий раз, как ей будет удобно, позволить им сопровождать ее на прогулке, заглядывать к ним, чтобы еще послушать арфу, и Фанни сочла это своим долгом, если только дома не станут возражать.

Так возникла эта своего рода дружба, завязавшаяся в первые две недели после отъезда сестер Бертрам, дружба, вызванная главным образом тоскою мисс Крофорд по чему-то новому и почти не задевшая чувств Фанни. Фанни заходила к ней каждые два-три дня; ее словно околдовали: если она не шла к мисс Крофорд, ей становилось не по себе, и однако, она не питала любви к этой молодой особе, думала по-иному, чем та, не чувствовала признательности за то, что ее общества искали именно теперь, когда никого другого не осталось; и не получала удовольствия от разговора мисс Крофорд, разве что изредка он ее развлекал, да и то зачастую вопреки ее рассудку, ибо это все были шутки, задевающие людей, или темы, к которым, по ее мнению, следовало относиться с уважением. Однако она приходила, и в непривычно погожие для этого времени года дни они полчаса за полчаса прохаживались по аллеям, которые миссис Грант обсадила кустарником; иной раз даже осмеливались посидеть на какой-нибудь лавочке под наполовину облетевшими ветвями и оставались там, бывало, до тех пор, пока вдруг налетевший холодный ветер, срывая последние желтые листья, не заглушал тихие восторги Фанни по поводу услад столь неторопливо отступающей осени, и тогда они вскакивали и опять принимались ходить, чтоб согреться.

– Какая прелесть... ну какая же прелесть, – говорила Фанни, оглядываясь по сторонам, когда однажды они вот так сидели вдвоем. – Всякий раз, когда я попадаю в эту аллею, меня поражает, как она выросла и как хороша. Три года назад это была всего лишь неприхотливая зеленая изгородь вдоль поля, и никто ее не замечал, никто не думал, что она когда-нибудь порадует глаз, а теперь ее обратили в аллею, и даже трудно сказать, чем она всего дороже – своею пользою или красотой; и, пожалуй, еще через три года мы забудем, почти забудем, что тут было прежде. Как поразительны, просто поразительны свершения времени и перемены в душе человеческой! – И, следуя за ходом своих мыслей, она немного спустя прибавила: – Если какую-то из наших способностей можно счесть поразительней остальных, я назвала бы

память. В ее могуществе, провалах, изменчивости есть, по-моему, что-то куда более откровенно непостижимое, чем в любом из прочих наших даров. Память иногда такая цепкая, услужливая, послушная, а иной раз такая путаная и слабая, а еще в другую пору такая деспотическая, нам неподвластная! Мы, конечно, во всех отношениях чудо, но, право же, наша способность вспоминать и забывать мне кажется уж вовсе непонятной.

Мисс Крофорд, которая слушала ее невнимательно и равнодушно, нечего было сказать, и, заметив это, Фанни вновь обратилась мыслями к тому, что, как ей казалось, могло ту заинтересовать.

– Может быть, мои похвалы неуместны, но я восхищена вкусом миссис Грант, который виден здесь во всем. В расположении аллеи такая приятная для глаз неприхотливость!.. никаких особых претензий!

– Да, – небрежно ответила мисс Крофорд, – для такого места это как раз то, что надо. Здесь не ждешь ничего грандиозного... и, между нами говоря, пока я не приехала в Мэнсфилд, я даже не представляла, что сельскому священнику может прийти в голову затеять такие посадки или что-нибудь в этом роде.

– Я рада, что так разрослись вечнозеленые кустарники! – сказала в ответ Фанни. – Садовник моего дядюшки всегда говорит, что тут земля лучше, чем у него, и это видно по тому, как растут лавры и вообще вечнозеленые. Вечнозеленые! Как прекрасна, как желанна, как удивительна вечная зелень! Если подумать, до чего поразительно разнообразие природы! Мы ведь знаем, что в некоторых странах множество деревьев, которые роняют листья, но все равно изумляешься, что на одной и той же почве, под одним и тем же солнцем появляются растения, которые разнятся друг от друга в том, что составляет основу и закон их существования. Вы подумаете, что я неумеренно восхищаюсь, но, когда я выхожу под открытое небо, особенно когда сижу под открытым небом, меня тянет к таким вот размышлениям. Стоит кинуть взгляд на самое заурядное творение природы, и сразу находишь пищу для игры воображения.

– По правде говоря, я вроде того знаменитого дожа при дворе Людовика XIV, – отвечала мисс Крофорд. – И знаете, на мой взгляд, самое поразительное в этой аллее, что я сама в ней очутилась. Скажи мне кто-нибудь год назад, что здесь будет мой дом, что мне доведется жить здесь месяц за месяцем, я нипочем бы не поверила! А я здесь уже чуть не пять месяцев! И притом самых спокойных пять месяцев за всю мою жизнь.

– Должно быть, для вас чересчур спокойных.

– Теоретически я бы и сама так думала, но, – и глаза у ней заблестели, – на поверку оказывается, что никогда еще не было у меня такого счастливого лета, – и продолжала задумчивей, понизив голос: – Но ведь, как знать, к чему это может привести.

У Фанни забилося сердце, у ней уже не было больше сил гадать и искать подтверждения своим догадкам. Мисс Крофорд, однако ж, вновь оживившись, вскоре продолжала:

– Оказывается, я куда лучше, чем могла себе представить, примирилась с деревенским существованием. Мне даже кажется, что при определенных обстоятельствах проводить в деревне половину года очень приятно. Со вкусом обставленный, не слишком большой дом – средоточие семейных связей, постоянные встречи в тесном кругу, к твоим услугам самое избранное общество, которое смотрит на тебя с почтительностью даже большей, чем на тех, кто состоятельней, а после разных веселых развлечений тебе предстоит не что-нибудь, а tete-a-tete с человеком, который тебе милей всех на свете. В этой картине нет ничего страшного, не правда ли, мисс Прайс? Когда у тебя такой дом, даже новоиспеченной миссис Рашуот можно не завидовать.

– Завидовать миссис Рашуот! – только и рискнула сказать Фанни.

– Полно, полно, с нашей стороны было бы не слишком красиво строго судить миссис Рашуот, я предвкушаю, что мы будем обязаны ей великим множеством веселых, блистательных, счастливых часов. Я думаю, в следующем году всем нам предстоит часто бывать в Созертоне. Такой брак, как у мисс Бертрам, – истинное благо для всего общества, ведь супруга мистера Рашуота будет почитать самым большим удовольствием обставить дом и задавать самые блестящие балы.

Фанни молчала, и мисс Крофорд снова задумалась, но через несколько минут вдруг подняла голову и воскликнула:

– А вот и он! – То был, однако ж, не Рашуот, но Эдмунд, который направлялся к ним вместе с миссис Грант. – Моя сестра и мистер Бертрам... Я так рада, что ваш старший кузен уехал и теперь его опять можно называть просто мистер Бертрам. Обращение «мистер Эдмунд Бертрам» звучит так чинно, так жалостливо, так подчеркнуто относится именно к младшему брату, что я терпеть его не могу.

– Как по-разному мы чувствуем! – воскликнула Фанни. – Для меня мистер Бертрам звучит холодно, бессмысленно, в нем совсем нет тепла и выразительности! Оно говорит единственно о том, что обращаешься к джентльмену, вот и все. А в имени Эдмунд есть благородство. Это имя героическое и прославленное – имя королей, принцев, рыцарей. От него будто исходит дух доблестного великодушия и нежной привязанности.

– Я признаю, что само по себе оно хорошо, и лорд Эдмунд или сэр Эдмунд звучит восхитительно; но погребите его под ледяным, все уничтожающим «мистер» – и «мистер Эдмунд» это не более, чем «мистер Джон» или «мистер Томас». Что ж, присоединимся к ним, и тогда придется выслушать вполтину меньше упреков за то, что мы сидим на воздухе в такую холодную пору.

Эдмунд встретил их с особым удовольствием. Он видел их вместе впервые с тех пор, как знакомство Фанни с мисс Крофорд стало более тесным, о чем он с радостью услышал несколько времени назад. Дружба между двумя дорогими его сердцу девушками была для него как нельзя более желанна. Но, к чести влюбленного, надобно сказать, что у него хватало разума понимать, что вовсе не только и не столько Фанни выигрывает от этой дружбы.

– Так вы не собираетесь бранить нас за нашу неосмотрительность? – спросила мисс Крофорд. – А как по-вашему, разве не для того мы здесь сидим, чтоб нам об этом было сказано, и чтоб нас попросили и умоляли никогда более этого не делать?

– Возможно, я вас и побранил бы, сиди вы поодиночке, но уж если вы поступаете дурно вместе, я на многое могу посмотреть сквозь пальцы, – отвечал Эдмунд.

– Они недолго сидят, – объявила миссис Грант, – потому что, когда я поднималась за шалью, я видела из лестничного окна, что они прогуливаются.

– Да к тому же день такой погожий, и потому вряд ли так уж неосмотрительно, что вы несколько минут посидели, – прибавил Эдмунд. – О нашей погоде не всегда стоит судить по календарю. В ноябре иной раз можно позволить себе кое-какие вольности скорее, чем в мае.

– Видит Бог, – воскликнула мисс Крофорд, – мне еще не доводилось иметь таких друзей, как вы оба, вы так бесчувственны и не оправдываете ожиданий! Вы ни на миг не встревожились. Вы понятия не имеете, как мы намучились, как озябли! Но я уж давно предполагала, что мистера Бертрама не проймешь всякими невинными ухищрениями против здравого смысла, перед которыми не устоять женщине. На него я с самого начала не очень и надеялась, но вы, миссис Грант, моя собственная сестра, мне кажется, вам положено было хоть немного за меня встревожиться.

– Не тешь себя понапрасну, любезнейшая моя Мэри. Нет у тебя ни малейшей надежды меня тронуть. Я и правда тревожусь, но совсем об ином; и ежели б я могла изменить погоду,

тебе все время пришлось бы терпеть резкий восточный ветер, потому как из-за теплых ночей некоторые мои растения Роберт оставляет на улице, а я знаю, чем это кончится: погода разом переменится, ударит мороз и застанет всех врасплох (по крайней мере Роберта), и все погибнет, а еще и того хуже – кухарка мне сейчас сказала, что индейку нельзя хранить дольше завтрашнего дня, а ведь я ни в коем случае не хотела ее готовить до воскресенья, потому что знаю, насколько больше доктор Грант обрадуется ей именно в воскресенье, после всех воскресных трудов. Вот они, можно сказать, огорчения, и оттого, на мой взгляд, погода не по сезону душная.

– Услады домашнего хозяйства в деревенской глуши! – насмешливо сказала мисс Крофорд. – Порекомендуйте меня вашему садовнику и торговцу домашней птицей.

– Дорогое мое дитя, порекомендуй мистера Гранта в настоятели Вестминстерского собора или собора святого Павла, и я еще как буду рада твоему садовнику и торговцу домашней птицей. Но у нас в Мэнсфилде такой публики не водится. Что прикажешь мне делать?

– О! Да ничего, кроме того, что вы уже делаете: ежечасно терзаться и никогда не терять самообладания.

– Благодарю, Мэри, но где ни живи, этих досадных мелочей не миновать. И когда ты поселишься в городе и я приеду тебя навестить, будут они, наверно, и у тебя, несмотря на садовника и торговца домашней птицей, а пожалуй что, как раз из-за них. Ты будешь горько сетовать на их отдаленность и необязательность, либо на непомерные цены и мошенничество.

– Я намерена стать достаточно богатой, чтоб не иметь поводов для подобных жалоб. Из всего, что мне доводилось слышать, самый верный залог счастья – большой доход. Уж он-то упасет от неприятностей из-за миртов и индеек.

– Вы хотите стать очень богатой? – сказал Эдмунд и, как показалось Фанни, бросил на мисс Крофорд взгляд исполненный значенья.

– Разумеется. А вы разве нет? А мы все разве не хотим?

– Я не могу хотеть ничего, что было бы в такой степени не в моей власти. Мисс Крофорд дано выбрать, сколь велико будет ее состояние. Ей стоит лишь определить для себя, сколько тысяч в год она желает, и они, без сомненья, будут к ее услугам. Мои намерения не идут далее того, чтоб не оказаться в бедности.

– Благодаря умеренности и экономии, и согласуя свои желания со своим доходом, и прочее такое. Я вас понимаю, и для человека в ваши лета, при таких ограниченных средствах и без влиятельных знакомств, это весьма подходящее намерение. Чего вы можете желать, кроме приличного содержания? Времени вам остается немного, а положение ваших родных не таково, чтоб они могли что-нибудь для вас сделать или унижить вас сравнением со своим богатством или местом, какое сами занимают в обществе. Будьте честны и бедны, сделайте милость, но я не стану вам завидовать. Я даже не уверена, что стану вас уважать. Я куда больше уважаю тех, кто честен и богат.

– Степень вашего уважения к тому, кто честен, богат ли он или беден, как раз несколько меня не занимает. Я не намерен быть бедняком. Я решительно против бедности. Единственное, что меня тревожит, чтоб вы не смотрели свысока на того, кто честен и занимает среднее положение между бедностью и богатством.

– Но если он мог бы занимать более высокое положение, а предпочел удовольствоваться более скромным, я, конечно же, буду смотреть на него свысока. Я не могу не смотреть свысока на все, что довольствуется безвестностью, когда могло бы возвыситься до степеней почетных.

– Но как возвыситься? Как, к примеру, моя честность может возвыситься до каких-то почетных степеней?

Отвечать на этот вопрос было не так-то просто, за протяжным «О-о» у прекрасной девы не сразу нашлось что прибавить:

– Вы должны были войти в парламент или еще десять лет назад пойти служить в армию.

– Об этом что сейчас толковать? Ну, а парламента, думаю, мне придется подождать до особого собрания представителей от младших сыновей, которым не на что жить. Нет, мисс Крофорд, – прибавил Эдмунд серьезнее, – есть отличия, которых я хотел бы достичь, и чувствовал бы себя несчастным, если б не имел на то никакой надежды, решительно никакой надежды или возможности, – но они совсем иного свойства.

Понимание, которое увидела Фанни в его взгляде, когда он говорил, и то, которое она ощутила в том, как, смеясь, отвечала ему мисс Крофорд, было горестной пищей для ее наблюдений; и почувствовав, что не в состоянии как должно внимать миссис Грант, с которой она шла сейчас следом за теми двоими, она уже почти решилась немедленно уйти домой и только ждала, когда наберется мужества объявить о том, но тут большие часы в Мэнсфилд-парке пробили три, и, услышав их, она поняла, что и вправду отсутствовала из дому куда долее обыкновенного, и потому недавние сомнения, надобно ли уйти прямо сейчас или нет и как лучше это сделать, быстро кончились. С полным сознанием своей правоты она тотчас же начала прощаться; а Эдмунд в это самое время припомнил, что леди Бертрам о ней справлялась и что пошел он в пасторат именно затем, чтоб привести ее домой.

Фанни и вовсе заторопилась и, нисколько не надеясь, что Эдмунд будет ее сопровождать, готова была поспешить к усадьбе одна; но все тоже ускорили шаг и вместе с нею вошли в дом, чрез который надо было пройти. В прихожей оказался доктор Грант, все остановились и заговорили с ним, и по тому, как держался Эдмунд, ей стало ясно, что он все же намерен идти с нею. Он тоже прощался. И Фанни не могла не быть ему благодарна. Напоследок доктор Грант пригласил Эдмунда завтра отобедать с ним, и не успело еще в Фанни шевельнуться от этого неприятное чувство, как миссис Грант, вдруг вспомнив, повернулась к ней и попросила и ее доставить им удовольствие и тоже отобедать с ними. Такое внимание было ей внове, и само приглашение так было внове, что она и чрезвычайно удивилась, и смутилась, и бормоча, что весьма обязана, «но не уверена, что это будет возможно», смотрела на Эдмунда в ожиданье его мнения и помощи. Но Эдмунд, в восторге от того, что ей выпала такая радость, с полувзгляда и с полуслова убедившись, что она бы не против, да не уверена в согласии тетушки, не мог представить, чтоб его маменька не пожелала ее отпустить, и потому решительно и без колебаний посоветовал принять приглашение; и хотя даже при его поддержке Фанни не отважилась бы на такой дерзкий порыв независимости, вскоре условлено было, что, если миссис Грант не сообщат ничего иного, она может ожидать Фанни к обеду.

– И знаете, что будет на обед? – с улыбкою сказала миссис Грант – Индейка, и уж наверняка преотличная. Потому что знаешь, дорогой, – повернулась она к мужу, – кухарка настаивает, что индейку надобно готовить завтра.

– Прекрасно, прекрасно! – воскликнул мистер Грант. – Тем лучше. Рад слышать, что дома есть такая прелесть. Но, должен сказать, мисс Прайс и мистеру Эдмунду предстоит пойти на риск. Мы не желаем наперед знать меню. Мы рассчитываем на дружескую встречу, а вовсе не на роскошный обед. Чем бы вы или ваша кухарка ни вздумали нас попотчевать – индейкой, или гусем, или бараньей ногой.

Фанни и Эдмунд отправились домой вдвоем; и, сразу же обсудив приглашение, о котором Эдмунд говорил с самым горячим удовлетворением, полагая его особенно

желательным при той дружбе, что установилась меж Фанни и мисс Крофорд и очень его радует, – они далее шли молча, ибо, покончив с этим разговором, Эдмунд задумался и уже не расположен был беседовать ни о чем другом.



– Но почему это миссис Грант пригласила Фанни? – сказала леди Бертрам. – Почему ей вздумалось пригласить Фанни?.. Ты ведь знаешь, Фанни никогда на таких обедах там не бывает. Не могу я без нее обойтись, и я уверена, она вовсе не хочет туда идти... Ведь правда же ты не хочешь, Фанни?

– Если вы так ставите пред нею вопрос, – воскликнул Эдмунд, не давая кухне заговорить, – Фанни немедля ответит «нет», но я уверен, дорогая маменька, что ей хотелось бы пойти, и не вижу причин, почему бы ей не пойти.

– Не представляю, почему миссис Грант пришло в голову ее пригласить. Ведь прежде этого не бывало. У ней было обыкновение иногда приглашать твоих сестер, но Фанни она никогда не приглашала.

– Если вам нельзя без меня обойтись, сударыня, – начала Фанни с привычной готовностью во всем себе отказывать...

– Но к услугам маменьки весь вечер будет папенька.

– Да, правда?

– Может быть, вы спросите совета у папеньки?

– Прекрасная мысль. Так я и сделаю, Эдмунд. Как только сэр Томас воротится домой, спрошу его, могу ли я обойтись без Фанни.

– Как вам будет угодно, сударыня. Но я-то полагал, что вы спросите мнения папеньки о том, насколько прилично или неприлично принять сие приглашение. И, я думаю, он сочтет, что миссис Грант поступила правильно, пригласив Фанни, и поскольку это первое приглашение, Фанни следует его принять.

– Не знаю. Мы спросим сэра Томаса. Но он будет весьма удивлен, что миссис Грант вообще вздумала пригласить Фанни.

Более до прихода сэра Томаса сказать было нечего, во всяком случае по делу; но предмет, затронутый в этом разговоре, касался до удобства леди Бертрам завтрашним вечером и был для нее настолько важней всего прочего, что полчаса спустя, когда, воротясь с поля и идя в свою гардеробную, сэр Томас на минуту к ней заглянул, она окликнула его уже на выходе:

– Погоди-ка, сэр Томас, мне надобно тебе кое-что сказать.

Ее голос, исполненный томного спокойствия, поскольку она никогда не брала на себя труд говорить громко, сэр Томас неизменно слышал и неизменно на него отзывался, и сейчас он снова к ней подошел. Она начала свой рассказ, и Фанни немедля выскользнула из комнаты, ибо слушать, как о ней говорят с дядюшкою, было выше ее сил. Она тревожилась, тревожилась, быть может, более, чем следовало, ибо что за важность, в конце концов, пойдет она или останется дома, но, если дядюшка станет раздумывать и решать, с видом весьма серьезным, и устремит на нее серьезный взгляд, и, наконец, решит не в ее пользу, она может не выказать должного смирения и равнодушия. Меж тем все шло благополучно. Началось с таких вот слов леди Бертрам:

– Я скажу тебе кое-что, что тебя удивит. Миссис Грант пригласила Фанни на обед!

– Что ж, – сказал сэр Томас, словно ждал чего-то еще, чтобы и вправду удивиться.

– Эдмунд хочет, чтоб она пошла. Но как я без нее обойдусь?

– Она опоздает, – сказал сэр Томас, доставая часы, – но что тебя озадачило?

Эдмунд почувствовал, что должен заговорить и заполнить пропуски в рассказе матери. Он рассказал все, и ей только и осталось, что единственно прибавить:

– Как странно! Ведь прежде миссис Грант никогда ее не приглашала.

– Но разве не естественно, что миссис Грант хочет порадовать сестру такой приятной гостьей? – заметил Эдмунд.

– Что может быть естественнее, – сказал сэр Томас после недолгих размышлений. – Да и не будь тут ее сестры, все равно, я полагаю, ничего не может быть естественнее. Желание миссис Грант оказать внимание мисс Прайс, племяннице леди Бертрам, не требует никаких объяснений. Меня единственно удивляет, что она лишь теперь приглашена впервые. Фанни правильно поступила, не дав твердого ответа. Мне представляется, ее чувства делают ей честь. Но, сколько я понимаю, пойти ей хочется, ведь вся молодежь любит быть вместе, и я не вижу причин отказать ей в этом удовольствии.

– Но смогу ли я без нее обойтись, сэр Томас?

– Я думаю, без сомненья, сможешь.

– Ты ведь знаешь, когда тут нет моей сестры, она разливает чай.

– Твою сестру, должно быть, можно уговорить провести с нами день, и сам я тоже непременно буду дома.

– Тогда хорошо, Фанни может пойти, Эдмунд.

Добрая весть скоро достигла Фанни. По дороге к себе Эдмунд постучался к ней.

– Ну вот, Фанни, все улажено, твой дядя ни на миг не усомнился. Другого мнения у него не было. Ты идешь.

– Спасибо тебе, я так рада, – не задумываясь отвечала Фанни, однако, затворив за ним дверь и оставшись одна, невольно спохватилась: «Но почему мне радоваться? Ведь я уж наверно услышу и увижу там такое, от чего мне будет больно».

И все же, наперекор этому убеждению, она радовалась. Каким бы неприятным ни показалось это развлечение другим, для Фанни оно было новизны и значения, ведь, кроме дня, проведенного в Созертоне, она едва ли когда-нибудь обедала в гостях; и хотя теперь она отправлялась всего за три мили и ждали ее всего лишь три человека, все равно то был званый обед и все связанные с ним скромные приготовления сами по себе уже были радостью. Те, кто должен был входить в ее чувства и направлять ее вкус, не сочувствовали ей и не помогали, ибо леди Бертрам никогда и не помышляла о том, чтоб быть кому-нибудь полезной, а тетушка Норрис, которая пришла назавтра, поскольку сэр Томас ее пригласил, зайдя к ней рано поутру, была в прескверном расположении духа и, казалось, только о том и пеклась, чтоб как можно более испортить удовольствие племянницы и сейчас и в будущем.

– Право слово, Фанни, великое твое счастье, что к тебе так внимательны и так потворствуют твоим прихотям! Ты должна быть очень благодарна миссис Грант, что она подумала о тебе, и твоей тетушке за то, что она тебя отпускает; и смотри на это, как на нечто чрезвычайное, ведь, я надеюсь, ты понимаешь, что нет у тебя никаких оснований расхаживать по гостям да бывать на званных обедах; и не надейся, пожалуйста, что подобное приглашение когда-нибудь повторится. И не воображай также, будто приглашением на обед оказали честь тебе, честь оказана твоим дядюшке с тетушкой и мне. Миссис Грант почитает своим долгом перед нами в кои-то веки оказать тебе внимание, иначе она бы и не подумала тебя приглашать, и уж не сомневайся, будь дома твоя кузина Джулия, тебе этого приглашенья нипочем не получить бы.

Тетушка Норрис весьма искусно свела на нет всю радость Фанни от благорасположения миссис Грант, и, понимая, что от нее ждут ответа, Фанни только и смогла сказать, как она благодарна тетушке Бертрам за то, что та ее отпускает, и пообещала оставить вечернее тетушкино рукоделие в таком виде, чтоб той не понадобилась ее помощь.

– Уж будь уверена, тетушка прекрасно без тебя обойдется, не то она не позволила бы тебе уйти. Ведь при ней буду я, так что можешь быть за нее спокойна. И надеюсь, ты

проведешь очень приятный день и от всего будешь в восторге. Но, скажу я тебе, когда за столом пятеро, это совсем нескладно; и меня крайне удивляет, что такая изысканная дама, как миссис Грант, не придумала ничего лучше! Да еще за их большущим столом, который так ужасно загромождает всю комнату! Если б, когда я съезжала, доктор согласился взять мой стол, как поступил бы на его месте всякий разумный человек, чем привозить свой нелепый новый, который больше, доподлинно больше здешнего обеденного стола, насколько было бы лучше! и насколько более его бы уважали! потому что если человек выходит за подобающие ему пределы, его не станут уважать. Всегда помни об этом, Фанни. Пятеро, всего пятеро будут сидеть за таким столом! А кушаний, смею думать, будет столько, что хватило б и на десятерых.

Тетушка Норрис перевела дух и опять заговорила.

– Люди, которые выходят из своего круга и тщатся делать вид, будто они выше его, поступают весьма безрассудно и глупо, а потому я полагаю, что сейчас, когда ты без нас собираешься в гости, самое время дать тебе совет, Фанни. И я тебя прошу и умоляю, не забывай о скромности, не разговаривай и не высказывай своих мнений, как будто ты ровня своим кузинам – нашей дорогой миссис Рашуот или Джулии. Поверь мне, добра от этого не будет. И помни, где б ты ни оказалась, ты должна быть тише воды, ниже травы; и хотя мисс Крофорд в пасторате, можно сказать, дома, ты с нее пример не бери. А захочешь вечером воротиться, жди, пока Эдмунд не соберется уходить. Пускай он сам решит, когда это уместнее сделать.

– Конечно, сударыня, я так бы и поступила.

– И ежели пойдет дождь, а, по-моему, дождя не миновать, по всему видно, что вечер будет сырой, – так уж ты как-нибудь обойдись и не надейся, что за тобою пришлют экипаж. Я нынче вечером домой не ворочусь, так что для меня запрягать не будут; и потому ты подготовься на этот случай, возьми с собою все, что может понадобится.

Фанни нашла все это вполне естественным. Свое право на удобства она расценивала никак не выше, чем тетушка Норрис; и когда вскорости после этого разговора сэр Томас заглянул в комнату со словами: «Фанни, в котором часу тебе понадобится экипаж?», она так изумилась, что не смогла вымолвить ни слова.

– Любезнейший сэр Томас! – воскликнула тетушка Норрис, покраснев от негодованья. – Фанни может дойти пешком.

– Пешком! – повторил сэр Томас с величайшим достоинством и прошел в комнату. – Чтоб в это время года моя племянница отправилась на званый обед пешком! В двадцать минут пятого тебе удобно?

– Да, сэр, – робко отвечала Фанни, чувствуя себя перед миссис Норрис чуть ли не преступницей; и не в силах оставаться с нею, когда могло показаться, будто она торжествует, она вышла вслед за дядюшкою, и почти тотчас из-за двери донеслись возмущенные слова:

– Вот уж напрасно!.. Вовсе чрезмерная доброта! Впрочем... Эдмунд тоже приглашен... да, правда... это ради Эдмунда. В четверг вечером я заметила, что он охрип.

Но на Фанни это не произвело никакого впечатления. Она чувствовала, что экипаж подается ей, и только ради нее; едва она осталась одна, от дядюшкиной заботливости, последовавшей сразу же за утверждениями миссис Норрис, на глаза у ней навернулись слезы благодарности.

Кучер подал экипаж минута в минуту; в следующую минуту появился и джентльмен, а поскольку дама, из-за чрезмерной щепетильности боясь опоздать, уже несколько минут сидела в гостиной, сэр Томас проводил их вовремя, как того и требовала его привычка к пунктуальности.

– Теперь я должен на тебя посмотреть, Фанни, – сказал Эдмунд с доброй улыбкой любящего брата, – и сказать, как ты выглядишь; и сколько я могу судить при этом свете, выглядишь ты и вправду очень мило. Что ты надела?

– То новое платье, которое дядюшка был так добр, что подарил мне к свадьбе Марии. Надеюсь, оно не слишком нарядное. Но мне так хотелось его надеть при первом же подходящем случае, а другого такого может не быть всю зиму. Надеюсь, ты не сочтешь, что я слишком нарядная.

– Если женщина в белом, она никогда не может быть слишком нарядной. Нет, ты вовсе не чересчур нарядная, все как раз так, как требуется. Твое платье очень милое. Мне нравятся эти блестящие крапинки. А нет ли у мисс Крофорд какого-то похожего платья?

У самого пастората они проехали мимо конного двора и каретного сарая.

– Э, да тут гости! – воскликнул Эдмунд. – Вот чей-то экипаж! С кем же это нам предстоит встретиться? – И, опустив боковое стекло, чтоб получше разглядеть, сказал: – Это Крофорда, уверяю тебя, ландо Крофорда! Вон два его лакея ставят ландо на его обычное место. Конечно же, он здесь. Какая неожиданность, Фанни. Я буду очень рад его видеть.

У Фанни не было ни повода, ни времени сказать, что у нее-то чувство совсем иное; но при мысли, что Крофорд тоже будет смотреть на нее во время устрашающей церемонии вступления в гостиную, она трепетала еще более.

Крофорд и вправду оказался в гостинной; он приехал довольно давно и уже готов был к обеду; а улыбки и удовольствие, написанное на лицах троих обитателей пастората, его окруживших, свидетельствовали о том, как им приятно его внезапное решение, отлучившись из Бата, на несколько дней приехать к ним. Эдмунд и Крофорд встретились очень сердечно; и для всех, кроме Фанни, его приезд был радостью, и даже для нее его присутствие было отчасти благом; ведь чем больше общество, тем скорее она могла предаться своей любимой привычке – сидеть молча и не привлекать ничьего внимания. Она скоро и сама это поняла, ибо, как подсказывал ей безошибочный такт вопреки мнению тетушки Норрис, хотя она и должна была покориться тому, что оказалась в этом обществе первою дамой и всем вытекающим из того маленьким отличиям, она увидела, пока они сидели за столом, что все захвачены нескончаемою беседою, в которой ей вовсе не требуется участвовать – столько надо было переговорить брату с сестрой о Бате, столько обоим молодым людям об охоте, столько мистеру Крофорду с мистером Грантом о политике, и еще обо всем на свете – сразу и по отдельности – мистеру Крофорду и миссис Грант, – и потому ей вполне возможно молча слушать и очень приятно провести день. Ей не удалось, однако, польстить вновь прибывшему джентльмену, сделав вид, будто ее заинтересовал быстро завладевший его мыслями план доктора Гранта и совет Эдмунда, которых горячо поддерживали обе сестры – продлить его пребывание в Мэнсфилде и послать в Норфолк за его охотниками; казалось, он не может на это решиться, пока еще и Фанни его не одобрила. Ему понадобилось узнать ее мнение – долго ли простоит такая мягкая погода, но Фанни отвечала коротко и равнодушно, насколько позволяла учтивость. Не могла она желать, чтоб он остался, и ей было бы куда приятней, чтоб он с нею не заговаривал.

Она смотрела на Крофорда, и у ней не шли из головы обе отсутствующие кузины, в особенности Мария; но его самого, по-видимому, никакое воспоминание не смущало. Вот он опять в том же самом месте, где все произошло, и, видно, так же намерен радоваться жизни без сестер Бертрам, как если б никогда не знал Мэнсфилд другим. Фанни слышала, как он поминал о них лишь мимоходом, и, только когда все общество опять оказалось вместе в гостинной и Эдмунд, поодаль, кажется, весь ушел в какой-то деловой разговор с доктором Грантом, а миссис Грант была занята за чайным столом, он более серьезно и обстоятельно

заговорил о них с сестрою.

– Итак, сколько я понимаю, Рашуот и его прекрасная супруга в Брайтоне... Счастливчик! – сказал он с многозначительной улыбкою, отчего Фанни он сразу стал ненавистен.

– Да, они там... уже недели две, не правда ли, мисс Прайс? И Джулия с ними.

– И я полагаю, Йейтс поблизости.

– Йейтс!.. О, мы ничего о нем не знаем. Не представляю, чтоб о нем часто поминали в письмах в Мэнсфилд-парк. А по-вашему, мисс Прайс? Я думаю, мой друг, Джулия достаточно умна, чтоб не занимать отца рассказами о Йейтсе.

– Несчастный Рашуот со своими сорока двумя репликами! – продолжал Крофорд. – Никому их не забыть. Бедняга!.. Вижу его как сейчас... его тяжкий труд и отчаянье. Да, я сильно ошибаюсь, если его очаровательная Мария когда-нибудь пожелает, чтоб он продекламировал ей свои сорок две реплики. – И мгновенно сделавшись серьезным, прибавил: – Она для него слишком хороша, чересчур хороша. – И, снова переменив тон, с нежной галантностью обратился к Фанни: – Вы были его лучшим другом. Ваша доброта и терпение незабываемы, с каким неустанным терпением вы старались помочь ему выучить роль... старались заставить его шевелить мозгами, в которых природа ему отказала, старались поделиться с ним пониманием, которого у вас в избытке! Пусть у него самого не хватало ума, чтоб оценить вашу доброту, зато, осмелюсь сказать, все остальное общество отдавало ей должное.

Фанни покраснела, но ничего не сказала.

– Это сон, сладкий сон! – воскликнул Крофорд, после недолгой задумчивости снова нарушив молчание. – Я всегда буду с особенным удовольствием вспоминать наши репетиции. Они сообщали всему такой интерес, такое оживление, такой душевный подъем! Это ощущал каждый. Все мы были воодушевлены. Занятий, надежды, заботы, суеты хватало на весь день с утра до вечера. Постоянно возникали небольшие препятствия, сомнения, тревоги, которые надобно было одолеть. Никогда я не был так счастлив.

«Никогда не был так счастлив! – в молчаливом негодовании повторила про себя Фанни. – Не был так счастлив, как когда поступал непозволительно! И не мог этого не понимать. Не был так счастлив, как когда вел себя столь постыдно и бесчувственно! Что за испорченная душа!»

– Нам не повезло, мисс Прайс, – продолжал Крофорд, понизив голос, чтоб не мог услышать Эдмунд, и не имея представленья об ее чувствах. – Право же, очень не повезло. Нам бы только еще неделю, всего неделю. Вот если б у нас было право распоряжаться событиями, если б всего неделю-другую в пору осеннего равноденствия Мэнсфилд-парк мог управлять ветрами, все вышло бы по-другому. Нет, мы не стали бы подвергать его опасности, насладились бы на него не грозу и шторм, но только упорный противный ветер или штиль. Я думаю, мы удовлетворялись бы в ту пору недельным затишьем в Атлантике, мисс Прайс.

Казалось, он намерен был во что бы то ни стало получить ответ, и, отвернувшись от него, Фанни сказала куда тверже, чем обыкновенно:

– Что до меня, сэр, я не стала бы задерживать приезд дядюшки ни на один день. По возвращении дядюшка отнесся ко всему этому с таким неодобреньем, что мне кажется, все и так зашло достаточно далеко.

Никогда еще она не отвечала ему в столь многих словах и никогда еще никому – так сердито; и, договорив, она дрожала и вся покраснелась от своей дерзости. Крофорд удивился, но, несколько поразмыслив в молчании, ответил спокойнее, серьезнее и так, будто высказывал свое искреннее убеждение:

– Я думаю, вы правы. Это было скорее приятно, чем благоразумно. Мы подняли слишком много шума. – И заговорил о другом, готов был занять ее иной беседою, но Фанни отвечала так робко и неохотно, что ему никак это не удавалось.

Мисс Крофорд, которая опять и опять поглядывала на доктора Гранта и Эдмунда, теперь заметила:

– Эти джентльмены, видно, обсуждают что-то чрезвычайно интересное.

– Самое интересное на свете, – отвечал ей брат, – как заработать деньги, как обратить хороший доход в еще лучший. – Доктор Грант наставляет Бертрама в той жизни, в которую он очень скоро вступит. Оказывается, он примет сан уже через несколько недель. Они говорили об этом в столовой. Я рад, что Бертрам будет так хорошо обеспечен. У него будет очень неплохой доход, который достанется ему без особых трудов, и он сможет сорить деньгами. Как я понимаю, у него будет не меньше семисот фунтов в год. Семьсот фунтов в год для младшего брата совсем неплохо. И так как он по-прежнему будет жить дома, это пойдет ему на *menus plaisirs*, а проповеди на Рождество и на Пасху, вероятно, дадут ему солидную сумму от пожертвований.

Стараясь скрыть свои подлинные чувства, сестра засмеялась и сказала:

– Ничто меня так не забавляет, как легкость, с какой каждый распоряжается богатством тех, у кого куда меньше денег, чем у них самих. Ты бы оказался в большом затруднении, Генри, будь твои *menus plaisirs* ограничены семьястами в год.

– Может быть, ты и права, но, знаешь, это все относительно. Многое зависит от происхождения и привычки. Для младшего сына всего лишь баронета Бертрам, несомненно, обеспечен очень неплохо. К тому времени, как ему исполнится двадцать четыре или двадцать пять, у него будет семьсот в год и ему не придется для этого пальцем шевельнуть.

Мисс Крофорд могла бы сказать, что кое-что для этого сделать придется и кой-чем поплатиться, о чем она не могла думать с легкостью; но она сдержалась и оставила слова брата без ответа; и, когда оба джентльмена вскорости к ним присоединились, постаралась выглядеть спокойной и беззаботной.

– Бертрам, – сказал Генри Крофорд, – я сочту своим долгом приехать в Мэнсфилд послушать вашу первую проповедь. Я приеду нарочно для того, чтобы подбодрить новичка. Когда это будет? Вы не желаете ко мне присоединиться, мисс Прайс, чтобы подбодрить своего кузена? Не сочтете ли своим долгом присутствовать и во время проповеди не сводить с него глаз, как сделаю я, дабы не пропустить ни слова, или отворотиться единственно для того, чтоб записать какое-нибудь особо выдающееся изречение? Мы запасемся записными книжками и карандашом. Когда это будет? Вам непременно следует читать проповедь в Мэнсфилде, чтоб ее могли услышать сэр Томас и леди Бертрам.

– Я как можно долее постараюсь держаться от вас подальше, Крофорд, – сказал Эдмунд, – потому что скорее всего вы станете меня смущать, и видеть такие старания с вашей стороны будет мне грустнее, чем со стороны кого-либо другого.

«Неужто Крофорд не почувствует укора? – подумала Фанни. – Нет, ему не дано чувствовать, как должно».

Теперь, когда все общество вновь собралось вместе и главных говорунов опять потянуло друг к другу, Фанни стало покойно; а когда после чая составила партия в вист, составила единственно для развлечения доктора Гранта, о чем постаралась его заботливая жена, хотя никто не должен был об этом догадаться, и мисс Крофорд взялась за арфу, ей оставалось только слушать, и уже весь вечер ничто не нарушало ее покой, разве что время от времени мистер Крофорд обращался к ней с вопросом или замечанием, которые невозможно было оставить без ответа. Мисс Крофорд слишком огорчилась из-за того, что недавно узнала,

и потому была не в настроении ни для чего, кроме музыки. Музыкаю она утешалась сама и развлекала своего друга Фанни.

Известие, что Эдмунд примет сан так скоро, было для нее как удар, который угрожал давно, но все оставалась надежда, что он минет, что до него далеко, и теперь ее охватил гнев и разочарование. Она была безмерно возмущена Эдмундом. Ей казалось, она имеет на него большое влияние. Ведь она уже начала о нем думать, она это сознавала, с истинным расположением, с вполне определенными намерениями; но теперь станет относиться к нему так же прохладно, как и он к ней. Поставив себя в положение, до которого, как ему известно, она не снизойдет ни в коем случае, он ясно показал, что не имеет на нее серьезных видов, не питает к ней подлинного чувства. Она сумеет ответить ему таким же равнодушием. Отныне она будет относиться к его благосклонности единственно как к сиюминутному развлечению. Если так может владеть своими чувствами он, то уж она со своими справится без труда.

Наутро у Генри Крофорда было уже решено, что ближайшие две недели он пробудет в Мэнсфилде, и, послав за своими охотниками и набросав несколько слов в объяснение адмиралу, он запечатал и отбросил письмо и огляделся в поисках сестры, а когда увидел, что она в одиночестве, сказал с улыбкою:

– Ну, и как, ты думаешь, Мэри, я намерен развлекаться в дни, свободные от охоты? Я уже не настолько молод, чтоб выезжать чаще трех раз в неделю, но у меня есть план на промежуточные дни, и как ты думаешь, что у меня на уме?

– Уж конечно, гулять и кататься верхом со мною.

– Не совсем так, и хотя и то и другое будет мне весьма приятно, но это все единственно для пользы тела, а мне надобно найти пищу для души. То все отдых и потворство своим желаниям, без благотворной примеси труда, а я не люблю праздности. Нет, мой план состоит в том, чтоб влюбить в себя Фанни Прайс.

– Фанни Прайс! Чепуха! Нет-нет. Довольно с тебя двух ее кузин.

– Но мне нужна Фанни Прайс, мне нужно затронуть ее сердце. Ты, видно, не очень понимаешь, как она заслуживает внимания. Когда вчера вечером мы о ней говорили, мне показалось, что никто из вас не заметил, как она чудесно преобразилась за последние полтора месяца. Вы ее видите каждый день и потому не замечаете этого, но уверяю тебя, она совсем не та, что была осенью. Тогда она была тихая, застенчивая, отнюдь не дурнушка, но сейчас она просто красotka. Я тогда думал, что она не может похвастать ни цветом лица, ни правильностью черт; но в этой ее нежной коже, которая столь часто заливается краской, как это было вчера, несомненная прелесть, а что до ее глаз и уст, я убежден, что, когда ей есть что выразить, они могут быть весьма выразительны. А потом ее манеры, поведение, tout ensemble столь неопиcуемо изменились к лучшему! И с октября она выросла по меньшей мере на два дюйма.

– Вздор! Вздор! Это тебе так показалось, потому что рядом не было ни одной высокой женщины для сравнения и потому, что на ней было новое платье, а ты никогда прежде не видел ее так хорошо одетою. Поверь мне, она в точности такая же, как была в октябре. Все дело в том, что во вчерашнем нашем обществе она, кроме меня, была единственная девушка, больше тебе не на кого обратить внимание, а без этого ты никак не можешь. Я всегда находила ее хорошенькой, не на удивление, но, как говорится, «довольно хорошенькой», красота того рода, которую чем дальше, тем больше замечаешь. Ее глазам следовало бы быть темнее, но улыбка у ней милая; а что до ее чудесной перемены к лучшему, я уверена, тому причиною красивый наряд и то, что тебе просто не на кого было более посмотреть; и тем самым, если ты и вправду намерен завести с нею флирт, ты никогда меня не убедишь, что это благодаря ее красоте, а вовсе не из-за твоего безделья и безрассудства.

В ответ на это обвинение брат лишь улыбнулся, а несколько времени спустя сказал:

– Не знаю, как вести себя с мисс Фанни. Не понимаю ее. Вчера не мог разобрать, что у ней на уме. Какой у ней нрав? Она серьезная? Чудачка? Жеманница? Почему она меня чуждается и смотрит так строго? Мне стоило немалых трудов добиться от нее словечка. Еще никогда я не проводил в обществе девушки столько времени, пытаюсь ее развлечь, и так мало в том преуспел! В жизни не встречал девушку, которая смотрела бы на меня так строго! Я должен попытаться взять над нею верх. Всем своим видом она мне говорит: «Вы мне не понравитесь. Ни за что не понравитесь», а я говорю, что понравлюсь.

– Какой же ты глупый! Вот, оказывается, в чем ее привлекательность! Именно из-за этого,



из-за того, что ты ей не интересен, ты находишь, что у ней такая нежная кожа, и что она стала намного выше, и так прелестна и очаровательна! Я очень хочу, чтоб ей не пришлось страдать по твоей милости; толика любви, возможно, и оживит ее и пойдет ей на пользу, но только не вздумай всерьез вскружить ей голову, потому что другого такого милого создания нет на свете, и она способна сильно чувствовать.

– Речь идет всего лишь о двух неделях, – отвечал Генри, – и если ее можно погубить за две недели, значит, у ней такой склад, при котором ничто не спасет. Нет, я не причиню ей зла, этой милой малышке! Мне только и надо, чтоб она смотрела на меня добрыми глазами, улыбалась мне и заливалась краской, берегла для меня место подле себя, где бы мы ни оказались, и мигом оживлялась, когда бы я на него садился рядом и заводил с нею разговор, пусть думает, как думаю я, пусть ее занимает все, что меня касается и что доставляет мне удовольствие, пусть постарается задержать меня в Мансфилде, а когда я уеду, пусть чувствует себя навеки несчастливой. Ничего больше я не желаю.

– Сама умеренность! – сказала Мэри. – Теперь меня может не мучить совесть. Что ж, у тебя будет довольно удобных случаев показать себя с наилучшей стороны, мы ведь много времени проводим вместе.

И, не пытаясь более увещевать брата, она предоставила Фанни ее судьбе, так что, не будь сердце Фанни защищено особым образом, о каком мисс Крофорд не подозревала, судьба ее оказалась бы много тяжелей, чем она заслуживала; ибо хотя, без сомненья, существуют такие непобедимые восемнадцатилетние девицы (недаром же мы о них читаем в романах), которых ни за что не склонишь к любви, несогласной с их здравым смыслом, – и тут не поможет ни искусство, ни обаяние, ни внимательность, ни лесть, – Фанни я бы к ним не причислила, не подумала б, что при столь отзывчивом нраве и столь присущем ей вкусу ей удалось бы уберечь сердце от ухаживаний (пусть бы они и длились всего только две недели) такого человека, как Крофорд, – несмотря даже на то, что ей пришлось бы побороть прежнее дурное мнение о нем, не будь ее чувства уже поглощены другим. При всей защищенности души, какая неизбежна при любви к другому и пренебрежении к тому, кто на нее покушается, постоянное внимание Крофорда, постоянное, но не назойливое, ибо он все более применялся к ее кротости и утонченности, – очень скоро вынудило бы ее относиться к нему с меньшей неприязнью, чем прежде. Она отнюдь не забыла о прошлом и думала о Крофорде столь же дурно, как раньше; но его таланты не остались не замеченными ею: он был занимателен и вел себя настолько лучше прежнего, так был обходителен, так серьезно, безукоризненно обходителен, что невозможно было держаться в ответ нелюбезно.

На это понадобилось всего несколько дней, и к концу этих нескольких дней возникли обстоятельства, которые, пожалуй, и способствовали его расчетам снискать расположение Фанни и к тому же так ее обрадовали, что она стала расположена ко всему и каждому.

Уильям, столь долго отсутствовавший и столь горячо ею любимый брат, воротился в Англию. Она сама получила от него письмо, несколько счастливых, торопливых строк, написанных, когда «Антверпен» вошел в залив и стал на якорь в Спитхеде, и отправленных в Портсмут с первым же катером; и когда появился Крофорд с газетою в руках, желая первым сообщить ей эту весть, Фанни, трепеща от радости, сияющая, исполненная благодарности, записывала любезное приглашение, которое в ответ на письмо Уильяма с самым невозмутимым видом ей диктовал дядюшка.

Всего лишь накануне Крофорд получил полное представление о привязанности Фанни к брату, или, вернее, впервые узнал, что есть у ней такой брат и что он служит на таком корабле, но вспыхнувший тогда интерес очень кстати не погас и побудил его по возвращении в город разузнать, когда предположительно «Антверпен» вернется из плавания в

Средиземном море, и удача, которая сопутствовала ему наутро, когда он спозаранку просматривал флотские новости, казалась вознаграждением за изобретательность, что натолкнула его на такой способ порадовать Фанни, а также за почтительное внимание к дядюшке адмиралу, заключающееся в том, что Генри Крофорд уже многие годы выписывал газету, которая печатала самые свежие флотские новости. Оказалось, однако ж, что он опоздал. Все те прекрасные первые чувства, которые он надеялся в ней возбудить своим сообщением, уже нашли выход. Но его намерение, доброту его намерения Фанни с благодарностью оценила, горячо его поблагодарила, ибо, подхваченная волною любви к брату, позабыла о своей привычной застенчивости.

Дорогой Уильям скоро будет с ними. Он, без сомненья, немедленно получит отпуск, ведь он еще только корабельный гардемарин; а поскольку родители его живут в городе, где на рейде стоит корабль, и, верно, уже виделись с ним и, должно быть, видятся ежедневно, он по справедливости сразу же отправится к сестре, которая все семь лет чаще всех писала ему письма, и к дядюшке, который все более его поддерживал и способствовал его продвижению; и вправду ответ на ее ответ пришел со всей возможной быстротою, в нем был назначен день его скорого приезда, и не успели миновать десять дней с тех пор, как Фанни была в волнении из-за первого в ее жизни званого обеда, а ее уже охватило волнение более высокого свойства – в прихожей, в коридоре, на лестнице прислушивается она, не слышно ли кареты, которая доставит к ней брата.

По счастью, карета подъехала, когда Фанни вот так ее поджидала, и не было ни церемоний, ни робости, которые могли бы отодвинуть миг встречи; брат и сестра оказались вдвоем, едва Уильям переступил порог дома, и в первые блаженные минуты им ничто не мешало и не было свидетелей, если не считать слуг, занятых более всего тем, чтобы отворить именно те двери, которые надобно. Произошло в точности то, о чем, не сговариваясь, постарались сэр Томас и Эдмунд, как стало ясно обоим, когда, едва заслышав шум, вызванный приездом Уильяма, они с исполненной сочувствия живостию посоветовали готовой кинуться в прихожую миссис Норрис оставаться на месте.

Скоро появились Уильям и Фанни, и сэр Томас с удовольствием увидел, что его протеже, которого он снарядил в путь семь лет назад, стал, без сомнения, совсем другим человеком, – пред ним стоял юноша с открытым, приятным лицом, который держался с естественною непринужденностью, однако ж сердечно и почтительно, из чего ясно было, что это поистине друг.

Не скоро Фанни пришла в себя от счастливого волнения того часа, который состоял из последнего получаса ожиданий и первого получаса сбывшихся надежд; потребовалось время даже на то, чтоб она смогла ощутить свое счастье, чтоб рассеялось разочарование, неизбежное при происшедших в человеке переменах, и она опять увидела в брате прежнего Уильяма и заговорила с ним так, как жаждала ее душа все долгие семь лет. Но наконец и это пришло, чему помогла его любовь, столь же горячая, как ее, и куда менее стесненная утонченностью или неуверенностью в себе. Фанни была самой большой его любовью, и для него, более сильного духом и отважного, выражать свою любовь было столь же естественно, как любить. На другой день они с истинной радостью гуляли вдвоем, и день за днем они были почти неразлучны, что с удовольствием заметил сэр Томас еще до того, как на это обратил его внимание Эдмунд.

Если не считать тех мгновений особенного восторга, какой дали ей в последние месяцы малейшие естественные или нежданные знаки Эдмундова внимания, никогда еще Фанни не испытывала такого блаженства, как в этих беспрепятственных, равных, свободных от каких-либо опасений отношениях с братом и другом, который изливал ей душу, поверял свои

надежды и страхи, планы и треволения касательно долгожданного, дорогой ценой заработанного и недаром ценимого блага – продвижения по службе; который из первых рук мог сообщить ей каждую малость об отце и матери, о братьях и сестрах, о ком она слышала так редко; которому интересно было узнать обо всех удобствах и обо всех мелких затруднениях ее жизни в Мэнсфилде; который готов был видеть каждого здешнего домочадца таким, каким представляла его она, лишь об тетушке Норрис он отзывался с меньшей щепетильностью, чем сестра, и громче ее бранил; и с которым (это, пожалуй, самая драгоценная милость из всех) можно было перебирать все дурное и хорошее, что было в их детстве, с величайшей нежностью вспоминать общую боль и радость. Преимущество это – споспешник любви, в которой даже супружеские узы уступают братским. Дети из одной семьи, одной крови, с одними и теми же первыми воспоминаниями и привычками, обладают такими причинами для радости, каких не дают никакие последующие отношения; и лишь при долгой, противоестественной разлуке, при разрыве, которого не могут оправдать никакие последующие отношения, не сохраняются остатки этой ранней привязанности. Бывает это, увы! слишком часто. Братская любовь, в иных случаях столь всеобъемлющая, в других хуже, чем ничто. Но у брата и сестры Прайс чувство это было еще в расцвете, свежее, не раненное противоположностью интересов, не охлажденное никакою новой привязанностью, и время и жизнь врозь его лишь укрепили.

Столь трогательная любовь возвышала их обоих в глазах каждого, у кого было сердце, способное оценить все доброе и хорошее. На Генри Крофорда это произвело не меньшее впечатление, чем на прочих. Он чтит участливую, откровенную нежность молодого моряка и даже сказал ему, протянув руку в сторону Фанниной головки: «Знаете, мне уже начинает нравиться эта причудливая мода, хотя, когда я впервые услышал, что в Англии она в ходу, я не мог этому поверить, и, когда миссис Браун и прочие дамы появились в такой прическе на приеме у Верховного комиссара в Гибралтаре, я подумал, что они сошли с ума, но Фанни способна примирить меня с чем угодно»; и с живым восхищением Крофорд замечал, как она заливается румянцем, как блестят у ней глаза, как она захвачена, с каким глубоким интересом слушает брата, пока тот описывает любой из неизбежных в плавании опасных случаев, любую страшную картину, которых за столько времени, проведенного в море, у него набралось немало.

Генри Крофорду хватало душевного вкуса, чтоб оценить то, что он видел, и Фанни стала для него еще привлекательней, вдвойне привлекательней оттого, что чувствительность, окрасившая и озарившая ее лицо, была и сама по себе привлекательна. Он уже более не сомневался в щедрости ее сердца. Она способна на чувство, на подлинное чувство. Быть любимым такой девушкой, возбудить первый пыл в ее чистой, юной душе – это было бы замечательно! Она заинтересовала его более, чем он предвидел. Двух недель ему оказалось не довольно. Он остался на неопределенное время.

Сэр Томас часто побуждал Уильяма рассказывать. Рассказы племянника были сами по себе занимательны, но всего более дядюшка хотел понять рассказчика, узнать молодого человека по его рассказам; и с глубоким удовлетворением слушал ясные, простые, живые подробности, видя в них доказательство честных правил, осведомленности в своем деле, энергии, мужества и бодрости – всего, что достойно успеха и служит верным его залогом. Совсем еще молодой, Уильям уже очень многое успел повидать. Он плавал в Средиземном море, у островов Вест-Индии, опять в Средиземном море, благодаря расположению капитана часто сходил с ним на берег и за семь лет успел испытать все опасности, какие порождают совместно море и война. Обладая такими возможностями, он имел право, чтоб его слушали; и хотя посреди его рассказа о кораблекрушении или о схватке с неприятелем тетушка Норрис

порой вдруг принималась суетливо сновать по комнате в поисках ниток или какой-нибудь завалящей пуговицы для сорочки, все остальные, несмотря на помеху, внимательно слушали; и даже леди Бертрам эти ужасы не оставляли равнодушной, и, случалось, она поднимала глаза от своего рукоделья и говорила: «Боже мой! Как неприятно. И как же это людям охота отправляться в плаванье».

С иным чувством слушал рассказы Уильяма Генри Крофорд. Вот бы ему тоже побывать в море и столько же увидеть, совершить, перестрадать. Сердце его разгорячилось, воображение разыгралось, и юноша, который, не достигши и двадцати лет, прошел чрез такие телесные тяготы и душевные испытания, вызывал у него величайшее уважение. Перед сияньем героизма, деятельности, неутомимости, выносливости его себялюбивая привычка потворствовать своим слабостям выглядела постыдно и жалко; и, недовольный собою, он желал бы оказаться неким Уильямом Прайсом и, обладая таким же чувством собственного достоинства и счастливым рвением, отличиться, собственным трудом достичь богатства и положения.

Желанье это было скорее нетерпеливым, чем стойким. От раздумий о прошлом и вызванных ими сожалений Крофорда пробудил вопрос Эдмунда о планах на завтрашнюю охоту, и он нашел, что нисколько не хуже быть богатым с самого начала жизни и иметь в своем распоряжении лошадей и конюхов. В одном отношении это даже лучше, ибо позволяет, если возникнет такое желание, оказать кому-нибудь услугу. При свойственном Уильяму задоре, храбрости и любознательности, он не прочь был поохотиться, и Крофорд без малейшего для себя неудобства мог предоставить в его распоряжение верховую лошадь, надобно было лишь преодолеть колебания сэра Томаса, который лучше племянника знал цену подобному одолжению, да развеять опасения Фанни. Она боялась за Уильяма; и сколько бы он ни рассказывал, как часто ездил верхом в разных странах, как вместе с другими верхом поднимался в горы, какие доставались ему необъезженные лошади и мулы и как он ухитрялся избегать страшных падений, ничто ее не убеждало, что он сумеет справиться с породистым гунтером во время охоты на лисицу; и так же, пока Уильям не вернулся здоровый и невредимый, избежав несчастного случая и позора, не могла она примириться с риском или испытать толику благодарности к Крофорду, на которую он с полным правом рассчитывал, за то, что одолжил ее брату лошадь. Однако ж, когда оказалось, что Уильяму это не причинило никакого вреда, Фанни признала это любезностью и в ту минуту, когда лошадь опять была предложена брату, даже наградила владельца улыбкою; а в следующую минуту с величайшей сердечностью, да так, что отказаться было невозможно, Крофорд передал лошадь в распоряжение Уильяма на все то время, пока тот пробудет в Нортгемптоншире.

В эту пору два семейства встречались почти так же часто, как осенью, на что ни один из членов прежнего общества не смел и надеяться. Во многом этому способствовало возвращение Генри Крофорда и приезд Уильяма Прайса, но во многом тому была причиною терпимость, с какою сэр Томас принимал усилия пастора поддерживать добрососедские отношения. Не обремененный более заботами, которые вначале не давали ему покою, теперь, когда душа его была свободна, он согласился, что Гранты и их молодежь и вправду заслуживают того, чтоб у них бывать; и хотя у него и в мыслях не было строить планы или замышлять суливший выгоды брак для кого-либо из дорогой его сердцу молодежи, к которому могли привести эти постоянные встречи, и презирал подобную предусмотрительность, почитая ее унижительной, он не мог не замечать, правда, лишь в общем, не придавая этому значения, что мистер Крофорд особо отличает его племянницу, не мог, вероятно (но не отдавал себе в том отчета), и удержаться от того, чтоб тем охотнее отвечать согласием на приглашения Грантов.

Однако, когда после многих споров и многих сомнений – «Ведь сэр Томас, кажется, к нам не расположен, а леди Бертрам так тяжела на подъем!» – Гранты наконец отважились на такое приглашение, готовность, с какою сэр Томас согласился отобедать в пасторате вместе со всей семьею, была вызвана только воспитанностью и доброжелательностью и не имела касательства к мистеру Крофорду, который в его глазах был всего лишь одним из членов этой милой семьи, и только во время этого визита ему впервые пришло в голову, что кто-либо из тех, кто склонен к подобного рода праздным наблюдениям, пожалуй, счел бы Крофорда поклонником Фанни Прайс.

По ощущенью всех присутствовавших встреча оказалась весьма приятная; собралось как раз столько, сколько надобно, любителей поговорить и любителей послушать, а что до самого обеда, он, как всегда у Грантов, был изыскан и обилен, совершенно таков, к каким все привыкли, и потому ни у кого, кроме тетюшки Норрис, не вызвал никаких чувств, она же не могла спокойно видеть множество кушаний, которыми был уставлен огромный стол, поминутно ждала какого-нибудь подвоха от слуг, проходящих у ней за спиною, и вынесла некое весьма свежее убеждение, что при таком множестве блюд какое-нибудь уж непременно остынет.

Как заранее предполагали миссис Грант и ее сестра, вечером, когда составила партия в вист, осталось достаточно народу для какой-нибудь карточной игры, где каждый играет за себя, и, как всегда в подобных случаях, все с готовностью согласилось, поскольку иного выбора у них не было. Недолго думая, решили играть в «спекуляцию»; и леди Бертрам скоро оказалась в тяжелейшем положении, поскольку ей предложили самой выбрать, во что она хочет играть, предпочтет ли вист или нет. Она заколебалась. По счастью, рядом был сэр Томас.

– Чем мне заняться, сэр Томас? Вистом или «спекуляцией» – что меня более развлечет?

На миг задумавшись, сэр Томас присоветовал «спекуляцию». Сам он собирался играть в вист и, должно быть, почувствовал, что, имея ее партнером, не очень и развлечется.

– Прекрасно, – ответила ее светлость, очень довольная. – Тогда, пожалуйста, «спекуляция», миссис Грант. Я совсем ее не знаю, но Фанни меня научит.

Тут, однако ж, вмешалась Фанни, с тревогой объявив о своем полном неведении: она в жизни не играла в эту игру и не видела, как в нее играют; и леди Бертрам опять было заколебалась, но все принялись ее уверять, что нет ничего проще, что это самая простая

карточная игра, а Генри Крофорд самым серьезным образом стал просить у ней позволения сесть между ее светлостью и мисс Прайс и учить их обеих, и тогда все образовалось; сэр Томас, миссис Норрис, доктор и миссис Грант – само превосходство ума и чувство собственного достоинства – сели за один стол, а оставшихся шестерых мисс Крофорд рассадил за другим. Генри Крофорд, к его удовольствию, был посажен подле Фанни и оказался занят по горло, поскольку должен был распоряжаться картами двух игроков, как, разумеется, и своими собственными, ибо, хотя Фанни в первые же три минуты отлично овладела правилами игры, ему надо было еще ободрять ее, разжигать в ней жадность, ожесточать сердце, что было нелегко, в особенности же когда ей предстояло играть против Уильяма; а что до леди Бертрам, ему пришлось весь вечер быть в ответе за ее репутацию и удачу; в самом начале игры он успел помешать ей заглянуть в ее карты, и уже до самого конца ему пришлось каждый раз подсказывать ей, что с ними делать.

Он был отменно настроен, действовал со счастливой легкостью и превосходил всех прочих живостью, находчивостью и игровой дерзостью, что делало честь игре; и круглый стол был весьма отраден своим несходством с чопорной сдержанностью и степенной молчаливостью игроков в вист.

Дважды сэр Томас справлялся, довольна ли и успешно ли играет его благоверная, но тщетно: никакой паузы не могло хватить для его обстоятельной манеры разговора; и об успехах леди Бертрам мало что было известно до тех пор, пока после окончания первого роббера миссис Грант не подошла к ней и не поинтересовалась:

– Надеюсь, ваша милость довольна игрою.

– О да, конечно! Право, очень интересно. Престранная игра. Я так и не знаю, в чем она состоит. Я только не должна заглядывать в свои карты, а все остальное делает мистер Крофорд.

– Бертрам, – сказал Крофорд немного погодя, улучив минуту затишья в игре. – Я вам еще не рассказывал, что со мной произошло вчера, когда я возвращался домой. – Накануне они вместе охотились, и в разгар гона, на изрядном расстоянии от Мэнсфилда, когда оказалось, что его лошадь потеряла подкову, Генри Крофорд был вынужден прервать охоту и постараться доехать до дому. – Я вам говорил, что, проехав старую крестьянскую усадьбу, где растут тисы, я заблудился, а все оттого, что терпеть не могу спрашивать дорогу; но я вам не говорил, что мне, по обыкновению, повезло, – со мною всегда так: стоит мне в чем-то промахнуться, и промах непременно обернется выигрышем, – ехал я, ехал, и приехал как раз туда, где мне давно любопытно было побывать. Поворотил я за край бугристого поля и очутился посреди уединенной деревушки; вокруг пологие холмы, путь мне преграждает узкий ручей, который надобно перейти вброд, справа, на эдаком пригорке, стоит церковь, для подобного места поразительно большая и внушительная, и никакого дома вроде господского, только вблизи того пригорка с церковью виднеется один – скорее всего пасторат. Короче говоря, я оказался в Торнтон Лейси.

– Похоже на то, – сказал Эдмунд. – Но в какую сторону вы поворотили, когда миновали усадьбу Сиуэла?

– Никогда не отвечаю на такие коварные неуместные вопросы, но, даже если б я и стал отвечать на все, о чем вы могли бы спрашивать добрый час, все равно вы б мне не доказали, что это не Торнтон Лейси, потому что это был именно Торнтон Лейси.

– Значит, вы кого-то спросили?

– Нет, я никогда не спрашиваю. Но я сказал какому-то человеку, который чинил живую изгородь, что это Торнтон Лейси, и он согласился.

– У вас хорошая память. Я и забыл, что так много рассказывал вам об том месте.

В Торнтон Лейси ему предстояло вскорости поселиться, как было отлично известно мисс Крофорд; и она тем усиленней заинтересовалась покупкою билета Уильяма Прайса.

– И как же вам понравилось то, что вы увидели? – продолжал Эдмунд.

– Очень даже понравилось. Счастливчик вы. Там хватит работы на пять лет, до того, как он станет пригоден для жилья.

– Нет-нет, все совсем не так плохо. Скотный двор необходимо перенести, согласен. Но больше, по-моему, ничего не надобно. Дом совсем неплохой, и, когда скотный двор не будет его загораживать, к нему откроется вполне приемлемый подъезд.

– Скотный двор надобно убрать и на его месте насадить деревья, чтоб не видна была кузница. Фасад дома следует повернуть с севера на восток, чтобы главный вход и основные комнаты обращены были на восток, где вид и вправду прелестный. Это, без сомненья, можно сделать. Вот с той стороны и должен быть подъезд, через теперешний сад. А на теперешних задах дома надобно насадить новый сад – он будет очень красив, будет полого спускаться на юго-восток. Склон этот как будто нарочно для того и предназначен. Я проехал пятьдесят ярдов по аллее от церкви к дому, хотел все получше рассмотреть, и представил, как это можно переустроить. Нет ничего проще. Луга за будущим садом и за теперешним, что тянутся вдоль аллеи, на которой я стоял, и, изгибаясь, поворачивают к главной дороге, идущей через деревню, их все, конечно же, надобно объединить; луга прелестные, красиво перемежаются купами деревьев. Они, верно, принадлежат приходу. А если нет, вам следует их приобрести. Теперь о ручье – что-то с ним надобно делать, но что, я пока не решил. Есть у меня две-три идеи.

– Есть и у меня две-три идеи, – сказал Эдмунд. – И одна из них, что лишь очень немного из того, что вы предложили касательно Торнтон Лейси, претворится в жизнь. Мне следует удовольствоваться куда меньшей красотой и украшением. Я думаю, дом и прилегающие к нему земли можно сделать удобными и придать им вид жилища джентльмена без особых затрат, и этого должно быть довольно; и, я надеюсь, этого будет довольно всем тем, кому я дорог.

Тон Эдмунда и мимолетный взгляд, брошенный на мисс Крофорд, когда он выразил эту надежду, вызвал у ней подозрение и досаду, и она поспешно закончила сдавать Уильяму Прайсу и, за чрезмерно дорогую цену оставив у себя валета, воскликнула:

– Вот, ставлю на карту последнее, как и положено решительной женщине. Холодная рассудительность не для меня. Я не из тех, кто сидит сложа руки. Если я проиграю игру, так не оттого, что не боролась за победу.

Она выиграла, но заплатила за победу слишком дорого. Вновь начали сдавать карты, и Крофорд опять заговорил о Торнтон Лейси.

– Мой план, возможно, не самый лучший. У меня не достало времени. Но сделать там надобно немало. Торнтон Лейси того заслуживает, и, если вы сделаете много меньше того, что можно было бы там сделать, вы будете не удовлетворены. (Простите, ваша милость, вам не следует заглядывать в карты. Вот так, пусть просто лежат перед вами.) Дом того заслуживает, Бертрам. Вы говорите, ему надобно придать вид усадьбы джентльмена. Этого можно достичь, избавившись от скотного двора, потому что, если б не эта чудовищная помеха, я в жизни не видел, чтоб от подобного дома исходило бы такое благородство, чтоб он так выгодно отличался от обыкновенного пастората, от жилища людей с доходом в несколько сотен в год. Не какие-нибудь отдельные комнатухи с низкими потолками, где крыш столько ж, сколько окошек, – не стиснутый по-плебейски квадратный арендаторский дом, нет, это дом просторный, он весь составляет единое целое, видом своим напоминает особняк, жилище почтенного семейства, которое живет в нем из поколения в поколение, по

крайней мере, лет двести и сейчас располагает двумя-тремя тысячами в год. – Мисс Крофорд слушала, а Эдмунд согласно кивнул. – И потому, что там ни делай, он все равно будет выглядеть жилищем джентльмена. Но он может стать значительно лучше. (Дай-ка я взгляну, Мэри. Леди Бертрам дает дюжину за эту королеву. Нет-нет, дюжины она не стоит. Леди Бертрам не дает дюжину. Ей нечем будет ответить. Продолжайте, продолжайте.) Усовершенствованиями, которые я предложил, его можно еще более облагородить (я вовсе не настаиваю, чтоб вы следовали моему плану, хотя, между прочим, сомневаюсь, что кто-нибудь придумает лучший). Его можно превратить в настоящий загородный дом. Благодаря разумным усовершенствованиям он из жилища джентльмена станет жилищем человека образованного, современного, со вкусом, с хорошим знакомством. Все это может отпечататься на нем; и дом приобретет такой вид, что каждый проезжий станет почитать его хозяина крупным землевладельцем, тем более что нет поблизости настоящей дворянской усадьбы, которая могла бы с ним соперничать; обстоятельство, которое, между нами говоря, делает тем драгоценней такое местоположение с точки зрения привилегий и независимости. Вы-то, надеюсь, согласны, – сказал он мягче, поворачиваясь к Фанни. – Вы там были?

Фанни ответила коротким «нет» и попыталась прикрыть свой интерес к сему предмету пристальным вниманием, с которым стала следить за братом, а он изо всех сил старался навязать ей невыгодную сделку, провести ее, но Крофорд продолжал:

– Нет, нет, вам не следует расставаться с королевой. Вы дали за нее слишком большую цену, а ваш брат предлагает вам меньше половины. Нет-нет, сэр, руки прочь, руки прочь, ваша сестра не отдает королеву. Она уже решила. Вы выиграете, – продолжал он, снова поворачиваясь к Фанни, – без сомненья, выиграете.

– А Фанни предпочла бы, чтоб выиграл Уильям, – сказал Эдмунд, улынувшись ей. – Бедная Фанни! Ей не дали сплутовать не в свою пользу, а ей так хотелось!

– Мистер Бертрам, – сказала мисс Крофорд несколько минут спустя, – Генри такой превосходный советчик по части усовершенствований, что, если вы станете затевать что-нибудь такое в Торнтон-Лейси, вам без его помощи не обойтись. Только подумать, как он оказался полезен в Созертоне! Только подумать, какие там затеяли огромные перемены благодаря тому, что он поехал с нами туда однажды жарким августовским днем, чтоб осмотреть парк, – только вспомнить, как заиграл всеми красками его талант. Мы съездили туда и воротились домой, а уж что там было придумано, никакими словами не передать!

Взгляд Фанни, печальный, даже укоризненный, на миг обратился на Крофорда, но, встретясь с ним взглядом, она тотчас отвела глаза. Что-то поняв, он посмотрел на сестру, покачал головою и со смехом ответил:

– Не так уж и много в Созертоне было придумано, но день был такой жаркий, и мы все ходили в поисках друг друга, сбитые с толку. – Как только он смог укрыться за общим разговором, он прибавил тихонько, обращаясь к одной только Фанни: – Мне было б жаль, если б вы судили о моих способностях строить планы по тому дню в Созертоне. Сейчас я все вижу по-иному. Не думайте, будто я такой, каким представился вам тогда.

Тетушка Норрис услышала слово «Созертон» в минуту счастливого отдыха после решающей взятки, которая ей досталась благодаря их с сэром Томасом искусной игре против козырей, находящихся на руках у доктора и миссис Грант, и, весьма тем обрадованная, воскликнула:

– Созертон! Да, вот это усадьба так усадьба, чудо что за день мы там провели. Тебе очень не повезло, Уильям, но когда приедешь в следующий раз, я надеюсь, дорогие наши мистер и миссис Рашуот будут дома и, уж будь уверен, оба примут тебя как нельзя любезней. Твои кухни не из тех, кто забывает родных, а мистер Рашуот такой душенька. Они ведь



сейчас в Брайтоне, живут в самом наилучшем доме, как оно и следует при богатстве мистера Рашуота. Не знаю в точности, каково там расстояние, а только когда поедешь назад в Портсмут, ежели это не очень уж далеко, надобно тебе засвидетельствовать им свое почтение. И я тогда передам с тобою посылочку, которую хотела б переправить твоим кузинам.

– Я бы с превеликим удовольствием, тетушка, но Брайтон чуть не у мыса Бичи-Хед, и, если б я даже мог сделать такой крюк, где мне надеяться, что в таком роскошном месте будут рады захудалому, бедному гардемарину вроде меня.

Тетушка Норрис принялась было горячо его заверять, что он может рассчитывать на приветливость Рашуотов, но ее остановил сэр Томас.

– Не советую тебе ехать в Брайтон, Уильям, – веско произнес он. – Я полагаю, в скором времени тебе представится более удобный случай встретиться с ними, но мои дочери всегда и везде были бы рады своим кузинам. И ты увидишь, что мистер Рашуот самым искренним образом расположен относиться ко всем нашим родным, как к своим собственным.

– Лучше б ему быть личным секретарем первого лорда Адмиралтейства, – только и ответил на это Уильям, да и то вполголоса, чтоб это не достигло ничьих ушей, и на том разговор окончился.

Пока что сэр Томас не заметил в поведении мистера Крофорда ничего такого, что бы его заинтересовало; но, когда после второго роббера партия в вист была окончена и, оставив мистера Гранта и миссис Норрис за обсуждением последней игры, он стал наблюдать за другим столом, он увидел, что его племянница пользуется благосклонностью и к ней обращены даже некие знаки особого внимания.

Генри Крофорд был увлечен своим новым планом преобразования Торнтон Лейси и, так как Эдмунд его не слушал, с весьма серьезным видом подробно излагал этот план своей милой соседке. Он задумал зимою снять этот дом, дабы иметь здесь по соседству свое жилище, и не для того только, чтоб располагаться в нем во время охотничьего сезона (как объяснил он ей в ту минуту), хотя и по этим соображениям тоже, поскольку, несмотря на всю любезность доктора Гранта, он чувствует, что, поставив в докторову конюшню своих лошадей, конечно же, обременяет хозяина; но его приверженность к здешним краям не ограничивается развлечением, одним сезоном в году: он всем сердцем желает обрести здесь приют, в любое время располагать небольшой усадьбой, где можно было бы проводить все свободное время, чтоб продолжать, углублять, всемерно совершенствовать ту дружбу и близость с обитателями Мэнсфилд-парка, которая с каждым днем становится ему все дороже. Сэр Томас слушал и не находил в словах молодого человека ничего обидного. В них не было недостатка в уважении; и Фанни слушала его так благонаравно, скромно, спокойно, безо всякой игривости, что ее не в чем было упрекнуть. Она говорила мало, лишь время от времени соглашалась с Крофордом, и ничем не показывала, будто склонна отнести хотя бы часть его похвал на свой счет, никак не укрепляла его в намерении обосноваться в Нортгемптоншире. Увидев, кто за ним наблюдает, Генри адресовался с тем же к сэру Томасу тоном не столь приподнятым, но по-прежнему исполненным чувства.

– Хочу заделаться вашим соседом, сэр Томас, вы, должно быть, слышали, как я говорил об этом мисс Прайс. Могу я рассчитывать на ваше согласие и на то, что вы не станете отговаривать вашего сына от такого арендатора?

Учтиво кивнув, сэр Томас отвечал:

– Это единственное качество, сэр, в каком я не желал бы видеть вас своим постоянным соседом. Но я надеюсь и верю, что Эдмунд сам поселится в своем доме в Торнтон Лейси. Эдмунд, я не слишком много на себя беру?

Только при этом обращении отца Эдмунд впервые услышал, о чем идет речь, но, поняв вопрос, не растерялся:

– Разумеется, сэр, я непременно там поселюсь, другого у меня и в мыслях не было. Но хотя я отказываю вам как арендатору, Крофорд, приезжайте ко мне как друг. Каждую зиму считайте дом наполовину своим, и мы увеличим конюшни по вашему новому проекту, со всеми новшествами вашего проекта, какие придут вам в голову нынешней весной.

– Мы окажемся в проигрыше, – продолжал сэр Томас. – Его отъезд, хотя и всего за восемь миль, нанесет непоправимый урон нашему семейному кружку, но я был бы глубоко огорчен, если б мой сын мог примириться на меньшем. Вполне естественно, что вы не задумались об этом всерьез, мистер Крофорд. У прихода существуют нужды и потребности, которые могут стать известны лишь пастырю, живущему там постоянно, и никакое доверенное лицо не в силах удовлетворить их в той мере, как он сам. Эдмунд мог бы, так сказать, исполнять свой долг перед Торнтоном, то есть читать молитвы и проповеди, не покидая Мэнсфилд-парк; он мог бы ездить туда верхом по воскресеньям, в дом будто бы обитаемый, и отправлять богослужение, он мог бы быть торнтонским священником каждый седьмой день три-четыре часа, если б это его удовлетворило. Но не удовлетворит его это. Он знает, что человеческой натуре недостаточно того урока, который она получит во время воскресной службы, и что, если он не живет среди своих прихожан и постоянным вниманием не проявляет себя их доброжелателем и другом, он делает слишком мало и для них и для себя.

Крофорд кивком выразил свое согласие.

– Повторю снова, – прибавил сэр Томас, – я был бы счастлив видеть мистера Крофорда живущим в любом доме в нашем краю, только не в Торнтон Лейси.

Мистер Крофорд поклонился в знак признательности.

– Сэр Томас, без сомненья, понимает обязанности приходского священника, – сказал Эдмунд. – Будем надеяться, что его сын сумеет доказать, что и ему они известны.

Как бы ни подействовала в самом деле маленькая речь сэра Томаса на мистера Крофорда, она привела в замешательство двух самых внимательных его слушательниц – мисс Крофорд и Фанни. Одна из них, до сих пор не знавшая, что Торнтон Лейси так скоро и так бесповоротно станет для Эдмунда домом, опустив глаза, задумалась о том, каково будет не видеть его всякий день; а другая пробудилась от приятных фантазий, которыми до того тешила себя, представляя картину будущего Торнтона, убедительно нарисованную братом, и уже не могла долее закрывать глаза на церковь и священника и видеть лишь достойную, изящную, перестроенную на современный лад усадьбу обеспеченного человека, куда он порою наезжает, – и потому вспылала к сэру Томасу доподлинной неприязнью, почитая его разрушителем сей картины, и страдая всего более оттого, что его характер и поведение обязывали поневоле к сдержанности, да еще оттого, что не могла она позволить себе высмеять все это и тем дать выход своему разочарованию.

Всем ее приятным размышленьям пришел конец. Раз настал час поучений, пора кончать с картами, и она рада была, что ей вздумалось и удалось переменить место и соседа, чтоб воспрянуть духом.

Самые солидные особы собравшегося нынче общества в беспорядке расположились у камина в предвидении близкого расставанья. Уильям и Фанни оказались поодаль от всех. Они только вдвоем остались за опустевшим карточным столом и мирно разговаривали, не думая обо всех прочих, пока кое-кто из прочих не подумал о них. Первым пододвинул к ним свой стул Генри Крофорд и несколько минут молча наблюдал за ними, а за ним самим тем временем наблюдал сэр Томас, который стоя беседовал с доктором Грантом.

– Сегодня у нас бал, – сказал Уильям. – Будь я в Портсмуте, я б, наверно, пошел.

– Но ты не жалеешь, что ты не в Портсмуте, Уильям?

– Нет, Фанни, нисколько. Мне еще хватит и Портсмута и танцев, когда я не смогу быть с тобою. Да и что за радость идти на бал, ведь у меня скорей всего не будет дамы. Портсмутские барышни воротят нос ото всех, кто еще не произведен в офицеры. В их глазах гардемарин ничто. Он и вправду ничто. Помнишь барышень Грегори, они стали на редкость хорошенькие, но меня едва замечают, потому что за Люси, видите ли, ухаживает лейтенант.

– Стыд и срам! Но не огорчайся, Уильям. (А у самой от возмущения на щеках вспыхнул румянец.) Тут нечего огорчаться. Ведь дело не в тебе, так или иначе в свое время через это прошли все величайшие адмиралы. Помни об этом, постарайся утвердиться в мысли, что это одна из тягот, какие выпадают на долю каждого моряка, вроде плохой погоды и жизни, полной трудностей и лишений, только с тем преимуществом, что этому придет конец и наступит время, когда ничего такого тебе уже сносить не придется. Едва ты станешь лейтенантом!.. Только подумай, Уильям, едва ты станешь лейтенантом, тебе и дела не будет до такого вздора.

– Мне уже начинает казаться, Фанни, что я никогда не стану лейтенантом. Всех, кроме меня, производят в офицеры.

– Уильям, дорогой, не надо так, не падай духом. Дядюшка ничего не говорит, но он, без сомнения, сделает все, что в его силах, чтоб тебя произвели в офицеры. Он знает не хуже тебя, как это важно.

Она замолчала, вдруг увидев, что дядюшка куда ближе к ним, чем ей казалось, и каждый счел необходимым перевести разговор на другое.

– А ты любишь танцевать, Фанни?

– Да, очень... только я быстро устаю.

– Хотел бы я пойти с тобою на бал и поглядеть, как ты танцуешь. А у вас в Нортгемптоне балов не бывает? Хотел бы я поглядеть, как ты танцуешь, хотел бы потанцевать с тобою, если ты не против, ведь здесь никому не известно, кто я, а мне хотелось бы еще раз оказаться твоим партнером. Прежде мы ведь часто с тобой плясали, верно? Когда на улице играла шарманка? Я на свой лад неплохой танцор, но, надо думать, ты лучше меня. – И, повернувшись к дядюшке, который теперь стоял совсем рядом, Уильям прибавил: – Не правда ли, сэр, Фанни отлично танцует?

В смятении от такого неслыханного вопроса, Фанни не знала, куда и смотреть, как перенести ответ, который сейчас последует. Серьезнейший упрек или по меньшей мере весьма холодное безразличие, какого она ждала, огорчат брата, а сама она сгорит от стыда. Но, напротив, в словах дядюшки не было ничего похожего:

– К сожалению, я не могу ответить на твой вопрос. С тех пор, когда Фанни была малым ребенком, я не видел, чтоб она танцевала. Но, я думаю, нам обоим можно не сомневаться, что, когда мы все-таки увидим это, а я полагаю, нам вскорости представится такой случай, она, как и подобает девушке нашего круга, не ударит в грязь лицом.

– Я имел удовольствие видеть, как ваша сестра танцует, мистер Прайс, – сказал Генри Крофорд, наклонясь вперед, – и готов ответить на все ваши вопросы по этому поводу к полнейшему вашему удовольствию. Но мне кажется, – он заметил, что Фанни огорчена, – лучше сделать это как-нибудь в другой раз. Одному из присутствующих неприятно, когда говорят о мисс Прайс.

Он и вправду однажды видел, как Фанни танцует, и сейчас непременно ответил бы, что танцевала она легко и плавно, со спокойным изяществом и в согласии с музыкой, однако ж в действительности ни за что бы не вспомнил, как она танцевала, и скорее считал само собой разумеющимся, что она там была, чем удержал в памяти хоть что-то касающееся до нее.

Однако же его сочли поклонником ее искусства танцевать; а сэр Томас, вполне довольный таким мнением, продолжал беседу о танцах вообще, увлекся описанием балов на Антигуа и рассказами племянника о разных танцах, какие ему довелось увидеть, и даже не услышал, как объявили, что его экипаж подан, и догадался об том лишь по суете, которую подняла миссис Норрис.

– Едем, Фанни; Фанни, да что ж это ты? Мы уезжаем. Ты разве не видишь, что твоя тетушка уезжает? Да поторапливайся же. Терпеть не могу заставлять доброго старого Уилкокса ждать. Всегда надобно помнить про кучера и лошадей. Любезнейший сэр Томас, мы условились, что экипаж вернется за вами, за Эдмундом и Уильямом.

Сэру Томасу нечего было на это возразить, ведь он сам так распорядился, посоветовавшись прежде с женою и ее сестрой; но миссис Норрис, видно, забыла про то и вообразила, что это она обо всем позаботилась.

Последнее, что почувствовала Фанни во время этого визита, было разочарование, ибо ее шаль, которую Эдмунд собрался взять у слуги, чтоб накинуть ей на плечи, перехватила быстрая рука мистера Крофорда, и Фанни оказалась обязанной его более подчеркнутому вниманию.

Желание Уильяма видеть Фанни танцующей запомнилось его дядюшке. Надежда на такую возможность, поданная тогда сэром Томасом, была подана не для того, чтоб о ней более не думать. Он по-прежнему склонен был вознаградить столь привлекательное чувство, вознаградить и любого другого, кто желает видеть Фанни танцующей, и вообще доставить удовольствие молодежи; и, обдумав это, сэр Томас в покое и без всяких помех принял решение, которое стало известно утром за завтраком, когда, помянув и похвалив вчерашние слова племянника, он прибавил:

– Не хотелось бы мне, Уильям, чтоб ты уехал из Нортгемптоншира, не получив такого удовольствия. Мне приятно было бы увидеть, как вы оба танцуете. Ты говорил о балах в Нортгемптоне. Твои кузины иной раз бывали на них, но теперь нам это совсем не подойдет. Для твоей тетушки это будет слишком утомительно. Я полагаю, нам нечего и думать об нортгемптонском бале. Было бы желательней устроить танцы у нас дома, и если...

– Ах, любезнейший сэр Томас, – прервала его тетушка Норрис, – я так и знала, к чему вы клоните. Так и знала, что вы скажете. Если б дорогая наша Джулия была дома или дражайшая миссис Рашуот – в Созертоне, у вас был бы случай соблазниться такой мыслью – устроить в Мэнсфилде танцы для молодежи. Уж в этом я не сомневаюсь. Вот кто бы украсил бал, и, окажись они дома, был бы у нас на Рождестве бал. Поблагодари дядюшку, Уильям, поблагодари дядюшку.

– Моим дочерям хватает удовольствий в Брайтоне, – веско произнес сэр Томас. – И, надеюсь, они счастливы. А бал, который я намерен дать в Мэнсфилде, – будет для их кузины и кузена. Если б мы могли собраться все вместе, наша радость, без сомненья, была бы полней, но отсутствие одних не должно лишать удовольствия других.

Тетушке Норрис нечего было на это возразить. По лицу сэра Томаса она поняла, что он исполнен решимости, и пришлось ей умолкнуть, пока она не одолела удивление и досаду. В такое время устраивать бал! В отсутствие дочерей! и даже не посоветовавшись с нею! Скоро, однако, она нашла чем утешиться. Все заботы она возьмет на себя; леди Бертрам, конечно же, должна быть избавлена ото всех усилий и хлопот, и все выпадет на ее долю. На балу она будет исполнять обязанности хозяйки; эта мысль тотчас вернула ей хорошее настроение, так что она смогла присоединиться к остальным еще до того, как они высказали всю свою радость и благодарность.

В предвкушении обещанного бала Эдмунд, Уильям и Фанни, каждый на свой лад, так обрадовались, так радостно благодарили сэра Томаса, что большего он и желать не мог. Эдмунд радовался за Фанни и Уильяма. Никогда еще ни одна любезность отца, ни одно доброе дело не доставляли ему такого удовлетворения.

Леди Бертрам, безмятежно спокойная и всем довольная, не имела никаких возражений. Сэр Томас постарался никак ее не взволновать, и она заверила его, «что нисколько не боится никаких волнений, потому что откуда ж им взяться».

Тетушка Норрис уже рассудила, какие комнаты присоветовать сэру Томасу как более всего подходящие для этого события, но оказалось, у него все уже предусмотрено; и когда она порешила и намекнула ему, в какой день быть балу, то убедилась, что он уже и день назначил. Он все основательно продумал, и, как только она будет готова терпеливо его выслушать, он прочтет ей список семейств, которые намерен пригласить, и, неизбежно принимая в расчет, что предупреждены все будут так незадолго, все же надеется собрать довольно молодежи, чтоб составилось двенадцать – четырнадцать пар; и может также

разъяснить, по каким соображениям он полагает именно двадцать второе число самым подходящим днем. Уильяму требуется быть в Портсмуте двадцать четвертого, таким образом, двадцать второе будет его последним днем в Мэнсфилд-парке; но, раз впереди так мало времени, назначать более ранний день было бы неразумно. Тетушке Норрис пришлось удовольствоваться тем, что она совершенно с этим согласна и сама тоже готова была предложить как раз двадцать второе.

Итак, бал непременно будет, и еще до наступления вечера о нем было объявлено всем, до кого это касалось. Приглашения были отправлены с нарочным, и многие девицы, как и Фанни, отправились спать переполненные радостными заботами. А у Фанни в иные минуты заботы даже заслоняли радость, ибо, юная и неопытная, имея столь небольшой выбор и не доверяя собственному вкусу, она мучительно сомневалась, «как же следует одеться», а более всего огорчало ее единственное украшение, очень красивый янтарный крестик, который Уильям привез ей из Сицилии, потому что не было у ней для него никакой цепочки, только ленточка, и хотя однажды она уже так его надевала, позволительно ли это на сей раз, когда все прочие девицы будут красоваться в роскошнейших драгоценностях? Однако ж и не надеть его нельзя! Уильям хотел купить к нему золотую цепочку, но это оказалось ему не по средствам, и оттого, не надев крестик, она жестоко его обидит. Вот что мучило Фанни и заглушало ее радость оттого, что предстоящий бал затеян более всего ради ее удовольствия.

Меж тем приготовления шли своим чередом, а леди Бертрам по-прежнему сидела на диване, нимало ими не потревоженная. К ней несколько чаще обыкновенного обращалась домоправительница, и ее горничная торопилась приготовить ей новое платье. Сэр Томас отдавал распоряжения, а миссис Норрис суежилась, но хозяйку дома все это ничуть не волновало, и, как она и предвидела, «волноваться тут было решительно не из чего».

Эдмунд в эту пору был особенно озабочен; его мысли всецело поглощены были двумя надвигающимися событиями, которые должны будут определить его судьбу – посвящением в сан и супружеством, – событиями столь серьезными, что бал, за которым вскоре последует одно из них, для него вовсе не был исполнен такого значения, как для всех прочих домочадцев. Двадцать третьего он отправится к приятелю, живущему неподалеку от Питерборо, который находится в том же положении, что и он, и на Рождественской неделе им предстоит посвящение в сан. Тем самым наполовину судьба его будет решена, но вот со второй половиной вряд ли все пройдет так гладко. Его обязанности будут определены, но жена, которой предстоит делить их с ним, воодушевлять и вознаграждать его, может еще оказаться недостижимой. Сам он знал, чего хочет, но не всегда был совершенно уверен, что знает, чего хочет мисс Крофорд. Кое в чем у них недоставало согласия, в иные минуты он сомневался, подлинно ли они созданы друг для друга, и, хотя вполне доверял ее чувству настолько, чтоб решиться (почти решиться) в самое ближайшее время осуществить задуманное – едва будут улажены все предстоящие ему разнообразные дела и станет ясно, что он может ей предложить, – им владела тревога, постоянные сомнения, каков-то будет ее ответ. Порою он был глубоко убежден в ее расположении к нему; оглядываясь назад, он видел, что она давно уже поощряет его чувства и в своей бескорыстной привязанности так же совершенна, как и во всем прочем. Но в другое время надежды перемежались сомнениями и страхом, и, думая о том, что, по ее собственным словам, она не склонна к уединенной, затворнической жизни и предпочитает жизнь в Лондоне, чего он мог ждать, кроме решительного отказа? Разве что согласия, которое и вовсе невозможно принять, потому что оно потребовало бы от него слишком тяжких жертв – покинуть эти края, изменить долгу и призванию ему не позволила бы совесть.

Все определялось ответом на один-единственный вопрос. Настолько ли она его любит,

чтоб пренебречь расхождением, что были до сих пор для нее важны, довольно ли любит, чтоб они перестали быть для нее важны? И, хотя на этот вопрос, который он задавал себе вновь и вновь, он по большей части отвечал «да», иной раз ответом было «нет».

Мисс Крофорд вскорости собиралась уехать из Мэнсфилда, и оттого в самое последнее время «да» и «нет» то и дело сменяли друг друга. Эдмунд видел, как сверкали у ней глаза, когда она говорила о письме любезной ее подруги, в котором та надолго приглашала ее в Лондон, и о доброте Генри, который, обязавшись оставаться здесь до января, сможет ее туда сопроводить; говорила об удовольствии такого путешествия с одушевлением, в котором Эдмунду уже слышалось «нет». Но то было в первый день, когда обо всем только что уговорились, в самый первый час, в пылу радости, когда ничего, кроме друзей, к которым она поедет, для нее не существовало. А с тех пор он слышал, как она говорит об этом по-иному, с иными чувствами, с чувствами смешанными. Слышал, как она говорила сестре, что покидает ее с сожалением и уже понимает, что ни лондонские друзья, ни предстоящие удовольствия не стоят того, с чем она расстанется, и хотя она чувствует, поехать надобно, и знает, как ей будет там весело, она уже предвкушает, как опять вернется в Мэнсфилд. Не таилось ли во всем этом «да»?

Поглощенному такими размышлениями, устройством и приведением в порядок своих дел, недосуг было Эдмунду особенно задумываться о вечере, который все остальные домочадцы ждали с куда большим интересом. Если б не радость кузины и кузена, этот вечер был бы для него не дороже любой другой заранее назначенной встречи двух семейств. Каждая встреча несла надежду на новое подтверждение привязанности мисс Крофорд. Но вихрь бала, пожалуй, не слишком благоприятствует возбуждению и выражению серьезных чувств. Ангажировать ее загодя на два первых танца – только это счастье и было в его власти, таким лишь образом он и мог участвовать в приготовлениях к балу, которые с утра до ночи шли вокруг него.

В четверг будет бал, а в среду утром Фанни, все еще не в силах решить, что же ей надеть, надумала искать совета у лиц более просвещенных, обратиться к миссис Грант и ее сестре, чей признанный вкус избавит ее в дальнейшем от упреков; а так как Эдмунд и Уильям поехали в Нортгемптон и у ней были основания полагать, что мистера Крофорда тоже нет дома, она пошла в пасторат, почти уверенная, что у ней будет случай посоветоваться с ними наедине, а для Фанни, которую ее забота приводила в немалое смущение, это и было всего важней.

Немного не доходя до пастората, она встретила мисс Крофорд, которая как раз шла к ней, и, хотя та, разумеется, из учтивости, предложила воротиться в дом, Фанни подумала, что ей, верно, жаль прерывать прогулку, и тотчас же объяснила, с чем шла, ведь если мисс Крофорд готова любезно дать ей совет, обо всем об этом можно с таким же успехом поговорить и не в доме. Мисс Крофорд была, похоже, польщена ее просьбою и, на миг задумавшись, стала куда сердечней прежнего уговаривать Фанни воротиться к ним и предложила пройти в ее комнату, где они смогут уютно поболтать и не побеспокоят доктора и миссис Грант, которые сейчас в гостиной. Фанни это пришлось по душе, и, горячо благодаря мисс Крофорд за готовность и любезное внимание, она прошла за нею в дом, поднялась по лестнице, и скоро они уже поглощены были обсуждением столь волнующего предмета. Мисс Крофорд, довольная, что к ней обратились, предоставила в распоряжение Фанни все свое понимание и вкус, и благодаря ее советам все сразу стало легко, а оттого что она старалась подбодрить Фанни, еще и приятно. Наряд во всех самых важных подробностях был определен.

– Но какое у вас будет ожерелье? – спросила мисс Крофорд. – Вы не собираетесь надеть

крестик, подарок брата?

И говоря так, она разворачивала пакетик, который Фанни заметила у ней в руке, когда они встретились. Фанни поделилась с нею своими желаниями и сомнениями по сему поводу: она не знает, то ли надеть крестик, то ли воздержаться. В ответ мисс Крофорд поставила перед нею шкатулку для украшений и предложила выбрать какую-нибудь золотую цепочку или кольцо. Вот, оказывается, что было в пакете, вот, оказывается, для чего она шла к Фанни; и самым милым образом стала уговаривать Фанни взять какую-нибудь из них для крестика и сохранить на память и чего только при этом не говорила, чтоб преодолеть Фаннину щепетильность, из-за которой та в первое мгновение в ужасе отшатнулась.

– Видите, сколько их у меня, – сказала она. – Я и половины не ношу и даже не вспоминаю про них. Я ведь не предлагаю вам новые, а всего лишь старые. И вы должны простить мою смелость и сделать мне одолжение.

Фанни все противилась, противилась всей душою. Подарок был чересчур дорогой. Но мисс Крофорд настаивала и убеждала, с такой ласковой серьезностью доказывая, что Фанни должна согласиться и ради Уильяма и крестика, и ради бала, и ради нее, что в конце концов преуспела. Фанни почувствовала, что вынуждена подчиниться, не то ее обвинят в заносчивости, равнодушии или еще в каком-нибудь низком свойстве; и, с застенчивой неохотою дав согласие, она принялась выбирать. Она смотрела и смотрела, пытаясь понять, какое из украшений самое недорогое, и наконец остановила свой выбор на одной цепочке, на которую, как ей показалось, чаще других обращали ее внимание. Она была золотая, прелестной работы, и хотя Фанни предпочла бы цепочку подлинней и попроще, что, по ее мнению, больше подошло бы для такого случая, она понадеялась, что выбрала ту, которой мисс Крофорд всего менее дорожит. Мисс Крофорд улыбкою выразила полнейшее одобрение и, чтоб завершить дело, поспешила надеть подарок на шею Фанни и показать, как славно это выглядит.

Спору нет, цепочка Фанни к лицу, и, не считая кое-какой еще оставшейся неловкости, она была до крайности довольна приобретеньем, которое пришлось так кстати. Правда, она бы предпочла быть обязанной кому-то другому. Но чувство это недостойное. Мисс Крофорд предупредила ее желание с добротою истинного друга.

– Всякий раз, как стану надевать эту цепочку, непременно буду о вас думать и чувствовать, как вы необыкновенно добры, – сказала она.

– Когда будете надевать эту цепочку, вы должны думать и еще о ком-то, – отвечала мисс Крофорд. – Вы должны думать о Генри, прежде всего потому, что это был его выбор. Это он мне ее преподнес, и вместе с цепочкой я передаю вам обязанность помнить о первом дарителе. Пусть это будет семейная память. Вспоминая сестру, вы непременно вспомните и брата.

Безмерно удивленная и растерянная, Фанни готова была немедленно вернуть подарок. Взять то, что было преподнесено другим, да еще братом... Нет, невозможно!.. Так нельзя! И поспешно и смущенно, чем немало позабавила подругу, она положила цепочку на прежнее место, порешив либо взять что-нибудь другое, либо не брать ничего. Мисс Крофорд подумала, что в жизни не видела такой милой совестливости.

– Дорогое моя дитя, – со смехом сказала она, – чего вы испугались? По-вашему, увидев, что это моя цепочка, Генри вообразит, будто вы заполучили ее нечестным путем? Или вам кажется, что он будет чересчур польщен, увидав на вашей прелестной шейке украшение, которое приобретено на его деньги три года назад, еще до того, как он узнал, что есть на свете такая прелестная шейка? Или, быть может, – она лукаво поглядела на Фанни, – вы подозреваете, что мы сговорились, что я делаю этот подарок с его ведома и он сам этого



хотел?

Вся залившись краской, Фанни возразила, что ничего подобного у ней и в мыслях не было.

– Что ж, – сказала мисс Крофорд уже серьезней, но нисколько ей не поверив, – тогда, чтоб убедить меня, что вы не заподозрили здесь никаких хитростей и сами, как я всегда считала, не способны на неискренние любезности, возьмите цепочку и больше об этом не говорите. То, что это подарок моего брата, никак не должно до вас касаться, раз это вовсе не умаляет моего желания отдать ее вам. Генри всегда мне что-нибудь дарит. У меня такое множество подарков от него, что я не могу дорожить и половиной, а он половины и не помнит. А что до этой цепочки, я и надевала-то ее раз пять-шесть, не больше, она прелестная, но я никогда о ней и не вспоминаю. И хоть я рада отдать вам любую другую из этой шкатулки, вы на редкость удачно выбрали как раз то, с чем, случись мне выбирать, я всего охотней рассталась бы и что охотней всего увидела бы на вас. Прошу вас, не возражайте более. Такой пустяк не стоит долгих разговоров.

Фанни не посмела более упорствовать и с новыми изъявлениями благодарности опять приняла цепочку, правда, уже без прежней радости, ибо что-то во взгляде мисс Крофорд было ей не по душе.

Она не могла не ощутить перемену в поведении мистера Крофорда. Давно уже ее заметила. Он явно старается угодить ей, он до крайности предупредителен, все обхождение его такое, как было прежде с ее кузинами; он, видно, хочет лишить ее покоя, как лишил покоя их обеих; и уж не с его ли ведома подарена ей эта цепочка! Нет, не было у ней уверенности, что он тут ни при чем, ведь мисс Крофорд преданная сестра, но легкомысленная особа и подруга.

Размышляя, и сомневаясь, и чувствуя, что обладание тем, о чем она так мечтала, не принесло подлинной радости, Фанни возвращалась домой и опять ощущала тяжесть заботы, хотя иную, но, пожалуй, не меньшую, чем когда недавно шла этой же дорожкой.

Оказавшись дома, Фанни немедленно поднялась, чтобы положить в Восточную комнату это неожиданное приобретение – цепочку в некую заветную шкатулку, где хранила все свои более скромные сокровища; но как же она поразилась, когда, отворив дверь, увидела, что за столом сидит и пишет ее кузен Эдмунд. Никогда прежде такого не случилось, и было это и удивительно и радостно.

– Фанни, – сразу же заговорил он, вставая и откладывая перо, а в руке у него было что-то еще, – прости мое вторжение. Я искал тебя, но, немного подождав в надежде, что ты вот-вот придешь, воспользовался твоей чернильницей, чтоб объяснить, почему я здесь очутился. Начало записки ты прочтешь сама, но теперь я скажу о самом деле; видишь ли, я прошу тебя принять этот пустячок – цепочку для Уильямова крестика. Она должна была быть у тебя уже неделю назад, но получилась задержка, мой брат отсутствовал из города долее, чем я рассчитывал, и я только теперь получил ее в Нортгемптоне. Надеюсь, цепочка понравится тебе сама по себе. Я старался сообразоваться с простотою твоего вкуса, но так или иначе я знаю, ты будешь снисходительна к моему намерению и сочтешь его тем, что оно есть – знаком любви одного из самых старых твоих друзей.

И он заторопился к двери еще прежде, чем Фанни, переполненная множеством мучительных и радостных чувств, успела сказать хоть слово; но одно желание, сильнее всех, заставило ее поспешить, и она воскликнула:

– О кузен! Подожди минутку, прошу тебя, подожди.

Эдмунд воротился.

– Я даже и не стараюсь тебя благодарить, – взволнованно продолжала она. – О благодарности не может быть речи. Не могу тебе передать, что я сейчас чувствую. Ты так добр, что подумал об этом, я просто...

– Только это ты мне и хотела сказать, Фанни? – Эдмунд улыбнулся и опять повернулся к двери...

– Нет-нет, не это. Мне надобно с тобою посоветоваться.

Почти бессознательно она стала развязывать пакетик, который он только что ей передал, и, увидев упакованную со всем искусством ювелиров простую золотую цепочку, скромную и изящную, опять не удержалась от восклицания:

– О, какая ж она красивая! именно такая, в точности такая, как мне хотелось! единственно об таком украшении я и мечтала. Она замечательно подходит к моему крестику. Их непременно надобно носить вместе, и так и будет. И как вовремя она подоспела. Ах, Эдмунд, ты даже не представляешь, как ты мне угодил.

– Фанни, милая, да ведь это такая малость. Я очень рад, что цепочка тебе нравится и что завтра ты сможешь ее надеть, но такой пылкой благодарности она вовсе не стоит. Поверь, ничто на свете не радует меня так, как случай порадовать тебя. Да, я могу с уверенностью сказать, что не знаю другой такой полной, такой чистой радости. В ней нет изъяна.

После такого признания Фанни готова была молчать хоть час, но, чуть повременив, Эдмунд вынудил ее спуститься с облаков на землю:

– Но о чем же ты хотела со мною посоветоваться? – спросил он.

Фанни хотела поговорить о цепочке, которую теперь жаждала вернуть, и надеялась, что он одобрит ее поступок. Она рассказала ему о посещении пастората, и тут восторгам ее пришел конец, ибо Эдмунд был поражен и восхищен поступком мисс Крофорд, безмерно счастлив совпадением их намерений, и Фанни не могла не видеть, что эта радость и есть для

него «самая большая на свете», хотя, быть может, она и не без изъяна. Не сразу удалось ей привлечь его внимание к своему плану или услышать его мнение на сей счет; он предался мечтам, полным нежности, и лишь опять и опять с губ у него срывались невнятные похвалы; но, когда он наконец очнулся и понял, он весьма решительно воспротивился желанию Фанни.

– Возвратить цепочку! Нет, дорогая, ни в коем случае. Это жестоко обидело бы мисс Крофорд. Что может быть обидней, чем получить назад подарок, преподнесенный другу в справедливой надежде доставить ему удовольствие. Зачем лишать ее радости, которую она так заслужила своим поступком?

– Будь цепочка подарена мне первой, у меня и в мыслях бы не было ее возвращать. Но раз это сперва подарил ей брат, разве не естественно предположить, что, если мне она не нужна, мисс Крофорд предпочла б оставить ее себе?

– Мисс Крофорд не должна знать, что цепочка не нужна, а тем более, что она тебе не подходит, и совсем не важно, что ее подарил ей брат; раз уж это не помешало ей подарить ее тебе, а тебе принять подарок, значит, ты можешь спокойно оставить ее у себя. Без сомненья, эта цепочка красивее моей и лучше подходит для бала.

– Нет, не красивей для такого случая, нисколько не красивей, и куда меньше мне пригодна. Уильямову крестик у твоя цепочка подходит куда лучше.

– На один вечер, Фанни, на один только вечер, даже если это и жертва, я уверен, ты скорее предпочтешь принести жертву, чем огорчить ту, которая так пеклась о твоём удовольствии. Мисс Крофорд относится к тебе с неизменной благосклонностью, ты, разумеется, этого вполне заслуживаешь, кому знать это лучше меня, но ответить на благосклонность так, чтоб это выглядело неблагодарностью, хотя, я знаю, тобою движет иное чувство, было бы совсем на тебя непохоже. Надень завтра вечером ее цепочку, как обещала, а та, которая была заказана безо всякого касательства к балу, пусть подождет других, менее торжественных случаев. Послушайся моего совета. Не хотелось бы мне, чтоб и тень охлаждения промелькнула между теми, на чью близость я смотрел с величайшим удовольствием и чьи души столь схожи подлинным благородством и природною утонченностью, что малые различия вызваны скорее разницей положения и не могут служить помехою истинной дружбе. Не хотелось бы мне, чтоб и тень охлаждения промелькнула, – повторил Эдмунд и, чуть понизив голос, – между теми двумя, кто мне дороже всех на свете.

И он вышел, а Фанни старалась совладать с собой. Она – одна из тех двух, кто ему дороже всего на свете, это должно придать ей сил. Но другая! первая! Никогда еще Эдмунд не был так откровенен, и хотя сказал он не более того, что она уже давно замечала, то был удар, ибо открылись его убеждения и намеренья. Для него все решено. Он хочет жениться на мисс Крофорд. Жестокий удар, хотя Фанни давно этого ждала; и снова и снова она повторяла, что она – одна из тех двоих, кто Эдмунду всего дороже, прежде чем слова эти обрели для нее смысл. Если б только она могла поверить, что мисс Крофорд достойна его, тогда... Ах, тогда все было бы по-другому!.. много легче! Но он обманывается в ней; он наделяет ее достоинствами, которыми она не обладает; у ней все те же недостатки, что были, но теперь он их не видит. Сколько слез пролила Фанни над этим обманом, пока ей удалось наконец унять свое волнение; и уныние, которое за ним последовало, нашло выход единственно в пылких молитвах о его счастье.

Она намерена была, ибо почитала это своим долгом, попытаться преодолеть всю чрезмерность едва ли не себялюбивой своей привязанности к Эдмунду. Называть или воображать это потерей или разочарованием было бы самонадеянностью, для которой, в своем смирении, она все слова находила недостаточно суровыми. Думать о нем так, как вправе думать мисс Крофорд, было бы с ее стороны безумием. Для нее он ни при каких

обстоятельствах не может быть более чем другом. Почему у ней появилась эта запретная, предосудительная мысль? Такое ей бы и примерещиться не должно. Она постарается быть разумной, чтоб в здравом уме и с чистым сердцем иметь право судить о натуре мисс Крофорд и преимущество воистину печься о благе Эдмунда.

Со всей отвагой убежденности она твердо решила исполнить свой долг; но, так как ею владело еще и множество чувств, свойственных юности и ее натуре, не стоило бы ей особенно удивляться, что, при всех ее добрых намерениях касательно самообладания, она как сокровище, на которое не смела и надеяться, схватила листок бумаги, где Эдмунд начал к ней писать, и, с величайшей нежностью прочитав слова: «Милая моя Фанни, соблаговоли принять от меня», заперла его вместе с цепочкою как самую драгоценную часть подарка. Никогда еще не писал он ей что-то столь похожее на письмо, и, возможно, более и не напишет; и уж наверно не напишет еще раз такое, что столь обрадовало бы ее своей своевременностью и манерой. Не бывало других двух строчек, пусть даже они и вышли из-под пера самого прославленного автора, которые удостоились бы таких похвал, никакие находки не могли так осчастливить самого любящего биографа. Восторг любящей женщины превосходит даже восторг биографа. Сам почерк, независимо от содержания, уже дарит ей блаженство. И никакие буквы, выведенные рукою человеческой, не приносили такого блаженства, как зауряднейший почерк Эдмунда. Эти торопливо написанные строки были само совершенство; счастье было уже в начертании, в порядке первых трех слов – «Милая моя Фанни», на которые она могла бы смотреть без конца.

Благодаря сему счастливому смещению здравого смысла и слабости упорядочив свои мысли и успокоив чувства, Фанни в положенное время могла спуститься в гостиную и приступила к своим обычным занятиям подле тетушки Бертрам, как всегда была почтительна и внимательна и вовсе не выглядела удрученной.

Наступил четверг, суливший надежду и удовольствие; и для Фанни он начался много приятней, чем свойственно иной раз таким своенравным, неуправляемым дням, ибо вскорости после завтрака Уильяму принесли весьма дружескую записку от Крофорда, писавшего, что завтра ему придется на несколько дней поехать в Лондон, а потому он хотел бы обзавестись попутчиком и надеется, что, если Уильям готов покинуть Мэнсфилд на полдня ранее, чем предполагал, он не откажется занять место в его, Крофорда, карете. В Лондон он намерен прибыть ко времени дядюшкиного, по обыкновению позднего, обеда и приглашает Уильяма вместе с ним отобедать у адмирала. Уильям обрадовался предложенью, предвкушая быструю езду в карете четверкой, да притом с таким дружелюбным и любезным приятелем; и, уподобив ее поездке курьером с важными бумагами, сразу же высказал свое согласие и чего только не наговорил о том, сколько в ней будет радости и достоинства; Фанни тоже была очень довольна, но по другой причине: ведь сначала предполагалось, что Уильям выедет наавтра вечером почтовой каретой из Нортгемптона, и пред тем, как он пересел бы в портсмутский дилижанс, ему не удалось бы передохнуть и часу; и хотя из-за приглашенья Крофорда она намного раньше лишилась бы общества брата, она всем сердцем радовалась, что Уильям будет избавлен от неизбежной усталости, и уже не думала ни о чем другом. Сэр Томас одобрил этот план по другой причине. Племянник будет представлен адмиралу, и это может сослужить ему хорошую службу. Адмирал, без сомненья, человек влиятельный. Одним словом, записка Крофорда всех обрадовала. Пол-утра Фанни была из-за нее в приподнятом настроении, радуясь еще и тому, что сам автор уезжает.

А что до бала, который был уже не за горами, столько с ним было связано волнений и страхов, что в предвкушении его она и вполонину не радовалась так, как должна бы и как то предполагали в ней многие девицы, ожидавшие этого же события куда спокойней, ведь для

них не было в нем ни той новизны, ни того интереса, ни того особого наслаждения, какие предстояли Фанни. Мисс Прайс, половине приглашенных известная единственно по фамилии, должна была впервые появиться пред ними, да еще в качестве королевы вечера. Кто мог быть счастливей мисс Прайс? Но ее не приучили сызмала к мысли, что ей надо будет выезжать; а знай она, какую роль отвели ей, по общему мнению, на этом бале, она бы еще сильнее встревожилась, еще сильнее одолели бы ее страхи, что она не так держится и что все на нее смотрят. Потанцевать так, чтоб на нее не слишком обращали внимание и не слишком утомиться, иметь довольно сил и партнеров примерно на половину вечера, немного потанцевать с Эдмундом и не слишком много с Крофордом, знать, что Уильяму весело, и суметь держаться подалее от тетушки Норрис – вот предел ее мечтаний и, кажется, по ее понятиям, величайшее доступное ей счастье. Поскольку то были самые смелые ее надежды, они не могли владеть ею постоянно; и все долгое утро, проведенное по преимуществу с двумя тетушками, ее нередко охватывали и мысли не столь радужные. Уильям решил насладиться своим последним днем в Мансфилде сполна и отправился стрелять бекасов; Эдмунд, как Фанни имела все основания полагать, был в пасторате; и оставленная одна на растерзанье тетушке Норрис, которая была рассержена из-за того, что распоряжаться ужином предстояло не ей, а домоправительнице, и уклониться от встречи с которой она, разумеется, не могла, хотя вполне могла без нее обойтись, Фанни так измучилась, что ей уже стало казаться, будто ото всего связанного с балом исходит одно зло; и когда в конце концов ее все так же в сердцах отослали одеваться, она направилась в свою комнату в таком изнеможенье, вовсе не чувствуя себя счастливой, словно это не ей предстояло танцевать на балу.

Медленно поднимаясь по лестнице, она думала о том, что было накануне – примерно в этот час она воротилась из пастората и в Восточной комнате застала Эдмунда. «Вот бы и сегодня застать его там!» – размышлялась она, Уступая прихоти воображения.

– Фанни, – услышала она в эту минуту совсем рядом. Она вздрогнула, подняла глаза и в прихожей, к которой только что подошла, увидела самого Эдмунда, он стоял на верхней площадке другой лестницы. И сразу же направился к ней.

– У тебя усталое, измученное лицо, Фанни. Ты слишком далеко ходила.

– Нет, я сегодня вовсе не гуляла.

– Значит, ты переутомилась дома, а это еще хуже. Лучше бы погуляла.

Жаловаться Фанни не любила, и оттого ей проще было промолчать; и хотя Эдмунд смотрел на нее с обычной своею добротой, он скоро, без сомненья, уже не думал о том, как она выглядит. Он был явно не в духе; что-то его расстроило, что-то, никак не связанное с нею. Они вместе поднялись по лестнице – комнаты их были на одном этаже.

– Я иду от Грантов, Фанни, – наконец сказал Эдмунд. – Ты, верно, догадываешься, по какому делу я там был, – сказал так серьезно, что об одном лишь деле она и могла подумать, и тошно ей стало, слова не вымолвить. – Я хотел ангажировать мисс Крофорд на два первых танца, – последовало объяснение, и Фанни вновь ожила и, видя, что он ждет от нее каких-то слов, кое-как сумела спросить, преуспел ли он.

– Да, – отвечал Эдмунд. – Она согласилась, но сказала, – продолжал он с вымученной улыбкою, – что будет танцевать со мною в последний раз. Она говорила не серьезно. Я думаю, надеюсь, уверен, это не серьезно, но лучше бы мне этого не слышать. Она сказала, что никогда не танцевала со священником и впредь тоже не станет. По мне, так лучше не было бы никакого бала, как раз в канун... я хочу сказать, на этой неделе, в этот самый день... завтра я уезжаю из дому.

Не сразу Фанни удалось заговорить.

– Мне очень жаль, что ты огорчен, – вымолвила она. – Сегодняшний день должен был

всех радовать. Этого желал дядюшка.

– О да, да! И он и будет радовать. Все будет хорошо. Просто я на минуту расстроился. В сущности, я совсем не думаю, что сегодня бал не ко времени; какое это имеет значение? Но Фанни, ты ж понимаешь, что это значит. – Он задержал ее, взявши за руку, и продолжал негромко, серьезно. – Ты ж видишь, что происходит, и, верно, можешь сама мне объяснить, не хуже, чем я тебе, почему я так расстроен. Я хочу немного поговорить с тобою. Ты на редкость хорошо, душевно слушаешь. Нынче утром меня огорчило ее поведение, и я до сих пор не могу взять себя в руки. Я знаю, у ней такой же милый, безупречный нрав, как у тебя, но под влиянием ее прежнего окружения в ее разговорах, во мнениях, которые она высказывает, проскальзывает что-то нехорошее. Она ничего дурного не думает, а говорит дурно, говорит это шутливо, и, хотя понимаю, что она шутит, меня это глубоко ранит.

– Тому виной воспитание, – мягко сказала Фанни.

Эдмунд не мог не согласиться с нею.

– Да, это ее тетя и дядя! Они отравили прекраснейшую душу!.. Потому что, признаюсь тебе, Фанни, похоже, это не только поведение, похоже, порча задела саму ее душу.

Фанни вообразила, что он взывает к ее здравомыслию, и потому, с минуту подумав, сказала:

– Если ты желаешь только, чтоб я тебя выслушала, кузен, я вся – внимание, но советовать я не вправе. От меня совета не жди. Я на это не способна.

– Ты права, Фанни, что не хочешь брать на себя такую обязанность, но не бойся. Об этом я никогда не стану советоваться. В таких делах не следует искать совета, и, думаю, мало кто его ищет, разве что когда хочет поступить против своей совести. Мне надобно только поговорить с тобою.

– И еще одно, кузен. Извини мою смелость, но, разговаривая, будь осторожен. Не скажи ничего такого, о чем когда-нибудь пожалеешь. Возможно, настанет время...

При этих словах она вспыхнула.

– Милая моя Фанни! – воскликнул Эдмунд, прижимая ее руку к губам почти с такою же нежностью, как если б то была рука мисс Крофорд. – Ты – сама предусмотрительность! Но сейчас в этом нет надобности. Время это никогда не придет. Не бывать тому времени, которое ты подразумеваешь. Я начинаю думать, что нет на это никакой надежды, это все менее и менее вероятно. А если б оно и пришло, не будет ничего такого, о чем тебе или мне страшно было бы вспомнить, ибо никогда я не стану стыдиться своих сомнений, и если им придет конец, то лишь благодаря происшедшим в ней переменам, и тогда память о былых ее недостатках только больше ее возвысит. Ни единой душе на свете я не сказал бы то, что сказал тебе. Но ты всегда знала мое мнение о ней, ты можешь подтвердить, что никогда я не был ослеплен. Сколько раз мы говорили с тобою о ее мелких заблуждениях! Ты не должна меня опасаться, Фанни. Я почти отказался от своих серьезных намерений на ее счет. Но что бы на меня ни нашло, надо быть поистине болваном, чтоб подумать о твоей доброте и сочувствии иначе, как с самой искренней благодарностью.

Он сказал довольно, чтоб поколебать опыт восемнадцатилетней девушки. Сказал довольно, чтоб Фанни почувствовала себя счастливей, чем все последнее время, лицо ее прояснилось, и она ответила:

– Да, кузен, я убеждена, что кто-кто, а ты на это не способен. Я могу не страшиться слушать, что бы ты мне ни рассказал. Говори все что хочешь.

Они уже поднялись на второй этаж, и появление горничной помешало им продолжить беседу. Для Фанниного душевного спокойствия было самое время кончить разговор, потому что еще минута-другая, и Эдмунд, пожалуй, поведал бы ей обо всех слабостях Мэри

Крофорд и о своем унынии. Но теперь он, уходя, смотрел на нее с благодарною нежностью, а у ней ощущение было поистине драгоценное. Уже много часов не испытывала она ничего подобного. С тех пор как прошла первая радость, которую ей доставила записка Крофорда Уильяму, ее одолевали чувства прямо противоположные: ничто вокруг не утешало, и в душе не было надежды. Теперь все вновь заулыбалось. Она вновь подумала о выпавшей Уильяму удаче, которая теперь показалась ей куда значительней, чем поначалу. А бал – какое удовольствие предстоит нынче вечером! В неподдельном оживлении и почти уже со счастливым трепетом, столь естественным в предвкушении бала, она принялась одеваться. Все шло прекрасно, и она оглядела себя в зеркале не без удовольствия, а когда взялась за цепочки, вышло совсем удачно: оказалось, та, которую подарила мисс Крофорд, никак не проходит в колечко крестика. Ради Эдмунда Фанни готова была ее надеть, но она оказалась слишком крупна. Значит, надобно надеть подаренную Эдмундом; и с величайшей радостью соединив цепочку с крестиком, эти напоминания о двух возлюбленных ее души, два самые дорогие ей подарка, и в действительности и в мыслях ее будто нарочно созданные друг для друга, Фанни надела их, и ей показалось, будто в них – частица души Уильяма и Эдмунда, и она поняла, что теперь готова надеть и цепочку мисс Крофорд. Да, именно так и следует поступить. Есть у мисс Крофорд на это право, и, раз ее подарок уже не посягает на другое право, право доброты более подлинной, можно признать и ее великодушие, и даже не без удовольствия. Цепочка и вправду выглядела превосходно, и Фанни вышла наконец из своей комнаты успокоенная и довольная собою и всем вокруг.

Тетушка Бертрам, куда менее сонная, чем обыкновенно, по такому случаю вспомнила о ней. Ей самой вдруг пришло в голову, что, одеваясь к балу, Фанни рада будет получить помощь более умелую, чем можно ждать от простых горничных, и, когда сама была одета, действительно послала к ней в помощь собственную горничную – разумеется, слишком поздно, чтоб от этого был толк. Миссис Чепмэн поднялась на верхний полуэтаж в ту самую минуту, когда Фанни вышла из своей комнаты, полностью одетая, и им лишь осталось обменяться любезностями, но Фанни оценила тетушкино внимание почти так же, как сама леди Бертрам или миссис Чепмэн.

Когда Фанни сошла вниз, дядюшка и обе тетушки были в гостиной. Дядюшка посмотрел на нее с интересом, с удовольствием отметил ее элегантность и то, как на диво она сейчас хороша. При ней он только и позволил себе похвалить ее изящный и весьма подходящий к случаю наряд, однако ж, когда вскоре она вышла из комнаты, он без обиняков воздал должное ее красоте.

– Да, – сказала леди Бертрам, – она прекрасно выглядит. Я послала к ней Чепмэн.

– Прекрасно выглядит! – воскликнула тетушка Норрис. – А как же ей не выглядеть хорошо при том, какие ей даны возможности: в такой семье ее воспитали, и перед глазами все время пример ее кузин. Вы только подумайте, любезный сэр Томас, какие возможности ей даровали мы с вами. Взять хоть платье, которое вы изволили заметить, это ж ваш щедрый подарок ко дню свадьбы нашей дорогой миссис Рашуот. Что бы она была, не протяни мы ей руку помощи?

Сэр Томас ничего более не сказал, но, когда они сели за стол, взгляды обоих молодых людей уверили его, что, когда дамы выйдут, он сможет успешнее коснуться до внешности Фанни. Фанни видела, что на нее смотрят с одобрением, и от одного сознания, что она хороша, она становилась еще краше. У ней было несколько причин чувствовать себя счастливой, а скоро она стала и еще счастливей, ибо, провожая ее тетушек из столовой и придерживая перед ними отворенную дверь, Эдмунд сказал ей, когда она проходила мимо:

– Ты непременно должна танцевать со мною, Фанни, оставь для меня два танца, любые, какие захочешь, кроме первых.

Чего ж было еще желать? Едва ли хоть раз в жизни была она так близка к блаженству. Веселость кузин в дни прежних балов уже не удивляла ее; все и вправду будет чудесно, и она пошла по гостиной, выделявая разные па, благо ее пока не замечала тетушка Норрис, которая сразу же устремилась к камину и стала переворачивать по-своему и портить превосходно сложенные дворецким поленья, горящие таким величавым пламенем.

Так прошли полчаса, которые при любых других обстоятельствах показались бы Фанни томительно долгими, но ее по-прежнему переполняло счастье. Стоило только подумать о разговоре с Эдмундом, и что ей тогда суeta тетушки Норрис, что ей зевки леди Бертрам?

К ним присоединились мужчины, и скоро началось сладостное ожидание экипажей; в гостиной царил дух непринужденности и довольства, мужчины окружили дам, все разговаривали, смеялись, и каждая минута была исполнена радости и надежды. Фанни чувствовала, что веселость дается Эдмунду нелегко, но как отрадно видеть, что его усилия увенчиваются таким успехом.

Когда наконец стали слышны подъезжающие экипажи, когда начали наконец собираться гости, Фанни уже не ощущала прежней веселой легкости на сердце, при виде стольких незнакомых лиц она сжалась, ушла в себя; мало того что образовался солидный круг важной и церемонной публики, вполне под стать сэру Томасу и леди Бертрам, Фанни опять и опять призывали для испытания куда более тяжелого. Дядюшка представлял ее разным гостям, и ей приходилось участвовать в разговоре, и делать реверансы, и опять разговаривать. Трудная то была обязанность, и всякий раз она смотрела при этом на Уильяма – с какою непринужденностью он проходил в глубине залы – и жаждала быть подле него.

Появление Грантов и Крофордов произвело благоприятную перемену. Чопорность отступила пред их простотой и естественностью, пред их широким знакомством: общество распалось на несколько небольших кружков, и всем стало уютнее. Фанни воспользовалась



этим, и, свободная от усилий, которых от нее потребовало светское поведение, была бы снова счастлива, сумеет она удержаться и не переводить взгляд с Эдмунда на Мэри Крофорд и обратно. Та сегодня само очарование – и кто знает, к чему это приведет. Раздумьям Фанни пришел конец, когда она осознала, что пред нею стоит Крофорд, и, почти тотчас пригласив ее на два первых танца, он тем самым правил ее мысли в другое русло. Радость ее от этого была сродни ощущению смертника, которому отменили смертный приговор. Быть ангажированной на первые же танцы так замечательно, ведь открытие бала неотвратимо приближалось, а она столь невысоко себя ценила, что думала, будто, не пригласи ее Крофорд, никто бы не пожелал стать ее партнером и не обошлось бы без чьего-то вмешательства, расспросов, суеты, а это было бы ужасно; однако же ей неприятна была некая многозначительность, с которой он ее пригласил, и она подметила, он бросил быстрый взгляд на ее цепочку, и в глазах его мелькнула улыбка, да, так ей показалось, и Фанни вспыхнула, и тошно ей стало. И хотя второго взгляда, который мог бы ее встревожить, не последовало, хотя обращение Крофорда было всего лишь сдержанно любезным, ей никак не удавалось справиться со своим смущением, еще увеличившимся при мысли, что Крофорд понимает его причину, и она не могла успокоиться, пока он не повернулся к кому-то другому. Тогда она понемногу вновь воспрянула духом, искренне довольная оттого, что у ней есть партнер, добровольный партнер, пригласивший ее до начала танцев.

Когда общество направилось в танцевальную залу, Фанни впервые оказалась подле мисс Крофорд, и та немедля, с улыбкою и уж вовсе недвусмысленно посмотрела на украшение, на которое прежде мельком глянул ее брат, и заговорила было об этом предмете, но Фанни, желая поскорей переменить тему, поспешила объяснить ей, откуда взялась вторая цепочка – цепочка для крестика. Мисс Крофорд слушала, и все предназначавшиеся Фанни похвалы и все намеки вылетели у ней из головы, лишь одно чувство завладело ею, и блестевшие до того глаза ее заблестели еще ослепительней, и она воскликнула пылко и радостно:

– Подарок от него? От Эдмунда? Как это похоже на него! Никакой другой мужчина не подумал бы об этом. Я безмерно его уважаю. – И она огляделась по сторонам, будто ей не терпелось высказать свое уважение ему самому. Но его не оказалось поблизости, он сопровождал нескольких дам, выходящих из комнаты, а к Фанни и мисс Крофорд меж тем подошла миссис Грант, взяла их под руки, и они последовали за всеми остальными.

У Фанни упало сердце, но поразмыслить даже о чувствах мисс Крофорд она не успела. Они вступили в танцевальную залу, играли скрипки, душа ее пришла в волнение и уже не могла сосредоточиться ни на чем серьезном. Надобно было наблюдать за общими приготовлениями, смотреть, что делается вокруг.

Скоро к ней подошел сэр Томас, спросил, ангажирована ли она, и в ответ услышал именно то, чего ждал: «Да, сэр, меня пригласил мистер Крофорд»; Крофорд был неподалеку, сэр Томас подвел его к Фанни, говоря что-то, из чего она поняла, что именно ей предназначено быть в первой паре и открывать бал, – о таком она и помыслить не могла. Всякий раз как она предвкушала сегодняшний вечер, для нее само собой разумелось, что открывать бал будут Эдмунд с мисс Крофорд, и сейчас она так была поражена, что, хотя новость эту услышала от самого дядюшки, все же не удержалась от удивленного восклицанья, намекнула, что для этого она никак не подходит, даже взмолилась, чтоб ее уволили от подобной чести. Уже сама попытка противоречить сэру Томасу свидетельствовала, до какой Фанни дошла крайности, но его слова и вправду безмерно ее ужаснули, и, глядя ему в лицо, она сумела вымолвить, что надеется, что он распорядится по-другому, но напрасна была надежда; сэр Томас улыбнулся, попытался ее приободрить, а потом посмотрел на нее с самым серьезным видом и самым решительным образом произнес:

«Все будет так, как я сказал, моя милая», и Фанни не осмелилась более вымолвить ни слова; а в следующее мгновение Крофорд уже вел ее в конец залы, и они остановились там, ожидая, чтоб к ним присоединились остальные танцующие, пара за парой.

Фанни сама себе не верила. Оказаться во главе такого множества утонченных девушек! Честь слишком велика. С нею обходятся как с ее кузинами! И она унеслась мыслями к обоим кузинам и с самой неподдельной искренней нежностью пожалела, что они сейчас не дома и не могут занять подобающее им место в этой зале и вкушать свою долю развлечений, которые, конечно, привели бы их в восторг. Сколько раз они вслух мечтали о бале у себя дома как о величайшей радости! И вот в Мэнсфилд-парке дают бал, а их нет дома, и открывает его она, да еще и с Крофордом! Наверно, теперь бы они уже не позавидовали, что честь эта досталась ей; но, оглядываясь назад, вспоминая, как все они жили осенью, как относились друг к другу, когда однажды уже танцевали здесь в доме, она и сама с трудом понимала, что же происходит сегодня. Бал начался, Фанни была скорее польщена, чем счастлива, во всяком случае, при первом танце; ее партнер был в превосходном настроении и пытался и ей его передать, но она слишком была испугана и потому никак не могла радоваться, по крайней мере до тех пор, пока ей не перестало казаться, что на нее все смотрят. Однако ж, юная, хорошенькая и послушная партнеру, она и в неловкости своей была грациозна, и мало кто в этой зале не склонен был ее оценить. Она привлекательна, скромна, она племянница сэра Томаса, и, как скоро было замечено, ею восхищается мистер Крофорд. Этого оказалось довольно, чтобы всех к ней расположить. Сам сэр Томас наблюдал с немалым удовлетвореньем, как она скользит в танце; он гордился племянницею, и, не в пример миссис Норрис, отнюдь не считая, будто всей своею прелестью она обязана переселению в Мэнсфилд, он был доволен собою, оттого что оделил ее всем прочим: образованием и хорошими манерами она обязана ему.

Мисс Крофорд читала многие мысли сэра Томаса, когда он стоял и смотрел в залу, и, вопреки всем несправедливостям по отношению к ней, которые он совершил, желая показать себя с наилучшей стороны, она воспользовалась случаем и подошла к нему, чтоб сказать несколько приятных слов о Фанни. Ее похвалы были сердечны, и он принял их именно так, как ей хотелось бы, присоединяясь к ним в той мере, в какой позволяли его обычная сдержанность, учтивость и неторопливая манера речи, и явно был более подготовлен к такому разговору, нежели леди Бертрам, которую Мэри увидела на диване неподалеку и прежде, чем танцевать, подошла к ней сказать, как мило выглядит Фанни.

– Да, она и вправду хорошо выглядит, – невозмутимо отвечала та, – Чепмэн помогла ей одеваться. Я послала к ней Чепмэн. – Так она была поражена собственной добротою, когда вдруг послала к племяннице Чепмэн, что это не шло у ней из головы.

Тетушку Норрис мисс Крофорд знала слишком хорошо, чтоб вообразить, будто можно ее порадовать, похвалив Фанни; и она обратилась к той, как того требовал случай:

– Ах, сударыня, как же нам сегодня недостает наших дорогих миссис Рашуот и Джулии!

И тетушка Норрис вознаградила ее всеми улыбками и любезностями, на какие только у ней достало времени среди множества самой себе навязанных дел – она подбирала игроков в карты, кой о чем намекала сэру Томасу и старалась пересадить всех маменек и прочих сопровождающих в более удобную часть залы.

Мисс Крофорд сильно ошиблась в своих расчетах, лишь когда захотела доставить удовольствие самой Фанни. Она намеревалась привести в счастливый трепет ее сердечко, наполнить ее восхитительным ощущением успеха, и, неверно истолковав Фаннин румянец, когда подошла к ней после первых двух танцев, все еще полагая, что необходимо это сделать, сказала с многозначительным видом:

– Может быть, хоть вы мне скажете, зачем мой брат едет завтра в Лондон? Он сказал, у него там дело, а какое, не говорит. Впервые он отказывает мне в доверии! Но нас всех ждет эта участь. Всем нам рано или поздно находится замена. Вот уже я должна осведомляться у вас. Прошу вас, Фанни, скажите, чего ради едет Генри?

С тою мерой твердости, какую позволяло смущенье, Фанни заверила, что ей ничего не известно.

– Ну что ж, – со смехом сказала мисс Крофорд, – тогда мне остается предположить, что он едет единственно ради удовольствия сопровождать вашего брата и дорогою разговаривать о вас.

Фанни растерялась, но растерянность ее вызвана была недовольством; а меж тем мисс Крофорд удивлялась, отчего она не улыбнется, и почитала ее слишком беспокойной, странной, какою только не почитала, и лишь об одном не догадывалась, что благосклонность Генри не так уж ей и приятна. Сегодняшний вечер принес Фанни много радостей, но не Крофордова благосклонность была тому причиной. Она предпочла бы, чтоб он не так скоро вновь пригласил ее танцевать, и лучше б ей не понимать, что, недавно спрашивая тетюшку Норрис о часе ужина, он заботился о том, чтоб не упустить ее на эту часть вечера. Но избежать его внимания было невозможно; благодаря ему она чувствовала, что всё сегодня ради нее; и нельзя сказать, что его поведение отталкивало Фанни, что он бестактен или хвастлив, а временами, когда заговаривал об Уильяме, он был совсем не неприятен, в нем даже ощущалось делавшее ему честь душевное тепло. И однако ж ее довольство никак не зависело от его благосклонности. Фанни радовалась всякий раз, как смотрела на Уильяма и видела, до чего ему хорошо, всякий раз, как удавалось походить с ним несколько минут по зале и послушать, что он говорит о своих партнершах; она была счастлива оттого, что знала, как ею восхищаются, счастлива оттого, что могла еще долго предвкушать два танца с Эдмундом, а они отодвигались все дальше, ведь ее приглашали наперебой, с ним же определенного уговора не было. Она была счастлива даже и тогда, когда уже танцевала с ним, но не потому, что он заражал ее весельем или был нежно предупредителен, как нынешним благословенным утром. Он был измучен душою, и Фанни счастлива была сознанием, что рядом с нею, своим другом, он обретает покой.

– Я устал от светских обязанностей, – сказал Эдмунд. – Я весь вечер не закрывал рта, а сказать мне было нечего. Но с тобою я отдохну, Фанни. Тебе не надобно, чтоб я тебя развлекал беседою. Давай позволим себе роскошь помолчать.

Фанни даже и согласия не решилась вымолвить. Усталость, в немалой мере вызванная, должно быть, теми же чувствами, в которых он признавался ей нынче поутру, требовала особого уважения, и они протанцевали оба танца, сохраняя такую строжайшую сдержанность, что ни один сторонний наблюдатель не помыслил бы, будто сэр Томас воспитал жену для своего младшего сына.

Нынешний вечер принес Эдмунду мало радости. Мисс Крофорд во время первого танца с ним была весела, но не радовала его эта веселость; не покой принесла она ему, но беспокойство; и после – а оказалось, он не в силах не пригласить ее снова – она совершенно измучила его своей манерой разговора о занятии, которому он вот-вот себя посвятит. Они то разговаривали, то молчали, он убеждал, она высмеивала, и наконец они расстались, в досаде друг на друга. Фанни, которая не могла вовсе не наблюдать за ними, увидела довольно, чтоб испытать кой-какое удовлетворенье. Чувствовать себя счастливой, когда Эдмунд страдает, было бы варварством. Однако ж само убеждение, что он страдает, должно было бы прибавить ей счастья, и вправду прибавило.

Когда два танца с Эдмундом кончились, Фаннино желание танцевать и ее силы тоже

оказались на исходе, и сэр Томас, видя, что в иные минуты она не столько танцует, сколько прохаживается, что она запыхалась и прижимает руку к груди, велел ей сесть. И с этого времени Крофорд тоже перестал танцевать и сел.

– Бедная моя Фанни! – воскликнул Уильям, подойдя к ней на минутку и как заведенный продолжая обмахиваться веером своей партнерши, – как скоро ты изнемогла! Да ведь бал только еще развернулся. Я надеюсь, мы часа два еще потанцуем. Как же это ты так рано устала?

– Так рано! Мой добрый друг, – сказал сэр Томас, со всей необходимой осторожностью доставая часы, – сейчас три часа, твоя сестра не привыкла к такому позднему времени.

– Тогда вот что, Фанни, завтра, когда я буду уезжать, ты не вставай. Спи, пока будет спать, а обо мне не думай.

– Ну что ты, Уильям!

– Как? Она собиралась встать до вашего отъезда?

– Конечно, сэр! – воскликнула Фанни, вскочив, чтоб быть поближе к дядюшке. – Я непременно должна встать и позавтракать с ним. Ведь это последний раз, последнее утро.

– Лучше не вставай. Он должен позавтракать и быть готов не позднее половины десятого. Мистер Крофорд, я полагаю, вы за ним заедете в половине десятого?

Однако ж Фанни слишком настаивала и глаза у ней были полны слез, как тут откажешь, и кончился разговор милостивым «Ну, что ж, ну, что ж», что означало разрешение.

– Да, в половине десятого, – сказал Крофорд вслед Уильяму, – и я буду точен, ведь ради меня любящая сестра не встанет. – И понизил голос, обращаясь к Фанни: – О моем отъезде загорюет лишь опустевший дом. Завтра у нас с вашим братом будут совсем разные представления о времени.

Минуту-другую поразмыслив, сэр Томас пригласил Крофорда разделить с ними ранний завтрак, вместо того, чтоб завтракать одному, сам он тоже откушает с ними; и готовность, с какою было принято приглашение, лишь убедила его, что подозрения, которые (надобно было себе в этом признаться) прежде всего и навели на мысль устроить сегодняшней бал, и вправду весьма основательны. Крофорд влюблен в Фанни. Сэр Томас с удовольствием предчувствовал, чем дело кончится. Племянница его, однако ж, нисколько не была ему благодарна за это приглашение. Она надеялась провести последнее утро наедине с Уильямом. Это была бы несказанная милость. И хотя надежды ее рушились, она и не думала роптать. Напротив, так непривычно ей было, чтобы посчитались с ее чувствами или чтоб что-то было сделано по ее желанию, что она склонна была скорее удивляться и радоваться тому, чего достигла, нежели сетовать на дальнейший неожиданный оборот событий.

В скором времени сэр Томас опять вмешался и посоветовал ей немедленно отправляться спать. У него это называлось «посоветовать», однако же его совет был равен распоряжению, и Фанни только и оставалось, что подняться и, после того как Крофорд сердечнейше с нею распрощался, тихонько выйти; в дверях она остановилась «лишь на миг один», чтоб, подобно леди из Брансхолмского замка<sup>10</sup>, окинуть взглядом счастливую картину, в последний раз увидеть пять-шесть исполненных решимости пар, которые все еще увлеченно танцевали, а потом, под звуки бесконечного контрданса, стала медленно подниматься по парадной лестнице, и ее лихорадило от надежд и страхов, от супа и глинтвейна, гудели ноги и одолевала усталость, и было тревожно и беспокойно, но наперекор всему душа ликовала, восхищенная балом.

Отсылая Фанни, сэр Томас, возможно, пекся не только о ее здоровье. Быть может, он подумал, будто Крофорд сидел подле нее уж слишком долго, а возможно, хотел отрекомендовать ее в качестве хорошей жены, показав, как она послушна.

Остался позади бал, а теперь и завтрак; брат с сестрою расцеловались на прощанье, и Уильям уехал. Крофорд, как и предсказывал, появился минута в минуту, и последняя трапеза была скорой и приятной.

До последней минуты занятая Уильямом, Фанни теперь воротилась в комнату, где они завтракали, с глубокой печалью на сердце, горюя о грустной перемене; и здесь дядюшка по доброте сердечной оставил ее в одиночестве, чтоб она могла поплакать на покое, возможно, думая, что опустевшие стулья двух молодых людей вызовут в ней восторженную нежность и что горчица и кости от холодной свинины, оставшиеся на тарелке Уильяма, и яичная скорлупа на тарелке Крофорда будут равно взывать к ее чувствам. Как и предполагал дядюшка, Фанни села и заплакала от любви, но от любви сестринской и никакой другой. Уильям уехал, и ей теперь казалось, что, пока он гостил в Мэнсфилде, она большую часть времени растратила попусту в напрасных треволнениях и себялюбивых заботах, с ним вовсе не связанных.

Таков был нрав Фанни, что стоило ей подумать о тетушке Норрис, предоставленной самой себе в скудном и безрадостном ее домишке, и она неизменно принималась укорять себя в каком-нибудь пустячном недостатке внимания к той, когда они виделись в последний раз; где ж ей было надеяться, что за две недели, которые Уильям провел в Мэнсфилде, она успела сказать и подумать все, на что он был вправе рассчитывать.

Тягостный и печальный то был день. Вскорости после второго завтрака простился со всеми на неделю и Эдмунд, сел на коня и поскакал в Питерборо, – теперь уехали все. О вчерашнем бале остались одни воспоминания, которые Фанни не с кем было разделить. Она разговаривала с тетушкой Бертрам – надо ж ей было хотя с кем-то поговорить о бале, но тетушка так мало заметила из того, что происходило на бале, и так была нелюбопытна, что разговаривать с нею было весьма утомительно. Леди Бертрам не помнила толком ни кто во что был одет, ни кто где сидел за ужином, помнила единственно свой туалет и свое место. Не удержала она в голове, что ж это такое она услышала об одной из девиц Мэддокс и что ж это такое леди Прескот заметила в Фанни; не уверена была, то ли полковник Харрисон говорил об Уильяме, то ли о Крофорде, когда сказал, что он самый красивый молодой человек в зале; кто-то что-то ей шепнул, да только она позабыла спросить сэра Томаса, о чем шла речь. Таковы были самые длинные ее речи и самые отчетливые высказывания; в остальном Фанни только и слышала от нее, что вялые: «Да... да... очень хорошо... разве ты?.. разве он?.. А я этого не видела... Я не отличила бы одного от другого». Худо это было. Не многим лучше досадливых ответов тетушки Норрис, окажись она тут; но она отбыла восвояси, запасшись избыточными желе, дабы попотчевать ими занемогшую служанку, и в здешнем тесном кружке царили мир и доброжелательность, хотя более нечем было похвастать.

Вечер был такой же тягостный, как день.

– Не пойму, что это со мной такое! – сказала леди Бертрам, когда со стола убрали чайные принадлежности. – Я совсем отупела. Должно быть, оттого, что вчера засиделись допоздна. Фанни, придумай что-нибудь, чтоб я не клевала носом. Вышиванье валится из рук. Поди-ка принеси карты, а то я вовсе отупела.

Фанни принесла карты и, пока не пришла пора идти спать, играла с тетушкой в крибидж; а поскольку сэр Томас читал про себя, следующие два часа безмолвие прерывалось единственно карточным счетом:

– Теперь получается тридцать один. Четыре на руках и восемь в казне.

– Вам сдавать, тетушка. Хотите, я сдам за вас? Фанни снова и снова думала о том, как все переменялось за последние сутки в этой комнате и во всей этой части дома. Вчера вечером гостиную переполняли надежды и улыбки, суета и движение, шум и блеск, и не только гостиную, но весь дом. Теперь же повсюду лишь вялость и безлюдье.

Хороший ночной сон подбодрил Фанни. На завтра она уже думала об Уильяме повеселее, а так как утром ей представился случай очень мило поболтать с миссис Грант и мисс Крофорд о вечере четверга, и не обошлось в их разговоре без преувеличений, на какие способно воображение, без смеха и шуток, что непременно следует за прошедшим балом, то Фанни уже не так трудно было обрести свое обычное настроение и освоиться с затишьем этой мирной недели.

Да, никогда еще на памяти Фанни в Мэнсфилде не бывало так малоллюдно; уехал и тот, от кого исходило ощущение уюта и бодрости при всякой трапезе и всякий раз, когда семья собиралась вместе. Но к этому надобно притерпеться. Скоро он уедет совсем; и Фанни благодарила судьбу, что может сидеть в одной комнате с дядюшкой, слышать его голос, прислушиваться к его вопросам и даже отвечать на них без прежней мучительной стеснительности.

– Нам недостает обоих наших молодых людей, – говорил сэр Томас в первый и во второй день, когда они собирались после обеда сильно поредевшим кружком; и, заметив в первый день слезы на глазах Фанни, ничего более не добавил, лишь предложил выпить за здоровье отсутствующих; но на другой день пошел несколько дальше. Благоклонно отозвался об Уильяме и выразил надежду на его продвижение по службе. – И есть основания полагать, что теперь он станет навещать нас не так уж редко. Что же до Эдмунда, нам надо привыкнуть обходиться без него, – прибавил сэр Томас. – Эта зима будет его последней в нашем домашнем кругу.

– Да, – сказала леди Бертрам. – Но я предпочла бы, чтоб он не уезжал. Наверно, все они рано или поздно уезжают. А я бы предпочла, чтоб они оставались дома.

Это относилось главным образом к Джулии, которая как раз попросила разрешения вместе с Марией ехать в Лондон, поскольку сэр Томас считал полезным для обеих дочерей дать такое разрешение; леди Бертрам, хоть она при своем добродушии и не стала этому мешать, сетовала теперь на то, что, вместо того чтоб воротиться со дня на день, Джулия еще задержится. Движимый прежде всего здравым смыслом, сэр Томас постарался примирить жену с этой переменою. Он ссылаясь на все чувства, какие надлежит испытывать в этом случае заботливой родительнице, и ей было приписано все, что должна испытывать любящая мать, которая печется об удовольствии своих детей. Выслушав сэра Томаса, леди Бертрам согласно сказала «да» и минут пятнадцать молча поразмыслив, вдруг заявила:

– Я вот думала, думала, сэр Томас, и знаешь, я очень рада, что мы тогда взяли в дом Фанни, ведь теперь, когда наши дети разъехались, видно, как нам это хорошо.

Сэр Томас немедленно с толком повернул ее неловкую похвалу:

– Совершенно справедливо. Не боясь хвалить Фанни в лицо, мы показываем ей, какой славной девочкой ее почитаем... теперь мы особенно дорожим ее обществом. Если ранее добры к ней были мы, теперь мы сами нуждаемся в ее доброте.

– Да, – не сразу отозвалась леди Бертрам, – и так утешительно думать, что уж она-то всегда будет с нами.

Сэр Томас помолчал, с затаенной улыбкою взглянул на племянницу, а потом серьезно ответил:

– Надеюсь, она никогда нас не покинет, до тех пор, пока ее не пригласят в какой-нибудь другой дом, который по справедливости посулит ей большее счастье, чем она узнала у нас.

– Вот уж это мало вероятно, сэр Томас. Кому же вздумается ее приглашать? Мария, верно, будет рада время от времени видеть ее в Созертоне, но, конечно, не предложит ей там поселиться... и здесь ей, без сомненья, лучше. И потом, я не могу без нее обойтись.

Неделя, которая прошла в усадьбе так тихо и мирно, в пасторате оказалась совсем иной. По крайней мере, молодым девицам этих семейств она принесла чувства отнюдь не одинаковые. Для Фанни она была исполнена умиротворения и покоя, для Мэри же – скуки и досады. Кое-что объяснялось разницею нрава и душевного склада – одну так легко было порадовать, другая не привыкла мириться с тем, что не по ней; однако ж всего важней была, пожалуй, разница обстоятельств. В чем-то их интересы были противоположны. Для Фанни отсутствие Эдмунда, причина и цель его отсутствия были истинным облегчением. Для Мэри оно было во всех отношениях мучительно. Ей недоставало его общества каждый день, чуть не каждый час, и так сильно недоставало, что мысль о том, ради чего он уехал, безмерно ее сердила. Он не мог бы придумать ничего неудачней, чем это недельное отсутствие как раз в то время, когда брата ее не было дома и Уильям Прайс тоже уехал, и тем самым окончательно распалось их общество, еще недавно столь оживленное. Мэри не находила себе места. В пасторате оставалось теперь жалкое трио, запертое в четырех стенах из-за нескончаемых дождей и снега, заняться было нечем и надеяться на перемены тоже не приходилось. Она сердилась на Эдмунда за то, что он остался верен своим понятиям и согласно с ними поступал, не посчитавшись с нею (так она на него сердилась, что на бале они расстались чуть ли не врагами), и однако ж, во время его отсутствия не могла не помнить о нем постоянно, перебирала в мыслях его достоинства, думала о его любви и жаждала видеть его ежедневно, как бывало в последнее время. Он отсутствовал излишне долго. Не должен он был уезжать так надолго, не должен был покинуть дом на целую неделю, когда столь близок уже ее отъезд из Мэнсфилда. Потом она принялась винить себя. Напрасно она так горячилась во время их последнего разговора. Страшно ей было, что, говоря о священнослужителях, она употребила несколько сильных, несколько презрительных выражений, вот уж чего делать не следовало. Это было невоспитанно, дурно. Она желала всей душой, чтоб не были они сказаны, эти слова.

Неделя миновала, а досада Мэри не прошла. Все само по себе было худо, но ей стало и того хуже, когда опять настала пятница, а Эдмунд не появился, настала и суббота, а его нет как нет, и когда в воскресенье, при мимолетной встрече с его семейством выяснилось, что он писал домой, что откладывает возвращенье, ибо пообещал несколькими днями дольше погостить у друга.

Если прежде она нетерпеливо ждала его и огорчалась, сожалела о словах, которые сорвались у ней с языка, и страшилась, что они слишком сильно на него подействовали, то теперь эти переживания и страхи удесятились. Более того, ей пришлось одолевать чувство весьма неприятное и совсем ей незнакомое – ревность. У Оуэна, у которого гостит Эдмунд, есть сестры. Быть может, они показались ему привлекательными. Но так или иначе, его отсутствие в то время, когда, как он заранее знал, она предполагала уехать в Лондон, было для нее невыносимо. Воротись Генри, как он намеревался, через три-четыре дня, она сейчас уже покидала бы Мэнсфилд. И ей вдруг стало совершенно необходимо увидеться с Фанни и попытаться еще хоть что-то узнать. Не могла она долее жить в таком злополучном одиночестве; и она направилась в усадьбу, несмотря на трудности пути, которые неделю назад считала непреодолимыми, затем, чтоб услышать немного более того, что знала, затем, чтоб хотя бы услышать его имя.

Первые полчаса были потеряны, потому что Фанни сидела подле леди Бертрам, а, пока не удастся остаться с Фанни наедине, надеяться не на что. Но наконец леди Бертрам вышла из

комнаты, и тотчас же, стараясь голосом не выдать свои чувства, мисс Крофорд заговорила:

– Ну, как вам нравится, что ваш кузен Эдмунд так долго не возвращается? Я думаю, вам приходится хуже всех, ведь дома вы теперь единственная молодая особа. Вам, должно быть, его недостает. Вас не удивляет, что он задерживается?

– Н-не знаю, – неуверенно отвечала Фанни. – Да... по правде сказать, я этого не ждала.

– Быть может, он всегда будет задерживаться дольше, чем намеревался. У всех молодых людей такое обыкновение.

– Но не у Эдмунда. В первый раз, когда он ездил к мистеру Оуэну, он не задержался.

– Теперь ему там больше понравилось. Он сам очень, очень привлекательный молодой человек, и я даже несколько огорчена, что до отъезда в Лондон больше его не увижу, а теперь в этом уже нет сомнений. Я жду Генри со дня на день, и, как только он воротится, меня уже ничто не будет задерживать в Мэнсфилде. Признаться, я была бы рада еще раз увидеть Эдмунда. Но вы непременно ему передадите мой привет. Да... именно привет. Вам не кажется, мисс Прайс, что какого-то слова в нашем языке недостает – между приветом и... сердечным приветом, – которое подошло бы для нашего дружеского знакомства? Знакомства, что продолжалось столько месяцев! Но, возможно, привета в таком случае довольно. Длинное он прислал письмо? Подробно ли написал, как проводит время? Его привлекли там рождественские развлечения?

– Я слышала не все письмо, оно написано дядюшке... но, по-моему, оно совсем короткое, там всего-навсего несколько строк. Я только и слышала, что его друг настаивал, чтоб он пожил там подольше, он согласился. Еще два-три дня или еще несколько дней, я не совсем уверена.

– Вот как, он писал к отцу... А я думала, к леди Бертрам или к вам. Но если к отцу, не удивительно, что он был краток. Кто станет писать к сэру Томасу о том о сем? Если б он написал к вам, он сообщил бы более подробностей. О балах и увеселительных прогулках. Описал бы вам всех и все. Сколько у мистера Оуэна сестер?

– Взрослых три.

– Они музыкальны?

– Не могу сказать. Я ничего такого не слыхала.

– Понимаете, женщина, которая сама играет, когда спрашивает о другой женщине, этим интересуется прежде всего, – сказала мисс Крофорд, стараясь казаться веселой и беззаботной. Но глупо задавать вопросы о молодых девицах... о любых трех сестрах, только что вышедших из детства. И так ясно, каковы они – все получили прекрасное воспитание, все милы, а одна даже очень недурна. В каждой семье есть красавица. Так водится. Две играют на фортепиано, одна – на арфе, и все поют... или пели бы, если б их учили... или оттого, что их не учили, поют еще лучше... словом, что-нибудь в этом роде.

– Я ничего не знаю про сестер Оуэн, – спокойно сказала Фанни.

– Ничего не знаете и, как говорится, вам нет до них дела. В жизни не слыхала, чтоб тон так ясно выражал равнодушие. И вправду, какое может быть дело до людей, которых никогда не видел? Что ж, когда ваш кузен воротится, он застанет в Мэнсфилде тишь и гладь – вся шумная публика уже разъедется: ваш брат, и мой, и я сама. Сейчас, когда день отъезда так близок, мне жаль расставаться с миссис Грант. И ей жаль, что я уезжаю.

Фанни почувствовала, что обязана заговорить:

– Можете не сомневаться, мисс Крофорд, по вас многие будут скучать, – сказала она. – По вас будут очень скучать.

Мисс Крофорд обратила на нее свой взор, словно желая услышать и увидеть еще что-то, а потом сказала, смеясь:



– О да, будут скучать, как скучают по всякому шумному злу, когда его убивают с глаз долой, – то есть сразу ощущается огромная разница. Но я не напрашиваюсь на комплименты. Если по мне и вправду заскучают, это будет видно. Кому захочется меня увидеть, те сумеют меня отыскать. Я ведь не уеду невесть куда, в края далекие и недостижимые.

Теперь Фанни не могла заставить себя заговорить, и мисс Крофорд была разочарована: ей так хотелось услышать лестные уверения в своей неотразимости от той, кому, как ей казалось, это должно быть известно; и настроение ее опять омрачилось.

– Да, сестры Оуэн, – сказала она несколько времени спустя. – Представьте, что одна из них поселилась бы в Торнтон Лейси, как бы вам это понравилось? Случались вещи и неожиданней. А уж эти сестрицы, я думаю, только того и добиваются. И они в своем праве, ведь для них это значило бы весьма недурно устроиться. Я ничуть не удивляюсь и не виню их. Каждый должен лучше о себе позаботиться. Сын сэра Бертрама не первый встречный, а теперь он для них свой. Их отец духовное лицо, и брат духовное лицо, и все они духовные лица. Он их законная собственность, человек того же круга. Вы молчите. Фанни... мисс Прайс, вы молчите. Но скажите-ка по чести, вы, должно быть, именно этого и ждете?

– Нет, – твердо отвечала Фанни. – Ничего подобного я совсем не жду.

– Совсем не ждете! – с живостью воскликнула мисс Крофорд. – Вы меня удивили. Но уж вы-то знаете... мне всегда кажется, что вы знаете... возможно, по-вашему, он вообще не собирается жениться... или сейчас не собирается.

– Да, по-моему, не собирается, – мягко сказала Фанни, надеясь, что не ошиблась ни в своем предположении, ни в том, что высказала его.

Мисс Крофорд испытующе на нее посмотрела и, обретя еще большую уверенность оттого, что под ее взглядом Фанни скоро покраснела, только и сказала:

– Ему всего лучше так, как сейчас. – И заговорила о другом.

Благодаря разговору с Фанни на душе у мисс Крофорд полегчало, и она возвращалась домой, готовая, если понадобится, выдержать даже еще неделю в том же малочисленном обществе в ту же скверную погоду; но в тот самый вечер воротился из Лондона ее брат, такой же как всегда или более обыкновенного оживленный, и уже можно было не опасаться скуки. Он по-прежнему отказывался говорить, чего ради ездил в Лондон, но это лишь способствовало веселью; еще накануне она бы на это сердилась, теперь же принимала лишь как милую шутку, – пожалуй, за шуткою скрывается какой-то милый для нее сюрприз. И следующий день и вправду принес ей сюрприз. Генри сказал, что должен пойти к Бертрамам и справиться, как они поживают, и через десять минут будет обратно, – но его не было более часу; сестра ждала его, чтоб погулять вместе в саду, и наконец, потеряв терпенье, встретила его на повороте аллеи, и, когда она воскликнула: «Генри, дорогой, где же ты пропадал так долго?», он только и мог сказать, что сидел с леди Бертрам и с Фанни.

– Сидел с ними полтора часа! – вскричала Мэри.

Однако настоящий сюрприз был впереди.

– Да, Мэри, – сказал брат, предложил ей опереться на его руку и, как в тумане, двинулся по аллее. – Я не мог уйти раньше... Фанни так прелестна!.. Я твердо решил, Мэри. У меня нет ни малейших сомнений. Тебя это удивляет? Нет... ты, должно быть, чувствуешь, что я твердо решил жениться на Фанни Прайс.

Вот это и вправду был сюрприз; ибо, что бы Крофорду ни казалось, его сестра ничего подобного вообразить не могла; и на лице у ней выразилось такое неподдельное изумление, что ему пришлось повторить сказанное, притом полнее и торжественней. Твердая решимость, которую он выказал, не вызывала у ней недовольства. Этот сюрприз был ей даже приятен. В ее нынешнем состоянии духа Мэри радовалась родству с семьей Бертрам, и ее ничуть не огорчало, что Фанни брату неровня.

– Да, Мэри, воистину я попался, – в заключение подтвердил Генри. – Ты знаешь, какая легкомысленная прихоть двигала мною поначалу, но теперь с этим покончено. Я льщу себя надеждой, что мои успехи не так уж незначительны – она теперь более расположена ко мне; ну, а мое чувство прочно.

– Счастливица, счастливица! – воскликнула Мэри, едва к ней вернулся дар речи. – Что за партия для нее! Дорогой мой Генри, это первое мое чувство, но второе, которое я выскажу тебе с такой же искренностью, что я всей душой одобряю твой выбор и всем сердцем чувствую, что ты будешь счастлив, как я того хотела и ждала для тебя. У тебя будет самая милая жёнка, воплощение благодарности и преданности. Именно то, чего ты заслуживаешь. Какая поразительная для нее партия! Миссис Норрис часто говорит про Фаннино везенье, что-то она скажет теперь? В каком восторге будет вся семья! А там у Фанни есть истинные друзья. Как они возрадуются! Но Расскажи мне все. Рассказывай без конца. Когда ты стал думать о ней всерьез?

Ответить на такой вопрос – что может быть трудней, но и что может быть приятней, чем услышать его. Не мог он сказать, «как мука сладкая им завладела»<sup>11</sup>, и не успел он еще трижды на разные лады поведать о своем чувстве, как сестра нетерпеливо прервала его:

– Так, так, милый Генри, стало быть, вот зачем тебе понадобилось в Лондон! Вот оно, твое дело! Прежде чем окончательно решиться, ты почел нужным посоветоваться с адмиралом.

Но Генри упорно это отрицал. Он слишком хорошо знал своего дядю и ни за что не стал

бы советоваться с ним касательно своей женитьбы. Адмирал ненавидел браки и полагал, что молодому человеку с независимым состоянием жениться непозволительно.

– Когда он узнает Фанни, он души в ней не будет чаять, – продолжал Генри. – Она в точности такова, что должна рассеять все предубеждения адмирала против женщин, ведь она в точности такова, каких, по его мнению, не бывает. Она и есть сама невозможность, какую он бы описал, будь он еще способен приличным образом выразить свои понятия. Но пока все не улажено окончательно, так что уже никакое вмешательство ничего не сможет изменить, дяде незачем ничего знать. Нет, Мэри, ты глубоко ошибаешься. Ты еще не угадала, по какому делу я ездил в Лондон.

– Ну, что ж, я удовлетворена. Теперь я знаю, с кем это связано, а остальное мне не к спеху. Фанни Прайс... чудесно, просто чудесно! Чтоб Мэнсфилд так для тебя обернулся... чтоб ты нашел в Мэнсфилде свою судьбу! Но ты совершенно прав, ты бы не мог сделать лучший выбор. Девушки лучше не сыскать в целом свете, а богатства тебе и своего хватает. А что до ее родства, оно превосходное. Бертрамы несомненно одна из лучших семей в здешнем краю. Она племянница сэра Томаса Бертрама – для света этого вполне довольно. Но продолжай, продолжай. Рассказывай еще. Каковы твои планы? Она уже знает о своем счастье?

– Нет.

– Чего же ты ждешь?

– Чтоб... чтоб это был не просто благоприятный случай. Понимаешь, Мэри, она не похожа на своих кузин, и все-таки я думаю, что не услышу отказа.

– Ну конечно, конечно! Будь ты даже не так мил, и, предположим, она еще не полюбила тебя (в чем я, однако ж, сомневаюсь), все равно тебе отказ не грозит. При ее мягкой благодарной натуре она немедля предастся тебе всей душой. Я уверена, без любви она за тебя не выйдет. То есть я хочу сказать, если есть на свете девушка, способная не поддаваться честолюбивым притязаниям, так это уж наверно Фанни. Но попроси ее полюбить тебя, и у ней никогда не хватит духу отказать.

Едва при всем своем пыле Мэри замолкала, Генри принимался ей рассказывать с тою же радостью, с какой она слушала, и беседа увлекла ее почти так же, как его, хотя ему, в сущности, и поведать-то было не о чем, кроме как о своих чувствах, не о чем рассуждать, кроме как об очаровании Фанни; как хороши у ней лицо и фигурка, как она мило держится и какое у ней золотое сердце – тема эта была неисчерпаема. Он превозносил ее кротость, скромность, доброту, ту самую доброту, которой мужчина отводит столь важное место, когда судит о достоинствах женщины, что, хотя подчас любит женщину недобрую, поверить в это никак не может. У Генри были все основания превозносить натуру Фанни и полагаться на нее. Он часто видел, каким испытаниям ее подвергали. Есть ли в семье сэра Томаса хоть кто-то, кроме Эдмунда, кто бы постоянно так или иначе не испытывал ее терпенье и выдержку? Она верна своим привязанностям. Стоит только посмотреть на нее рядом с братом! Может ли быть доказательство восхитительней, что сердце у ней не только мягкое, но и пылкое? Может ли хоть что-то вселить более надежды мужчине, который ждет от нее любви? Притом она, без сомненья, умна, и ум у ней быстрый и ясный; а в ее поведении, как в зеркале, отражается ее скромная и утонченная душа. Но и это еще не все. Генри Крофорд был слишком разумен, чтоб не чувствовать, сколь драгоценно, когда у жены есть благие убеждения, хотя он вовсе не привык к серьезным размышленьям и оттого назвать бы их не сумел; но, говоря о твердости и уравновешенности ее поведения, и высоком понятии о чести, и неизменном соблюдении приличий, что дает любому мужчине все основания положиться на ее преданность и чистоту, он словами выражал свое понимание, что его избранницей движут достойные убеждения и вера.

– Я могу с такою полнотою, так всецело довериться ей, – сказал Генри, – а именно это мне и надобно. И его сестра, искренне уверенная, что, так превознося Фанни, он отнюдь не преувеличивает ее достоинства, могла лишь радоваться ожидавшему его счастью.

– Чем больше я думаю об этом, – воскликнула она, – тем больше убеждена, что ты поступаешь совершенно правильно, и, хотя мне никогда бы не пришло на ум, что тебя может привлечь такая девушка, как Фанни Прайс, теперь я убеждена, что она-то и составит твоё счастье. Твой дурной замысел нарушить ее покой обернулся разумнейшей мыслью. Вам обоим он принесет добро.

– С моей стороны было скверно, очень скверно злоумышлять против такого создания! Но тогда я ее не понимал. И у ней не будет причин сожалеть о том часе, когда у меня впервые родилась эта мысль. Я сделаю ее очень счастливой, Мэри, так счастлива она никогда не была, да и никого счастливей не видела. Из Нортгемптоншира я ее не увезу. Я сдам внаем Эверингем и сниму дом здесь, по соседству. Пожалуй, Стонуикский охотничий домик. Сдам Эверингем в аренду на семь лет. Едва заикнусь, и уж наверно тотчас найдется отличный арендатор. Можно хоть сейчас назвать троих, которые с благодарностью согласятся на мои условия.

– Вот как! – воскликнула Мэри. – Поселишься в Нортгемптоншире! Чудесно! Тогда мы будем все вместе.

Сказав так, она опомнилась и пожалела о сказанном; но напрасно она смутилась – Генри только и подумал, что она предполагает остаться в пасторате, и ответил сердечнейшим приглашением поселиться в его доме, ибо он, брат, имеет на нее больше прав.

– Ты должна отдавать нам больше половины своего времени, – сказал он. – Я не могу согласиться, что у миссис Грант такие же права на тебя, как у нас с Фанни, ведь у нас они есть у обоих. Фанни станет тебе истинной сестрою!

Мэри оставалось только поблагодарить его и заверить, что так оно и будет, но, однако, твердо порешила, что теперь очень скоро окажется гостьей брата или сестры.

– Ты будешь несколько месяцев жить в Лондоне, а остальные в Нортгемптоншире?

– Да.

– Правильно. И в Лондоне, конечно, заведешь собственный дом, довольно тебе жить у адмирала. Милый мой Генри, твоё счастье, что ты расстанешься с адмиралом, пока его пагубное влияние еще не сказалось на тебе, пока ты еще не перенял никакие его нелепые мнения и не привык к одиноким трапезам, будто нет большего блага на свете, чем одиночество. Ты не сознаешь, сколько выиграл, потому что ослеплен уважением к дяде, но, на мой взгляд, ранняя женитьба для тебя спасительна. Видеть, как ты уподобляешься адмиралу словами или делами, видом или жестами, – это разбило бы мне сердце.

– Ну что ты, Мэри, тут мы с тобою не сходимся. Адмирал не лишен недостатков, но человек он очень хороший, и он был мне более чем отец. Редкий отец дал бы мне такую свободу поступать по-своему. Не надобно настраивать Фанни против него. Я хочу, чтоб они полюбили друг друга.

Мэри не стала ему говорить, каковы ее чувства на этот счет – нет на свете двух людей, чьи характеры и поведение менее созвучны, со временем он это поймет; но от одного замечания, связанного с адмиралом, она не удержалась:

– Генри, я очень высоко ценю Фанни Прайс, и, если б могла предположить, что у будущей миссис Крофорд окажется даже вполтину меньше оснований, чем у моей бедной тетушки, с которой адмирал так скверно обращался, ненавидеть само его имя, я бы постаралась воспрепятствовать твоему браку; но я знаю тебя, знаю, если ты будешь любить жену, она окажется счастливейшей из женщин, и, даже когда ты ее разлюбишь, она найдет в

тебе великодушные и воспитанность истого джентльмена.

– Возможно ли не сделать все на свете, чтоб Фанни Прайс была счастлива, возможно ли ее разлюбить, – таков был смысл красноречивого ответа Генри.

– Видела бы ты ее нынче утром, Мэри, – продолжал он. – С какою невыразимой прелестью и терпением она исполняла все просьбы ее тупоумной тетки, рукодельничала с нею и для нее и, склоняясь над рукодельем, очаровательно розовела, потом возвращалась на свое место, чтоб дописать что-то для этой тупой матроны, и все это с такой естественною кротостью, будто так и полагалось, чтоб она ни минуты не принадлежала самой себе, и, как всегда, была так скромно причесана, а когда писала, на лоб упал завиток, и она то и дело, тряхнув головою, откидывала его назад, и среди всего этого успевала поговорить со мною или послушать меня, и казалось, ей нравятся мои речи. Видела бы ты ее в эти минуты, Мэри, так нипочем не могла б подумать, что ее власти над моим сердцем когда-нибудь придет конец.

– Дорогой мой Генри! – воскликнула Мэри и на миг умолкла, с улыбкою посмотрела ему в лицо. – Как же я рада видеть, что ты так влюблен! Право, я в восторге. Но что скажут миссис Рашуот и Джулия?

– Мне все равно, что бы они ни сказали, что бы ни почувствовали. Теперь они увидят, какая женщина способна меня привлечь, какая женщина способна привлечь разумного мужчину. Хотел бы я, чтоб это открытие пошло им на пользу. И теперь они увидят, что с их кузиною обращаются, как она того заслуживает, и хотел бы, чтоб они искренне устыдились, вспоминая, как сами возмутительно, высокомерно, бессердечно обращались с нею. – И, немного помолчав, он прибавил спокойнее: – Они разгневаются. Миссис Рашуот очень разгневется. Для нее это будет особенно горькая пилюля, и, подобно прочим горьким пилюлям, окажется нехороша на вкус, но уже через минуту будет проглочена и забыта. Ведь не такой я наглец, чтоб думать, будто ее чувство, хоть оно и относилось ко мне, долговечней, чем у других женщин. Да, Мэри, моя Фанни воистину почувствует разницу в поведении всякого, кто станет к ней обращаться, будет чувствовать ее ежедневно, ежечасно; и сознание, что я тому причиною, что это благодаря мне она получает то, чего достойна, послужит к полноте моего счастья. Сейчас она зависима, беспомощна, одинока, заброшена и забыта.

– Нет, Генри, не всеми, не всеми забыта, не одинока и не забыта. Ее кузен Эдмунд никогда ее не забывает.

– Эдмунд... Да, согласен, он к ней, конечно, добр. И сэр Томас на свой лад тоже, как бывает добр богатый, высокомерный, велеречивый, властный дядюшка. Разве то, что Эдмунд и сэр Томас вместе в состоянии сделать, разве то, что они делают для ее счастья, покоя, чести и достоинства, может сравниться с тем, что стану делать я?

На другое утро Генри Крофорд опять был в Мэнсфилд-парке, причем ранее того часа, когда принято являться с визитами. Леди Бертрам и Фанни он застал в малой гостиной, и, к его счастью, когда он вошел, леди Бертрам как раз собиралась удалиться. Она дошла уже почти до дверей и, не мысля, что можно потратить столько усилий понапрасну, любезно его встретила, коротко сослалась на то, что ее ждут, велела слуге доложить о госте сэру Томасу и прошествовала своей дорогою.

Безмерно довольный, что она уходит, Генри поклонился, проводил ее взглядом и, не теряя ни минуты, тотчас же оборотился к Фанни, достал из кармана какие-то письма и весьма оживленно заговорил:

– Должен признаться, я бесконечно обязан тому, кто дал мне случай увидеть вас наедине. Вы и не представляете, как мне этого хотелось. Зная ваши чувства к брату, я не вынес бы, если б вам пришлось разделить с кем-либо из домочадцев первую радость от известия, которое я принес. Он произведен. Ваш брат – лейтенант. Я бесконечно счастлив поздравить вас с производством вашего брата в офицеры. Вот письма, из которых это явствует, они только что прибыли. Вы, наверно, хотите их посмотреть.

Фанни не в силах была вымолвить ни слова, но он и не ждал от нее слов. Ему довольно было видеть ее глаза, краску в лице, видеть, как сменялись ее чувства – сомнение, смущение и, наконец, ликование. Он протянул ей письма, и она их взяла. Первое было от адмирала – в нескольких словах он сообщал племяннику, что дело, о котором он хлопотал, – производство молодого Прайса – закончилось успешно; и в конверт были вложены еще два письма – одно от секретаря военно-морского министра (первого лорда Адмиралтейства) другу адмирала, которого он уполномочил позаботиться об этом деле, второе – от этого друга ему самому; из этого письма следовало, что его светлость был счастлив иметь попечение о рекомендации сэра Чарлза, что сэр Чарлз был в восторге от представившегося ему случая доказать адмиралу Крофорду свое глубочайшее уважение и что присвоение мистеру Уильяму Прайсу звания второго лейтенанта на его величества шлюпе «Дрозд» наполнило радостию широкий круг весьма замечательных лиц.

Фанни дрожащей рукой держала письма, взор ее перебегал с одного на другое, и сердце переполнилось волнением, а меж тем Крофорд все говорил и говорил с непритворным пылом, спеша выразить, как близко к сердцу принимает он это событие.

– Как бы ни была велика моя собственная радость, умолчу о ней, ибо думаю лишь о вашей радости. В сравнение с вами кто вправе ликовать? Я чуть ли не упрекал себя, узнав прежде вас то, что вам должно бы стать известно ранее всех на свете. Однако ж я не потерял ни минуты. Почта нынче утром запоздала, но уж я-то потом не мешкал ни минуты. Не стану и пытаться описывать, как нетерпеливо, как страстно, как отчаянно желал я скорейшего разрешения этого дела, как был горько уязвлен, как жестоко разочарован, что оно не доведено было до конца, пока я оставался в Лондоне! Со дня на день откладывал я свой отъезд в надежде на скорое его окончание, ибо ничто, кроме такого дорогого моему сердцу предмета, не могло бы и вполтину долее задержать меня вдали от Мэнсфилда. Но хотя мой дядюшка отнесся к моему желанию со всей сердечностью, какой я от него ждал, и немедленно сделал все от него зависящее, один его друг был в отсутствии, а другой чрезвычайно занят, отчего возникли сложности, разрешения которых я уже не смог долее ждать, и, зная, в каких надежных руках я все оставляю, я в понедельник уехал, в надежде, что самой ближайшей почтою получу вот эти письма. Мой дядюшка, самый лучший человек в целом свете, увидев

вашего брата, как я и думал, сделал все от него зависящее. Он в восторге от вашего брата. Вчера я не позволил себе рассказать, в какой восторг он пришел, не позволил себе повторить и половины похвал адмирала в его адрес. Я отложил это до тех пор, пока не получу подтверждения, как получил нынче, что то были похвалы истинного друга. Вот теперь можно сказать, что я и сам не мог бы ждать от адмирала большего интереса, а с ним более горячего желания помочь, более высокой похвалы, чем та, что от души выразил мой дядюшка после того, как они вместе провели вечер.

– Так, выходит, все это плод ваших стараний? – воскликнула Фанни. – Боже милосердный! Как вы добры, как добры! Вы и вправду... это благодаря вашему желанию... прошу прощения, но я в растерянности. Неужто адмирал просил за Уильяма?.. как это было?.. я ошеломлена.

Генри был неописуемо счастлив, что может все растолковать, и принялся рассказывать, как все началось, и подробнее объяснять, каково в этом его собственное участие. Последняя его поездка в Лондон имела единственной целью ввести брата Фанни в дом на Хилл-стрит и уговорить адмирала, чтоб он всем своим влиянием поспособствовал продвижению Уильяма по службе. Это и было его дело в Лондоне. О своем намерении он не сказал ни единой душе, не заикнулся о том даже Мэри; пока не был уверен в исходе, он не хотел ни с кем делиться своими чувствами, но таково было его дело в Лондоне; и с таким жаром он говорил о своих стараниях, столько страсти было в каждом слове, так изобиловала его речь выражениями вроде глубочайшей заинтересованности, двояких мотивов, невозможности сказать все, что ему хотелось бы, что, будь Фанни в состоянии внимать ему, она несомненно поняла бы, к чему он клонит; но сердце ее так было переполнено, она так еще была удивлена, что слушала вполуха даже то, что он говорил ей об Уильяме, и, когда он замолчал, только и промолвила: «Как вы добры! Как необыкновенно добры! Ах, мистер Крофорд, мы вам бесконечно обязаны. Милый, милый мой Уильям!», потом вскочила и поспешно направилась к двери, восклицая: «Пойду к дядюшке. Дядюшка должен узнать об этом как можно скорее!» Но этого Крофорд допустить не мог. Случай был слишком хорош, и чувства его слишком нетерпеливы. Он сразу же ее остановил. Она не должна уходить, должна подарить ему еще пять минут! И он взял ее за руку и повел обратно на место, и только в середине его дальнейшего объяснения Фанни заподозрила, чего ради он ее задержал. Однако ж когда она окончательно поняла это и увидела, что от нее ждут, чтоб она поверила, будто вызвала в нем чувства, коих сердце его никогда прежде не знало, и что все, сделанное им для Уильяма, должно служить доказательством его безмерной, не имеющей себе равных преданности ей, она до крайности огорчилась и несколько времени не могла вымолвить ни слова. Она сочла все это вздором, пустой болтовней и волокитством, рассчитанным лишь на то, чтоб ввести ее в заблуждение; она только и почувствовала, что он ведет себя с нею непорядочно, недостойно, чего она вовсе не заслужила; но это очень на него похоже, вполне согласно с тем, что она уже видела; однако она не позволит себе и наполовину выказать свое неудовольствие, ведь она теперь стольким ему обязана, и нельзя ей о том не помнить, хоть ему и не достало деликатности. Пока сердце ее трепещет благодарностью и радостью за Уильяма, не может она слишком возмущаться из-за того, что ранит лишь ее самое; и после того, как она дважды отняла у Крофорда свою руку и дважды тщетно пыталась отворотиться от него, она поднялась и в сильном волнении только и сказала:

– Прошу вас, мистер Крофорд, не надо. Пожалуйста, не надо. Подобный разговор мне очень неприятен. Я уйду. Мне это невыносимо.

Но он все не умолкал, говорил о своем чувстве, умолял о взаимности и, наконец, в самых определенных словах, так что не могла она не понять, предложил ей себя, свою руку, свое

состояние, решительно все. Да, он так это прямо и сказал. Фанни удивилась и смутилась более прежнего, и, все еще не веря, можно ли принять это всерьез, она не в силах была долее слушать. Крофорд настаивал на ответе.

– Нет, нет, нет! – воскликнула Фанни, закрыв руками лицо. – Это все вздор. Не терзайте меня. Я более не могу это вынести. Вы были так добры к Уильяму, мою благодарность не выразить никакими словами. Но я не хочу, не могу, не должна слушать такие речи. Нет, нет, не думайте обо мне. Да вы и не думаете. Это все пустое, я знаю.

Фанни кинулась прочь от Крофорда, и тут донесся голос сэра Томаса, который, направляясь к той комнате, где были они, что-то говорил слуге. Теперь уже не время для дальнейших уверений и настояний, хотя расстаться с Фанни в тот самый миг, когда исполненному надежды и заранее уверенному в успехе Крофорду казалось, будто на пути к его счастью стоит единственно ее скромность, было хотя и необходимо, но жестоко. Фанни выбежала из двери, противоположной той, к которой приближался дядюшка, и в крайнем смятении, одолеваемая противоречивыми чувствами, принялась ходить взад и вперед по Восточной комнате, еще до того, как сэр Томас покончил с извинениями и любезностями, узнав о радостном известии, которым пришел поделиться его гость.

Из-за всего происшедшего Фанни была дрожь, буря чувств и мыслей бушевала в ней, она была взволнована, счастлива, несчастна, бесконечно благодарна, безмерно разгневана. Все это неправдоподобно! Поведение Крофорда непростительно, непостижимо! Но уж такой он есть, что бы ни сделал, во всем примесь зла. Сперва благодаря ему она стала счастливей всех на свете, а потом он ее оскорбил; ну, что на это сказать, как расценить, как к этому отнестись. Не может она принять его речи всерьез, но как же извинить подобные слова и предложения, если они говорятся не всерьез?

Но Уильям – лейтенант. Это, без сомненья, правда, и ничем не омраченная. Лишь об этом она и станет думать и забудет обо всем остальном. Конечно, Крофорд более с ней не заговорит, должен он был видеть, как ей это неприятно. И тогда с какой признательностью будет она почитать его за дружеское участие в Уильяме.

Она не двинется из Восточной комнаты дальше лестничной площадки, пока не убедится, что Крофорд уже откланялся; но уверясь, что он ушел, она сразу же поспешила к дядюшке, чтоб разделить с ним радость его и свою и услышать от него все, что он знает или предполагает о том, куда теперь лежит путь Уильяма. Сэр Томас был доволен не менее, чем она того желала, и весьма добр и разговорчив, и так они вдвоем хорошо поговорили об Уильяме, что Фанни и думать забыла про то, из-за чего рассердилась, пока под конец беседы не оказалось, что Крофорд приглашен сегодня же с ними отобедать. Новость пренеприятно ее поразила, ведь, хотя он скорее всего и не придает значение тому, что произошло, ей было бы мукой вновь увидеть его так скоро.

Она старалась не показать виду, с приближением обеденного часа изо всех сил старалась чувствовать себя и выглядеть как обыкновенно, но, когда гость вошел в комнату, на нее сразу напала неодолимая робость и неловкость. Она и помыслить не могла, что в день, когда придет весть о производстве Уильяма, волею обстоятельств ей придется испытать столько неприятных чувств.

Крофорд не просто появился в комнате, очень скоро он был уже подле нее. Он принес ей записку от своей сестры. Фанни не смела поднять на него глаза, но по его голосу незаметно было, чтобы он сознавал, как был совсем недавно безрассуден. Фанни немедленно развернула записку, довольная, что есть чем заняться, и, читая, радовалась, что тетюшка Норрис, тоже приглашенная на обед, суется поблизости и несколько загораживает ее ото всех. "Дорогая моя Фанни, – ибо именно так отныне я смогу вас называть, к величайшему своему



облегчению, потому что язык с трудом повиновался мне, когда надо было произнести «мисс Прайс», особенно же в последние полтора месяца, – не могу отпустить брата, не написав вам несколько поздравительных слов и не выразив своего самого радостного согласия и одобрения. Решайтесь, дорогая моя Фанни, и смелее! Тут не может быть никаких затруднений, о которых стоило бы упоминать. Лышу себя надеждою, что уверенность в моем согласии будет для вас небезразлична; итак, нынче ввечеру милостиво улыбнитесь ему своей прелестнейшей улыбкою и отошлите его ко мне еще счастливей, чем он сейчас.

Любящая вас М. К."

Не те это были строки, которые могли принести Фанни облегчение, ибо хотя она и читала записку впопыхах и в смятение и потому не очень ясно поняла смысл, однако ж, было очевидно, что мисс Крофорд поздравляет ее с нежной привязанностью своего брата и даже, похоже, принимает его чувства всерьез. Фанни не знала, как быть и что подумать. Ей несносна была сама мысль, что все это, пожалуй, серьезно, и, как ни поверни, она была озадачена и взволнована. Она страдала всякий раз, едва Крофорд заговаривал с нею, а заговаривал он слишком часто; и она боялась, что, когда он обращается к ней, голос его и манера не совсем таковы, как в разговоре со всеми остальными. Во время этого обеда не было ей покоя; кусок не шел в горло, и, когда сэр Томас шутливо заметил, что радость отняла у ней аппетит, она готова была провалиться сквозь землю от стыда, от ужаса, как это может истолковать мистер Крофорд, ибо, хотя ничто бы не заставило ее посмотреть вправо, в его сторону, она чувствовала, он-то сразу же обратил на нее взгляд.

Она была молчаливей обыкновенного. Она едва поддерживала разговор, даже когда речь шла об Уильяме, ведь офицерское звание он получил тоже стараниями того, кто сидел по правую руку от нее, и связь эта ее мучила.

Фанни казалось, леди Бертрам засиделась за столом долее обыкновенного, и она уже стала терять надежду когда-нибудь выйти; но наконец-то они оставили мужчин одних, и, пока тетушки в гостиной каждая на свой лад заканчивали разговор о назначении Уильяма, она вольна была подумать на свободе.

Тетушка Норрис среди всего прочего была в восторге от экономии, которую это принесет сэру Томасу.

– Теперь Уильям сможет сам себя содержать, что будет означать весьма заметную разницу для его дядюшки, ведь никому не известно, сколько он стоил сэру Томасу; и уж конечно, это несколько отразится и на ее собственных подарках тоже. Она очень рада, что дала Уильяму то, что дала при расставанье, право, очень рада, что тогда была в силах дать ему существенную сумму без особого материального ущерба для себя, то есть существенную для нее при ее скудных средствах, а ему теперь это пригодится, поможет оснастить свою каюту. Ему, без сомненья, предстоят кой-какие расходы, ему придется многое купить, хотя его родители, конечно, наставят его, как приобрести все подешевле, но она так рада, что внесла в это и свою лепту.

– Я рада, что ты дала ему существенную сумму, – безо всяких задних мыслей невозмутимо сказала леди Бертрам, – потому что я-то дала ему всего десять фунтов.

– Вот как! – воскликнула тетушка Норрис и покраснела. – Право слово, он уехал с набитыми карманами! Да еще и дорога до Лондона ничего ему не стоила!

– Сэр Томас мне сказал, что десяти фунтов будет довольно.

Тетушка Норрис вовсе не собиралась ставить это под сомнение и предпочла перевести разговор.

– Просто диву даешься, каких денег молодые люди стоят их благодетелям, ведь их и воспитать надобно, и на ноги поставить! – сказала она. – Им и невдомек, во что это

обходится, сколько на них уходит в год у родителей или у дядюшек и тетюшек. Вот, к примеру, дети моей сестры Прайс. Если взять их всех вместе, так, я полагаю, никто и не поверит, во сколько они каждый год обходятся сэру Томасу, уж не говоря о том, как стараюсь для них я.

– Совершенно верно, сестра, так оно и есть. Но что они могут поделаться, бедняжки. А для сэра Томаса это не составляет почти никакой разницы. Фанни, пусть Уильям не позабудет про мою шаль, если будет в Вест-Индии. И я поручу ему купить еще что-нибудь стоящее. Хорошо б он отправился в Вест-Индию, и тогда у меня была бы шаль. Фанни, я думаю, мне нужны две шали.

Фанни меж тем принимала участие в разговоре, лишь когда нельзя было промолчать, а сама все пыталась понять, что ж такое затеяли мистер и мисс Крофорд. Не может это быть серьезно. Все на свете, кроме его слов и поведения, против этого. Против все обычные, возможные, разумные доводы; все обыкновения и образ мыслей Крофордов и все ее собственные несовершенства. Да разве может она вызвать серьезное чувство у человека, который видел столько женщин, несравнимо ее превосходящих, и столько восхищал, и за такими ухаживал; на которого, похоже, трудно произвести впечатление, даже когда ему очень старались понравиться; который о подобных материях судит так легко, так беспечно, так бесчувственно; который так много значит для каждого, но, видно, не нашел никого, к кому бы сам питал подлинную привязанность? И еще, как может быть, чтоб его сестра, при всех ее требовательных и светских понятиях о браке, стала поощрять серьезные намерения касательно девушки столь ниже его по положению? Что может быть неестественней для обоих Крофордов? Фанни стыдилась собственных сомнений. Во что угодно можно поверить, только не в серьезное чувство к ней Крофорда, не в одобрение этого чувства его сестрою. Она успела убедить себя в том еще прежде, чем в гостиную вошли мужчины. Надо было только не утратить это убеждение, когда Крофорд оказался тут же, ибо раз-другой он устремлял на нее взгляд, который она просто не знала как расценить с общепринятой точки зрения: во всяком случае, у любого другого мужчины он имел бы очень серьезное, очень определенное значение. Но Фанни все еще старалась думать, что он выражает не более того, что выражал, когда бывал устремлен на ее кузин и десятки других женщин.

Ей казалось, он хочет поговорить с нею так, чтоб другие не слышали. Он как будто искал такой случай всякий раз, как сэр Томас выходил из комнаты или был занят разговором с тетюшкой Норрис, но Фанни старательно этого избегала.

Наконец-то – Фанни едва этого дождалась, ведь ей все время было не по себе, хотя час был еще не столь поздний, – Крофорд заговорил о том, что пора уходить; но не успела Фанни вздохнуть с облегчением, как он повернулся к ней со словами:

– А вы ничего не передаете для Мэри? Никакого ответа на ее записку? Она будет разочарована, если ни строчки от вас не получит. Прошу вас, напишите ей хоть несколько слов.

– Да-да, конечно! – воскликнула Фанни и поспешно встала, поспешно от смущения, от желания ускользнуть. – Я сейчас к ней напишу.

И она пошла к столу, за которым обыкновенно писала для своей тетюшки, и приготовила письменные принадлежности, все еще понятия не имея, что же отвечать мисс Крофорд. Она лишь однажды прочла ее записку, и как тут ответишь, когда ничего ей не понятно. Совершенно не привычная к подобной переписке, она, будь у ней время, извелась бы из-за сомнений и страхов, гадая, в каком же тоне ответить; но надобно немедля написать хоть что-то, и с единственным чувством не дай Бог не показать, что она поняла истинный смысл письма, с дрожью в душе дрожащей рукою Фанни написала:

"Я весьма благодарна Вам, дорогая мисс Крофорд, за любезные поздравления, коль скоро они касаются моего драгоценного Уильяма. Как я понимаю, остальная же часть Вашего письма просто шутка, но я ни к чему такому непривычна и надеюсь, Вы не будете в обиде, если я попрошу Вас об этом позабыть. Я довольно видела мистера Крофорда, чтоб составить представление о его наклонностях. Если б он так же хорошо понимал меня, он, я думаю, вел бы себя со мною иначе. Сама не знаю, что я пишу, но Вы окажете мне величайшую любезность, если никогда более не станете поминать о сем предмете. С благодарностию за честь, которую Вы мне оказали своим письмом, дорогая мисс Крофорд, остаюсь искренне Ваша".

Конец был почти совсем неразборчив от усилившегося страха, ибо под предлогом, что ему надо получить записку, Крофорд уже направился к ней.

– Не подумайте, будто я вас тороплю, – вполголоса сказал он, видя, с каким непостижимым трепетом она пишет. – У меня этого и в мыслях нет. Умоляю вас, не торопитесь.

– Благодарю вас, я уже закончила, как раз закончила сейчас, еще полминуты... я вам очень признательна, будьте так добры, передайте это мисс Крофорд.

Фанни протянула ему сложенный листок; пришлось Крофорду его взять; а так как она, отведя взгляд, тотчас прошла к камину, где сидели все остальные, ему только и оставалось, что и вправду откланяться.

Фанни казалось, что не было еще в ее жизни дня, исполненного таких волнений, вместе и мучительных и радостных, но, к счастью, радость была не из тех, что кончаются с исходом дня, ибо каждый новый день вновь принесет сознание, что Уильям произведен, мученье же, надобно надеяться, уж более не воротится. Ее письмо, конечно же, покажется написанным хуже некуда, такая нескладица была бы позором и для ребенка, ведь она была в отчаянии и писала как придется, не выбирая слов. Однако же записка хотя бы убедит обоих, что благосклонность Крофорда вовсе не произвела на нее впечатления и не вызвала благодарности.



Проснувшись на другое утро, Фанни поняла, что отнюдь не забыла о Крофорде; но она помнила смысл своей записки и, как и вчера вечером, надеялась, что она окажет свое действие. Если б только Крофорд уехал! Она желала этого всем сердцем, пусть бы он уехал и увез с собою сестру, – раньше ведь так и предполагалось, для того он и вернулся в Мэнсфилд. И ей было совершенно непонятно, почему они до сих пор этого не сделали, ведь мисс Крофорд явно не желала тут задерживаться. Вчера, когда Крофорд был у них в гостях, Фанни надеялась, что он назовет день их отъезда, но он лишь сказал, что в скором времени они отправятся в путь.

Уверенная, что записка ее достигнет цели, к которой она стремилась, Фанни не могла не удивиться, когда случайно увидела Крофорда, направляющегося к их дому, да притом в такой же ранний час, как вчера. Вероятно, его приход не имеет к ней отношения, но, если только можно, надо избежать встречи с ним; и, так как в эту минуту она поднималась в Восточную комнату, она решила посидеть там, пока он не уйдет, разве что за нею пошлют; а поскольку тетюшка Норрис еще не отбыла к себе, вряд ли грозила опасность, что и Фанни понадобится.

Несколько времени, во власти волнения, она прислушивалась, трепетала, страшилась, что в любую минуту за нею пошлют; но ничьи шаги не приближались к Восточной комнате, и Фанни постепенно успокоилась, могла уже сидеть и заниматься делом и надеяться, что Крофорд как пришел, так и уйдет, и ей ничего не надобно будет о том знать.

Прошло около получаса, и она уже чувствовала себя вполне уютно, но вдруг услышала, что к ее двери направляются чьи-то шаги, тяжелые, непривычные для этой половины дома, – то были дядюшкины шаги, столь же ей знакомые, как его голос; они часто приводили ее в трепет, затрепетала она и сейчас, при мысли, что он намерен о чем-то с нею говорить. Это и вправду оказался сэр Томас, он отворил дверь и спросил, здесь ли она и можно ли ему войти. Казалось, ее вновь охватил ужас, который она испытывала, когда он прежде изредка появлялся в этой комнате, и чувство было такое, будто он сейчас примется экзаменовать ее по французской или по английской грамматике.

Однако ж она повела себя весьма предупредительно, подвинула ему стул и постаралась казаться польщенной; и в своем волнении совсем забыла про изъязы своего жилища, но сэр Томас, едва переступив порог, вдруг остановился и в совершенном недоумении спросил:

– А почему у тебя сегодня не зажжен камин?

За окном лежал снег, и Фанни сидела, кутаясь в шаль. Она не сразу нашлась.

– Мне не холодно, сэр... В это время года я никогда не сижу тут подолгу.

– Но... тут вообще зажигают камин?

– Нет, сэр.

– Как же так? Тут какая-то ошибка. Я полагал, что ты пользуешься этой комнатою, потому что чувствуешь себя тут вполне уютно. Ведь в твоей спальне камина нет. Тут какое-то серьезное недоразумение, которое следует устранить. Тебе уж никак не годится сидеть в нетопленной комнате, пусть даже и всего полчаса в день. Ты слабенькая. Ты зябнешь. Твоя тетюшка, вероятно, не знает, что здесь не топят.

Фанни предпочла бы промолчать, но, вынужденная говорить, она из чувства справедливости по отношению к той тетюшке, которую любила больше, не могла удержаться, чтоб среди сказанного в ответ не упомянуть «тетюшку Норрис».

– Понятно, – воскликнул сэр Томас, овладев собою и не желая ничего более слушать. –

Понятно. Миссис Норрис всегда – и весьма разумно – стояла за то, чтобы при воспитании не потакать излишне присущим юному возрасту слабостям. Но во всем надобно соблюдать умеренность. Притом твоя тетушка Норрис очень крепкого здоровья, и это, без сомнения, влияет на ее взгляды касательно нужд прочих людей. Но с другой стороны, я отлично ее понимаю. Ее чувства издавна мне известны. Сей принцип сам по себе хорош, но иной раз она заходит слишком далеко, и в случае с тобою так оно и вышло. Я представляю, что иногда в некоторых отношениях допускалась неуместная предвзятость, но я слишком хорошего мнения о тебе, Фанни, и не думаю, что ты таишь из-за этого обиду. Ты девушка понятливая и не станешь судить о вещах односторонне и о событиях пристрастно. Ты будешь судить о прошлом в целом, примешь во внимание, что за люди вокруг, в какую пору как они поступают и ради чего, и почувствуешь, что ничуть не меньшими твоими друзьями были те, кто приучал и готовил тебя к тем заурядным условиям жизни, которые казались твоим уделом. Хотя их предусмотрительность может в конце концов оказаться излишней, намерения у них были добрые. И не сомневайся, все преимущества богатства будут удвоены благодаря тем небольшим лишениям и ограничениям, которым тебя, возможно, подвергали. Надеюсь, ты не обманешь моей веры в тебя и всегда будешь относиться к твоей тетушке Норрис с должным уважением и вниманием. Но довольно об этом. Сядь, моя дорогая. Мне надобно несколько минут поговорить с тобою, но я не задержу тебя надолго.

Фанни повиновалась, потупясь и краснея. Сэр Томас помолчал, постарался скрыть улыбку, потом продолжал: – Ты, верно, не знаешь, что нынче утром ко мне пожаловал гость. Вскоре после завтрака, когда я был у себя, мне доложили о приходе мистера Крофорда. Что его привело ко мне, ты, вероятно, догадываешься.

Фанни все сильнее заливалась краской, и, решив, что это от смущенья она не может ни заговорить, ни поднять глаза, дядюшка отвел от нее взгляд и сразу же продолжал рассказ о визите мистера Крофорда.

Мистер Крофорд явился затем, чтоб объявить о своей любви к Фанни, предложить ей руку и сердце и просить согласия ее дяди, который, судя по всему, заменяет ей родителей; и говорил он весьма хорошо, откровенно, свободно, как приличествует случаю, а посему сэр Томас, чувствуя, что и собственные его ответы и замечания наилучшим образом содействовали происходящему, с превеликим удовольствием передавал подробности беседы и, не подозревая, что творится в душе племянницы, воображал, будто подробности эти ей еще много приятней, нежели ему самому. Итак, он говорил уже несколько минут, а Фанни все не решалась его прервать. Она едва ли даже ощущала желание прервать его речь. Слишком она растерялась. Она чуть отворотилась и, устремив взгляд за окно, в полном смятении и тревоге слушала дядюшку. На миг он замолчал, но Фанни едва ли еще осознала это, когда, встав со стула, он сказал:

– А теперь, Фанни, исполнив одну часть своей миссии и показав тебе, что все покоится на чрезвычайно солидной и приятной основе, я могу исполнить оставшуюся часть: прошу покорно, спустись со мною вниз, и, хоть я не считаю себя неподходящим спутником, там мне придется уступить место другому, кого тебе стоит послушать и того более. Как ты, вероятно, догадываешься, мистер Крофорд еще у нас. Он у меня в комнате и надеется увидеть там тебя.

К удивленью сэра Томаса, услышав это, Фанни переменилась в лице, вздрогнула, слабо ахнула; но еще более он удивился, когда она вскричала:

– О нет, сэр Томас, я не могу, право, я не могу к нему пойти. Мистер Крофорд должен знать... да, он должен знать... я вчера довольно ему сказала, чтоб убедить его... он вчера говорил со мной об этом, и я, не скрывая, сказала ему, что мне это ужасно неприятно и не в

моих силах ответить ему тем же.

– Я что-то не пойму тебя, – сказал сэр Томас, вновь садясь. – Не в твоих силах ответить ему тем же! Что это значит? Я знаю, он вчера с тобою говорил и, как я понимаю, получил именно столько оснований действовать дальше, сколько могла позволить себе дать молодая разумная особа. Потому, что я заключил из его слов, я был весьма доволен твоим вчерашним поведением, оно говорит о скромности, которая достойна самой высокой похвалы. Но теперь, когда он сделал следующий шаг таким подобающим образом, так благородно, что же тебя смущает теперь?

– Вы ошибаетесь, сэр! – воскликнула Фанни, в эту отчаянную минуту даже вынужденная сказать дядюшке, что он не прав. – Вы глубоко ошибаетесь. Как мог мистер Крофорд сказать такое? Я вчера не давала ему никаких оснований. Напротив, я ему сказала... не могу вспомнить точные слова... но безусловно я ему сказала, что не хочу его слушать, что мне это до крайности неприятно во всех отношениях и я прошу его никогда более так со мною не говорить... Это я ему уж точно сказала, и не только это, а сказала бы и того более... будь я вполне уверена, что он говорит серьезно, но мне не хотелось... я никак не могла приписывать ему намерения, которых у него, возможно, и не было. Я думала, у него это все пустое.

Долее она не в силах была говорить, у ней перехватило дыхание.

– Верно ли я тебя понял, что ты отказываешь мистеру Крофорду? – после недолгого молчания спросил сэр Томас.

– Да, сэр.

– Отказываешь ему?

– Да, сэр.

– Отказываешь мистеру Крофорду! На каком основании? Что тому причиною?

– Он... он недостаточно мне по душе, чтоб я могла выйти за него замуж.

– Весьма странно! – сказал сэр Томас тоном спокойного неудовольствия. – Чего-то я не могу тут постичь. Есть молодой человек, который желает ухаживать за тобою, и решительно все говорит в его пользу, не только его положение, состояние и характер, но и на редкость приятный нрав, манера обращения и разговор, любезные всем и каждому. И ты знаешь его не первый день, вы знакомы уже несколько времени. К тому же его сестра – твоя ближайшая подруга, и, не будь ничего другого, говорящего в его пользу, я полагаю, тебе должно бы быть довольно уже и того, что он сделал для твоего брата. Еще неизвестно, когда бы это удалось благодаря моему влиянию. А он уже все сделал.

– Да, – едва слышно сказала Фанни, опустив глаза, ее вновь охватил стыд, ибо после того, как дядюшка в таком свете изобразил Крофорда, ей и вправду было стыдно, что ей он не по душе.

– По поведению мистера Крофорда ты должна была понимать, – вскоре продолжал сэр Томас, – уже несколько времени должна была понимать, что он тебя отличает. Его предложение не могло быть для тебя неожиданным. Ты должна была заметить его благосклонность, и, хотя ты всегда вела себя как полагается (мне не в чем тут тебя упрекнуть), я не замечал, чтоб он был тебе неприятен. Я склонен думать, Фанни, что ты не отдаешь себе отчет в своих чувствах.

– Нет, нет, сэр! Конечно же, отдаю. Его благосклонность всегда... всегда была мне не по душе.

Сэр Томас посмотрел на нее с еще большим удивлением.

– Это выше моего понимания, – сказал он. – Это требует объяснений. Ты еще так молода и почти никого не встречала, едва ли возможно, чтоб твое сердце...

Он замолчал и пристально на нее посмотрел. Он увидел, что губы ее сложились для

слова «нет», но голос изменил ей, и она вся залилась румянцем. Однако в девице столь скромной румянец никак не противоречил невинности; и, предпочтя удовольствоваться этим, сэр Томас поспешно прибавил:

– Нет, нет, я знаю, о том и речи нет, это невозможно. Что ж, больше тут сказать нечего.

И несколько минут он и вправду молчал. Глубоко задумался. Племянница тоже глубоко задумалась, пыталась обрести твердость и подготовиться к дальнейшим расспросам. Она скорей умерла бы, чем вымолвила признание, и надеялась, поразмыслив, обрести опору, чтоб не выдать правду.

– Независимо от увлечения мистера Крофорда, которое, мне кажется, оправдано его выбором, – опять, притом вполне невозмутимо, заговорил сэр Томас, – само по себе его желание рано вступить в брак, на мой взгляд, весьма похвально. Я сторонник ранних браков, когда это позволяют средства, и советовал бы каждому молодому человеку с достаточным доходом, достигшему двадцати четырех лет, жениться как можно скорее. Я совершенно в том уверен, и оттого мне горько думать, что мой старший сын, твой кузен мистер Бертрам, не склонен рано жениться. Во всяком случае, сколько я могу судить, брак отнюдь не занимает место ни в его планах, ни в мыслях. Я желал бы, чтоб он был более склонен осесть. – При этих словах он бросил взгляд на Фанни. – Эдмунд, я думаю, по своей натуре и привычкам более брата склонен жениться рано. Вот он, как мне кажется с недавних пор, уже увидел девицу, которую мог бы полюбить, тогда как о моем старшем сыне этого сказать нельзя. Я прав? Ты со мною согласна, Фанни?

– Да, сэр.

Это было сказано тихо, но спокойно, и отношение Фанни к кузенам уже более не внушало беспокойства сэру Томасу. Но то, что тревога его сместилась, никак не облегчило положение Фанни; и, поскольку непостижимость ее поведения лишь подтвердилась, его недовольство возросло; он встал и, нахмурясь, – что Фанни отлично представляла, хотя и не смела поднять глаз, – зашагал по комнате, а немного погодя властно спросил:

– У тебя есть причина плохо думать о нраве мистера Крофорда, дитя мое?

– Нет, сэр.

Фанни жаждала прибавить: «Но о его правилах поведения – есть», но при ужаснувшей ее мысли о предстоящем в этом случае разговоре, объяснении и, возможно, неспособности его убедить сердце у нее упало. Ее дурное мнение о Крофорде основывалось по преимуществу на ее наблюдениях, которыми, оберегая своих кузин, она едва ли осмелилась бы поделиться с их отцом. Мария и Джулия, в особенности Мария, были слишком замешаны в неподобающем поведении Крофорда, и обрисовать его таким, как он ей представлялся, было невозможно, не выдав кузин. Фанни надеялась, что для такого человека, как ее дядя, столь пронизательного, благородного, доброго, будет довольно просто ее признания в том, что Крофорд ей определенно не нравится. К безмерному ее огорчению, эта надежда не оправдалась.

Сэр Томас подошел к столу, подле которого Фанни сидела дрожащая и несчастная, и сказал достаточно холодно и сурово:

– Я вижу, разговаривать с тобою бесполезно. Лучше положить конец этой унижительной беседе. Нельзя более заставлять мистера Крофорда ждать. И потому я лишь почитаю своим долгом высказать свое мнение о твоём поведении: ты обманула все мои ожидания и оказалась совсем не такою, какою я тебя представлял. Потому что с тех пор, как я воротился в Англию, у меня сложилось весьма лестное мнение о тебе, Фанни, и, думаю, это было видно по тому, как я себя вел. Я находил, что ты на удивление свободна от неуравновешенности, самомнения и какой-либо склонности к той своевольной, своенравной независимости, которая так распространена в наши дни среди молодых женщин и которая в молодых



женщинах особенно оскорбительна и отвратительна. Но сейчас ты показала, что можешь быть своевольной и упрямой, что ты желаешь решать и решаешь сама за себя, не испытывая ни уважения, ни почтения к тем, кто, без сомнения, имеет кое-какое право руководить тобою, и даже не спрашиваешь их совета. Ты показала себя совсем, совсем не такой, какою я тебя представлял. Выгода и невыгода твоей семьи, твоих родителей, братьев и сестер, кажется, не занимала никакого места в твоих мыслях, когда ты принимала решение. Как они выиграли бы, как радовались бы от такого твоего устройства – это для тебя ничто. Ты думаешь единственно о самой себе. И оттого, что ты не питаешь к мистеру Крофорду в точности тех чувств, которых молодое горячее воображение почитает необходимым для счастья, ты решилась сразу же ему отказать, не пожелав даже дать себе хоть несколько времени, чтоб поразмыслить, несколько времени, чтоб поразмыслить спокойно, по-настоящему проверить свои намерения, и вместо того сгоряча, в сумасбродном порыве пренебрегаешь возможностью устроить свою жизнь, устроить весьма подходящим образом, достойно, благородно, а меж тем другой такой возможности у тебя, наверно, уже никогда более не будет. К тебе чрезвычайно благосклонен молодой человек – разумный, деятельный, уравновешенный, прекрасно воспитанный, состоятельный, и он просит твоей руки великодушно и бескорыстно. И позволь тебе сказать, Фанни, что ты можешь ждать еще восемнадцать лет и не дожидаться, чтоб к тебе посватался человек, обладающий и половиною богатства мистера Крофорда или десятою долею его достоинств. Я с радостью отдал бы за него любую из своих дочерей. Мария составила превосходную партию, но, ежели бы мистер Крофорд просил руки Джулии, я выдал бы ее за него с куда большим удовольствием, чем выдал Марию за мистера Рашуота. – И чуть помолчав, сэр Томас прибавил: – И я был бы весьма удивлен, если б какая-нибудь из моих дочерей, в любое время получив предложение, даже наполовину менее подходящее, чем то, которое получила ты, отнеслась бы с таким пренебрежением к моему мнению и попечению, что не дала бы себе труда посоветоваться со мною, и немедля и наотрез ответила бы решительным отказом. Я был бы весьма удивлен и весьма уязвлен подобным поступком. Я счел бы это серьезным нарушением чувства долга и уважения. Тебя я не могу судить по тем же правилам. У тебя нет по отношению ко мне чувства долга, как у родного дитяти. Но если в сердце своем, Фанни, ты способна оправдать неблагодарность... – и сэр Томас остановился. К этому времени Фанни уже так горько плакала, что при всем своем гневе он не стал продолжать. Ее портрет, им нарисованный, и обвинения, столь тяжкие, столь многочисленные, и чем дальше, тем все более жестокие, едва не разбили ей сердце. Своевольная, упрямая, себялюбивая, да еще и неблагодарная. Вот как он о ней думает. Она обманула его ожидания, утратила его хорошее мнение. Что с нею станется?

– Мне так жаль, – невнятно, сквозь слезы вымолвила она. – Мне правда очень жаль.

– Жаль! Еще бы. Надеюсь, что тебе жаль. И, вероятно, у тебя будет причина еще долго сожалеть о своих сегодняшних делах.

– Если б только я могла поступить иначе, – опять с большим трудом произнесла Фанни, – но я так уверена, что никогда не сделаю его счастливым и сама тоже буду несчастна.

Она опять расплакалась, но, несмотря на слезы, несмотря на это ужасное мрачное слово «несчастлива», которое вызвало слезы, сэру Томасу показалось, что Фанни несколько смягчилась, склонна несколько переменить свои намерения, а это предвещает благоприятный ответ на пылкие речи, если их обратит к ней молодой человек. Сэр Томас знал, что племянница очень застенчива, слишком легко приходит в волнение, и он подумал: видно, душа ее в таком состоянии, что кой-какое время, кой-какая настойчивость, кой-какое

терпенье, а также и нетерпенье, – если влюбленный благоразумно пустит в ход всю эту смесь, – пожалуй, окажут обычное действие. Если б только мистер Крофорд стал упорно добиваться своего, если он достаточно любит, чтобы упорствовать... У сэра Томаса появились надежды. Мысли эти промелькнули у него в уме и приободрили его.

– Ну что ж, – сказал он с важностью, но уже не так сердито, – что ж, дитя мое, осуши слезы. Что толку в слезах, ничему они не помогут. Теперь тебе следует пойти со мною вниз. Мистеру Крофорду и так пришлось ждать слишком долго. Ты должна сама дать ему ответ. Мы не можем рассчитывать, что он удовольствуется меньшим. И только ты сама можешь объяснить ему, как вышло, что у него сложилось неверное представление о твоих чувствах, которому он, на свою беду, и доверился. Я никак не могу сделать это за тебя.

Но Фанни так отчаянно не желала спускаться к мистеру Крофорду, одна мысль об этом так явно сделала ее несчастной, что, немного подумав, сэр Томас счел за благо не неволить ее. И тем самым надежды на них обоих, на джентльмена и его даму, пока не оправдались, но, когда он взглянул на племянницу и увидел, что случилось от слез с ее лицом, он решил, что немедленная встреча может послужить не только на пользу, но и во вред. Так что сказав несколько ничего не значащих слов, он ушел один, а злосчастная племянница сидела и плакала о том, что произошло, и чувствовала себя как нельзя хуже.

В душе у ней было полнейшее смятение. Прошое, настоящее, будущее – все приводило в ужас. Но самую жестокую боль причинял ей гнев дядюшки. Себялюбивая и неблагодарная! Чтоб он так о ней думал! Отныне она несчастна навсегда. Нет у ней никого, кто встал бы на ее сторону, кто вступился бы за нее, с кем можно было бы посоветоваться. Единственный ее друг далеко. Он мог бы смягчить отца; но все, должно быть, все станут думать, что она себялюбивая и неблагодарная. Теперь ее станут упрекать в этом снова и снова – она будет слышать этот упрек, видеть его в глазах, знать, что он всегда присутствует в мыслях и разговорах о ней. И она даже негодовала на Крофорда; но вдруг он и вправду ее полюбил и тоже несчастлив! Все это ужасно.

Примерно через четверть часа дядюшка воротился; при виде его Фанни едва не лишилась чувств. Он разговаривал, однако ж, спокойно, без давешней суровости, без упреков, и она несколько приободрилась. И слова и поведение его были утешительны, ибо начал он так:

– Мистер Крофорд ушел, мы только что с ним распрощались. Не стану тебе передавать наш разговор, не стану сейчас отягощать твои чувства рассказом о том, что испытал он. Достаточно сказать, что он держался в высшей степени великодушно, как подобает джентльмену, и лишь утвердил меня в самом лестном мнении о его проникательности, сердце и нраве. Когда я представил ему, как ты терзаешься, он немедля и с величайшей деликатностью отказался от мысли сей же час с тобою увидеться.

При этих словах Фанни, которая смотрела на дядюшку, снова опустила глаза.

– Разумеется, – продолжал сэр Томас, – он, надобно полагать, попросит разрешения поговорить с тобою наедине, пусть даже всего пять минут, просьба вполне естественная, и отказать ему в этом праве невозможно. Но о точном времени мы не уговаривались, пожалуй, это будет завтра или в другой день, когда ты достаточно придешь в себя. Пока тебе остается лишь успокоиться. Осуши слезы, они тебя только изнуряют. Если, как я хотел бы думать, ты готова оказать мне почтительное внимание, ты не станешь давать волю этим чувствам, но постарайся внять голосу рассудка и совладать с собою. Я советую тебе выйти, свежий воздух будет тебе на пользу. Походи часок по дорожке в аллее, там никого сейчас не будет, и от воздуха и движения ты почувствуешь себя лучше. И вот что, Фанни (он на минуту вернулся к прежней теме), внизу я не стану упоминать о том, что произошло. Не скажу даже

леди Бертрам. К чему давать другим повод для разочарования. Сама тоже ничего про это не говори.

То было распоряжение, которому она готова была подчиниться с величайшей радостью; то было проявление доброты, которую Фанни ощутила всем своим сердцем. Быть избавленной от бесконечных упреков тетушки Норрис! Сэр Томас ушел, оставив в ее душе благодарность. Все что угодно можно вынести скорее, чем такие упреки. Встреча с Крофордом и то была бы не так тягостна.

Она тотчас вышла, как советовал дядюшка, и, насколько смогла, последовала его наставленью и в остальном: и вправду осушила слезы, и вправду серьезно постаралась взять себя в руки и обрести душевное равновесие. Она хотела доказать ему, что и вправду заботится о его спокойствии и жаждет вновь обрести его расположение; и ведь он дал ей и еще одно существенное основание для таких стараний – сохранил все происшедшее в тайне от тетушек. Теперь надо не жалеть усилий, чтоб ни видом своим, ни поведением не возбудить подозрений; и она чувствовала, что способна на многое, лишь бы это уберегло ее от тетушки Норрис.

Фанни была ошеломлена, поистине ошеломлена, когда, воротясь с прогулки и снова зайдя в Восточную комнату, первым делом увидела, что в камине разведен огонь. Огонь! Это было уже слишком; подобная милость, именно сейчас, вызывала и благодарность и муку. Неужто у сэра Томаса хватило времени вспомнить о таком пустяке; но вскоре оказалось, что камин теперь будут зажигать каждый день, об этом ей охотно сообщила горничная, которая зашла приглядеть за огнем. Так распорядился сэр Томас.

– Если я и вправду могу быть неблагодарной, значит, я просто чудовище! – сказала себе Фанни. – Упаси меня Господь от неблагодарности!

До самого обеда она больше не видела ни дядюшку, ни тетушку Норрис. За столом сэр Томас держался с нею почти совершенно так же, как прежде; Фанни была уверена, что он и не собирался менять своего отношения и что только ее обостренной совести могла привидеться какая-то перемена; но вот тетушка Норрис скоро уже принялась выговаривать ей: и когда стала объяснять, как же скверно она поступила, и корить за одно то, что она вышла прогуляться, не сказавшись, Фанни стократ благословила доброту дядюшки, который упас ее от подобных упреков, только вызванных куда более серьезной причиной.

– Ежели б я знала, что ты собралась выйти, я б послала тебя к себе домой с приказаниями для Ненни, – сказала тетушка Норрис, – а вместо того мне пришлось идти самой, хотя мне это было совсем некстати. Ежели б ты была так добра, что поставила нас в известность, что собираешься выйти, я бы худо-бедно сберегла время, и ты избавила б меня от беспокойства. А тебе, я полагаю, было б все равно, гулять в аллее или пройтись до моего дому.

– Я посоветовал Фанни пройтись в аллее, потому что там суше всего, – сказал сэр Томас.

– О! – воскликнула тетушка Норрис и на миг запнулась. – Это очень любезно с вашей стороны, сэр Томас, но вы не представляете, какая сухая дорожка к моему дому. Уверяю вас, Фанни прогулялась бы ничуть не хуже. Да еще с той выгодой, что принесла бы кой-какую пользу и услужила своей тетке. Нет, это все она сама виновата. Ежели б только она сказала нам, что собирается выйти... но что-то есть в ней такое, я и прежде частенько замечала – она и в рукоделии предпочитает все делать по-своему. Не любит она, чтоб ей указывали. Только и ждет случая все сделать по-своему. Есть в ней эдакая склонность к секретничанью, и самовольству, и сумасбродству. Я бы всячески советовала ей от этого отучиться.

Сей портрет Фанни показался сэру Томасу весьма далеким от истины, и, хотя совсем недавно он сам выражал подобные чувства, он теперь постарался перевести разговор на другое, но удалось ему это не сразу, ибо у тетушки Норрис недоставало проницательности,

чтобы понять на сей раз или когда-либо еще, как хорошо он относится к Фанни и как далек от желания подчеркивать достоинства собственных детей, умаляя достоинства племянницы, и чуть не во все время обеда она выговаривала Фанни и негодовала на нее за прогулку, о которой не была поставлена в известность.

Наконец обед остался позади, наступил вечер, и Фанни успокоилась и повеселела куда более, чем могла надеяться после столь бурного утра; но она была уверена прежде всего, что поступила правильно, что рассудила здраво, что намерения ее чисты, и за это она готова поручиться; и во-вторых, ей хотелось надеяться, что недовольство дядюшки уже не так велико, а станет и того меньше, когда он рассудит обо всем более беспристрастно и, как хороший человек, непременно представит, до чего ужасно, непростительно, до чего безнадежно и дурно выходить замуж без любви.

Она не могла не льстить себя надеждой, что, когда встреча, которая угрожает ей завтра, останется позади, с этим будет полностью покончено, и как только Крофорд уедет из Мэнсфилда, все скоро минет и забудется, словно ничего этого никогда и не было. Не верила она, не могла поверить, что Крофорд станет долго печалиться из-за своей любви к ней, не такой он души человек. Лондон скоро его вылечит. В Лондоне он скоро станет дивиться своей безрассудной влюбленности и будет благодарен ее, Фанниной, рассудительности, которая спасла его от дурных последствий этого увлечения.

Пока Фанни была поглощена этими надеждами, ее дядюшку вскоре после чаю вызвали из комнаты; случай самый обыкновенный, и оттого она не испугалась и даже не задумалась о том, но десять минут спустя снова появился дворецкий и сказал, обращаясь именно к ней:

– Сэр Томас желает говорить с вами, сударыня, у себя в кабинете. Ей сразу пришло на ум, что это может означать; от этой догадки она побледнела, но тотчас же поднялась, готовая повиноваться, и тут услышала восклицанье тетушки Норрис:

– Постой, постой, Фанни! Ты что это? Куда собралась? Ишь заспешила. Уж поверь мне, это не ты требуешься, уж поверь мне, это я нужна (и она поглядела на дворецкого), тебе уж слишком не терпится перебежать мне дорогу. На что ты можешь понадобиться сэру Томасу? Это вы меня имели в виду, Бэдли. Сейчас иду. Вы уж наверно имели в виду меня, Бэдли. Сэру Томасу нужна я, а не мисс Прайс. Но Бэдли стоял на своем:

– Нет, сударыня, не вы, а мисс Прайс, верно вам говорю, что мисс Прайс.

И на губах его мелькнула улыбка, которая означала: «Нет уж, для такого дела, я думаю, вы никак не подойдете».

Тетушка Норрис, весьма раздосадованная, вынуждена была опять удовольствоваться своим рукодельем; а взволнованная Фанни пошла к дверям, понимая, что ей предстоит, и в следующую минуту, как и ожидала, осталась наедине с Крофордом.

Разговор получился не такой короткий и не такой окончательный, как предполагала молодая особа. Молодого человека оказалось не так-то легко убедить. Он был исполнен всей той решимости добиваться своего, какую только и мог пожелать ему сэр Томас. Изрядное тщеславие побуждало его, во-первых, думать, что она все-таки его любит, хотя, возможно, сама того не знает; и во-вторых, вынужденный наконец признать, что она не знает собственных чувств, он из того же тщеславия уверил себя, что со временем сумеет добиться, чтоб чувства эти стали такими, как он желает.

Он был влюблен, очень влюблен, и любовь его была того свойства, что, завладев натурой активной, жизнерадостной, не столько утонченной, сколько горячей, заставляла вдвойне жаждать ответного чувства Фанни как раз потому, что ему было в этом чувстве отказано, и он твердо решил добиться ее любви, которая будет его гордостью и счастьем.

Он не станет отчаиваться, он от нее не откажется. У него есть все основания для крепкой привязанности: ведь она обладает всеми теми достоинствами, что оправдают самые пылкие надежды на прочное счастье с нею; ее теперешнее поведение, говорящее о бескорыстии и утонченности (по его мнению, свойствах, чрезвычайно редких), лишь обострило все его желания и укрепило его решимость. Он не знал, что ему предстоит завоевывать сердце, уже занятое. Вот уж чего он не подозревал. Он скорее склонен был полагать, что ни о чем таком она никогда всерьез и не думала и потому была вне опасности; что ее охраняла юность, юность души, столь же прелестной, как ее наружность; что ее скромность мешает ей понять его чувство к ней, и что она все еще подавлена внезапностью его ухаживанья, совершенно для нее неожиданного, и новизною положения, которому никогда не было места в ее воображении.

Не значит ли это, что когда он будет понят, он безусловно преуспеет? Он нисколько в том не сомневался. Такая любовь, как у него, любовь такого человека, как он, без сомнения, должна быть вознаграждена, и особенно долго ждать не придется; и Крофорд был в совершенном восторге от мысли, что в самое короткое время вынудит Фанни полюбить его, он даже едва ли сожалел, что пока-то она его не любит. Преодолеть кой-какие затруднения – для Генри Крофорда это не беда. Скорее это его даже бодрит. Уж слишком он привык легко одерживать победы над женскими сердцами. Нынешнее положение было для него ново и оттого воодушевляло.

Однако ж для Фанни, которая слишком часто в своей жизни сталкивалась с противодействием, чтобы находить в нем что-то привлекательное, все это было непостижимо. Она увидела, что он и вправду намерен упорствовать; но совершенно не понимала, как он это может после всех тех слов, что она вынуждена была ему сказать. Она говорила ему, что не любит его, не может его любить, и, без сомненья, никогда не полюбит; что никакая перемена тут невозможна, что разговор об этом ей до крайности мучителен и она умоляет никогда более его не заводить, позволить ей сейчас уйти, и пусть на том разговор этот будет закончен раз и навсегда. Но Крофорд все настаивал, и тогда Фанни прибавила, что, на ее взгляд, у них слишком различные натуры, а потому взаимная любовь между ними невозможна, и еще сказала, что они не подходят друг другу ни по своему нраву, ни по образованию, ни по склонностям. Все это она высказала со всею серьезностью искреннего убеждения; однако ж этого было не довольно, ибо Крофорд немедля стал отрицать, будто они сколько-нибудь чужды друг другу по натуре или будто их положение так уж несхоже; и определенно заявил, что все равно будет ее любить и надеяться!

Фанни знала, что хочет высказать, но не могла судить о собственной манере разговора. И ей было невдомек, что в речах ее за несравненной мягкостью и кротостью невозможно различить суровость ее намерения. Ее робость, благодарность и деликатность превращали каждое слово, которым она стремилась выразить равнодушие к Крофорду, едва ли не в попытку самоотречения; казалось, по крайней мере, что для нее это столь же мучительно, как для него. Крофорд был уже не тот Крофорд, кто в качестве тайного, вероломного, коварного обожателя Марии Бертрам вызывал у нее отвращение, кого ей противно было видеть и слышать, в ком она не находила ни единого хорошего свойства и чью силу, состоявшую хотя бы в умении всем и каждому быть приятным, она едва ли признавала. Теперь это был Крофорд, который питал к ней бескорыстную, пылкую любовь; чьи чувства теперь явно исполнены были благородства и прямоты; чье представление о счастье покоилось на браке по любви; кто красноречиво восхищался ее достоинствами, опять и опять живописал ей свою любовь, доказывал, в той мере, в какой это можно доказать словами, притом в тех выражениях, в том тоне и с тем жаром, какие даны человеку еще и талантливому, что его привлекает в ней ее кротость и доброта; и ко всему, то был Крофорд, который содействовал производству Уильяма в офицеры!

Вот она – перемена! вот они резоны, которые не могли не повлиять на Фанни. Легко было пренебрегать им с высоты гневной добродетели, памятуя о Созертоне или о театре в Мэнсфилд-парке, но теперь он обращался к ней, имея права, которые требовали иного отношения. Она должна быть обходительна и исполнена сочувствия. Должна чувствовать себя польщенной и, думая о себе ли, о брате ли, должна испытывать глубокую благодарность. От всего этого она и отвечала ему так соболезнуя, так взволнованно, а слова, означающие отказ, перемешивались с другими, которые явственно выражали, что она чувствует себя в долгу перед ним и полна участия, и поэтому-то Крофорд, при его тщеславии и неунывающей самоуверенности, попросту не мог взять в толк, что она равнодушна к нему или, во всяком случае, настолько равнодушна, как говорит. И заявляя на прощанье, что в своем благосклонном внимании к ней будет по-прежнему упорен, настойчив и полон надежды, он был вовсе не так неразумен, как представлялось Фанни.

Отпустил ее с неохотою, но в лице его не было отчаяния, которое противоречило бы его словам, или хотя бы вселило в нее надежду, что он не столь безрассуден, сколь явствовало из его слов.

Теперь Фанни рассердилась. Его упорство, такое себялюбивое и невеликодушное, и вправду ее возмутило. Вот и опять ему недостает такта, способности считаться с другими, что прежде так поражало и отвращало ее. Вот опять перед нею тот Крофорд, которого она прежде так не одобряла. Как явно ему недостает чуткости и душевности, когда дело касается его собственного удовольствия. И увы! она всегда знала, что нет у него правил, которые заставляли бы его поступать по велению долга, если уж молчит сердце. Будь она даже свободна в своих чувствах, как, наверно, и должно было бы быть, никогда бы он ими не завладел.

Так думалось Фанни, поистине так, и вполне серьезно, когда она сидела в Восточной комнате у огня – этой великой милости и роскоши – и размышляла, дивилась прошлому и настоящему и тому, что еще предстоит, и ее одолевали смятение и тревога, из-за которых все для нее было смутно, и ясно лишь одно, что никогда, ни при каких обстоятельствах не полюбит она Крофорда и что сидеть у огня и думать об этом – блаженство.

Чтобы узнать, что произошло между молодыми людьми, сэр Томас был вынужден или сам себя вынудил ждать до завтра. Тогда он увидел Крофорда и получил от него полный отчет. Сперва он испытал разочарование: он надеялся на лучший исход, он не думал, что час,

потраченный таким молодым человеком, как Крофорд, на уговоры такой мягкосердечной девушки, как Фанни, почти ничего не переменит; но полные решимости суждения и жизнерадостное упорство влюбленного довольно быстро его успокоили, и, видя у главного заинтересованного лица такую уверенность в успехе, сэр Томас и сам стал вскоре на это надеяться.

Со своей стороны он не упустил ничего, что могло бы этому способствовать, – был любезен, добр, не скупился на похвалы. Он превозносил упорство мистера Крофорда, отдал должное и Фанни, снова подтвердил, что брака этого желает более всего на свете. В Мэнсфилд-парке мистеру Крофорду всегда будут рады; и лишь его собственное разумение и чувство должны определить, сколь часто он станет бывать здесь теперь или в будущем. О сем предмете у всей семьи его племянницы и у всех ее друзей будет общее мнение и единственное желание; все те, кто ее любит, будут склонять ее лишь к одному решению.

Было сказано все, что могло поощрить молодого человека, все поощренья были выслушаны с благодарной радостью, и оба джентльмена расстались наилучшими друзьями.

Довольный тем, что все теперь идет надлежащим и обнадеживающим образом, сэр Томас порешил не докучать более племяннице и воздержаться от открытого вмешательства. Он не сомневался, что при ее нраве всего верней на нее подействует доброта. Уговоры позволены лишь одной стороне. Снисходительность всего семейства, желания которого будут Фанни безусловно ясны, может наилучшим образом способствовать успеху. Согласно с принятым решением, сэр Томас при первом же удобном случае сказал Фанни с мягкой печалью, которую, как он надеялся, Фанни постарается рассеять:

– Что ж, Фанни, я виделся еще раз с мистером Крофордом и узнал от него, как обстоят дела между вами. Он удивительнейший молодой человек, и, чем бы все ни кончилось, ты, конечно же, понимаешь, что внушила ему чувство далеко не заурядное. Правда, ты еще слишком молода и не знаешь, сколь неустойчива, изменчива, непостоянна любовь по самой природе своей, а потому не можешь изумляться, как я, тому замечательному упорству, с каким он встречает твой отказ. Им движет одно лишь чувство к тебе, он несколько не считает это своею заслугою, и, должно быть, он прав. Однако ж при том, какой прекрасный он сделал выбор, его постоянство исполнено благородства. Будь его выбор не столь безупречен, я осудил бы его упорство.

– Мне, право, очень жаль, сэр, – сказала Фанни, – что мистер Крофорд будет по-прежнему... я знаю, что для меня это весьма лестно, и чувствую, что не заслуживаю такой чести, но я так убеждена, и говорила ему о том, что никогда не буду в силах...

– Дорогая моя, – прервал ее сэр Томас. – Не стоит об этом. Твои чувства мне известны не хуже, чем, должно быть, тебе мои желания и сожаления. Тут ничего более не скажешь и не сделаешь. С этого часу мы с тобою уже никогда не возвратимся к этому разговору. Тебе нечего опасаться, не из-за чего тревожиться. Ты ведь не можешь предположить, что я способен уговаривать тебя выйти замуж против твоей воли. Я пекусь единственно о твоём счастье и благополучии, и от тебя только и требуется, что потерпеть старания мистера Крофорда убедить тебя, что они вовсе не совместимы с его счастьем и благополучием. Он действует на свой страх и риск. Тебе ничто не грозит. Я обещал ему, что он сможет с тобою видаться всякий раз, как станет у нас бывать, как, вероятно, и было бы, если б ничего между вами не произошло. Ты будешь видаться с ним в нашем обществе наравне со всеми нами столько, сколько сможешь, не вспоминая о том, что тебе неприятно. Он так скоро покинет Нортгемптоншир, что даже и эта небольшая жертва потребуется от тебя не так уж часто. Будущее представляется мне весьма неопределенным. А теперь, дорогая моя Фанни, мы покончим с этим разговором.

Обещанный отъезд Крофорда – вот единственное, о чем Фанни думала с удовольствием. Однако ж добрые слова дядюшки, его снисходительность она оценила по достоинству; и когда она рассудила, сколь многое ему неизвестно, то поняла, что не вправе удивляться тому, какую линию поведения он избрал. Он, который отдал дочь замуж за Рашуота. Где уж от него ждать романтической утонченности. Ей следует исполнять свой долг и верить, что со временем долг этот станет менее тягостен.

Хотя ей было всего восемнадцать, не могла она предположить, будто чувство Крофорда вечно; не могла не надеяться, что упорно, непрестанно противясь ему, в конце концов положит ему конец. Сколько времени могла она отвести на это в своем воображении, это уже другое дело. Было бы несправедливо спрашивать у молодой особы, как высоко она оценила свои совершенства.

Вопреки своему намерению молчать сэр Томас был вынужден еще раз заговорить о сем предмете с племянницей, чтобы коротко подготовить ее к тому, что он должен посвятить во все тетушек; мера, которой он предпочел бы избежать, будь это возможно, но она стала необходима, поскольку Крофорд отнюдь не желал сохранять в тайне свои чувства и стремления. Он и не думал ничего скрывать. В пасторате все уже было известно, он любил говорить о будущем с обеими своими сестрами, и ему было бы только приятно иметь осведомленных свидетелей его успешного продвижения к своей цели. Узнав об этом, сэр Томас понял, что должен немедленно сообщить обо всем жене и свояченице; хотя опасался за Фанни, не меньше ее самой страшился того, как на это отзовется миссис Норрис. Он весьма осуждал ее неуместное, хоть и добронамеренное усердие. Поистине, к этому времени сэр Томас уже явно был недалек от того, чтобы причислить ее к тем добронамеренным людям, кои всегда совершают неуместные и чрезвычайно неприятные поступки.

Тетушка Норрис, однако ж, утешила его. Он настаивал, чтобы к племяннице относились снисходительно и не донимали ее поучениями; и миссис Норрис не только пообещала, но и соблюдала обещание. Только вид у ней стал еще недоброжелательней прежнего. Она гневалась, отчаянно гневалась на племянницу, но более за то, что ей сделано такое предложение, чем за то, что Фанни его отвергла. Это предложение было обидно и оскорбительно для Джулии, вот на ком Крофорду следовало остановить свой выбор; а помимо того, тетушка Норрис не могла простить Фанни, что та пренебрегла ею; и как ей было не испытывать недоброе чувство при таком возвеличении той, которую она всегда старалась посрамить.

Сэр Томас счел ее куда благоразумней, чем она того заслуживала, а Фанни готова была благословлять ее за то, что она выказывала неудовольствие единственно своим видом, но не словами.

Леди Бертрам приняла новость по-иному. В прошлом она была красавица, и состоятельной красавицею оставалась всю свою жизнь; и лишь красота да богатство внушали ей уважение. А потому известие, что руки Фанни просит человек денежный, очень возвысило племянницу в ее глазах. Убедившись, в чем она прежде сомневалась, что Фанни вправду очень хороша собою и выгодно выйдет замуж, леди Бертрам почувствовала, что возможность называть Фанни племянницею в некотором роде делает ей честь.

– Ну, Фанни, – сказала она, едва они остались одни, а она даже испытала что-то вроде нетерпенья, так хотелось ей остаться наедине с племянницею, и на ее лице выразилось непривычное оживление. – Ну, Фанни, нынче утром мне сделали весьма приятный сюрприз. Разок-то мне надобно об этом поговорить, я так и сказала сэру Томасу, разок мне это необходимо, а после я уже не буду. Поздравляю тебя, дорогая моя племянница. – И самодовольно на нее глядя, прибавила: – Хм... наша семья и правда красивая.



Фанни покраснела и поначалу не знала, что на это сказать, а потом, надеясь поразить тетушку в ее уязвимое место, отвечала:

– Дорогая тетушка, уж вы-то, без сомненья, не желаете, чтоб я поступила иначе. Не можете вы желать, чтоб я вышла замуж, ведь вам недоставало бы меня, верно? Да, вам, без сомненья, очень бы меня недоставало.

– Нет, моя дорогая. Раз тебе сделано такое предложение, я бы прекрасно без тебя обошлась. Если ты выйдешь замуж за такого состоятельного человека, как мистер Крофорд, я прекрасно без тебя обойдусь. И тебе следует понимать, Фанни, что каждая молодая девица просто обязана принять такое великолепное предложение.

То было едва ли не единственное правило поведения, единственный совет, какой получила Фанни от тетушки за восемь лет с половиною. И он заставил Фанни замолчать. Она почувствовала, что спорить бесполезно. Если тетушка чувствует иначе, чем она, нечего и надеяться вызвать у ней понимание. Леди Бертрам вдруг стала на удивление разговорчива.

– Я тебе вот что скажу, Фанни, – объявила она. – Он уж точно влюбился в тебя на балу, уж точно он попался в тот вечер. Ты тогда выглядела замечательно. Все так говорили. Сам сэр Томас так сказал. И ведь Чепмэн помогала тебе одеваться. Я очень рада, что послала к тебе Чепмэн. Я и сэру Томасу скажу, что это случилось в тот вечер. – И, следуя все тем же радостным мыслям, она несколько погодя прибавила: – И вот что я тебе скажу, Фанни... В следующий раз, когда у моей мопсы будет потомство, одного щенка получишь ты... такого подарка я не сделала даже Марии.

Эдмунду при возвращении предстояло услышать великие новости. Множество неожиданностей ждало его. Первой, и не самой малой, оказалась встреча с Генри Крофордом и его сестрою, которые шли по деревне, куда он только что въехал. А он-то полагал, что они сейчас очень далеко отсюда. Он пробыл в отсутствии более двух недель нарочно для того, чтобы избежать встречи с мисс Крофорд. Он возвращался в Мэнсфилд в том состоянии духа, когда готов был предаться грусти о прошедшем и нежным воспоминаниям, и вдруг увидел самое красавицу, властительницу его дум, опиравшуюся на руку брата; и та, кого еще миг назад он почитал в семидесяти милях отсюда, и того дальше от него в своих помыслах, много дальше любого расстоянья, приветствовала его самым дружеским образом.

На такой прием с ее стороны он никак бы не надеялся, даже если бы и думал с нею увидаться. Возвращаясь после исполнения того дела, ради которого уезжал, он мог бы ожидать чего угодно, только не удовольствия, выразившегося на ее лице, и простых приветливых слов. Этого было достаточно, чтобы в сердце его вспыхнула радость, и он приехал домой в самом подходящем настроении для того, чтобы в полной мере оценить и другие радостные неожиданности.

Скоро он уже знал во всех подробностях о производстве Уильяма; и втайне весьма утешенный в сердце своем, что еще подкрепляло его радость от этого известия, он во все время обеда был необыкновенно доволен и весел.

После обеда, когда он остался наедине с отцом, ему была рассказана история Фанни; а потом ему стали известны и все прочие значительные события последних двух недель и нынешнее положение дел в Мэнсфилде.

Фанни подозревала, о чем у них идет речь. Они оставались в столовой куда более обыкновенного, и потому она не сомневалась, что они говорят о ней; когда подали чай, мужчины наконец вышли, и она опять почувствовала на себе взгляд Эдмунда, и ее охватило горькое чувство вины. Он подошел к ней, сел рядышком, взял ее руку и ласково сжал; и в эту минуту Фанни подумала, что, если б не чаепитие, не общество в гостиной, она, наверно, не сумела бы сдержать чувства, поддалась бы непростительному порыву.

Эдмунд, однако, сжав ей руку, вовсе не намеревался дать ей понять, будто безоговорочно одобряет и поощряет ее, как она с надеждою подумала. Это должно было лишь выразить его интерес ко всему, что касается до Фанни, передать ей, что новость оживила его нежную к ней привязанность. Однако ж он был полностью на стороне отца. Он не так, как отец, удивился, что она отказала Крофорду, ибо вовсе не думал, что она хоть сколько-нибудь его отличает, скорее напротив, и легко себе представил, что Крофорд застиг ее врасплох, но и сам сэр Томас не мог бы желать этого брака более, чем Эдмунд. По его мнению, все говорило в пользу этого союза, и, отдавая Фанни должное за то, что она сделала под влиянием своего нынешнего равнодушия к Крофорду, отдавая ей должное в таких лестных выражениях, какие никак бы не повторил за сыном сэр Томас, Эдмунд искренне надеялся, со всей горячностью верил, что все кончится браком, и что, как он начинал уже серьезно подумывать, их взаимная привязанность покажет, что по натуре они как раз подходят для того, чтоб составить счастье друг друга. Крофорд не дал ей времени расположиться к нему. Он начал не с того конца. Однако же, полагал Эдмунд, при властной, яркой и одаренной натуре Крофорда и податливом нраве Фанни, они неизбежно придут к счастливой развязке. Меж тем он видел, как смутилась Фанни, и потому старательно остерегался словом ли, взглядом, движением смутить ее вновь.

Крофорд появился на другой день, и в связи с возвращением Эдмунда сэр Томас счел себя более чем вправе пригласить его остаться отобедать; нельзя было не оказать ему этой чести. Крофорд, разумеется, остался, и у Эдмунда был прекрасный случай наблюдать, как он спешит завоевать Фанни и в какой мере сулит надежду ее ответное поведение; и так мала была эта мера, так мала, что он готов был изумиться упорству друга, – ведь только смущенье Фанни и могло внушить какую-то надежду, и, уж если не на ее смятение, ни на что другое надеяться не приходилось. Фанни стоила упорства Крофорда; по мнению Эдмунда, она стоила величайшего терпения, любого душевного усилия, но при этом он не представлял, что сам мог бы продолжать добиваться какой-либо женщины, если б в глазах ее, как сейчас в глазах Фанни, не прочел ничего, что поддержало бы его мужество. Он очень хотел надеяться, что Крофорд видит ясней; и это было самое утешительное заключение, к которому он пришел, наблюдая за ними перед обедом, во время обеда и после него.

Вечером несколько обстоятельств показались ему более обнадеживающими. Когда они с Крофордом вошли в гостиную, его матушка и Фанни с таким молчаливым усердием занимались своим рукодельем, будто ни до чего другого им и дела не было. Эдмунд не смог не заметить вслух, что обе они, видно, наслаждаются совершенным покоем.

– Мы не все время были так молчаливы, – отвечала леди Бертрам. – Фанни читала мне и отложила книгу, только когда услышала ваши шаги. – На столе и вправду лежала книга, которую, похоже, только-только закрыли, том Шекспира. – Она мне часто читает из этих книг. И как раз читала за этого... Как бишь его зовут, Фанни?.. когда услышала ваши шаги.

Крофорд взял книгу.

– Ваша светлость, я был бы счастлив дочитать за него, – сказал он. – Я тотчас найду это место. – И, осторожно дав книге раскрыться там, где листы распались сами собой, он вправду нашел нужное место или другое, за одну-две страницы от него, достаточно близко, чтоб удовлетворить леди Бертрам, которая, едва он назвал кардинала Уолси, сказала, что это и есть тот самый монолог. Фанни ни взглядом, ни словом не помогла Крофорду, не произнесла ни звука за или против. Она вся ушла в свое рукоделье. Казалось, она решила ничем другим не интересоваться. Но у ней был слишком хороший вкус. Она не выдержала и пяти минут, поневоле начала слушать; Крофорд читал превосходно, и она поистине наслаждалась хорошим чтением. К хорошему чтению она, однако ж, была приучена давно; прекрасно читал дядюшка, кузины и кузены, в особенности Эдмунд; но чтение Крофорда отличалось поразительным разнообразием, ничего подобного ей еще слушать не доводилось. Король, королева, Бэкингем, Уолси, Кромвель<sup>12</sup> – он читал за всех по очереди; со счастливым умением, со счастливою силою догадки он всякий раз ухитрялся напасть на самую лучшую сцену либо на самый лучший монолог любого из них; и что бы ни следовало выразить – достоинство или гордыню, нежность или угрызения совести, – все удавалось ему превосходно. Он читал как истинный артист. Его игра в их театре впервые показала Фанни, какое наслаждение может доставить пьеса, и сейчас чтение оживило в памяти тогдашнюю его игру; пожалуй, даже принесло еще большее наслаждение, оттого что было неожиданно и не вызывало неприятного чувства, какое она испытывала, видя его на сцене с мисс Бертрам.

Эдмунд замечал, что Фанни слушает и все больше обращается в слух, и ему забавно и приятно было видеть, как все медленнее движется у ней в руках иголка, которая поначалу, казалось, поглощала все ее внимание; как выпала она у ней из рук, а Фанни не шелохнулась, и, наконец, как глаза, которые весь день так старательно избегали Крофорда, устремлялись на него, устремлялись подолгу, но наконец притянули его ответный взгляд, и тогда книга была закрыта, а чары разрушены. Фанни тотчас опять ушла в себя, залилась румянцем и с величайшим усердием принялась за вышиванье; он этого было довольно, чтобы вселить в

Эдмунда радость за друга, и, когда он сердечно того благодарил, он горячо надеялся, что выражает и тайные чувства Фанни.

– Должно быть, это ваша любимая пьеса, – сказал он. – Вы так читали, словно хорошо ее знаете.

– С этого часу она, без сомненья, станет моей любимой, – отвечал Крофорд. – Но не думаю, чтоб я держал в руках том Шекспира с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать. Я однажды видел на сцене «Генриха восьмого»... или слышал об этом от кого-то... сейчас уже не уверен. Но мы ведь сами не знаем, как знакомимся с Шекспиром. Для англичанина он – неотъемлемая часть души. Его мысли, его красоты растворены в самом нашем воздухе, и мы повсюду соприкасаемся с ними, бессознательно их впитываем. Всякий человек, если он не совсем глуп, открыв Шекспирову пьесу на любой странице, тотчас проникнется ее мыслью.

– Все мы, без сомненья, в какой-то мере знакомы с Шекспиром с малых лет, – сказал Эдмунд. – Прославленные места из его творений приводятся всеми авторами чуть не в каждой второй книге, какую мы открываем, и все мы говорим его словами, повторяем его сравнения, пользуемся его описаниями; но это совсем несхоже с тем, как донесли его суть вы. Знать из него отрывки и обрывки – это вполне обычно; знать его достаточно глубоко, пожалуй, не так уж необычно; но хорошо читать его вслух – это редкий талант.

– Я весьма польщен, сэр, – отвечал Крофорд и поклонился с насмешливой серьезностью.

Оба они бросили взгляд на Фанни, желая увидеть, нельзя ли и ее вызвать на похвалу, однако оба почувствовали, что ждать этого напрасно. Ее похвала заключалась в том внимании, с каким она слушала, этим и следует удовольствоваться.

А вот леди Бертрам выразила свое восхищенье, и притом не скупясь:

– Я будто в театре побывала, – сказала она. – Жаль, сэра Томаса тут не было.

Крофорд был чрезвычайно доволен. Если леди Бертрам, вовсе несведущая и ко всему равнодушная, могла это почувствовать, что ж тогда должна была почувствовать ее племянница, такая чуткая и просвещенная, – мысль эта возвышала его в собственных глазах.

– У вас, без сомненья, замечательные актерские способности, мистер Крофорд, – изрекла ее светлость несколько погодя. – И вот что я вам скажу, я думаю, вы рано или поздно заведете театр у себя дома в Норфолке. Я хочу сказать, когда там осядете. Непременно заведете. Я думаю, вы устроите театр у себя в доме в Норфолке.

– Вы думаете, сударыня? – живо отозвался он. – Нет, нет, никогда, ни в коем случае. Ваша светлость глубоко ошибается. Никакого театра в Эверингеме не будет! О нет! – И он посмотрел на Фанни с выразительной улыбкою, которая явно означала: «Эта особа ни за что не позволит завести в Эверингеме театр».

Эдмунд все это видел и видел, как решительно Фанни не желала понимать намеков, она молчала, несомненно опасаясь уже самым голосом выдать всю меру своего возмущенья; а такое мгновенное осознание смысла Крофордской улыбки, такое понимание намека скорее можно счесть благоприятным знаком, чем неблагоприятным.

Разговор о чтении вслух все еще продолжался. Говорили только оба молодых человека; стоя у камина, они беседовали о широко распространенном пренебрежении этим искусством, о полнейшем невнимании к нему во всякого рода школах для мальчиков, и потому естественно, а иной раз уже даже и неестественно, до какой степени мужчины, разумные и знающие мужчины оказываются неумелыми и неловкими, когда им приходится читать вслух; и Эдмунду и Крофорду доводилось видеть это, видеть ошибки и промахи, вызванные причинами второстепенными: неумением владеть голосом, передать смену настроений, выразительность, неумением предвидеть и оценить, и всему виной первая причина – невнимание к этому искусству и отсутствие привычки к нему с ранних лет, и Фанни опять

слушала с увлечением.

– Даже в моей профессии и то сколь мало занимались искусством чтения! – с улыбкой сказал Эдмунд, – отчетливостью речи, ясным произношением. Однако ж я говорю скорее о прошлом, а не о сегодняшнем дне. Нынче повсюду господствует дух усовершенствования. Но когда слушаешь тех, кто был посвящен в сан двадцать, тридцать, сорок лет назад, понимаешь, что почти все они полагают, будто чтение это одно, а проповедь совсем другое. Нынче уже не так. Теперь об этом судят верней. Теперь понимают, что доходчивость самых важных истин зависит от того, насколько ясно и горячо они провозглашаются, и, кроме того, сейчас распространен более научный подход, больший вкус, большая требовательность к знанию, в каждой общине больше прихожан, которым кое-что на сей предмет известно и которые уже могут о нем судить и иметь собственное мнение.

С тех пор, как Эдмунд принял сан, он уже однажды служил в церкви, и, узнав о том, Крофорд забросал его вопросами касательно его ощущений и успеха проповеди; вопросы эти заданы были хотя и с живою дружеской заинтересованностью и пристрастием, но без того налета добродушного подшучиванья или неуместной веселости, какая, без сомненья, была бы оскорбительна для Фанни, – и Эдмунд отвечал с истинным удовольствием; а когда Крофорд поинтересовался, как, по его мнению, следует читать иные места службы, и высказал на этот счет собственное мнение, свидетельствующее, что он уже думал об этом прежде, Эдмунд слушал его со все большим удовольствием. Он понимал, что это и есть путь к сердцу Фанни. Ее не завоеешь добродушием в придачу ко всевозможным любезностям да остроумию или, уж во всяком случае, не скоро завоеешь без помощи понимания, чуткости и серьезного отношения к предметам серьезным.

– В нашей литургии есть красота, которую не погубить даже скверным небрежным чтением, – заметил Крофорд. – Но есть в ней и много лишнего, и повторения, и, чтоб это не бросалось в глаза, ее следует читать особенно хорошо. Для меня это, во всяком случае, так, ибо, должен признаться, я не всегда достаточно внимателен (тут он бросил взгляд на Фанни) и в девятнадцати случаях из двадцати думаю о том, как следовало бы читать эту молитву, и жажду прочесть ее сам. Вы что-то сказали? – Он быстро подошел к Фанни, и, когда заговорил с нею, голос его смягчился; а, услышав «нет», он прибавил:

– Неужто не сказали? А я видел, губы у вас шевелились. И вообразил, будто вы собираетесь сказать, что мне следует быть внимательней и не позволять своим мыслям отвлекаться в сторону. Вы и вправду не собираетесь мне это сказать?

– Нет, конечно, вы слишком хорошо знаете свой долг... я даже и предположить не могу...

Фанни не договорила, смутилась, не могла более вымолвить ни слова, а Крофорд ждал, надеялся на продолжение. Через несколько минут он, однако, вернулся на прежнее место и вновь заговорил так, словно и не прерывал сам себя для этой нежной беседы.

– Хорошо произнесенная проповедь еще большая редкость, чем хорошо прочитанная молитва. Дстойная проповедь сама по себе не редкость. Хорошо сказать трудней, чем хорошо сочинить: правилам и умению сочинять учат чаще. Искусно сочиненная и искусно прочитанная проповедь – ни с чем не сравнимое наслаждение. Такую проповедь я слушаю с величайшим восторгом и уважением и чуть ли не готов тотчас принять сан и проповедовать. Что-то есть в красноречии проповедника, если это истинное красноречие, что заслуживает высочайшей похвалы и чести. Проповедник, который способен задеть за душу слушателей самых разных и повлиять на них, говоря о предметах ограниченных и давно приевшихся в устах заурядных проповедников; который способен сказать что-то новое либо поразительное, что может возбудить интерес, не оскорбляя при этом общепринятые вкусы и

не насилуя чувства слушателей, – такой человек и его миссия достойны всяческих почестей. Я и сам хотел бы быть таким.

Эдмунд рассмеялся.

– Поверьте, хотел бы. Всякий раз, как мне доводилось слушать выдающуюся проповедь, я чуть ли не завидовал. Но, правда, мне нужна лондонская публика. Я мог бы читать проповедь только образованной пастве, такой, которая в состоянии оценить мое искусство. И потом, мне навряд ли будет приятно читать проповеди часто. Пожалуй, изредка, раза два за весну, после того как пять-шесть воскресений меня будут с нетерпением ждать, но только не постоянно, постоянно – это не по мне.

Тут Фанни, которая не могла не прислушиваться, невольно покачала головой, и Крофорд мигом вновь очутился подле нее, умоляя сказать, что она этим подразумевала; а так как Эдмунд, сидящий рядом с нею, понял, что Крофорд будет настойчиво донимать ее и взглядами и речами вполголоса, он повернулся к ним спиной, вжался как можно глубже в угол и раскрыл газету, от души желая, чтоб, вынужденная в конце концов объяснить, отчего она покачала головою, милая малютка Фанни своим объяснением удовлетворила пылкого влюбленного; и старательно отгородясь от их речей, Эдмунд тихонько читал вслух всевозможные объявления – «Весьма соблазнительное имение в Южном Уэльсе», «Родителям и опекунам», «Превосходный обьезженный гунтер».

Меж тем Фанни, досадуя на себя, что не сумела остаться столь же неподвижной, как и молчаливой, и до глубины души огорченная поведением Эдмунда, пыталась в меру своей застенчивости и кротости избежать взглядов и расспросов Крофорда, который упорно добивался своего.

– Отчего вы покачали головой? – спрашивал он. – Что вы хотели этим выразить? Боюсь, это означало неодобренье. Но чего же? Чем я вызвал ваше неудовольствие? Мои слова показались вам неуместны?.. легковесны, непочтительны? Если так, прошу вас, скажите мне. Просту вас, если я не прав, скажите мне. Я хочу, чтоб вы наставили меня на путь истинный. Ну, пожалуйста, пожалуйста, я вас умоляю, отложите хоть на минутку ваше рукоделье. О чем вы думали, когда покачали головой?

Тщетно она взывала к нему:

– Просту вас, сэр, не надо... прошу вас, мистер Крофорд, – дважды повторила Фанни, тщетно пытаясь уклониться. Но все так же напористо, хотя и негромко, все в том же близком соседстве, он опять и опять повторял те же вопросы. А ею сильней и сильней овладевало волнение и недовольство.

– Как можно, сэр? Вы, право, удивляете меня... Как же так можно? Я просто поражена...

– Я вас удивляю? Вы поражены? Что ж вам непонятно в этой моей просьбе? Я готов тотчас же вам объяснить, чем вызваны мои неотступные просьбы, мой интерес ко всему, что вы выражаете и делаете, мое теперешнее нетерпеливое любопытство. Вам не придется долго поражаться.

Фанни не удержалась от еле заметной улыбки, но не вымолвила ни слова.

– Вы покачали головой, когда я сказал, что не хотел бы исполнять обязанности священника постоянно. Да, при этом самом слове «постоянно», я не боюсь его повторить. Я готов произнести его по буквам, прочесть его, написать. Не вижу в нем ничего, что вызывало бы тревогу. А вы видите?

– Пожалуй, сэр, – сказала Фанни, не в силах более отмалчиваться. – Пожалуй, сэр. Я пожалела, что вы не всегда понимаете себя так хорошо, как в ту минуту, когда это говорили.

В восторге оттого, что наконец заставил ее заговорить, Крофорд преисполнился решимости не дать разговору иссякнуть; и бедняжка Фанни, которая надеялась, что такой

жестокий упрек заставит его замолчать, с грустью убедилась, что ошиблась и что любопытство его теперь направлено лишь на другой предмет и один набор слов уступил место другому. Ему непременно требовались от нее какие-то объяснения. Как не воспользоваться таким удобным случаем. С тех самых пор, как он виделся с нею в кабинете ее дядюшки, не было у него такого случая и до отъезда из Мэнсфилда, верно, уже и не будет. Леди Бертрам, сидящую по другую сторону стола, можно не принимать в расчет, она скорее всего, по обыкновению, дремлет, а Эдмунд все еще поглощен объявлениями.

– Что ж, – сказал Крофорд после множества стремительных вопросов и неохотных ответов, – теперь я счастливей прежнего, потому что яснее понимаю ваше обо мне суждение. Вы полагаете, что я непостоянен, легко поддаюсь минутной прихоти, соблазну, легко забываю. При таком мнении не удивительно, что... Но мы еще посмотрим. Нет, не словами постараюсь я убедить вас, что вы несправедливы ко мне, я не стану вам говорить, что привязанности мои прочны. Мое поведение само скажет за меня, разлука, расстояние, время скажут за меня. Они докажут вам, что если кто и заслуживает вас, так это я. Конечно же, вы несравненно благороднее меня душою, это я знаю. У вас есть достоинства, какие, как мне прежде казалось, в такой степени ни в ком не встретишь. В вас есть что-то ангельское, сверх того – не просто сверх того, что видишь, ибо ничего подобного увидеть нельзя – но сверх того, что можно было бы вообразить. И все-таки меня это не пугает. Вас можно добиться, вовсе не сравнившись с вами достоинствами. Об этом нечего и мечтать. Лишь тот, кто видит ваши достоинства, и сильнее, чем кто-либо другой, их боготворит, и преданнее всех вас любит, лишь тот и может надеяться на взаимность. На этом и покоится моя уверенность. По этому праву я заслуживаю вас и заслужу. Я слишком хорошо вас знаю и потому питаю самые горячие надежды, пусть только вы убедитесь, что привязанность моя такова, как я говорю. Да, милая, прелестнейшая Фанни... Нет (спохватился он, увидев, с каким неудовольствием она отшатнулась от него)... прошу прощенья. Наверное, я еще не вправе... Но каким же еще именем мне вас называть? По-вашему, в мыслях моих я называю вас как-нибудь иначе? Нет, весь день напролет я думаю о «Фанни», о «Фанни» грежу всю ночь. В этом имени воплотилась такая прелесть, что оно одно заключает в себе ваш образ.

Фанни с трудом усидела на месте, она уже готова была встать и уйти, хотя представляла, как открыто он этому воспротивится, но тут с облегчением услышала приближающиеся шаги, которых давно ждала и не понимала, отчего они так непостижимо задержались.

Торжественная процессия во главе с Бэдли внесла чайный поднос, чайник, сладкие пироги и освободила Фанни, и телом и душой, от мучительного плена. Крофорд вынужден был отойти. Наконец-то она свободна, при деле, защищена от него хлопотами у чайного стола.

Эдмунд не без удовольствия вновь стал одним из тех, кто мог и говорить и слушать. И хотя беседа Крофорда с Фанни показалась ему поистине долгой, и хотя, глянув на Фанни, он только и увидел досадливый румянец, он хотел надеяться, что столь долгий разговор не мог не принести хоть какую-то пользу тому, кто его начал.

Эдмунд решил, что лишь от Фанни будет зависеть, станут они говорить об ее отношениях с Крофордом или нет, и, если она не заговорит первая, он ни за что этого не коснется; но прошло дня два взаимной сдержанности, и отец вынудил его переменить решение и попытаться употребить свое влияние на Фанни в пользу своего друга.

День отъезда Крофорда, очень близкий день, был уже назначен, и сэр Томас рассудил, что до того, как молодой человек покинет Мэнсфилд, неплохо бы сделать еще одну попытку в его пользу, укрепить его надежды, чтоб ему было легче сдержать все свои обеты и клятвы в неизменности своего чувства.

Сэр Томас был сердечно заинтересован, чтобы в этом мистер Крофорд оказался на высоте. Он желал, чтобы тот являл собою образец постоянства, и почитал, что всего верней для этого не испытывать его слишком долго.

Эдмунд охотно уступил уговорам отца вмешаться: он желал знать, каковы чувства Фанни. Прежде, когда у ней возникали какие-нибудь сомнения, она всегда советовалась с ним, и при его глубокой привязанности к ней ему трудно было мириться с тем, что сейчас она отказывала ему в доверии; он надеялся быть ей полезен, конечно же, он будет ей полезен, кому еще откроет она свое сердце? Если у ней нет надобности в совете, ей, должно быть, надобна поддержка, которую дает беседа с другом. Фанни, отдалившаяся от него, молчаливая, замкнувшаяся в себе, – это так неестественно; он должен пробиться к ней, и сделать это тем легче, что она, конечно же, сама этого хочет.

– Я поговорю с нею, сэр. Воспользуюсь первым же случаем, когда смогу поговорить наедине. – Таков был ответ Эдмунда после всех этих мыслей; а когда сэр Томас сказал, что Фанни как раз прогуливается одна в аллее, он тотчас же к ней присоединился.

– Я хотел бы погулять с тобою, Фанни, – сказал Эдмунд. – Ты не против? (И он подал ей руку.) Мы уже давно не гуляли вместе в свое удовольствие.

Фанни согласилась со всем сказанным скорее не словами, но всем своим видом. Настроение у ней было подавленное.

– Но, Фанни, чтобы погулять в свое удовольствие, недостаточно просто пройтись вместе по дорожке, – через минуту прибавил Эдмунд. – Ты должна поговорить со мною. Я знаю, тебя что-то беспокоит. И знаю, о чем ты думаешь. Ты ведь не предполагаешь, будто мне ничего не известно. Неужто я должен узнать обо всем от кого угодно, только не от самой Фанни?

Фанни тотчас же ответила ему, и взволнованная и удрученная:

– Если ты слышал про это от кого угодно, так мне нечего тебе рассказать, кузен.

– Быть может, не о событиях, Фанни, но о чувствах. Кто, кроме тебя, может о них рассказать. Однако не подумай, будто я собираюсь у тебя выпытывать. Если только ты и сама не хочешь мне рассказать. Я думал, когда ты поделишься своими чувствами, тебе полегчает.

– Боюсь, мы думаем совсем по-разному, и потому, рассказав тебе о них, я едва ли испытаю облегчение.

– Тебе кажется, мы думаем по-разному? Вот чего я никак не предполагал. Я уверен, при сравнении наших мнений обнаружится, что они так же схожи, как бывало всегда. Вот к примеру – я нахожу предложение Крофорда весьма подходящим и желательным, если ты можешь ответить ему взаимностью. По-моему, вполне естественно, что вся твоя семья желает, чтоб ты ответила ему взаимностью. Но раз ты этого не можешь, ты поступила как должно, отказав ему. Разве мы с тобой в этом расходимся?



– О нет! Но я думала, ты меня винишь. Я думала, ты против меня. Такое утешенье, что я ошиблась.

– Ты могла получить это утешенье раньше, Фанни, если б ты его искала. Но как ты могла подумать, будто я против тебя? Как могла ты вообразить, будто я сторонник брака без любви? Разве я когда-нибудь судил легкомысленно о подобных делах, как же могла ты вообразить, что я стану так судить, когда дело касается до твоего счастья?

– Дядюшка считает, что я поступаю нехорошо, и я знаю, он с тобой говорил.

– Я нахожу, что ты поступила совершенно правильно, Фанни. Я могу огорчаться, могу удивляться... хотя нет, едва ли, ведь у тебя не было времени привязаться к нему. Но по-моему, ты совершенно права. Какое в том может быть сомнение? Позор тому из нас, у кого оно может возникнуть. Ты его не любишь, и ничто не могло бы оправдать твое согласие.

Уже много, много дней не было у Фанни так спокойно на душе.

– До сих пор твое поведение было безупречно, и те, кто хотел бы видеть его иным, не правы. Но на том дело не кончается. Чувство Крофорда незаурядно, он упорен в своей надежде вызвать у тебя расположение, которого ты не питала к нему вначале. Для этого, как известно, надобно время. Но, – продолжал Эдмунд с ласковою улыбкой, – дай ему преуспеть, Фанни, дай ему наконец-то преуспеть. Ты показала себя прямой и бескорыстной, теперь покажи себя признательной и отзывчивой, и тогда ты будешь само совершенство, а я всегда был уверен, что ты рождена стать совершенством.

– Нет-нет, никогда, никогда он в этом не преуспеет. – И с такой горячностью это было сказано, что Эдмунд поразился, а Фанни, увидев, как он посмотрел на нее, и услышав его слова, опомнилась и залилась краской.

– Никогда, Фанни? – переспросил он. – Да так решительно и определенно! При твоей рассудительности это совсем на тебя непохоже.

– Я хочу сказать, – горестно воскликнула Фанни, желая объясниться, – что так мне кажется, – насколько вообще возможно предвидеть будущее, – мне кажется, никогда я не смогу ответить ему взаимностью.

– Я склонен надеяться на лучшее. Мне ясно, ясней, чем Крофорду, что тому, кто хочет завоевать твою любовь (а его намерения тебе известны), придется очень нелегко, ведь этому будут противостоять все твои давние привязанности и привычки. И прежде, чем ему удастся склонить к себе твое сердце, ему надобно развязать узы, которые связывают тебя со всем твоим многолетним одушевленным и неодушевленным окружением и которыми теперь, при одной мысли о расставанье, ты стала еще сильнее дорожить. Я знаю, предчувствие, что тебе придется покинуть Мэнсфилд, поначалу будет настраивать тебя против Крофорда. Мне жаль, что он должен был тебе сказать, к чему он стремится. Мне жаль, Фанни, что он не знает тебя так же хорошо, как я. Скажу по правде, я надеюсь, что мы тебя завоюем. Мои теоретические знания, а его практические, соединенные вместе, приведут к успеху. Ему бы надобно действовать по моей подсказке. Надеюсь, однако ж, время покажет, что он заслуживает тебя. И не сомневаюсь, его постоянство будет вознаграждено. Я не могу предположить, что у тебя нет желания полюбить его – естественного благодарного желания. Не можешь ты не испытывать нечто в этом роде. Не можешь не сожалеть о своем равнодушии.

– Мы так несхожи, – сказала Фанни, избегая прямого ответа, – у нас и все склонности, и обыкновения совсем, совсем разные, и потому, даже если б я могла его полюбить, нам совершенно невозможно быть хоть сколько-нибудь счастливыми вместе. Нет на свете людей, которые так отличались бы друг от друга. У нас и вкусы все до единого не совпадают. Мы были бы несчастны.

– Ты ошибаешься, Фанни. Различие между вами не так уж велико. Вы во многом схожи. У

вас и вкусы есть общие. У вас общие вкусы касательно литературы и нравственности. Вы оба добросердечны и благожелательны. И неужели хоть кто-нибудь, кто слышал, как он читал вчера вечером Шекспира, и видел, как ты его слушала, подумает, будто вы не подходите друг другу? Ты не думаешь о себе. Характеры у вас, безусловно, разные, не спорю. Он веселый, ты серьезная, но тем лучше: его бодрость будет тебе поддержкой. Ты легко падаешь духом и склонна преувеличивать трудности. Его неунывающий нрав будет это уравнивать. Он ни в чем не видит никаких трудностей, и его приятная веселость будет тебе неизменной поддержкой. При всем различии между вами, Фанни, нет никаких оснований полагать, будто вы не можете быть счастливы вместе, и, пожалуйста, ничего такого не воображай. Вот я, например, убежден, что такое различие как раз весьма благоприятно. Я совершенно уверен, лучше, чтоб характеры были разные. Я имею в виду: разные по состоянию духа, манере поведения, по предпочтению проводить время в более узком или в более широком кругу, разговаривать или слушать собеседника, по склонности к жизнерадостности или грусти. Некоторые противоположности, без сомнения, способствуют супружескому счастью. Я, разумеется, не говорю о крайностях, а слишком большое сходство во всем этом непременно привело бы к крайности. Некоторое противодействие, мягкое и постоянное, всего лучше способствует хорошим манерам и поведению.

Фанни отлично догадывалась, о чем он сейчас думает. Его мыслями вновь завладела мисс Крофорд. С той минуты, как Эдмунд воротился в Мэнсфилд, он говорил о ней охотно и весело. Он более не избегал ее. Только накануне он обедал в пасторате.

Предоставив Эдмунда на несколько минут его счастливым мыслям, Фанни почла своим долгом вернуться к разговору о Крофорде и сказала:

– Не только из-за его нрава я считаю его совершенно неподходящим для себя, хотя и в этом разница между нами слишком велика, безгранично велика; его настроение часто угнетает меня, но есть в нем и другое, что мне не нравится и того более. Должна тебе сказать, кузен, что я осуждаю его характер. Я думаю о нем плохо с тех пор, как затеял театр. Мне кажется, его поведение в ту пору было столь предосудительно, столь бесчувственно, теперь можно об этом говорить, потому что все это уже позади, столь предосудительно по отношению к бедному мистеру Рашуоту... он, видно, вовсе не думал, в какое положение того ставит, какую причиняет ему боль, и, ухаживая за кузиной Марией, он... коротко говоря, во время затеи с театром у меня создалось о нем такое впечатление, которое мне уже не преодолеть.

– Милая Фанни, – отвечал Эдмунд, едва ли дослушав ее до конца. – Лучше не судить никого из нас по тому, какими мы казались в ту пору всеобщего безрассудства. Пору театра мне тошно вспоминать. Мария вела себя дурно, Крофорд вел себя дурно, мы все вели себя дурно, но хуже всех я сам. По сравнению со мною все остальные вели себя безупречно. Я делал глупости с открытыми глазами.

– Я была в стороне от этого, – сказала Фанни, – и потому, наверное, видела больше тебя. И я уверена, мистер Рашуот временами отчаянно ревновал.

– Вполне возможно. Что ж тут удивляться. Сама по себе затея была весьма предосудительна. Всякий раз, как подумаю, что Мария взялась за подобную роль, я ужасаюсь. Но уж если она могла позволить себе такое, что удивляться на остальных.

– Или я сильно ошибаюсь, или до театра как раз Джулия думала, будто Крофорд благоволит именно к ней.

– Джулия!.. Я уже от кого-то слышал, что Крофорд был влюблен в Джулию, но никогда ничего подобного не замечал. И вот что я тебе скажу, Фанни, хотя, надеюсь, я отдаю должное добропорядочности моих сестер, по-моему, вполне возможно, что которая-нибудь

из них или они обе очень хотели понравиться Кроффорду и, забыв о благоразумии, могли беспечно выказать это желание. Помнится, обе они с явным удовольствием проводили время в его обществе, а когда мирволят такому человеку, как Кроффорд, такому живому и, пожалуй, несколько беспечному, ему легко зайти чуть дальше... Тут нечему изумляться, ведь у него не было никаких притязаний, сердце его было предназначено для тебя. И, должен сказать, отдав предпочтение тебе, он бесконечно выиграл в моем мнении. Он показал, что верно судит о блаженстве домашнего счастья и бескорыстной любви, и это делает ему честь. Это доказывает, что дядя не сумел его испортить. Иными словами, это доказывает, что он именно такой, как я хотел надеяться, и однако же боялся, что он иной.

– А я убеждена, что о серьезных материях он думает не так, как следовало бы.

– Скажи лучше, что он вовсе не думает о серьезных материях, по-моему, это будет ближе к истине. Как могло быть иначе при таком воспитателе и советчике. Разве не поразительно, что при тех поистине неблагоприятных условиях, в которых они оба находились, они такие, какими мы их знаем? Я готов признать, что до сих пор Кроффорд повинуетя лишь голосу чувств. По счастью, обыкновенно чувства у него хорошие. Остальное восполнишь ты. Счастливчик он, что привязался к такому созданию, к женщине, твердой как скала в своих принципах, чей мягкий нрав, однако, тем верней помогает утвердить эти принципы. Право же, он избрал себе спутницу жизни на редкость удачно. Он сделает тебя счастливой, Фанни, поверь мне, он сделает тебя счастливой, а уж ты его не только осчастливишь, но и возвысишь.

– Нет уж, увольте, не хотела бы я брать на себя такое попечение, – возразила Фанни, – такую серьезную ответственность!

– Ты, как всегда, не веришь в свои силы!.. воображаешь, будто тебе все не по плечу! Что ж, хотя я сам, должно быть, не сумею внушить тебе иные чувства, я уверен, тебе их внушат. Признаться, я искренне в том заинтересован. Благополучие Кроффорда мне не безразлично. Всего более меня заботит твое счастье, Фанни, но после тебя я первым делом забочусь о Кроффорде. Ты ведь понимаешь, что Кроффорд мне не безразличен.

Фанни слишком хорошо это понимала, и потому ей нечего было сказать, и затем шагов с полсотни они прошли молча, каждый был погружен в свои мысли. Первым нарушил молчание Эдмунд:

– Я вчера был очень доволен тем, как она об этом говорила, особенно доволен, ибо не ждал, что она все видит в таком правильном свете. Я знал, что ты ей очень по душе, но все равно боялся, что она не сочтет тебя достойной своего брата, будет жалеть, что он не остановил выбор на какой-нибудь знатной или богатой особе. Боялся ее пристрастия к тем светским понятиям, которые ей внушали с детства. Но оказалось совсем по-другому. Она говорила о тебе именно так, как следовало. Она желает этого родства так же горячо, как твой дядя и я. Мы долго беседовали с нею об этом. Мне не пришлось начинать разговор самому, хотя мне не терпелось узнать ее чувства, – но я не пробыл там и пяти минут, как она заговорила столь откровенно, в той милой своей манере, решительно и бесхитростно, которая так ей присуща. Миссис Грант посмеялась над нею за то, что она так поспешила.

– Значит, при этом была миссис Грант?

– Да, когда я пришел, я застал сестер вместе, и мы все время так и проговорили о тебе, Фанни, пока не появились Кроффорд и доктор Грант.

– Я не видела мисс Кроффорд уже больше недели.

– Да, она сокрушается из-за этого, однако ей кажется, так оно к лучшему. Но до ее отъезда вы еще увидите. Она очень гневается на тебя, Фанни, будь к этому готова. Она говорит, что очень разгневана, но ты можешь представить ее гнев. Это сожаление и

разочарование сестры, которая думает, что ее брат вправе тотчас же получить все, чего ни пожелает. Она обижена, как и ты обиделась бы за Уильяма, но любит и ценит тебя всем сердцем.

– Я знала, что она разгневется на меня.

– Фанни, милая! – воскликнул Эдмунд, крепче прижимая к себе ее руку. – Только, пожалуйста, не расстраивайся из-за этого. Такой гнев может скорее служить предметом разговора, чем ощущаться. Сердце ее создано для любви и доброты, а вовсе не для злых чувств. Слышала бы ты, как она тебя расхваливала, видела бы, какое у ней было лицо, когда она говорила, что ты непременно должна стать женою Генри. И я заметил, что она все время называла тебя «Фанни», чего прежде никогда не делала, и произносила твое имя с истинно сестринской нежностью.

– А миссис Грант, она что-нибудь сказала... она говорила... она была там все время?

– Да, она полностью соглашалась с сестрою. Твой отказ, Фанни, их безмерно удивил. Чтоб ты могла отказать такому человеку, как Генри Крофорд, это, кажется, выше их понимания. Я говорил все что мог в твою защиту, но, сказать по правде, при том, как они это расценивают, ты должна возможно скорее повести себя иначе, чтоб доказать, что ты в здравом уме. Ничто другое их не удовлетворит. Но я докучаю тебе. Я кончил, Фанни. Не отворачивайся от меня.

Несколько минут Фанни предавалась раздумьям и воспоминаниям.

– Казалось бы, – проговорила она затем, – каждая женщина способна предполагать, что какой-то мужчина не придется ей по душе или, по крайней мере, не понравится какой-нибудь другой женщине, как бы он ни был вообще мил и приятен. Будь он само совершенство, по моему, это вовсе не значит, что его наверняка полюбит каждая женщина, которой случится прийти к нему по вкусу. Но даже если предположить, что это так, и согласиться, что мистер Крофорд обладает всеми правами и достоинствами, которыми его наделяют его сестры, откуда у меня взяться ответному чувству, такому же, какое испытывает он? Он застиг меня врасплох. Я и не представляла, что его отношение ко мне хоть что-то значило. И конечно же, я не могла настроить себя, чтоб он мне понравился только потому, что, как мне казалось, он от нечего делать обратил на меня внимание. В моем положении было бы чрезмерным тщеславием питать какие-то надежды на мистера Крофорда. Если предположить, что он не имел серьезных намерений, его сестры, при том, как высоко они его ценят, без сомненья, только так и подумали бы обо мне. Тогда как же... как же я могла быть влюблена в него в ту минуту, когда он признался мне в любви? Откуда было взяться нежным чувствам к нему, едва они ему понадобились? Его сестрам следовало бы почитать меня такой же разумной, как и его. Чем выше его достоинства, тем неприличней было бы мне иметь на него виды. И... и потом, мы очень по-разному судим о женской природе, если они воображают, будто женщина может так быстро, как им кажется, испытать ответное чувство.

– Милая, милая моя Фанни, наконец-то я узнаю правду. Я уверен, это и есть правда. И такие понятия делают тебе честь. Я так и думал о тебе. Я полагал, что понимаю тебя. Ты сейчас дала мне то самое объяснение, которое я осмелился представить твоему другу мисс Крофорд и миссис Грант, и обеих оно хоть сколько-то удовлетворило, хотя твоему добросердечному другу этого все еще не достаточно из-за ее приверженности и любви к Генри. Я им говорил, что ты из тех, над кем привычка властвует значительно сильнее, чем новизна, и что сама неожиданность ухаживания Крофорда действует против него. Слишком это ново, слишком недавно – а потому не в его пользу. Ты же плохо переношишь все, к чему не привыкла. И я говорил им еще много в том же роде, старался дать представление о твоём характере. Мисс Крофорд насмешила нас, сказавши, как она собирается приободрить брата.

Она намерена уговорить его не терять надежду, что со временем его полюбят и что к концу десяти лет счастливого брака его ухаживанья будут приняты весьма благосклонно.

Фанни с трудом улыбнулась, ведь он этого от нее ждал. Она была в полнейшем смятении. Ей казалось, она поступает дурно, слишком много говорит, слишком далеко заходит в своих опасениях, которые почитает необходимыми, чтоб защитить себя от одной беды, и тем самым остается беззащитной перед другой бедою, и в такую минуту и по такому поводу услышать от Эдмунда шутку мисс Крофорд было особенно горько.

По ее лицу Эдмунд увидел, что она утомлена и огорчена, и тотчас же решил не продолжать обсуждение и даже не поминать более имя Крофорда, разве что в какой-нибудь безусловно приятной для нее связи. А потому он вскорости заметил:

– Они уезжают в понедельник. Так что ты, без сомненья, увидишься со своей подругою либо завтра, либо в воскресенье. Они вправду уезжают в понедельник! А ведь меня чуть не уговорили остаться в Лессингби как раз до этого самого дня! Я уже почти пообещал. Как бы это все изменило. Пробудь я еще пять-шесть дней в Лессингби, и это отразилось бы на всей моей жизни.

– Тебе хотелось остаться там?

– Очень. Меня премило уговаривали, и я почти согласился. Если б я получил хоть от кого-нибудь из Мэнсфилда письмо, из которого узнал бы, что вы все живы-здоровы, я бы непременно остался, но я уже две недели ничего про вас не знал и чувствовал, что нахожусь в отъезде уже достаточно долго.

– Ты там приятно проводил время?

– Да, то есть, если и нет, тому виною мое внутреннее состояние. Они все очень милые. Вряд ли они сочли таким же и меня. Когда я туда ехал, у меня душа была не на месте, и я ничего не мог с собой поделать, пока снова не оказался в Мансфилде.

– А сестры мистера Оуэна... ведь они тебе понравились?

– Да, очень. Милые, веселые девушки, без затей. Но я избалован, Фанни, общество обыкновенных женщин мне не подходит. Веселые девушки без затей неинтересны мужчине, который привык к умным женщинам. Это два различных слоя общества. Благодаря тебе и мисс Крофорд я стал чересчур взыскателен.

Но все равно Фанни была подавлена и утомлена; Эдмунд увидел это по ее лицу, понял, что разговорами тут не поможешь, и, ни о чем более не заговаривая, с властной добротою пользующегося доверием наставника повел ее домой.

Эдмунд был доволен, теперь он полагал, будто прекрасно понимает все, что Фанни могла сказать или оставить не сказанным о своих чувствах. Как он и думал прежде, Крофорд слишком поспешил и Фанни надобно дать время, чтоб мысль о замужестве сперва стала для нее привычной, а потом и приятной. Она должна освоиться с тем, что Крофорд влюблен в нее, и тогда ответное чувство, возможно, будет не за горами.

Это свое мнение, к которому Эдмунд пришел после разговора с Фанни, он высказал отцу и посоветовал ничего более не говорить ей, не пытаться снова повлиять на нее или уговорить, но предоставить все усердным ухаживаньям Крофорда и естественному ходу ее собственных рассуждений. Сэр Томас пообещал, что так оно и будет. Он мог довериться рассказу Эдмунда о настроениях Фанни, он предполагал, что ею и вправду владеют все эти чувства, но находил, что это весьма неудачно; ибо, менее сына полагаясь на будущее, поневоле опасался, что, если ей требуется столь долго привыкать к мысли о замужестве, молодой человек может утратить к ней интерес еще до того, как она сумеет убедить себя отнестись к его ухаживанью должным образом. Однако же тут ничего нельзя было поделать, только спокойно покориться неизбежности и надеяться на лучшее.

Обещанный визит ее «друга», как Эдмунд называл мисс Крофорд, был страшной угрозой для Фанни, и в ожидании его она жила в постоянном ужасе. Как сестра, такая пристрастная и такая разгневанная, да еще не склонная особенно выбирать слова, а с другой стороны, такая победительная и самоуверенная, она во всех отношениях вызывала у Фанни мучительную тревогу. Ее неудовольствие, проницательность и ее удачливость – все одинаково страшило Фанни; и единственную поддержкой была надежда, что при свидании они окажутся не одни. Опасаясь, как бы мисс Крофорд не застала ее врасплох, Фанни старалась как можно более времени проводить подле леди Бертрам, держалась подальше от Восточной комнаты и не гуляла в одиночестве по аллее.

Фанни преуспела в своем намерении. Когда мисс Крофорд наконец пришла, она сидела в малой гостиной под защитой тетушки; и первое мученье миновало ее, во взгляде и в разговоре мисс Крофорд не было почти ничего, что так страшило Фанни, и она стала уже надеяться, что ей всего-то придется вытерпеть с полчаса умеренных волнений. Но ее надежды не оправдались, мисс Крофорд не была рабой случая. Она желала увидеться с Фанни наедине и потому довольно скоро шепнула ей, что должна где-нибудь несколько "минут с нею поговорить; слова эти пронзили Фанни, она ощутила их всем своим существом, каждым нервом. Отказать было невозможно. Напротив, привыкшая к немедленному повиновению, она почти тотчас поднялась и пошла вон из комнаты. На душе у ней было хуже некуда, но она ничего не могла поделать.

Едва они оказались в прихожей, всю сдержанность мисс Крофорд как рукой сняло. Она тотчас покачала головой с лукавой, однако нежною укоризной и, взяв Фанни за руку, кажется, готова была начать разговор в ту же минуту. Однако она сказала только: «Скверная, скверная девочка! И когда ж я кончу вас бранить», и у ней хватило осмотрительности удержаться от дальнейшего до тех пор, пока они не укроются в четырех стенах. Фанни, разумеется, повернула к лестнице и повела гостью в комнату, в которой теперь всегда было приятно посидеть; однако открыла дверь с тяжелым сердцем, чувствуя, что ей предстоит столь мучительная сцена, каких еще не видывал этот уголок. Но неприятный разговор, который ей угрожал, по крайней мере, отодвинулся из-за неожиданной перемены в настроении мисс Крофорд, из-за волнения, какое ощутила она, вновь оказавшись в Восточной комнате.

– А! – вдруг оживившись, воскликнула она. – Неужели я опять здесь? Ведь это Восточная комната. Прежде я только один раз тут побывала! – Она помедлила, огляделась, видимо восстанавливая в памяти все, что тогда произошло, потом прибавила: – Один только раз. Вы помните? Я пришла репетировать. И ваш кузен пришел: мы репетировали. Вы были нашей публикой и суфлером. Восхитительная была репетиция. Никогда ее не забуду. Вот тут мы и были, на этом самом месте; вот здесь ваш кузен, вот здесь я, а вот здесь стулья... Ах, ну почему такие минуты не длятся вечно?

К счастью для ее спутницы, ответ ей не требовался. Она была поглощена собою. Сладкие воспоминания овладели ею.

– Таковую замечательную сцену мы репетировали! Она была очень... очень... как бы это сказать! Он рассказывал мне, что такое брак, и советовал выйти замуж. Мне кажется, я и сейчас его вижу, он очень старается быть сдержанным и спокойным, как положено Анхельту во время этих двух монологов. «Когда две родственных души вступают в брак, замужество сулит долгое счастье»<sup>13</sup>. Наверно, навсегда сохранится у меня в памяти его лицо и голос, когда он произносил эти слова. Странно, как странно, что нам выпало играть такую сцену! Будь в моей власти вернуть любую из прожитых недель, я вернула бы именно ту неделю, неделю наших репетиций. Что ни говорите, Фанни, а я бы так и поступила, никогда я не была счастливей, чем в ту неделю. Как он смирял свой непреклонный дух! О! То было несказанно сладко. Но увы! В тот же вечер все и разрушилось. В тот же вечер воротился самый что ни на есть нежеланный ваш дядя. Бедный сэр Томас, кому вы были нужны? Только, пожалуйста, не воображайте, Фанни, будто я теперь стану неуважительно говорить о сэре Томасе, хотя я, конечно же, много недель терпеть его не могла. Нет, теперь я отдаю ему должное. Он такой, каким и должен быть глава подобного семейства. Более того, по здравом и грустном размышлении, я теперь люблю вас всех. – И сказав это с той степенью нежности и серьезности, какой Фанни никогда еще в ней не видела и какая в глазах Фанни очень ее украсила, мисс Крофорд на миг отвернувшись, стараясь овладеть собою. – С тех пор как я переступила порог этой комнаты, я сама не своя, как вы могли заметить, – вскорости сказала она с игривой улыбкой. – Но все уже позади, так что давайте сядем, и пусть нам будет уютно и спокойно. У меня ведь было твердое намерение побранить вас, Фанни, но, когда дошло до дела, у меня недостает на это мужества. – И она ласково ее обняла. – Фанни, милая, славная моя, когда я думаю, что мы видимся в последний раз – кто знает, скоро ли мы опять свидимся, – я только и способна, что любить вас.

Фанни была растрогана. Она ничего подобного не предвидела, и ей редко удавалось устоять перед наводящим грусть словом «последний». Она заплакала, как если б любила мисс Крофорд, более, чем на самом деле могла ее полюбить, и мисс Крофорд, еще смягчившись при виде такого душевного волнения, с нежностью обхватила ее и сказала:

– Мне так не хочется с вами расставаться. Там, куда я еду, не будет никого, кто хотя бы вполтину был мне так мил, как вы. Кто говорит, что нам с вами не быть сестрами? Мы будем сестрами непременно. Я чувствую, мы созданы для того, чтоб породниться, и ваши слезы убеждают меня, что и вы так думаете, дорогая моя Фанни.

Фанни овладела собой и, отвечая далеко не на все услышанное, сказала:

– Но ведь вы просто переходите из одного дружеского круга в другой. Вы едете к очень близкой подруге.

– Да, это правда. Миссис Фрейзер многие годы была моя ближайшая подруга. Но у меня нет ни малейшего желания быть с нею рядом. Я только и могу сейчас думать что о друзьях, с которыми расстаюсь: о моей превосходной сестре, о вас, обо всех Бертрамах. Во всех вас настолько больше сердечности, чем встречаешь повсюду в мире. Со всеми вами у меня было

такое чувство, что я могу доверять вам и положиться на вас, при обыкновенных отношениях ничего похожего не бывает. Жаль, я не условилась с миссис Фрейзер приехать к ней после Пасхи, в такую пору гостить было бы лучше, но теперь я уже не могу отменить поездку. А после нее мне придется поехать к ее сестре, леди Сторнуэй, из них двоих самой близкой моей подругой была как раз она, но в последние три года я к ней охладела.

После этих слов девушки долгие минуты сидели молча, в задумчивости; Фанни размышляла о том, какие разные дружбы существуют на свете, направление мыслей Мэри было не столь философичным.

И опять она заговорила первая:

– Я так прекрасно помню, как решила искать вас наверху; отправилась разыскивать Восточную комнату, а сама понятия не имела, где она находится! Я так хорошо помню, о чем я думала, пока шла, и как заглянула и увидела вас у этого стола за рукодельем. А как потом удивился ваш кузен, когда отворил дверь и увидел здесь меня! И конечно, не забыть приезд вашего дяди в тот же вечер! Никогда я не переживала ничего подобного.

Потом опять каждая ненадолго погрузилась в свои мысли, но вот, отбросив их, Мэри приступила к Фанни.

– Ну, Фанни, вы совсем замечтались! Надеюсь, о том, кто непрестанно думает о вас. Если б только я могла ненадолго перенести вас в наше городское общество, чтоб вы поняли, как там думают о вашей власти над Генри! О, как ревнуют и завидуют многие и многие! С каким удивлением, недоверием они услышат о вашем отказе! Ведь Генри не таил своих чувств, он истинный герой рыцарского романа и гордится своими оковами. Вам надо бы приехать в Лондон, чтоб понять, какую вы одержали победу. Видели бы вы, как его домогаются и как домогаются меня, оттого что я его сестра! Теперь, без сомненья, я буду для миссис Фрейзер совсем не столь желанной гостьей, и виной тому отношение Генри к вам. Узнав правду, она, весьма вероятно, была бы рада, чтоб я опять оказалась в Нортгемптоншире: у мистера Фрейзера есть дочь от первой жены, и моя приятельница жаждет выдать ее замуж и с радостью отдала бы ее за Генри. Как же только она его не добивалась! Вы сидите здесь такая бесхитростная и скромная и даже представить не можете, как все там будут потрясены, как всем им захочется на вас поглядеть, сколько вопросов на меня посыплется! Бедняжка Маргарет Фрейзер станет меня донимать, какие у вас глаза, да какие зубки, да как вы причесываетесь, да кто шьет вам туфли. Ради моей бедняжки подруги я бы хотела, чтоб Маргарет вышла замуж, ведь Фрейзеры так же несчастливы, как большинство женатых людей. А ведь в свое время Дженет так стремилась к этому браку. Все мы были в восторге. Она не могла не радоваться этому браку, потому что он богат, а у ней не было ничего; но у него оказался скверный характер, и он весьма требователен и хочет, чтоб красивая молодая женщина двадцати пяти лет была такой же степенной, как он сам. И моя подруга плохо с ним управляется, по-моему, она не умеет к нему подойти. Она все время раздражена, что по меньшей мере свидетельствует о дурном воспитании. У них я буду с уважением вспоминать об отношениях супругов в Мэнсфилдском пасторате. Даже доктор Грант выказывает моей сестре глубокое доверие и в известной мере считается с ее суждениями, и оттого чувствуется, что он подлинно к ней привязан; а вот у Фрейзеров я не видела ничего похожего. Мысленно я всегда буду в Мэнсфилде, Фанни. Моя сестра в качестве супруги, сэр Томас в качестве супруга мне кажутся образцами совершенства. Бедняжке Дженет не повезло. И ведь в ее поступке не было ничего предосудительного, она вышла замуж вполне обдуманно, нельзя сказать, чтоб она не пыталась заглянуть вперед в будущее. Она попросила три дня, чтоб поразмыслить над его предложением. И в эти три дня советовалась со всеми своими близкими, к чьему мнению стоило прислушаться, и особенно спрашивала совета у дорогой



моей покойной тетушки, которая прекрасно знала свет, и потому вся ее знакомая молодежь по достоинству ценила ее суждения; и она высказалась за этот брак. Похоже, ничто не дает уверенности, что супружество будет счастливым! Я очень мало могу сказать в защиту моей подружки Флоры, которая пренебрегла очень славным молодым человеком из конной гвардии ради этого ужасного лорда Сторнуэя. У него, Фанни, ума не более, чем у Рашуота, а с лица он куда как хуже, и характер мерзкий. В ту пору я сомневалась, правильно ли она поступает, потому что он совсем непохож на джентльмена, а теперь я уверена, что она сделала ошибку. Кстати, Флора Росс отчаянно влюбилась в Генри в первую зиму, когда стала выезжать. Но начини я рассказывать вам обо всех женщинах, которые, я знаю, были в него влюблены, и этому не будет конца. Только вы, вы одна, бесчувственная Фанни, способны думать о нем чуть ли не равнодушно. Но так ли вы бесчувственны, как даете понять? Нет, нет, я вижу, что это не так.

В эту минуту Фанни так густо покраснела, что в уме настороженном это могло подтвердить самые серьезные подозрения.

– Вы прелесть, Фанни! Я не стану вас допекать. Все пойдет своим чередом. Но, Фанни, милая, признайтесь, вы вовсе не были так уж неподготовлены к тому вопросу, как воображает ваш кузен. Быть того не может, чтоб вы совсем о том не задумывались, не питали кое-каких подозрений. Вы же видели, что Генри старается оказывать вам все знаки внимания, какие в его силах. Разве на балу он не посвятил всего себя вам? А перед балом – эта цепочка! О! вы приняли ее именно так, как было задумано. Вы все почувствовали так, как только можно было пожелать. Я прекрасно это помню.

– Вы хотите сказать, что ваш брат загодя знал про цепочку? О, мисс Крофорд, это так дурно по отношению ко мне.

– Знал про цепочку! Да это все он, он сам это придумал. Стыдно сказать, но мне это не пришло в голову, однако ж, когда он меня надомил, я с радостью послушалась, ради вас обоих.

– Не могу сказать, что я совсем не опасалась этого, – отвечала Фанни. – Что-то в вашем взгляде меня испугало... но не с самого начала... Вначале я ничего не заподозрила!.. уверяю вас, ничего. Это чистая правда. А подумай я такое, ничто бы не заставило меня принять цепочку. Что же до поведения вашего брата, одно время мне казалось, что он меня отличает, казалось совсем недолго, наверно, недели две-три, но потом я порешила, что это ничего не значит, что просто такая у него манера, и никак не предполагала и не хотела, чтоб у него были серьезные намерения на мой счет. Я прекрасно видела, мисс Крофорд, что происходило летом и осенью между ним и кое-кем из нашей семьи. Я молчала, но слепой не была. Я не могла не видеть, что мистер Крофорд позволял себе ухаживать, не имея никаких серьезных намерений.

– О да! Этого я отрицать не стану. Он время от времени любил поволочиться, и его совсем не тревожило, какую он сеял смуту в чувствах молодых девиц. Я часто бранила его за это, но это единственный его недостаток, и не могу не прибавить, что очень мало на свете молодых девиц, чьи чувства стоят того, чтоб о них тревожились. И потом, Фанни, честь приковать к себе мужчину, за которым охотились столь многие, быть в силах сполна искупить слабости нашего пола! Нет-нет, конечно же, не в натуре женщины отказаться от такого торжества.

Фанни покачала головой.

– Не могу я хорошо думать о человеке, который играет чувствами женщины, какой бы она ни была, и притом она может страдать много более, чем кажется стороннему наблюдателю.

– Я его не защищаю. Я всецело предоставляю его вашему милосердию. И когда он увезет вас в Эверингем, выговаривайте ему сколько угодно, я не против. Одно вам скажу, его недостаток, пристрастие слегка влюблять в себя молодых девиц, совсем не так опасно для счастья жены, как склонность влюбляться самому, а это никогда не было ему свойственно. И я и вправду серьезно и искренне верю, что никогда еще, ни к одной женщине он не питал таких чувств, как к вам, он любит вас всем сердцем и будет любить вас так долго, как только возможно. Если хоть один мужчина способен любить женщину вечно, я думаю, так будет любить вас Генри.

Фанни не удержалась от едва заметной улыбки, но сказать ей было нечего.

– Мне кажется, ни разу Генри не был так счастлив, как когда его хлопоты увенчались успехом и вашего брата произвели в офицеры, – вскоре опять заговорила Мэри.

Невозможно было верней затронуть самую чувствительную струнку в сердце Фанни.

– О да! Он был так добр, так добр!

– Я знаю, ему это далось совсем не легко, я ведь знаю, к кому пришлось обращаться. Адмирал терпеть не может никакого беспокойства и считает ниже своего достоинства просить о каких-либо одолжениях. И потом, столько есть молодых людей, о которых хлопочут таким же образом, что надо очень хотеть удружить и исполниться немалой решимости, иначе не преуспеешь. Как, должно быть, счастлив Уильям! Вот бы вам его увидеть.

Никогда еще бедняжку Фанни не повергали в такое смятение. Мысль о том, что было сделано для Уильяма, всегда лишала ее покоя при любом решении против Крофорда; и она глубоко задумалась; а Мэри сперва самодовольно на нее поглядывала, потом стала размышлять о чем-то своем, но вдруг снова привлекла ее внимание.

– Я бы рада беседовать с вами весь день, – сказала она, – но нельзя забывать про дам внизу. Так что до свиданья, моя дорогая, моя очаровательная, моя превосходная Фанни, потому что, хотя будет считаться, что мы расстались в малой гостинной, я хочу проститься с вами здесь. И вправду прощаюсь, и предвкушаю тот счастливый час, когда мы опять встретимся, и верю, что будет это при таких обстоятельствах, которые откроют наши сердца друг другу без остатка, без тени настороженности.

Слова эти сказаны были не без волнения и сопровождались самым что ни на есть сердечным объятием.

– Я скоро увижу в Лондоне вашего кузена, он говорит, что довольно скоро там будет, а весной, думаю, и сэра Томаса, а с вашим старшим кузеном, и с Рашуотами, и с Джулией, без сомненья, буду то и дело встречаться, со всеми, кроме вас. Я хочу попросить вас о двух одолжениях, Фанни. Первое – это письма: вы должны мне писать. И второе – что вы будете часто навещать миссис Грант и возместите ей мое отсутствие.

Фанни предпочла бы, чтоб, по крайней мере, о первом одолжении ее не просили, однако же отказать в переписке не могла, не могла даже не согласиться на это с большей готовностью, чем позволяло ее собственное суждение. Возможно ли противиться столь очевидной приязни. Такая у ней была натура, что она особенно дорожила ласковым обращением, а ведь до сих пор отнюдь не была им избалована и оттого тем более не могла устоять перед отношением мисс Крофорд. К тому же Фанни была ей благодарна за то, что их tete a tete оказался далеко не столь мучителен, как она опасалась.

Все уже позади, и обошлось без упреков и без разоблачения. Тайна ее осталась при ней, а если так, пожалуй, можно согласиться на многое.

Вечером было еще одно расставанье. Пришел Генри Крофорд и несколько времени посидел с ними; Фанни загодя не настроила себя сурово, и сердце ее ненадолго смягчилось

по отношению к нему, ей казалось, он и вправду страдает. Совсем непохожий на себя, он едва ли вымолвил хоть слово. Он был явно удручен, и Фанни, от души надеясь, что более не увидит его до тех пор, пока он не станет мужем какой-нибудь другой женщины, не могла все же его не пожалеть.

Когда настал миг расставанья, он взял ее за руку, она не отказала ему в этом; он, однако же, ничего не сказал, во всяком случае ничего, что она бы услышала, и, когда он вышел из гостиной, она была особенно довольна, что с этим символом дружбы покончено. На завтра Крофорды уехали.

Теперь, когда мистер Крофорд уехал, сэр Томас желал, чтоб Фанни о нем скучала, и лелеял надежду, что, лишившись ухаживаний, которые при Крофорде она почитала или мнила злом, она почувствует, как ей их недостает. Она вкусила самую лестную их сторону, и сэр Томас и вправду надеялся, что, утратив их, вновь оказавшись девушкой, не заслуживающей внимания, она в душе испытает весьма полезные сожаленья. С этой мыслию он присматривался к ней, но едва ли мог сказать, заметил ли хоть что-то. Едва ли понимал, произошла ли в ее настроении хоть какая-то перемена. Она постоянно была так кротка, так старательно держалась в тени, что он не мог распознать, каково ее душевное состояние. Не понимал он ее, чувствовал, что не понимает, и потому попросил Эдмунда сказать ему, как она настроена и счастливей ли она сейчас, чем была при Крофорде, или напротив того.

Эдмунд не разглядел никаких признаков сожалений и думал, что со стороны отца несколько неразумно ждать, что они могут появиться в первые три-четыре дня.

Эдмунда удивляло другое – он что-то не замечал, чтоб она сожалела об отъезде сестры Крофорда, своей подруги и собеседницы, которая так много для нее значила. Он недоумевал, почему Фанни заговаривала о ней так редко и высказывала очень мало огорчения оттого, что им пришлось расстаться. Увы! как раз эта сестра, эта ее подруга и собеседница и отравляла теперь ее покой. Если б быть уверенной, что дальнейшая судьба Мэри не связана с Мансфилдом, как не будет с ним связана судьба ее брата, а это Фанни решила твердо, если б надеяться, что Мэри возвратится сюда так же нескоро, как ее брат, – Фанни очень хотелось на это надеяться, – у ней было бы совсем легко на сердце; но чем более она вспоминала и наблюдала, тем глубже убеждалась, что никогда еще все так не благоприятствовало браку мисс Крофорд и Эдмунда. Его намерение было явственней, чем когда-либо, ее – менее уклончиво. Его возражения, щепетильность его честной натуры, казалось, все отошло в сторону, а как, почему – неизвестно; и сомнения и колебания мисс Крофорд, рожденные честолюбивыми притязаниями, тоже рассеялись – и тоже без видимой причины. Чему же это приписать, если не растущей привязанности. Его добрые и ее дурные чувства покорились любви, и такая любовь должна их соединить. Он собирается в Лондон, как только завершит какое-то дело, связанное с Торнтон Лейси, – вероятно, не позднее, чем через две недели, говорил он, и явно говорил об этом с великим удовольствием; и когда Эдмунд снова окажется с Мэри, Фанни не сомневалась, к чему это приведет. Мисс Крофорд примет его предложение, это так же несомненно, как то, что он предложение сделает; однако у Фанни живо еще было дурное впечатление, отчего такая будущность глубоко ее огорчала, независимо – она была уверена, что независимо, – от ее собственных чувств.

Во время их последнего разговора мисс Крофорд, хотя кое-чем приятно удивила Фанни и проявила большую доброту, все же оставалась собою, все же видно было, что она заблудшая душа, сбившаяся с пути истинного, и сама о том не ведает; помраченная, хотя воображает себя просветленной. Она, вероятно, любит, но по всем прочим своим понятиям не заслуживает Эдмунда. У них, без сомнения, нет более ни единого общего чувства; да простят ей старшие и мудрые, но не верится ей, будто со временем мисс Крофорд переменится к лучшему, ведь если в расцвете любви влияние Эдмунда так мало прояснило ее суждения и возвысило ее представления, то даже и за долгие годы супружества все его достоинства будут в конце концов растрочены на нее понапрасну.

Житейский опыт, верно, возлагал бы более надежд на молодых супругов в подобных обстоятельствах, и беспристрастие не отказало бы мисс Крофорд в той истинно женской

способности соучаствовать, благодаря которой она переймет и усвоит мнения мужчины, коего любит и уважает. Но убежденья Фанни были иные, а потому заставляли ее страдать, и она не могла говорить о мисс Крофорд без боли.

Меж тем сэр Томас по-прежнему питал надежды и присматривался к Фанни, при своем знании человеческой природы чувствуя себя вправе ожидать, что, утратив свою власть и значимость, племянница о том пожалеет и ей страстно захочется, чтобы Крофорд вновь стал за ней ухаживать; но вскоре, не видя явных и бесспорных тому подтверждений, счел причиною приближающийся приезд другого гостя, что, как он полагал, вполне могло поддержать хорошее настроение Фанни. Уильям получил десятидневный отпуск, намеревался провести его в Нортгемптоншире и ехал, счастливейший из лейтенантов, каковой чин был уже им получен, чтобы поделиться своим счастьем и расписать свой мундир.

Он приехал и рад был бы показать им свой мундир, но жестокий обычай предписывал появляться в нем только при исполнении служебных обязанностей. Так что мундир остался в Портсмуте и Эдмунд полагал, что до того, как у Фанни появится случай увидеть его, и он сам и чувства его хозяина будут уже не так свежи, К тому времени он превратится в символ позора, ведь что может быть неуместней и никчемней мундира лейтенанта, который уже год, а то и два все лейтенант, и видит, как другие его обходят, получая повышение? Так рассуждал Эдмунд, пока отец не поделился с ним своим планом, благодаря которому у Фанни будет случай увидеть младшего лейтенанта с корабля его величества под названием «Дрозд» в совсем ином свете, во всей славе его.

План заключался в том, чтобы Фанни сопровождала брата в Портсмут и немного погостила в родной семье. Это пришло сэру Томасу на ум как правильная и желательная мера среди достойных его размышлений; но прежде, чем окончательно решить, он посоветовался с сыном. Эдмунд обдумал это со всех сторон и не нашел никаких возражений. Мысль и сама по себе хороша, и время выбрано наилучшее; можно не сомневаться, что Фанни будет очень, очень рада. Этого было довольно, чтобы сэр Томас принял решение; и ясным и определенным «значит, так тому и быть» с этим делом покуда было покончено; сэр Томас не без удовлетворения предвидел благие последствия поездки сверх и помимо тех, о которых шла речь в разговоре с сыном, ибо он отсылал Фанни менее всего из желания дать ей возможность вновь свидеться с родителями и уж вовсе не потому, что хотел доставить ей удовольствие. Конечно, он желал, чтобы она ехала с охотою, но пуще того желал, чтобы ей стало дома изрядно тошно еще прежде, чем придет время уезжать; и чтобы недолгое отсутствие элегантности и роскоши Мэнсфилд-парка отрезвило ее и склонило по достоинству оценить дом, столь же великолепный и уже постоянный, который ей был предложен.

Так замыслил сэр Томас излечить разум племянницы, который сейчас надобно считать пораженным болезнью. Восемь или девять лет жизни среди богатства и изобилия несколько расстроили ее способность судить и сравнивать. Отцовский дом, по всей вероятности, научит ее ценить солидный доход; и сэр Томас надеялся, что, подвергнувшись испытанию, которое он для нее замыслил, она потом всю жизнь будет мудрей и счастливей. Умей Фанни дать волю восторгам, им не было бы предела, когда она впервые поняла, что ее ожидает, когда дядюшка впервые предложил ей навестить родителей, братьев и сестер, с которыми она почти половину своей жизни была в разлуке, в сопровождении и под опекой Уильяма на месяц-другой воротиться в места своего раннего детства; когда она уверилась, что сможет видеться с Уильямом все время, до того часа, пока он вновь не уйдет в плавание. Умей она бурно ликовать, сейчас для этого было бы самое время, но ее радость была тихой, глубокой, переполняла сердце; она и всегда была немногословна, когда же ею владели самые сильные

чувства, особенно склонна была к молчанию. В ту первую минуту она сумела только поблагодарить и согласиться. После, несколько привыкнув к возникающим в воображении картинам предстоящего удовольствия, которое было для нее так неожиданно, она и с Уильямом и с Эдмундом могла свободнее говорить о своих чувствах; но все равно в душе еще оставалась нежность, которую невозможно было облечь в слова. С новой силой нахлынули на Фанни воспоминания обо всех ее детских радостях и о том, как она страдала, когда ее оторвали от них, и уже казалось, что возвращение домой исцелит боль, рожденную разлукой. Быть среди своих, быть всеми любимой, любимой как никогда прежде, не бояться своей нежности и не сдерживать ее, чувствовать себя ровней тем, кто вокруг, не слышать упоминаний о Крофордах, не видеть взглядов, в которых чудится укор из-за них! Такое предвкушаешь с наслаждением несказанным.

И еще Эдмунд: провести без него два месяца (а возможно, ей позволят остаться и на три) – это должно быть благо. На расстоянии, недоступном его взглядам, его доброте, не придется ежечасно, мучительно сознавать, что у него на сердце, всеми силами уклоняться от его признаний, и тогда она сумеет образумиться, обрести подобающее равновесие; тогда от мысли, что он в Лондоне устраивает свои дела, она не будет чувствовать себя несчастной. Что трудно вынести в Мэнсфилде, должно стать меньшим злом в Портсмуте.

Фанни только и огорчало сомнение, легко ли будет обойтись без нее тетушке Бертрам. Никому другому от нее нет пользы, но вот тетушке, пожалуй, так ее будет не хватать, что об этом и думать не хочется; уладить это сэру Томасу будет, конечно же, всего трудней, а никому другому и вовсе не под силу. Но он хозяин Мэнсфилд-парка. Когда он действительно почитал что-то нужным, ему неизменно удавалось это осуществить; и теперь он долго разговаривал с леди Бертрам, объясняя ей необходимость этой поездки, толковал о том, что это Фаннин долг – иногда видеться со своей семьей, и в конце концов уговорил жену отпустить ее; однако же леди Бертрам согласилась не из убеждения, а скорее из покорности, убедить ее удалось разве только в том, что сэр Томас почитает эту поездку необходимой, а значит, и она должна так думать. В тиши своей туалетной, беспристрастно об этом размышляя, не настраиваемая его рассуждениями, она вовсе не соглашалась, что Фанни надобно хоть изредка бывать подле отца с матерью, ведь они так долго обходились без дочери, а вот ей, леди Бертрам, племянница столь необходима. А касательно того, что без Фанни прекрасно можно обойтись, в чем ее пыталась убедить миссис Норрис, она положила, и очень решительно, ничего подобного не признавать.

Сэр Томас взывал к ее разуму, совести и достоинству. Он называл это жертвой и ждал, что при своей доброте и самообладании она принесет эту жертву. А миссис Норрис хотела ее убедить, что без Фанни можно прекрасно обойтись. Ведь она сама готова посвятить сестре все свое время, если та пожелает, и, коротко говоря, ничуть Фанни не нужна и вовсе не будет ее доставать.

– Возможно, сестра, – только и ответила леди Бертрам. – Я думаю, ты совершенно права, но мне, без сомненья, будет очень ее доставать.

Теперь надобно было снестись с Портсмутом. Фанни написала о своем желании приехать, и ответ матери, хотя и короткий, был столь ласковый, и несколько бесхитростных строк выражали столь естественную материнскую радость от возможности вновь увидеть свое дитя, что подтвердили все надежды Фанни на счастье встречи с матерью, убедили ее, что в «маменьке», прежде не питавшей к ней особой нежности, а в этом скорей всего она же сама была виновата или сама себе это внушила, она теперь найдет сердечного и любящего друга. Пожалуй, она охладила материнскую любовь своей беспомощностью и дурным, капризным нравом или же была неразумна, желала получить ее больше, чем может достаться

на долю каждого, когда детей так много. Теперь, когда она лучше умеет быть полезной и терпеливой и когда мать уже не занята непрестанными хлопотами, неизбежными в доме, полном малых детей, и у ней будет довольно досуга и охоты к уюту и покою, и между ними скоро непременно возникнет та близость, какая должна быть между матерью и дочерью.

Уильям почти так же радовался этому плану, как его сестра. Ее присутствие дома до той самой минуты, когда он уйдет в море, будет для него величайшим удовольствием, а может статься, она пробудет там до его возвращения из первого его крейсерства! И еще ему очень хотелось, чтобы она увидела его корабль до того, как тот покинет гавань («Дрозд» был поистине самый красивый шлюп в военно-морском флоте). И кроме всего, он жаждал показать ей кое-какие нововведения на верфи.

Он без колебаний прибавил, что ее приезд домой послужит к величайшему благу всех и каждого в семействе.

– Сам не знаю, как это получается, – сказал он, – но, похоже, в отцовском доме нам недостает иных милых твоих обыкновений и упорядоченности. Там всегда неразбериха. Я уверен, ты все переменишь к лучшему. Ты расскажешь маменьке, как всему надлежит быть, и очень будешь полезна Сьюзен, и станешь заниматься с Бетси, и сумеешь снискать любовь и послушание мальчиков. Какой ты внесешь в семью порядок и уют!

К тому времени, когда пришел ответ миссис Прайс, им оставалось провести в Мансфилде считанные дни; и в один из этих дней молодые путешественники несколько времени были в немалой тревоге касательно своей поездки, оттого что, едва стали обсуждать, каким образом они поедут, и тетушка Норрис поняла, что все ее попытки сберечь деньги зря оказались напрасны и, вопреки ее желанию и намекам, чтоб дорога Фанни обошлась подешевле, они поедут на почтовых, едва она увидела, как сэр Томас дает для этого деньги Уильяму, ее осенила идея, что в карете есть место для третьего пассажира, и она вдруг возжаждала поехать с ними – поехать и повидаться со своей дорогой бедняжкой сестрой Прайс. Она объявила об этом своем намерении. Надобно признать, говорила она, что она очень даже не прочь отправиться с молодежью; такая это для нее будет милость, ведь она не видалась со своей дорогой бедняжкой сестрой Прайс двадцать лет; и с помощью спутницы постарше молодежи будет легче управляться в путешествии; и как тут не подумаешь, что дорогая бедняжка сестра Прайс будет думать, как же дурно она, миссис Норрис, поступила, не воспользовавшись таким случаем.

От одной мысли, что тетушка Норрис будет их спутницей, Уильям и Фанни пришли в ужас. Весь уют предстоящего им уютного путешествия был бы загублен. Горестно смотрели они друг на друга. Часа два длилась неопределенность. Никто не вмешивался – не поддержал и не разубеждал тетушку Норрис. Ей предоставили все решить самой; к безмерной радости ее племянника и племянницы, она вдруг вспомнила, что сейчас в Мэнсфилд-парке без нее никак не обойтись: ведь она слишком нужна сэру Томасу и леди Бертрам и потому не может позволить себе оставить их даже на неделю, а значит, надобно пожертвовать всяким иным удовольствием ради удовольствия быть им полезной, – на том дело и кончилось.

В действительности же она спохватилась, что, хотя в Портсмут ее доставят задаром, на обратный путь хочешь не хочешь придется раскошелиться самой. Итак, ее дорогую бедняжку сестру Прайс ждет глубокое разочарование оттого, что миссис Норрис упускает столь удобный случай; и, видно, предстоят еще двадцать лет разлуки.

Отъезд Фанни, эта ее поездка в Портсмут отразились и на планах Эдмунда. Ему, как и его тетушке, пришлось принести себя в жертву Мэнсфилд-парку. Он собирался примерно в эту пору поехать в Лондон, но нельзя же оставить отца и мать как раз тогда, когда им и без того неуютно, потому что их оставили все, в ком они всего более нуждаются; и сделав над собой

усилие, что далось ему не без труда, но чем он не возгордился, он еще на неделю-другую отложил поездку, которую предвкушал в надежде, что благодаря ей навсегда обретет счастье.

Он сказал об этом Фанни. Она знала уже так много, пусть же узнает все. Такова была суть еще одной доверительной беседы о мисс Крофорд, и эта беседа подействовала на Фанни тем сильней, что она чувствовала: в последний раз они говорят о мисс Крофорд более или менее свободно. После еще один только раз Эдмунд о ней упомянул. Вечером леди Бертрам наказывала племяннице, чтоб та написала скоро по приезде и писала бы часто, и сама обещала исправно отвечать; а Эдмунд улучил минутку и шепнул:

– И я буду тебе писать, Фанни, когда будет о чем рассказать. О том, что тебе приятно будет узнать и что, кроме как от меня, ты не скоро услышишь.

Даже если б она сомневалась, что он имеет в виду, она по его просиявшему лицу сразу бы это поняла, когда подняла бы на него глаза.

Подобное письмо надобно постараться встретить во всеоружии! Чтобь ждть письма от Эдмунда с ужасом! Фанни начала понимать, что с ходом времени и в различных обстоятельствах ее мнениям и чувствам еще предстоит меняться, этого не избежать в нашем переменчивом мире. Еще не полностью она испытала превратности, сужденные душе человеческой.

Бедная Фанни! Ехать ей и хотелось и не терпелось, однако же этот последний вечер в Мэнсфилд-парке не мог стать для нее тяжким испытанием. При расставанье сердце ее разрывалось. Она оплакала здесь каждую комнату, а уж того более – каждого любимого обитателя этого дома. Она прильнула к тетушке, ведь той будет ее недоставать; борясь с рыданиями, поцеловала руку дядюшки, ведь она вызвала его неудовольствие; а что до Эдмунда, подойдя к нему проститься, она не смогла ни говорить, ни поднять глаза, ни подумать, и, лишь когда все осталось позади, поняла, что он простился с нею с братской нежностью.

Все это происходило ввечеру, ибо уезжали они ранним утром; и когда оставшиеся, поубавившись в числе, встретились за завтраком, об Уильяме и Фанни говорили как о тех, кто уже на шаг отделился от них.



Новизна путешествия и радость быть с Уильямом вскорости, когда уже изрядно отъехали от Мэнсфилд-парка, как и следовало ожидать, рассеяли грусть Фанни, и к тому времени, когда первая часть пути осталась позади и надобно было покинуть карету сэра Томаса, она уже способна была распрощаться со старым кучером и безо всякого уныния послать всем приличные случаю приветы.

Приятным разговорам между братом и сестрою не было конца. Все веселило ликующего Уильяма, и он дурачился, перемежая шутками беседу о материях более серьезных, которая если не начиналась, то уж непременно кончалась восхвалениями «Дрозда», догадками о том, что кораблю предстоит в ближайшее время, надеждами, что он войдет в состав армады для участия в серьезном бою, благодаря которому (особенно если старший лейтенант не будет помехой – а со старшим лейтенантом Уильям сейчас особенно не церемонился) он быстро получит следующий чин, или расчетами на призовые деньги, которые он щедро раздаст семье, оставив лишь столько, сколько понадобится, чтоб сделать удобным и уютным домик, где они поселятся с Фанни, когда станут уже немолоды, и проживут там вместе до глубокой старости.

О Фанниних теперешних тревогах, которые касались мистера Крофорда, они не говорили. Что произошло, Уильям знал и в душе сетовал на холодность сестры к человеку, которого числил едва ли не образцом среди людей; но он был в том возрасте, когда любовь превыше всего, и потому не мог ее винить; и, зная ее желание на сей счет, не стал ее огорчать ни малейшим намеком.

У ней были причины думать, что Крофорд еще не позабыл ее. За три недели, которые прошли с их отъезда из Мэнсфилда, его сестра несколько раз писала к ней, и в каждом письме оказывалось несколько строк от него, пылких, недвусмысленных, как его речи. Переписка эта, как Фанни и опасалась, была неприятнейшего для нее свойства. Манера письма мисс Крофорд, живая и нежная, была сама по себе злосчастьем, ибо, мало того что приходилось читать и строки, прибавленные пером ее брата, еще и Эдмунд не успокаивался, пока она не прочитает ему все самое существенное, и после она вынуждена была выслушивать его восторги касательно языка и сердечной привязанности к ней мисс Крофорд. По правде сказать, письма так были полны особого смысла, намеков, воспоминаний, так много места в них занимал Мэнсфилд, – как тут было не предположить, что они на то и рассчитаны, чтоб он их услышал; и вынужденная в этом участвовать, втянутая в переписку, которая приносит признания человека нелюбимого и заставляет поддерживать враждебную ей страсть того, кого она любит, Фанни чувствовала себя жестоко оскорбленной. И в этом тоже теперешний переезд благодетелен. Когда она не будет более под одной крышей с Эдмундом, у мисс Крофорд, без сомненья, не окажется столь важных причин писать, чтобы она стала себя утруждать, и в Портсмуте их переписка сойдет на нет.

Поглощенная подобными мыслями и тысячами других, Фанни продолжала путешествие весело, благополучно, с той скоростью, на какую разумно было надеяться в слякотный месяц февраль. Они въехали в Оксфорд, но на колледж Эдмунда Фанни успела бросить лишь торопливый взгляд, так как они проезжали мимо и ни разу не останавливались до самого Ньюбери, где уютной трапезой, соединившей в себе обед и ужин, завершился этот отрадный и утомительный день.

Утро опять проводило их в путь спозаранку; и безо всяких событий и помех они исправно продвигались вперед и достигли окрестностей Портсмута еще засветло, так что

Фанни могла смотреть по сторонам и дивиться новым строениям. Они миновали разводной мост и въехали в город; и только еще начинало смеркаться, когда, следуя громогласным указаниям Уильяма, почтовая карета с грохотом свернула с главной улицы в проулок и остановилась перед домишком, который теперь занимал мистер Прайс.

Фанни была вся волнение и трепет, вся – надежда и опасение. Едва они подъехали, неряшливого вида служанка, которая, должно быть, их поджидала, выступила вперед и, спеша не столь помочь им, сколько сообщить новость, тотчас же заговорила:

– С вашего позволения, сэр, «Дрозд» ушел из гавани, нынче приходил офицер. Ее перебил красивый высокий мальчик одиннадцати лет, который выскочил из дому, оттолкнул служанку и, пока Уильям сам открывал дверцу кареты, закричал:

– Ты как раз вовремя. Мы уже полчаса тебя поджидаем. «Дрозд» нынче утром вышел из гавани. Я его видел. Вот красавец. Говорят, он через день-два получит предписание. А в четыре приходил мистер Кэмпбел, справлялся о тебе. У него одна шлюпка с «Дрозда», в шесть он отчалит на корабль и надеется, ты поспеешь с ним.

Один-другой изумленный взгляд, брошенный на Фанни, когда Уильям помогал ей выйти из кареты, вот и все внимание, каким ее удостоил младший брат; но он дал ей себя поцеловать, хотя все продолжал обстоятельно рассказывать о том, как «Дрозд» выходил из гавани, вот что по праву интересовало мальчика всего сильнее, ибо на этом корабле ему в нынешнем плавании предстояло сделать свои первые шаги на поприще моряка.

Еще минута – и Фанни в узком коридорчике родительского дома, в объятиях матери, которая смотрела на нее с истинной добротой и показалась ей тем милее, что чертами лица вызвала перед глазами дочери тетюшку Бертрам; тут же были и две Фаннины сестры, – Сьюзен, рослая, красивая девочка четырнадцати лет, и самая младшая в семье, Бетси, которой еще не исполнилось пяти, – обе по-своему ей обрадовались, хотя хорошими манерами при встрече похвастать не могли. Но не манеры нужны были Фанни. Пусть бы только они ее любили, этого ей будет довольно.

Потом ее повели в гостиную, такую крохотную, что сперва она приняла ее за проходную комнату по дороге в другую, получше, и стояла, ожидая, что ее пригласят дальше, но тотчас увидела, что более тут дверей нет, заметила признаки жилой комнаты и опомнилась, упрекнула себя, огорчилась, боясь, как бы о ее мыслях не догадались. Но матери было не до того. Она опять поспешила к парадной двери, чтобы радушно встретить Уильяма.

– Уильям, дорогой, как я тебе рада. Но ты слышал про корабль? Он уже вышел из гавани, на целых три дня раньше чем мы думали, и ума не приложу, как быть с вещами Сэма, я нипочем не успею приготовить их вовремя – вдруг «Дрозд» получит предписание уже завтра. Я ж ничего такого не ждала. Да еще тебе прямо сейчас надо отправляться в Спитхед. Приходил Кэмпбел и очень беспокоился из-за тебя, как же нам теперь быть? Я-то надеялась, мы так уютно проведем с тобой вечер, и вдруг все сразу на меня свалилось.

Сын бодро отвечал, что все всегда к лучшему, и не стал сетовать, что должен будет так скоро проститься.

– Конечно, я предпочел бы, чтоб «Дрозд» был еще в гавани, тогда бы я уютно провел с вами несколько часов, но, раз ждет шлюпка, лучше мне идти сразу, и ничего с этим не поделаешь. Где же он там в Спитхед, «Дрозд»? Рядом с «Канопом»? Ну, не важно... Фанни в гостиной, а мы что ж стоим в коридоре? Идемте, маменька, вы ведь едва успели взглянуть на вашу дорогую Фанни.

Вместе они вошли в гостиную, и миссис Прайс, вновь ласково обняв дочь и недолго потолковав о том, как она выросла, весьма естественно забеспокоилась, что после долгой дороги они устали и голодны.

– Бедненькие мои, как же вы, наверно, утомились!.. Чем же вас попотчевать? Я уж стала думать, что никогда мы вас не дождемся. Последние полчаса мы с Бетси все глаза проглядели. Когда ж вы в последний раз хоть что-то перекусили? А сейчас чего вам хочется? Я не знала, что вам будет по вкусу после такого путешествия, мясо или только чай, а не то все уж было б готово. А теперь боюсь, вдруг Кэмпбел пожалует раньше, чем поджарится бифштекс, да у нас и мясника-то нет поблизости. Очень неудобно, когда на твоей улице нет мясника. В прежнем доме было лучше. Может быть, выпьете чаю, как только он поспеет?

И Фанни и Уильям тотчас сказали, что предпочитают чай всему прочему.

– Тогда, Бетси, душенька, беги на кухню, посмотри, поставила ли Ребекка чайник, и скажи, пускай поскорей принесет все для чаю. Надо бы починить звонок... но Бетси очень проворный посыльный.

Бетси живехонько отправилась в кухню, гордая, что может показать нарядной сестре свое уменье.

– Господи! – все беспокоилась мать. – Какой же у нас жалкий огонь; боюсь, вы оба помираете от холода. Подвинь стул поближе к камину, душенька. Чем же это занималась Ребекка? Я еще полчаса назад велела ей принести угля. Сьюзен, что ж ты не развела огонь?

– Я была наверху, мама, переносила свои вещи, – безбоязненно стала на свою защиту Сьюзен, этот ее тон поразил Фанни. – Ты ж только-только решила, что мы с сестрой Фанни будем жить в другой комнате, и я сколько просила Ребекку, а она не стала мне помогать.

Дальнейшему обсуждению помешала всяческая суэта: сперва пришел кучер, и надо было ему заплатить, потом Сэм заспорил с Ребеккой о том, как нести сестрин чемодан, на что у него имелось свое мнение, и, наконец, появился мистер Прайс собственной персоной, а еще до появления слышался его голос, когда он в коридоре чуть не с проклятьем отшвырнул ногой дорожную сумку сына и картонку дочери и потребовал свечу; свечу ему, однако же, не принесли, и он вошел в гостиную.

Со смешанными чувствами поднялась Фанни навстречу отцу, но тот и не различил ее в сумерках и не подумал о ней, и она снова села. Дружески пожимая сыну руку, мистер Прайс тотчас же напористо заговорил:

– Ба! Добро пожаловать, мой мальчик. Рад тебя видеть. Слыхал новость? «Дрозд» нынче поутру вышел из гавани. Экая, понимаешь, спешка. Провалиться мне, ты в последнюю минуту подгадал. Заходил доктор, спрашивал тебя, в гавани его дожидается шлюпка, к шести он должен быть в Спитхеде, так что отправляйся-ка лучше с ним. Я был в конторе, справлялся насчет твоего довольствия. Все вот-вот решится. Не удивлюсь, если вы получите приказ уже завтра; но если вам предстоит крейсировать на запад, с этим ветром не отплыть, а капитан Уэлш полагает, что вас наверняка направят на запад, со «Слоном». Вот бы хорошо, ей-Богу. Но старик Шоли только сейчас сказал, сдается ему, вас сперва пошлют к Текселу. Что ж, ладно, так ли, эдак ли, а мы готовы. Ты, ей-Богу, прозевал прекрасное зрелище, был бы здесь утром, видел бы, как «Дрозд» выходил из гавани. Я и за тысячу фунтов такое не упустил бы. Старик Шоли прибежал во время завтрака, говорит, «Дрозд» отшвартовался и уходит. Я вскочил и в два счета был уже на пристани. Другого такого красавца не сыскать, а теперь стоит себе в Спитхеде. Я пробыл там днем два часа, все на него глядел. Он бросил якорь подле «Эндимиона», между ним и «Клеопатрой», как раз к востоку от этой неуклюжей громадины.

– Ба! – воскликнул Уильям. – Как раз там бы я и сам бросил якорь. Лучшее место для стоянки в Спитхеде. Но, сэр, приехала Фанни, вот она, – проговорил он, оборотясь, и вывел Фанни вперед. – Так темно, что вы ее не увидели.

Признавшись, что совсем о ней забыл, мистер Прайс теперь обратил внимание на дочь;

сердечно ее обнял и заметил, что стала она уже взрослая и, наверно, скорей понадобится муж, и, казалось, был готов опять о ней забыть.

Фанни попятилась к своему стулу, горько опечаленная и его манерой выражаться, и исходящим от него запахом спиртного; а он по-прежнему разговаривал только с сыном и только о «Дрозде», хотя Уильям при всем горячем интересе к сему предмету не один раз пытался направить мысли отца на Фанни, на ее долгое отсутствие и долгое путешествие.

Несколько времени спустя зажгли свечу; но так как чаю еще не было и в помине и, судя по докладам Бетси, прибежавшей из кухни, надеяться, что он будет скоро, не приходилось, Уильям решил пойти переодеться и приготовить все для отбытия на корабль, чтобы потом поспешные сборы не помешали уютному чаепитию.

Едва он вышел из комнаты, туда ворвались двое краснощеких мальчишек, Том и Чарлз, нечесанные, чумазные, лет восьми и девяти, которые только что воротились из школы и спешили поглазеть на свою сестру и сообщить, что «Дрозд» вышел из гавани; Чарлз родился после отъезда Фанни из дому, но Тома она часто помогала нянчить и теперь увидела с особливим удовольствием. Она нежно обоих расцеловала, но Тома хотела задержать подле себя, постараться различить в нем черты младенца, которого любила, и рассказать ему, как в те поры он предпочитал ее всем. Том, однако же, не был расположен к подобному обращению – не для того он пришел домой, чтоб стоять и слушать кого-то, но чтоб носиться повсюду и шуметь; и скоро мальчишки сбежали от нее, так хлопнув дверью гостиной, что у ней заломило виски.

Теперь Фанни видела всех, кто был дома: оставались еще два брата между нею и Сьюзен, один служил клерком в присутствии в Лондоне, а другой – мичманом на судне Ост-Индской компании. Но хотя увидела она уже всех членов семейства, всего шума, который они могут поднять, она пока не слышала. Следующие четверть часа открыли Фанни и еще многое. Вскоре с лестничной площадки третьего этажа Уильям стал звать маменьку и Ребекку. Он был в отчаянии из-за чего-то, что там оставил, а теперь не нашел. Он не обнаружил на месте какого-то ключа, обвинил Бетси, что она добралась до его новой шляпы, и кое-какие небольшие, но важные переделки в форменном жилете, которые ему были обещаны, оказались не сделаны. Миссис Прайс, Ребекка и Бетси кинулись вверх, желая защититься, они все говорили разом, но Ребекка всех громче, и теперь надобно было уладить упущенное как можно лучше и в большой спешке; Уильям тщетно пытался отослать Бетси вниз или хотя бы утихомирить; а так как едва ли хоть одна дверь в доме не стояла настежь, каждое слово было отчетливо слышно в гостиной, и лишь порою тонуло в грохоте падений и криках гоняющихся друг за дружкой вверх и вниз по лестнице Сэма, Тома и Чарлза.

Бедную Фанни просто оглушило. Дом был невелик, стены тонкие, казалось, вся эта суматоха совсем рядом, и, усталая от путешествия и недавно пережитых волнений, она не знала, как это вынести. В самой гостиной было поспокойнее, ибо Сьюзен исчезла с остальными, и теперь здесь оставались только Фанни с отцом; а он, взяв газету, по обыкновению позаимствованную у соседа, углубился в чтение и, похоже, и думать забыл о дочери. Одинокую свечу он поставил между собой и газетою, вовсе не подумав, удобно ли это Фанни; но занятия у ней никакого не было, и она только радовалась, что свет от нее отгорожен, потому что голова разламывалась, и она сидела озадаченная, в горестном раздумье.

Она дома. Но увы! не таков он, и не так ее встретили, как... она остановилась, упрекнула себя в неразумии. Да какое у ней право на особое внимание родных? Никакого, при том, как давно ее потеряли из виду! Заботы Уильяма им всего дороже, и всегда так было, и как может быть иначе. Однако же как мало о ней было сказано, как мало спрошено... и даже не

спрашивали о Мэнсфилде! Больно ей было, что никто не вспомнил о Мэнсфилде, о родных, которые сделали для их семьи так много, о дорогих, дорогих родных! Но тут один интерес заслонил все прочие. Возможно, так и должно быть. Куда направится «Дрозд», это не может не занимать их пуще всего. Через день-другой станет по-другому. Винить следует единственно самое себя. И однако в Мэнсфилде встреча была бы иной. Нет, в доме дядюшки позаботились бы о времени и месте, соблюли бы меру и приличия, уделили бы внимание каждому, не то что здесь.

Почти за полчаса подобные размышленья были прерваны лишь раз внезапным взрывом отцовского гнева, вовсе не рассчитанным на то, чтоб ее утешить. В минуту когда совсем уж нестерпимы стали топот и крики в коридоре, мистер Прайс воскликнул:

– Черт побери этих щенков! Ишь разорались! А громче всех Сэм! Этот парень годится в боцманы. Эй ты, Сэм, заткни свою проклятую дудку, не то тебе несдобровать.

Угрозой родителя явно пренебрегли, и, когда пять минут спустя все три мальчика ворвались в гостиную и сели, Фанни поняла, что они попросту вконец выбились из сил, это, казалось, подтверждали их пылающие лица и тяжелое дыхание, однако же они прямо на глазах отца продолжали лягаться и при неожиданных ударах громко вопили.

В следующий раз, когда отворилась дверь, появилось нечто более желанное: чайная посуда, которую Фанни уже не надеялась увидеть в этот вечер. Сьюзен с прислугой, по чьему убогому виду Фанни с великим удивлением поняла, что встречала их с Уильямом старшая служанка, внесли все необходимое для чаепития; Сьюзен проследила, как та ставит чайник на огонь, и взглянула на сестру, словно разрываясь между радостным торжеством оттого, что могла показать, какая она деятельная и дельная, и страхом, вдруг Фанни подумает, будто, занимаясь этим, она роняет свое достоинство. Она зашла в кухню поторопить Салли и помочь сделать тосты и разложить хлеб с маслом, сказала Сьюзен, не то она уж и не знает, когда был бы готов чай... А ведь сестре, наверно, чего-то хочется с дороги.

Фанни от души ее поблагодарила. Она не могла не признать, что с наслаждением выпьет чаю, и Сьюзен тотчас принялась за дело, словно радуясь, что всем может заняться сама; и лишь слегка без надобности посуется и несколько раз напрасно попытавшись образумить братьев более, нежели ей было по силам, она со всем справилась отлично. Фанни взбодрилась и телом и душою; от этой своевременной услуги очень быстро головная боль унялась и на сердце полегчало. У Сьюзен было открытое, умное лицо; она походила на Уильяма, и Фанни понадеялась, что, как и он, сестра будет расположена и добра к ней.

Итак, в гостиной все поуспокоилось, и тут воротился Уильям и вслед за ним маменька и Бетси. В лейтенантской форме Уильям был великолепен, казался еще выше, крепче, изящнее; со счастливой улыбкой он направился прямо к Фанни, а она встала и с минуту смотрела на него в безмолвном восхищении, а потом обхватила его за шею и зарыдала от переполнявших ее чувств, от страданья и радости.

Боясь показаться огорченной, она быстро овладела собой, и, утерев слезы, могла уже заметить все поразительные особенности его костюма и повосхищаться ими, и, воспрянув духом, слушала его веселые планы – каждый день до отплытия бывать на берегу и даже свозить ее в Спитхед и показать свой шлюп.

Но вот опять поднялась суета, и в гостиной появился мистер Кэмпбел, корабельный врач, молодой человек с отменными манерами, который зашел за своим приятелем и для которого не сразу исхитрились раздобыть стул, а юная устроительница чая поспешно вымыла чашку и блюдце; мужчины серьезно побеседовали с четверть часа, и вновь поднялся шум, разноголосица, суета, суматоха, мужчины и мальчики разом вместе пришли в движение, настала пора отправляться; все было готово, Уильям попрощался, и все они вышли – ибо трое

мальчиков, вопреки настойчивым просьбам матери, решили проводить брата и мистера Кэмпбела до военной пристани, а мистер Прайс в это же время пошел возвращать соседу газету.

Теперь как будто можно было надеяться на подобие тишины и покоя, а тем самым, когда удалось уговорить Ребекку унести чайную посуду и миссис Прайс походила по комнате в поисках рукава от рубашки, который под конец Бетси выудила из ящика буфета в кухне, небольшая женская компания расположилась поудобней, и мать, снова посокрушавшись, что никак невозможно вовремя подготовить все необходимое для Сэма, удосужилась подумать о старшей дочери и о родных, от которых та приехала.

И пошли расспросы; но очень скоро миссис Прайс поинтересовалась, «как ее сестра Бертрам управляет с прислугой? Так же ли, как она, мучается, подыскивая сносную прислугу?», и это отвлекло ее от Нортгемптоншира и приковало к своим домашним неурядицам; ужасающая портсмутская прислуга, среди которой ее две служанки, конечно же, хуже всех, безраздельно поглотила ее мысли. Совершенно позабыв Бертрамов, она принялась подробно рассказывать о провинностях Ребекки, против которой было что сказать и Сьюзен, и того более маленькой Бетси, и которая и вправду, казалось, была так явно лишена каких-либо достоинств, что Фанни не удержалась и робко спросила, не намерена ли маменька с ней расстаться, когда минет ее год.

– Ее год! – воскликнула миссис Прайс. – Ну, надеюсь, я сумею избавиться от нее раньше, ведь год кончится только в ноябре. В Портсмуте, душенька, прислуга так себя ведет, что прямо чудо, если какую-нибудь служанку продержишь более полугода. Нет у меня никакой надежды найти подходящую. И если придется уволить Ребекку, другая скорей всего окажется и того хуже. Но я вовсе не думаю, будто такая уж я хозяйка, что мне трудно угодить... и само место у нас довольно легкое, ведь у ней есть помощница, и половину работы я часто делаю сама.

Фанни молчала, но не потому, что согласилась, будто нельзя найти лекарства от иных из этих зол. Она сидела и смотрела на Бетси и поневоле думала больше о другой сестренке, прелестной девчушке, которая была немногим моложе этой, когда она, Фанни, уехала в Нортгемптоншир, а несколько лет спустя умерла. Было в той малышке необыкновенное обаяние. В те ранние дни она была ей милее Сьюзен, и, когда весть о ее смерти наконец достигла Мэнсфилда, несколько времени Фанни очень о ней горевала. Вид Бетси пробудил у ней в памяти образ крошки Мэри, но ни за что на свете не стала бы она мучить мать разговором о ней. Пока Фанни была занята этими мыслями. Бетси, сидя неподалеку, протягивала что-то, желая привлечь ее внимание, но старалась загородить это от Сьюзен.

– Что там у тебя, милая? – спросила Фанни. – Иди сюда, покажи.

То был серебряный ножик. Тотчас вскочила Сьюзен, утверждая, что ножик ее, и пытаясь его отобрать; но малышка кинулась под защиту маменьки, и Сьюзен оставалось только упрекать ее, что она делала с большим жаром и явно надеялась привлечь на свою сторону Фанни. Это несправедливо, что она не может получить свой ножик, это ее собственный ножик, сестрица Мэри оставила его ей, когда умирала, и уже давным-давно ножик должен был храниться у ней. Но маменька не отдает его ей и всегда позволяет Бетси брать его, и кончится тем, что Бетси его испортит и оставит себе, а ведь маменька обещала, что Бетси не будет брать его в руки.

Фанни была потрясена. Ее чувство долга и чести, ее чуткое сердце были оскорблены словами Сьюзен и ответом маменьки.

– Да что ж это, Сьюзен! – воскликнула миссис Прайс жалобно и недовольно. – Что ж это ты, разве можно так злиться? Ты всегда скандалишь из-за этого ножа. Нехорошо быть такой

скандалисткой. Бедняжка Бетси, как зла на тебя Сьюзен! Но не надо было брать ножик, душенька, когда я послала тебя к буфету. Ты же знаешь, я не велела тебе его трогать, ведь Сьюзен из-за этого так злится. В другой раз придется мне его спрятать, Бетси. Когда бедняжка Мэри отдавала его мне на хранение всего за два часа до смерти, она и думать не думала, что он станет яблоком раздора. Бедняжка моя! у ней голосок уж был едва слышный, а она сказала так славно: «Когда я умру и меня похоронят, маменька, пускай сестра Сьюзен возьмет мой ножик себе». Бедная крошка! она так его любила, Фанни, всю болезнь держала его подле себя на кровати. Это был подарок ее доброй крестной матери, старой адмиральши Максвелл, всего за полтора месяца до того, как Мэри прибрал Господь. Бедная милая крошка! Что ж, Господь прибрал ее, чтоб она не увидела грядущего зла. Ах ты, моя Бетси. – продолжала миссис Прайс, лаская дочку, – тебе вот не повезло, нет у тебя такой доброй крестной матери. Тетушка Норрис слишком далеко живет, где ж ей подумать о малышке вроде тебя.

И вправду, Фанни нечего было передать от тетушки Норрис, кроме слов, мол, она надеется, что ее крестница хорошая девочка и выучила молитвы. Как-то в гостиной в Мэнсфилд-парке что-то неопределенное говорилось, мол, не послать ли Бетси молитвенник, но более Фанни ничего такого не слыхала. Правда, тетушка Норрис сходила домой и принесла два старых мужниных молитвенника, но, когда их получше разглядели, щедрый пыл угас. Один сочли негодным для глаз ребенка из-за мелкого шрифта, другой показался слишком громоздким, девочке неудобно будет его носить.

Фанни, усталая с дороги и уставшая вновь, едва ей предложили лечь в постель, с благодарностью согласилась; Бетси все еще вопила, чтоб в честь приезда сестры ей позволили посидеть лишний час, а Фанни вышла из гостиной, где опять поднялась неразбериха и шум, где мальчики выпрашивали тосты с сыром, папенька требовал ром с водою и, как всегда, никто не мог дозваться Ребекки.

В узенькой, скудно обставленной комнатенке, которую ей предстояло делить с Сьюзен, не нашлось ничего, что могло бы ее подбодрить. Тесные комнатки наверху, да, разумеется, и внизу, узкий коридор и лестница – все это поразило ее куда больше, чем она могла вообразить. Вскоре она уже с признательностью думала о своей комнатке под крышей в Мэнсфилд-парке, которую там почитали чересчур тесной, а тем самым и неудобной.

Понимай сэр Томас все чувства племянницы, когда она писала свое первое письмо тетушке, он бы не отчаивался; ибо хотя крепкий сон, славное утро, надежды вскорости опять увидеть Уильяма и сравнительная тишина в доме, оттого что Том и Чарлз ушли в школу, Сэм – по каким-то своим делам, а папенька, как обыкновенно, слонялся просто так, позволили Фанни написать о родительском доме довольно бодро, однако, прекрасно это сознавая, о многом неприятном она умолчала. Понимай сэр Томас лишь половину того, что она чувствовала, когда не прошло и недели, он полагал бы, что мистер Крофорд может быть уверен в ее согласии, и пришел бы в восторг от собственной дальновидности.

Не прошло и недели, а Фанни была уже глубоко разочарована. Начать с того, что ушел в плавание Уильям. «Дрозд» получил предписание, ветер переменялся, и корабль снялся с якоря через четыре дня после их приезда в Портсмут; и за эти дни она видела брата лишь дважды, накоротке, второпях, когда он сходил на берег по делам. Не было ни неспешных бесед, ни прогулки по крепостным стенам, ни посещения верфи, ни знакомства с «Дроздом» – ничего того, о чем строили планы, что предвкушали. Ничто из их надежд не оправдалось, осталась неизменной только любовь Уильяма. Последняя его мысль, когда он покидал родной дом, была о Фанни. Он опять воротился к двери, нарочно, чтоб сказать:

– Берегите Фанни, маменька. Она слабенькая и не привыкла, как мы, к лишениям и неудобствам. Я поручаю вам беречь Фанни.

Уильяма не стало рядом, и дом, где он ее оставил, оказался – Фанни не могла утаить это от себя – почти во всех отношениях полной противоположностью тому, чего бы ей хотелось. То было обиталище шума, беспорядка и неприличия. Никто не вел себя как следовало на его месте, ничто не делалось как должно. Она не могла, как надеялась, уважать своих родителей. От отца она многого и не ждала, но теперь убедилась, что он еще невнимательней к своему семейству, привычки его еще хуже и он еще меньше соблюдает приличия, чем она предполагала. У него нет недостатка в способностях, но сверх своей профессии он ничем не интересуется и ни в чем не сведущ. Читает он единственно газету да списки военно-морских офицеров, назначенных в кампанию, выходящие раз в три месяца; разговаривает только о доках, о гавани, о Спитхед; он бранится, поминает имя Господа всуе и пьет, он неотесан и вульгарен. В его прежнем отношении к ней Фанни не могла припомнить ни малейшей нежности. У ней оставалось лишь общее впечатление развязности и шумливости; а теперь он едва замечал ее, разве что принимался топорно ее вышучивать.

Мать разочаровала ее куда сильнее; вот на кого она уповала, и почти ничего в ней не нашла. Все ее лестные надежды стать матери необходимой быстро рассыпались в прах. Миссис Прайс не была недоброй, но, вместо того чтобы одарить дочь любовью и доверием и день ото дня больше ею дорожить, миссис Прайс выказывала к ней ничуть не более доброты, чем в день приезда. Природный инстинкт был быстро удовлетворен, а другого источника привязанности миссис Прайс не имела. Сердце и время были у ней уже полностью заняты; для Фанни не хватило у ней ни досуга, ни любви. Дочери всегда мало для нее значили. Она нежно любила сыновей, особенно Уильяма, а из дочерей заметно отличала лишь Бетси. К ней мать проявляла весьма неразумную снисходительность. Уильям был ее гордостью, Бетси – ее любимицей; а Джон, Ричард, Сэм, Том и Чарлз поглощали остатки ее материнской заботливости, доставляя то тревоги, то утешение. Они делили ее сердце, время же отдано было преимущественно дому и слугам. Ее дни проходили в некоей медлительной суете; она всегда была в хлопотах, а дело не подвигалось, ни с чем она не поспевала вовремя



и сетовала на это, но все продолжалось по-прежнему; желала быть бережливой, но не доставало ей ни изобретательности, ни упорядоченности; была недовольна слугами, но не умела их направить и, помогая ли им, выговаривая или потакая, не в силах была добиться от них уважения.

Из двух своих сестер миссис Прайс гораздо более походила на леди Бертрам, чем на миссис Норрис. Расчетливая из нужды, она не имела к тому ни склонности миссис Норрис, ни ее сноровки. От природы была она неторопливой и вялой, как леди Бертрам; жизнь в достатке и праздности гораздо больше отвечала бы ее натуре, чем необходимость во всем себе отказывать и те усилия, каких потребовало от нее безрассудное замужество. Из нее получилась бы важная дама, не хуже чем из леди Бертрам, но миссис Норрис при малом доходе оказалась бы более приемлемой матерью девяти детей.

Многое из всего этого Фанни не могла не сознавать. Она должна была чувствовать и, несомненно, чувствовала, хотя, пожалуй, не решилась бы сама себе в этом признаться, что ее маменька – пристрастная, неразумная родительница, копуша, неряха, не учит и не держит в узде своих детей, дом ее дурно поставлен и лишен какого бы то ни было уюта, и не нашлось у ней для старшей дочери ни расположения, ни разговора, ни любви, ни любопытства эту дочь узнать, ни желания приобрести ее дружбу, ни стремления к ее обществу, что могло бы приглушить горькие Фаннины чувства.

Фанни очень старалась быть полезной и не казаться ни выше своих домашних, ни неспособной или не склонной (из-за своего совсем иного воспитания) помочь по дому и внести в него толику уюта, а потому немедля принялась шить для Сэма и, работая спозаранку и допоздна усердно и весьма споро, так много успела, что Сэма наконец отправили на корабль, снабдив его более чем половиною нужного белья. Фанни от души радовалась, что она полезна, но и представить не могла, как бы они управились без нее. Когда Сэма, шумливого и заносчивого, не стало в доме, Фанни даже пожалела, потому что он был умен, понятлив и с охотою отправлялся в город по разным поручениям; и хотя презрительно отвергал все упреки Сьюзен, вполне разумные сами по себе, но высказываемые не к месту и в бессильной запальчивости, однако же не оставался равнодушен к Фанниным трудам и ненавязчивым увещаньям; и она быстро поняла, что с его уходом лишилась лучшего из трех младших братьев, ибо Том и Чарлз, на несколько лет моложе него, были по меньшей мере на столько же лет дальше от возраста, в котором заговаривает и чувство и разум, побуждая ценить дружбу и стараться быть не столь несносными. Сестра скоро отчаялась хоть как-то повлиять на этих двоих: никакими уговорами, на которые у ней хватало душевных сил и времени, укротить их не удавалось. Каждый день после школы они неизменно затевали по всему дому буйные игры; и очень скоро Фанни уже со вздохом встречала приближение субботы, половина которой была свободна от ученья.

Бетси, избалованной, приученной думать, что азбука ей заклятый враг, разрешали сколько угодно вертеться подле служанок и еще хвалили ее за то, что она доносит о каждой их провинности, и Фанни почти отчаялась ее полюбить или помочь ей; а нрав Сьюзен вызывал у ней множество сомнений. Вечные перепалки с маменькой, бессмысленные раздоры с Томом и Чарлзом и озлобленность против Бетси изрядно огорчали Фанни, и, хотя она не могла не признать, что поводов для этого вдоволь, ее пугала склонность сестры доходить до крайностей, все это выдавало нрав мало приятный, который и саму ее лишил покоя. Таков был дом, который должен был вытеснить у ней из помыслов Мэнсфилд и научить ее умерять свои чувства, думая о кузене Эдмунде. Она же, напротив, только о Мэнсфилде и думала, о милых его обитателях, о его радующих душу обыкновениях. Здесь все было полной ему противоположностью. Оттого, что все здесь было по-другому, не проходило часу, чтоб она

не вспоминала жизнь в Мэнсфилде – его изящество, благопристойность, размеренность, гармонию и, пожалуй, прежде всего мир и спокойствие.

Для натур столь хрупких и нервных, как Фанни, жизнь в непрестанном шуме – зло, которое не могли бы искупить никакое изящество и гармония. Это всего более мучило ее. В Мэнсфилде никогда не слышно было ни перепалок, ни повышенного тона, ни грубых вспышек, ни малейшего ожесточения; жизнь шла размеренно, с бодрой упорядоченностью; у каждого было свое заслуженное место; чувства каждого принимались во внимание. Если когда и можно было предположить, что недостает нежности, ее заменяли здравый смысл и хорошее воспитание; а что до слабых приступов досады, иной раз случавшихся у тетушки Норрис, как же они были коротки, пустячны, капля в море по сравнению с беспрестанной суматохой в ее теперешнем жилище. Здесь все шумливы, у всех громкие голоса (пожалуй, исключая маменьку, чей голос звучал все на одной и той же ноте, как у леди Бертрам, только уже не вяло, а капризно). Что бы ни понадобилось, все требовали криком, и служанки кричали из кухни свои оправдания. Двери вечно хлопали, лестницы не знали отдыха, все делалось со стуком, никто не сидел тихо, и, заговорив, никто не мог добиться, чтобы его выслушали.

Оценивая эти два дома, не прожив у родителей еще и недели, Фанни готова была отнести к ним знаменитое суждение доктора Джонсона о браке и безбрачии и сказать, что, хотя в Мэнсфилд-парке есть свои огорчения, Портсмут лишен радостей.

Фанни не слишком ошибалась, не ожидая, что мисс Крофорд станет писать ей теперь столь же часто, как прежде; до следующего письма Мэри прошло много больше времени, чем до последнего в Мэнсфилд-парк; но она ошибалась, думая, что, получая письма реже, она вздохнет с облегчением. Вот еще один странный оборот души: когда письмо наконец пришло, она ему поистине обрадовалась. В ее нынешнем изгнании, оторванности от хорошего общества и ото всего, что обыкновенно ее интересовало, письмо хотя от кого-то из того круга, где пребывало ее сердце, написанное с любовью и не без изящества, было так желанно. Извинением за то, что не написала раньше, мисс Крофорд служила обычная ссылка на все большую занятость...

«...а теперь, когда я начала, – продолжала Мэри, – мое письмо не заслуживает, чтоб Вы его читали, так как не будет в нем под конец нежного признания в любви, не будет трех-четырех строк *passionees* от самого преданного на свете Г. К., ибо Генри в Норфолке; десять дней назад дела призвали его в Эверингем, а возможно, это только предлог, чтобы, как и Вы, пуститься в дорогу. Но уж так оно есть, и, кстати сказать, его отсутствием более всего и объясняется нерадивость его сестры, ведь уже не слышно было напоминаний: „Что ж, Мэри, когда ты напишешь к Фанни? Разве не пора написать к Фанни?“, которые бы меня пришпорили. Наконец-то, после различных попыток встретиться, я повидалась с Вашими кухнями, „дорогой Джулией и нашей дорогой миссис Рашуот“; вчера они застали меня дома, и все мы обрадовались друг другу. Со стороны показалось бы, что мы очень обрадовались друг другу, но я и вправду думаю, что мы слегка обрадовались. Мы столько всего могли порассказать. Хотите знать, какое стало лицо у миссис Рашуот, когда помянули Ваше имя? Я не привыкла думать, что ей недостает самообладания, но для вчерашней встречи его не достало. Вообще же из них двоих Джулия держалась лучше, по крайней мере, когда речь зашла о Вас. С той минуты, как я заговорила о „Фанни“ и говорила о ней как подобает сестре, миссис Рашуот переменилась в лице и не оправилась до самого конца. Но еще придет день, когда она опять будет хороша: у нас есть приглашение на ее первый прием, на 28-е. Тогда она опять предстанет во всей красе, ибо откроет двери одного из лучших домов на Уимпол-стрит. Я была там два года назад, когда этот дом принадлежал леди Лейселс, и, мне кажется, лучшего не сыскать во всем Лондоне, и тогда она, без сомненья, почувствует, что – грубо говоря – получила сполна все, что ей причитается. Генри не мог бы предоставить ей такой дом. Надеюсь, она будет об этом помнить и в меру своих сил будет довольна, воображая себя королевой во дворце, пусть даже королю лучше оставаться в тени, а так как я не имею желания бесить ее, я никогда более не стану терзать ее слух Вашим именем. Мало-помалу она отрезвеет. Сколько я знаю и догадываюсь, барон Уилденгейм все еще ухаживает за Джулией, но, кажется, его не слишком поощряют. Она может сделать лучшую партию. Знатный бедняк незавидный жених, и не представляю, чтоб он мог понравиться, ведь, если отнять у бедняги барона его пустословие, у него останется один только пустой кошелек. Ваш кузен Эдмунд не торопится; его, верно, задерживают обязанности в приходе. Быть может, в Торнтон Лейси требуется наставить на путь истинный какую-нибудь старую грешницу. Я не склонна воображать, будто он забросил меня ради грешницы молодой. Прощайте, милая душенька Фанни, для Лондона это письмо длинное; напишите мне в ответ славное письмецо, чтоб порадовать глаз Генри, когда он воротится, и представьте мне отчет обо всех удалых молодых капитанах, которыми Вы пренебрегаете ради него».

Письмо это давало богатую пищу для размышлений, и по большей части размышлений

нерадостных; и однако, при всем неудовольствии, какое оно вызвало, оно соединило Фанни с тем, о ком она неотступно думала, поведало ей о людях и событиях, которые никогда не пробуждали в ней такого любопытства, как теперь, и она была бы рада знать наверно, что подобные письма станут приходить всякую неделю. Только переписка с тетушкой Бертрам вызывала у ней более интересу.

Что же до портсмутского общества, которое возместило бы несовершенства ее нынешнего дома, в кругу знакомых маменьки и папеньки не было никого, кто мог бы хотя в малой мере ее удовлетворить; не нашлось ни единственного человека, ради кого ей захотелось бы преодолеть свою робость и застенчивость. На ее взгляд, все мужчины были грубы, все женщины развязны, и те и другие дурно воспитаны; и встречи со старыми и новыми знакомыми ей были столь же мало приятны, как им. Молодые особы, которые поначалу взирали на нее с некоторым почтением, поскольку она приехала из семьи баронета, скоро оскорбленно сочли ее «гордячкой», а так как она ни на фортепианах не играла, ни роскошных ротонд не носила, они при дальнейшем размышлении, уж конечно, не признали за ней право на превосходство.

Первым утешением, которое получила Фанни взамен всех домашних зол, первым, которое при своей рассудительности могла полностью принять и которое обещало быть отнюдь не кратковременным, оказалось более близкое знакомство с Сьюзен и надежда быть ей полезной. Сьюзен всегда вела себя мило со старшей сестрой, но свойственная ей резкость и решительность удивляла и тревожила Фанни, и прошло по меньшей мере две недели прежде, чем она стала понимать характер, столь разительно отличный от ее собственного. Сьюзен видела, что дома многое идет не так, как следует, и хотела навести порядок. Не удивительно, что четырнадцатилетняя девушка, пытаясь по собственному разумению, без чьей-либо помощи все переменить, ошибалась в выборе средств; и вскорости Фанни уже была склонна больше восхищаться природным светом в душе Сьюзен, который позволял девочке отличать дурное от хорошего, чем сурово судить ее за неизбежные при этом ошибки в поведении. Сьюзен опиралась на те же истины и следовала той же системе, что и сама Фанни, но Фанни, более мягкая, покладистая, не решилась бы утверждать их действиями. В тех случаях, когда Фанни лишь отошла бы в сторону и заплакала, Сьюзен старалась делать дело, а что от ее стараний был толк, нельзя было не заметить; как ни плохо было в доме, без вмешательства Сьюзен явно было бы еще хуже, и ее-то вмешательство удерживало и маменьку и Бетси от иных весьма оскорбительных крайностей, к которым вели потачки и невоспитанность.

В каждом споре с маменькой разум был на стороне Сьюзен, но миссис Прайс никогда не проявляла той материнской нежности, которая могла бы смягчить дочь. На долю Сьюзен никогда не доставалась та слепая любовь, которая сеяла зло вокруг нее. Маменька не питала к ней благодарности за любовь в прошлом или в настоящем, что помогло бы Сьюзен легче мириться с чрезмерной любовью, обращенной на других.

Все это понемногу стало ясно для Фанни, и понемногу в ней родилось смешанное чувство сострадания и уважения к Сьюзен. Однако она не могла не видеть, что сестра ведет себя неправильно, порою очень неправильно; ее попытки навести порядок часто никуда не годятся и не ко времени, а ее вид и манера выражаться часто совсем уж непростительны; но Фанни начала надеяться, что все это можно исправить. Она заметила, что Сьюзен смотрит на нее снизу вверх и хочет, чтоб сестра была о ней доброго мнения; и как ни нова была для Фанни роль авторитета, как ни нова была мысль, что она способна кого-то вести или наставлять, она все-таки решила, что иной раз и вправду можно намекнуть Сьюзен то на одно, то на другое и ради ее же пользы постараться высказывать кое-какие справедливые понятия, привитые ей самой более подобающим воспитанием, о том, чего заслуживает

каждый человек и как разумней было бы вести себя Сьюзен.

Оказывать влияние на Сьюзен или, по крайней мере, пользоваться им сознательно Фанни начала после одного доброго поступка, на который по своей деликатности решилась далеко не сразу. Ей в первые же дни пришло на ум, что небольшая сумма денег могла бы навсегда положить конец вечным баталиям из-за яблока раздора – серебряного ножика, а богатство, каким она обладала, – десять фунтов, данные дядюшкой при расставании, позволяло ей не только в мечтах, но и на деле быть щедрой. Но она вовсе не имела ни привычки благодетельствовать, кроме как совершенным беднякам, ни опыта избавлять от бед или одарять милостями ровню и слишком страшилась, вдруг домашние подумают, будто она строит из себя знатную даму, а потому не сразу сумела одолеть опасение, будто не пристало ей сделать подобный подарок. В конце концов она его все же сделала: серебряный ножик был куплен для Бетси и принят ею с восторгом, а будучи новым, показался ей лучше и желанней прежнего; Сьюзен утвердилась в правах владелицы своего ножика, так как Бетси великодушно заявила, что теперь, получив в подарок другой, куда красивей, она уже никогда опять не позарится на тот – и на долю равно довольной маменьки не пришлось ни единого упрека, хотя Фанни побаивалась, что без них не обойдется. Фаннин поступок был полностью вознагражден: не стало источника домашних ссор, и это открыло Фанни сердце Сьюзен, дало ей новый предмет любви и интереса. В Сьюзен обнаружилась душевная тонкость: довольная, что стала хозяйкой сокровища, за которое воевала не менее двух лет, она, однако, боялась, вдруг старшая сестра осудила ее и она заслуживает упрека за то, что ради спокойствия в доме пришлось сделать эту покупку.

Нрав у Сьюзен был открытый. Она призналась в своих страхах, винила себя, что так горячо спорила, и с этого часу, поняв, какая это достойная натура, и видя, что Сьюзен всей душою стремится заслужить ее доброе мнение и внимать ее суждениям, Фанни вновь ощутила блаженство любви и стала лелеять надежду оказаться полезной душе, которая так нуждается в помощи и так ее заслуживает. Она дала совет, совет столь разумный, что, обладая здравым смыслом, нельзя было ему воспротивиться, и сделала это крайне мягко и тактично, чтобы не уязвить нрав от совершенства далекий; и нередко с радостью замечала, что совет пошел на благо; большего и не могла ждать та, которая, видя, сколь необходимы и целесообразны смирение и терпимость, видела также со всей остротою понимания и сочувствия все, что ежечасно должно было досаждать такой девушке, как Сьюзен. Всего более изумлялась она не тому, что, уже понимая, как это недостойно, Сьюзен раздражалась и забывала об уважении и терпимости, но что наперекор всему так много понимала, о многом имела такие верные представления; и что у ней, выросшей среди невнимания и заблуждений, сложились такие верные понятия о том, как быть должно, у ней, не имевшей своего кузена Эдмунда, который направлял бы ее мысли и определял ее убеждения.

Задушевная дружба, возникшая таким образом меж ними, пошла на благо обоим. Сидя вместе наверху, они хоть зачастую избегали домашней сумятицы; Фанни обрела покой, а Сьюзен научилась понимать, что спокойные занятия отнюдь не несчастье. Огня в камине не разжигали; но сидеть в холоде было не в новинку даже для Фанни, и тем меньше огорчало ее, что напоминало о Восточной комнате. Только в этом и нашлось сходство. Размеры, освещение, обстановка и вид из окна – все было здесь совсем другое; и частенько Фанни тяжело вздыхала, вспоминая свои книги, и шкатулки, и множество уютных тамошних мелочей. Постепенно девушки стали проводить наверху большую часть утра, поначалу только за рукодельем и разговорами, но несколько дней спустя воспоминание о мэнсфилдских книгах стало таким властным и настойчивым, что Фанни вновь неодолимо потянуло к чтению. В родительском доме не было ни единой книжки, но богатство расточительно и отважно – и

часть богатств Фанни перекочевала в библиотеку, выдающую книги на дом. Она абонировалась, дивясь тому, что хоть что-то предприняла *in propria persona*, дивясь своим поступкам во всех отношениях: иметь собственный абонемент в библиотеку, самой выбирать книги! И при выборе думать о чьем-то совершенствовании! Однако вот так оно вышло. Сьюзен еще ничего не читала, и Фанни жаждала поделиться с нею своими первыми радостями и внушить ей вкус к биографиям и поэзии, к тому, чем восторгалась сама.

Вдобавок в этом занятии она надеялась утопить иные воспоминания о Мэнсфилде, которые слишком легко завладевали ее душою, если заняты были только ее пальцы; и особенно теперь надеялась, что чтение отвлечет ее мысли, не даст им следовать за Эдмундом в Лондон, куда он поехал, как сообщала ей в последнем письме тетушка. Фанни не сомневалась, к чему это приведет. Над нею грозно нависло обещанное извещение о свадьбе. Стук почтальона по соседству теперь уже всякий раз ужасал ее, – и если чтение хоть на полчаса избавит ее от этой мысли, уже и на том спасибо.

Минула неделя с тех пор, как Эдмунд должен был бы приехать в Лондон, но Фанни не получала о нем никаких вестей. Его молчание могло иметь три различных объяснения, среди которых блуждали догадки Фанни; то одно, то другое казалось ей наиболее вероятным. Либо он опять отложил отъезд, либо еще не сумел увидеться с мисс Крофорд наедине, либо... либо он так счастлив, что ему не до писем!

Однажды утром, почти через месяц после отъезда из Мэнсфилда – а Фанни помнила об этом непрестанно и считала дни, – примерно в то время, когда они со Сьюзен собирались по обыкновению отправиться наверх, раздался стук в парадную дверь, и при том, как поспешно Ребекка бросилась отворять – обязанность эту она исполняла всего охотнее, – они поняли, что им не избежать встречи с посетителем.

Послышался мужской голос, при звуке его Фанни почувствовала, что бледнеет, и тут в комнату вошел Крофорд.

Здравомыслие того свойства, как у нее, всегда приходит на помощь, когда в нем есть нужда; и она, оказалось, в силах представить гостя маменьке, вспомнив, что он именуется «другом Уильяма», хотя заранее не поверила бы, что в такую минуту сумеет вымолвить хоть слово. Сознание, что здесь он известен лишь как друг Уильяма, было ей некоторой поддержкой. Однако, когда она его представила и все вновь расселись, ее охватил такой ужас при мысли, к чему может повести его появление, что ей почудилось, будто она вот-вот лишится чувств.

Пока она пыталась овладеть собою, их гостю, который было подошел к ней с лицом, как всегда, оживленным, достало мудрости и доброты отвести глаза и, давая ей время прийти в себя, посвятить все свое внимание миссис Прайс, к которой он обращался и которой внимал с величайшей любезностью и почтительностью, и притом с толикой дружелюбия или по меньшей мере интереса, словом, вел себя безупречно.

Миссис Прайс тоже держалась наилучшим образом. Воодушеваясь при виде такого друга своего сына и обуздывая себя из желания предстать перед ним в самом выгодном свете, она преисполнилась благодарности, безыскусственной материнской благодарности, которая не могла ему не польстить. Мистера Прайса не было дома, о чем она весьма сожалела. Фанни уже настолько оправилась, чтобы почувствовать, что она-то ничуть о том не сожалеет; ибо кроме многих других источников неловкости прибавился еще и жестокий стыд оттого, в каком доме Крофорд ее видит. Сколько бы она ни корила себя за слабость, одолеть эту слабость оказалось невозможно. Ей было стыдно, и за отца было бы еще стыдней, чем за все остальное.

Они говорили об Уильяме, что никогда не могло наскучить миссис Прайс; а мистер Крофорд отзывался о нем с такой горячей похвалою, как только она и могла желать всей душою. Ей казалось, за всю свою жизнь она еще не встречала такого приятного молодого человека; она изумилась, узнав, что такой важный и приятный молодой человек приехал не затем, чтобы побывать у портсмутского адмирала или у чиновника-наблюдателя за постройкой судов, не с намерением отправиться на остров или посмотреть верфь. Вовсе не то, что она привыкла почитать приметою важного положения или времяпрепровождения богачей, привело его в Портсмут. Он приехал накануне поздним вечером, намеревался пробыть здесь день-два, остановился в «Короне», случайно повстречал одного или двух знакомцев среди морских офицеров, но цель его приезда не имела ничего общего с подобного рода встречами.

К тому времени как он успел все это сообщить, было вполне разумно предположить, что уже можно взглянуть на Фанни и заговорить с нею; и она теперь была в состоянии выдержать его взгляд и слушать, что в вечер накануне отъезда из Лондона он провел полчаса с сестрою, и сестра посылает ей самый нежный привет, но не успела написать; что, воротясь из Норфолка и перед тем, как отправиться в Портсмут, он пробыл в Лондоне едва сутки и потому почитает удачею, что вообще сумел повидаться с Мэри; что ее кузен Эдмунд в Лондоне, приехал туда, сколько он понимает, уже несколько дней назад; сам он Эдмунда не видел, но тот в добром здравии, и в Мэнсфилде тоже всех оставил в добром здравии, и вчера должен был обедать у Фрейзеров.

Фанни слушала все это спокойно, даже и упоминание о последнем обстоятельстве; более того, ее измученной душе любая определенность казалась облегчением; так что слова «тем самым все уже должно быть сговорено» не вызвали в ней видимого волнения, она лишь слегка порозовела.

Поговорив еще немного о Мэнсфилде, к чему ее интерес был всего заметней, Крофорд стал намекать на пользу утренней прогулки – утро прелестное, говорил он, а в это время года прекрасное утро так часто портится, что всегда лучше не откладывать и выйти пораньше; а поскольку намеки ни к чему не привели, он вскорости возобновил этот разговор и посоветовал миссис Прайс и ее дочерям не теряя времени отправиться на прогулку. Теперь они наконец поняли. Миссис Прайс, оказывается, кроме как в воскресенье, почти не выходит из дому; признаться, при такой большой семье у ней нет досуга для прогулок; Тогда, продолжал Крофорд, быть может, она уговорит дочерей воспользоваться погожим утром и доставит ему удовольствие, позволив их сопровождать? Миссис Прайс была ему весьма признательна и очень охотно согласилась. Ее дочери так много сидят взаперти... Портсмут – место невеселое, и они редко бывают на улице, а у них есть кой-какие поручения в городе, которые, она не сомневается, они с радостью исполнят. И кончилось тем, что, как ни странно – странно, неловко и мучительно, – растерявшаяся Фанни вместе со Сьюзен минут через десять уже направлялись к Хай-стрит в сопровождении мистера Крофорда.

Вскоре к огорчению прибавилось еще огорчение и к замешательству замешательство, ибо едва они ступили на Хай-стрит, как встретили папеньку, чья наружность, несмотря на субботу, была не лучше обычного. Он остановился, и, как ни мало он походил на джентльмена, Фанни вынуждена была представить его мистеру Крофорду. У ней не могло быть сомнений на тот счет, как будет поражен мистер Крофорд. Ему станет стыдно и мерзко. Он скоро от нее откажется, потеряет всякий интерес к этому браку, и однако, хотя она так хотела, чтобы он излечился от своей любви, подобного рода излечение было бы, пожалуй, не многим лучше самой болезни; и я уверена, в нашем британском королевстве едва ли не каждая молодая девица скорее примирится с несчастьем, что за ней ухаживает умный, приятный мужчина, чем с его отказом от нее из-за неотесанности ближайших ее родственников.

Мистер Крофорд вряд ли смотрел на своего будущего тестя с мыслью, будто его костюм можно взять за образец, но (что, к своему великому облегчению, тотчас же заметила Фанни), судя по тому, как папенька повел себя с этим высокоуважаемым незнакомцем, он был сейчас совсем не тот человек, совсем не тот мистер Прайс, какого знали его домашние. Манеры его, хотя и не изысканные, были сейчас вполне приемлемые; он держался благодарно, оживленно, по-мужски; он разговаривал как любящий отец и благоразумный человек; его громкий голос был вполне уместен под открытым небом, и он ни разу не выбранился. Таким образом он бессознательно отдавал должное прекрасным манерам мистера Крофорда; и, должно быть, в ответ на это вспыхнувшая в душе Фанни тревога почти улеглась.



Следствием обходительности обоих джентльменов было предложение мистера Прайса повести мистера Крофорда на верфь, а мистер Крофорд, хотя и бывший на верфи не однажды, пожелал принять его предложение как любезность, каковой оно, по мысли мистера Прайса, и было; он надеялся много дольше побыть с Фанни и потому готов был с великой благодарностью воспользоваться им, если обе мисс Прайс не боятся усталости; каким-то образом было установлено, или предположено, или, по крайней мере, дано понять, что они не боятся и порешили идти на верфь; и если бы не мистер Крофорд, мистер Прайс немедля бы туда повернул, вовсе не подумав, что дочерям надобно сделать покупки на Хай-стрит. Мистер Крофорд однако позаботился, чтобы им было позволено побывать в лавках, куда они, собственно, и направлялись; это не слишком их задержало, ибо Фанни не свойственно было вызывать чье-либо нетерпение или заставлять, чтоб ее ждали, так что едва успели оба джентльмена, остановясь у дверей, заговорить о последнем морском уставе и вступивших в строй трех палубных судах, а их спутницы уже готовы были идти дальше.

Теперь все могли тотчас же отправиться к верфи, и (по мнению Крофорда), если б мистеру Прайсу было позволено самолично распоряжаться, мужчины шли бы весьма своеобразным манером, оставив Фанни и Сьюзен позади, чтоб поспевали за ними или нет, как сумеют, а сами шагали бы вдвоем самым быстрым шагом. Время от времени Крофорду удавалось немного изменять этот порядок, хотя гораздо менее, чем ему хотелось бы; а он вовсе не желал отдаляться от них; и на каждом перекрестке или в толпе, когда мистер Прайс только покрикивал: «Живо, дочки... живо, Фан... живо, Сью... поосторожней... смотрите в оба», сам он был особенно внимателен к ним.

Когда благополучно дошли до верфи, Крофорд стал надеяться, что теперь он сможет порадоваться обществу Фанни, ибо очень скоро к ним присоединился брат мистера Прайса, такой же праздношатающийся, который, как и всякий день, пришел удостовериться, все ли тут в порядке, и должен был оказаться куда более достойным спутником мистеру Прайсу, нежели он сам; и недолго спустя оба офицера, кажется, с превеликим удовольствием ходили вдвоем, беседуя о предметах равно и неизменно интересных обоим, а молодежь тем временем сидела на бревнах или находила местечко на каком-нибудь стоящем на стапеле судне, которым они пришли все вместе любоваться. Фанни всех более нуждалась в отдыхе. А Крофорду ее усталость и желание посидеть были очень на руку, но он бы еще желал обойтись без ее сестры. Приметливая девица ее лет была самый что ни на есть неподходящий третий лишний, совсем не то, что леди Бертрам, – такая остроглазая и ушки на макушке, при ней о главном не заговоришь. Он должен удовольствоваться тем, что будет мил с обеими, будет развлекать и Сьюзен тоже, лишь изредка позволит себе взгляд или намек знающей его чувства и угадывающей значение его слов Фанни. Более всего ему пришлось говорить о Норфолке; он пробыл там несколько времени, и согласно с его нынешними планами все связанное с Норфолком становилось делом первейшей важности. Такой человек как Крофорд, откуда бы ни приехал, в каком бы обществе ни побывал, всегда сумеет порассказать что-нибудь забавное; его поездки и знакомство – все пригодились, и Сьюзен еще никогда так не развлекали. Старшей же сестре он поведал вовсе не только о пустячных удовольствиях, которые получил на всевозможных вечерах. Желая заслужить одобрение Фанни, он сказал об особой причине, которою была вызвана эта поездка в Норфолк в столь непривычное время года. Его привело туда дело, касающееся возобновления аренды, от чего зависело благополучие большой и (он уверен) трудолюбивой семьи. Он заподозрил своего приказчика в обмане – в попытке настроить его против достойного человека – и решил поехать и сам основательно разобраться в существе дела. Он поехал, сделал больше добра, чем предвидел, помог не одному семейству, как поначалу предполагал, а многим, и теперь

может себя с этим поздравить и чувствует, что, исполнив долг, сохранил в душе приятные воспоминания. Он представился некоторым арендаторам, которых никогда прежде не видел, начал знакомиться с коттеджами, о существовании которых ранее и не подозревал, хотя они расположены на его землях. Он рассказывал с расчетом на Фанни, и расчет был верен. Ей нравилось слышать от него такие приличные речи – во всем этом он вел себя как должно. Быть другом бедных и угнетенных! Ничто не могло быть ей милее, и только она собралась взглянуть на него с одобрением, как он спугнул ее, прибавив что-то уж очень недвусмысленное о своей надежде иметь в скором времени помощника, друга, советчика в каждом его плане, касающемся до благотворительности и пользы Эверингема, кого-то, благодаря кому Эверингем и все, что с ним связано, станет ему дороже, чем когда-либо.

Фанни отворотилась, подумав, что лучше бы ему ничего такого не говорить. Она охотно допускала, что у него больше добрых свойств, чем она привыкла думать. Она уже начинала чувствовать, что в конце концов он может оказаться совсем неплох; но ей он никак не подходит и никогда не подойдет, и не следует ему о ней думать.

Он уразумел, что об Эверингеме сказано уже довольно, не грех поговорить о чем-нибудь еще, и обратился к Мэнсфилду. Невозможно было выбрать лучше; тема эта тотчас же привлекла к нему и внимание Фанни и ее взоры. Ей всего милей было слушать или говорить о Мэнсфилде. Теперь, так долго разлученная со всеми, кто его знал, она, едва Крофорд упомянул о нем, почувствовала, что воистину слышит голос друга, и не удержалась от похвал красотам и уюту Мэнсфилда, а воздав должное его обитателям, Крофорд дал ей случай с искренней радостью пылко превозносить дядюшку за его ум и доброту и тетюшку за ее самый милый, несравненно кроткий нрав.

Крофорду и самому Мэнсфилду очень по душе, так он сказал; он предвкушает, что будет проводить там много, очень много времени – там или по соседству. Он особенно упоает на счастливейшее лето и осень нынешнего года там; он чувствует, что так непременно будет; он твердо на это надеется; лето и осень, несравненно лучше прошлогодних. Столь же полные воодушевления, столь же разнообразные, в столь же многочисленном обществе, но при обстоятельствах, невообразимо более прекрасных, нежели прошлогодние.

– Мэнсфилд, Созертон, Торнтон Лейси, – продолжал он, – какое общество соберется в этих домах! А в Михайлов день, возможно, прибавится четвертый охотничий домик поблизости от всего, столь милого сердцу... ибо что до жизни в Торнтон Лейси на товарищеских началах, как однажды добродушно предложил Эдмунд Бертрам, я надеюсь, что возникнут два возражения против этого плана, два справедливых, превосходных, неоспоримых возражения.

Тут Фанни вдвойне вынуждена была промолчать, хотя уже через мгновение о том пожалела, напрасно не заставила себя признаться, что половина того, о чем он думал, говоря так, ей понятна, и тем самым вынудила бы его сказать что-нибудь еще о его сестре и Эдмунде. Ей следует научиться разговаривать об этом, и слабость, которая заставляет уклоняться от этого разговора, скоро станет вовсе непростительна. Когда мистер Прайс и его приятель посмотрели все, что желали или для чего нашлось у них время, остальные готовы были возвращаться; и пока они шли обратно, Крофорд улучил минутку наедине и сказал Фанни, что единственное его дело в Портсмуте – увидаться с нею, что он приехал на несколько дней ради нее, и только ради нее и потому, что не мог долее выносить разлуки с нею. Фанни огорчилась, вправду огорчилась, и однако, несмотря на это и еще кое-какие его слова, которых ему бы лучше не говорить, она нашла, что с тех пор, как они не виделись, он заметно переменялся к лучшему; он стал много мягче, услужливей и внимательней к чувствам других людей, чем бывал в Мэнсфилде; никогда еще он не был ей так приятен,

вернее сказать, так близок к тому, чтоб быть ей приятным; в его отношении к папеньке не было ничего обидного, и с какой-то на редкость деликатной добротою он обращался к Сьюзен. Да, он определенно переменился к лучшему. Фанни хотелось, чтоб следующий день уже миновал, хотелось, чтоб Крофорд приехал всего на один день, но все обернулось не так уж худо, как можно было ожидать: ведь это великая радость поговорить о Мэнсфилде. Прежде чем они расстались, у ней появилась причина быть ему благодарной еще за одно удовольствие, и совсем особого рода. Папенька попросил Крофорда сделать ему честь разделить с ними трапезу, и не успела еще Фанни по-настоящему ужаснуться, а Крофорд уже заявил, что ранее пообещал отобедать в другом месте. Он приглашен на обед и нынче и на завтра; в «Короне» он повстречал одного знакомого, которому нельзя отказать; однако он будет иметь честь навестить их снова завтра, и прочее и прочее, и таким образом они расстались – Фанни на седьмом небе от счастья, что избежала такой чудовищной неприятности!

Вот был бы ужас, если бы он согласился отобедать с ними и увидел бы все их изъяны! Стряпню Ребекки и то, как она прислуживает во время трапезы, обжорство Бетси, хватающей со стола что ни попадя... Фанни и сама еще плохо это переносила, и нередко ей за столом бывало не по себе. Она-то взыскательна просто по природной деликатности, Крофорд же воспитан в роскоши и эпикурействе.

На другой день семейство Прайс только собралось в церковь, как снова появился Крофорд. Он пришел не с тем, чтоб задержаться у них, но чтоб к ним присоединиться; его пригласили пойти с ними в Гаррисонскую церковь, что полностью совпадало с его намерением, и они пошли туда все вместе.

Теперь семейство предстало в самом выгодном свете. Природа уделила им немалую долю красоты, и каждое воскресенье дочиста их умывало и наряжало в лучшее платье. Воскресенье всегда приносило Фанни это утешение, а в нынешнее воскресенье она была утешена более обычного. Бедная ее маменька выглядела так, что сейчас не казалась уж вовсе недостойной быть сестрою леди Бертрам, как бывало в другие дни. Это часто огорчало Фанни до глубины души – подумать только, до чего они несхожи, подумать только, что обстоятельства так увеличили разницу там, где от природы она была совсем невелика, и что маменька, столь же красивая, как леди Бертрам, и несколькими годами ее моложе, всегда выглядит такой изнуренной и поблекшей, такой беспокойной, неряшливой и убогой. Но воскресенье превращает ее в весьма достойную и довольно веселую миссис Прайс, которая выходит из дому, окруженная прекрасными детьми, ненадолго давая себе передышку от каждодневных забот, и расстраивается лишь, если видит, что мальчишки неосторожны или что мимо идет Ребекка с цветком на шляпке.

В церкви надо было разделиться, но мистер Крофорд постарался остаться подле женской половины семейства; и после службы тоже держался рядом, и на крепостном валу прогуливался со всеми, будто был членом семейства.

По воскресеньям, если день выдавался погожий, миссис Прайс в любое время года после утренней воскресной службы тотчас же отправлялась на крепостной вал и прогуливалась там до обеда. То было место, где она выходила на люди, – могла повстречать знакомых, услышать кой-какие новости, посетовать на никудышную портсмутскую прислугу и набраться духу для предстоящих шести дней.

Туда они теперь и держали путь; и мистер Крофорд был весьма доволен, вменив себе в особую обязанность попечение о девицах Прайс; и когда они дошли, вскорости, к изумлению Фанни, получилось, что он идет между ними, и рука Сьюзен опирается на одну его руку, а ее, Фаннина, – на другую, и Фанни не сумела ни помешать этому, ни положить конец. Несколько времени ей было не по себе, но все же и сам этот день, и открывающийся отсюда вид не могли ее не радовать.

А день выдался на диво хорош. Еще только март, но в мягком воздухе, в легком нежном ветерке, в ярком солнце, которое лишь изредка на миг скрывалось за облачком, чудится апрель; и под весенним небом такая вокруг красота, так играют тени на кораблях в Спитхед и на острове за ними, и поминутно меняется море в этот час прилива, и, ликуя, оно с таким славным шумом накидывается на крепостной вал, столько во всем этом для Фанни очарования, что постепенно ее почти вовсе перестали заботить обстоятельства, при которых она ощутила это очарование. Более того, не опирайся она на руку Крофорда, она скоро поняла бы, что нуждается в ней, ибо, чтоб два часа вот так прогуливаться после недели почти без движения, ей требовались силы. Она уже начинала чувствовать, как недостает ей ежедневного привычного моциона; с тех пор, как она приехала в Портсмут, здоровье ее ухудшилось, и, если бы не мистер Крофорд и не такая прекрасная погода, она бы уже валилась с ног от усталости. Крофорд, как и Фанни, ощущал прелесть этого дня и открывающегося перед ними вида. Они часто останавливались, одинаково чувствуя и

воспринимая окружающее, облакачивались о стену, чтобы несколько минут полюбоваться; и Фанни не могла не признать, что, хоть он не Эдмунд, ему доступна красота природы и он превосходно умеет выразить свое восхищение. Время от времени она погружалась в мечты, и он, пользуясь случаем, украдкой ее разглядывал; и хотя лицо ее по-прежнему его пленяло, он заметил, что она не такая цветущая, как бы следовало. Говорила она, что чувствует себя хорошо, и ей не нравилось, когда кто-нибудь подозревал иное, но, все обдумав, он пришел к убеждению, что ей не может быть покойно в ее нынешнем доме, а значит, жизнь здесь нехороша для ее здоровья, и вот он уже всей душою желал, чтоб она вновь оказалась в Мэнсфилде, где и она сама и он, видя ее, станут много счастливей. – По-моему, вы здесь уже месяц? – сказал он. – Нет. Не полный месяц. Завтра будет только четыре недели с тех пор, как я уехала из Мэнсфилда. – Вы необычайно точны и верны в расчетах. Я бы попросту сказал: месяц. – Я приехала только во вторник ввечеру. – И вам предстоит гостить два месяца, я не ошибаюсь? – Да. Дядюшка говорил о двух месяцах. Думаю, что не меньше. – А как вас доставят обратно? Кто за вами приедет? – Не знаю. Тетушка еще ничего о том не писала. Возможно, мне придется пробыть здесь дольше. Может статься, за мной не сумеют приехать ровно через два месяца. С минуту подумав, мистер Крофорд сказал:

– Я знаю Мэнсфилд, знаю тамошние обыкновения, знаю, для вас там не все делалось как надобно. Я знаю, есть опасность, что о вас забудут, принесут ваше благополучие в жертву воображаемым удобствам любого из членов семьи. Я представляю, что, если сэру Томасу, чтобы поехать за вами самому или послать горничную вашей тетушки, не удастся уладить все дела, не внося ни малейших перемен в свои планы на ближайшие три месяца, вас могут оставить здесь жить неделю за неделей. Это не годится. Два месяца весьма большой срок, на мой взгляд, и полутора было бы вполне довольно. Я имею в виду здоровье вашей сестры, – пояснил он, обращаясь к Сьюзен, – и полагаю, что жизнь взаперти ему не на пользу. Ей необходим воздух и моцион. Когда вы узнаете ее так же хорошо, как я, вы, без сомнения, согласитесь, что она и вправду в этом нуждается и нельзя надолго ее оставлять без свежего воздуха и сельского приволья. Поэтому (сказал он, вновь повернувшись к Фанни), если еще до истечения двух месяцев вы почувствуете себя нездоровой, а для возвращения в Мэнсфилд возникнут какие-либо помехи, – это никак не следует принимать во внимание; если вы почувствуете, что стали несколько слабее или беспокойнее обыкновенного, дайте только знать моей сестре, только намекните, мы с нею немедленно приедем и отвезем вас в Мэнсфилд. Вы понимаете, с какой легкостью и удовольствием это будет сделано. Вы понимаете, каковы в этом случае будут наши чувства. Фанни поблагодарила его, но постаралась отделаться смехом. – Я говорю вполне серьезно, вы прекрасно это понимаете. И я надеюсь, вы не будете жестоки, не станете скрывать, если почувствуете малейшее недомогание. Конечно же, не станете, это не в ваших силах, и потому до тех пор, пока вы будете писать в каждом письме к Мэри «я здорова», а я знаю, говорить или писать неправду вы не способны, только до тех пор мы будем полагать, что вы подлинно здоровы. Фанни вновь его поблагодарила, однако столь она была тронута и растрожена, что ничего не смогла ответить и даже не уверена была, что же тут отвечать. Было это уже под конец прогулки. Крофорд довел их до самых дверей дома и там распрощался, ведь он знал, что они сейчас будут обедать, а потому сделал вид, будто его ждут в другом месте. – Я бы предпочел, чтоб вы не так утомились, – сказал он, немного задерживая Фанни, когда все прочие уже вошли в дом. – Я бы предпочел оставить вас более крепкой. Не нужно ли вам чего в Лондоне? Я уже почти решил вскорости опять ехать в Норфолк. Я недоволен Мэддисоном. Он несомненно все еще надеется перехитрить меня, если удастся, и отдать какому-то своему родственнику мельницу, которую я предназначаю для другого человека. Я должен найти с ним общий язык. Должен втолковать

ему, что меня вокруг пальца не обведешь и я намерен быть истинным хозяином своих владений. Прежде я не давал ему это ясно понять. Уму непостижимо, сколько вреда может принести имению подобный человек, равно и доброму имени владельца и благополучию бедняков. Я очень склонен вернуться в Норфолк сразу же и немедленно все наладить так, чтоб после уже ничего нельзя было повернуть к худшему. Мэддисон умный малый, я не хочу отстранять его от дел при условии, что он не попытается отстранить от дел меня; но было бы глупо, чтоб меня одурачил человек, у которого нет резона заимодавца одурачивать меня, и еще того глупей позволить ему навязать мне в арендаторы бессердечного корыстного малого взамен честнейшего человека, которому я уже почти что обещал. Разве не будет это еще того глупей? Стоит мне ехать? Как посоветуете? – Посоветую! Вы прекрасно знаете, что будет правильно. – Да. Когда вы высказываете мне свое мнение, я всегда знаю, что будет правильно. Ваше суждение для меня мерило правоты. – Нет, нет! Не говорите так. В душе каждого из нас есть наставник, и он направил бы нас лучше любого стороннего человека, лишь бы только мы к нему прислушивались. До свиданья. Желаю вам завтра приятного путешествия. – Не нужно ли вам чего в Лондоне? – Благодарю вас, ничего не нужно. – Не хотите ли вы кому-нибудь что-нибудь передать? – Передайте, пожалуйста, сердечный привет вашей сестре. И когда увидите моего кузена... кузена Эдмунда, будьте так добры, скажите ему, что... я надеюсь вскорости получить от него весточку. – Непременно скажу, и, если он ленив или нерадив, я сам письменно передам вам его извинения... Продолжать он не мог, ибо нельзя было задерживать Фанни долее. Он сжал ее руку, глянул на нее и пошел прочь. Следующие три часа, пока в гостинице не приготовили самый что ни на есть, по их разумению, наилучший обед, Крофорду предстояло коротать с другим своим знакомцем, а Фанни вошла в дом, где уже ждал обед попроще. Кушанья Прайсов обыкновенно были совсем иного свойства; и подозревай Крофорд, сколь много лишений, кроме отсутствия моциона, Фанни терпела в родительском доме, он подивился бы, что это еще так мало сказалось на ее наружности. Она так плохо переносила Ребеккины пудинги и рубленое мясо с овощами, которые та подавала вкупе с не слишком чистыми тарелками и вовсе нечистыми ножами и вилками, что очень часто принуждена бывала утолять голод лишь ввечеру, когда удавалось послать братьев за печеньем и сдобными булочками. Воспитанной в Мэнсфилде, в Портсмуте Фанни уже поздно было приучаться к выносливости; сэр Томас, зная он все это, пожалуй, рассудил бы, что, изголодавшись телом и душою, племянница наконец надлежащим образом оценит превосходное общество и превосходное состояние мистера Крофорда, однако же едва ли он стал бы продолжать сей опыт, опасаясь, как бы подобное лечение не свело ее в могилу. Весь остаток дня Фанни была в унынии. Хотя и почти уверенная, что ей более не грозит встреча с Крофордом, она все же пала духом. В сущности, то было расставанье со своего рода другом; она и радовалась его отъезду, и вместе с тем ей казалось, будто теперь она покинута всеми, будто вновь простилась с Мэнсфилдом; и при мысли о том, как, возвратясь в Лондон, он станет часто видаться с Мэри и Эдмундом, ее охватывали чувства столь схожие с завистью, что она ненавидела себя за них. Ничто вокруг не могло рассеять ее уныние; явился один, а там и другой папенькин друг, и, как всегда, когда он не уходил с ними, вечер тянулся особенно долго; с шести часов до половины десятого они почти без передышки громко разговаривали и пили гог. Фанни была совсем подавлена. Удивительная перемена к лучшему, которая чудилась ей в Крофорде, одна могла внести толику утешения в ход одолевавших ее мыслей. Не задумываясь, в сколь отличном от прежнего круга она его сейчас видела, ни о том, сколь многое зависело от сей разницы, она была совершенно убеждена, что он стал на удивление мягче и внимательней к другим. А если такова перемена в малом, не так ли это и в более существенном? Он так был озабочен ее здоровьем и покоем,

высказывал такое сочувствие, и, похоже, не только на словах, но и вправду, разве не справедливо предположить, что теперь он не станет слишком долго донимать ее ухаживаньем, которое для нее столь огорчительно?

Предполагалось, что на завтра мистер Крофорд отбыл в Лондон, поскольку у Прайсов он более не показывался; и два дня спустя пришло подтверждение этому в письме мисс Крофорд к Фанни, которая и распечатала и стала читать это письмо с самым тревожным любопытством совсем по другой причине. "Должна сообщить Вам, милочка Фанни, что Генри ездил в Портсмут нарочно, чтоб повидаться с Вами; что он восхищен прогулкой с Вами на верфь в прошлую субботу, а еще того более тою, что состоялась на завтра, на крепостном валу; благоуханный воздух, сверкающее море и Ваше прелестное личико и беседа с Вами – все исполнено было чарующей гармонии и вызвало чувства, которые рождают бурный восторг даже при воспоминании. Сколько я понимаю, это и должно составить суть моего письма. Он велит мне писать, а я не знаю, о чем еще Вам сообщить, кроме его впечатлений от уже упомянутой поездки в Портсмут, и этих двух прогулок, и его знакомства с Вашей семьей, особенно же с Вашей славной сестрою, премилой пятнадцатилетней девицей, которая составила вам компанию на крепостном валу и впервые увидела воочию, что такое любовь. Я не имею времени для длинного письма, но если б и имела, оно было б некстати, поскольку пишу я Вам по делу, ради сообщения, коего откладывать нельзя, не то, боюсь, все может обернуться дурно. Милая, милая моя Фанни, были бы Вы здесь, как бы я с Вами наговорила! Вы слушали бы меня, пока не утомились, и советовали мне, пока не утомились бы и того более; но невозможно изложить на бумаге и сотую долю всего, что переполняет мою душу, и потому я вовсе умолчу, а уж Вы думайте-гадайте. Никаких новостей для Вас у меня нет. Не говоря, конечно, о хитросплетеньях отношений в свете; и дурно было бы докучать Вам, перечисляя людей и светские приемы, которые заполняют мое время. Мне следовало послать Вам отчет о первом приеме в доме Вашей кузины, но я поленилась, а теперь это уже в прошлом, удовольствуйтесь тем, что все там было как быть должно, в наилучшем виде, любой из ее родственников, окажись он там, был бы доволен, и, конечно, ее туалет и манеры делали ей честь. Мой друг, миссис Фрейзер, жаждет занять такой же дом, и я тоже от такого не отказалась бы. После Пасхи я еду к леди Сторнуэй. Она, кажется, в превосходном настроении и очень счастлива. Мне представляется, что лорд С. в домашнем кругу весьма добродушен и мил и, пожалуй, он не так уродлив, как мне было показалось, по крайней мере встречаются и похуже. Но ему не следует оказываться рядом с Вашим кузеном Эдмундом. Что Вам сказать об этом нашем герое? Не упомяни я вовсе его имени, это выглядело бы подозрительно. Потому скажу, что раза три мы его видели и моих здешних друзей его облик подлинного джентльмена поистине ошеломил. Миссис Фрейзер (неплохой судья) утверждает, что в Лондоне она знает не более трех мужчин, кто был бы так хорош лицом, ростом, всем видом; и, признаться, когда на днях мы здесь обедали, с ним никто не мог сравниться, а собралось шестнадцать человек. По счастью, нынче все одеты на один лад, и платье мало что говорит о человеке, но... но все же...

Любящая Вас Мэри.

Чуть не забыла (это Эдмунд виноват, думаю о нем больше, чем следует, мне это не на пользу) сообщить нечто весьма существенное от себя и от Генри, а именно, что мы с ним отвезем Вас обратно в Нортгемптоншир. Милый мой дружок, не задерживайтесь в Портсмуте, как бы это не повредило Вашему хорошенькому личику. Эти противные морские ветры пагубны для красоты и здоровья. Моя несчастная тетушка страдала от них уже за десять миль от моря, чему адмирал, разумеется, не верил, но я-то знаю, что так оно и было. Дайте мне только знать, и я тотчас же к Вашим услугам и к услугам Генри. Мне это будет



одно удовольствие, и мы сделаем небольшой круг и по пути покажем Вам Эверингем, и, пожалуй, Вы не откажетесь проехать через Лондон и осмотреть внутреннее убранство церкви Св. Георгия на Ганновер-сквер. Только в это время держите подале от меня Вашего кузена Эдмунда, я опасаясь искушения. Какое длинное письмо! Еще одно слово. Оказывается, Генри задумал опять ехать в Норфолк по какому-то делу, которое Вы и сами одобряете, но этого никак нельзя позволить до середины следующей недели, то есть его можно будет отпустить только после 14-го, оттого что в этот вечер прием устраиваем мы. Вам даже и представить невозможно, какой бесценный человек в подобных случаях Генри, так что придется Вам поверить мне на слово: ему нет цены. Он увидит Рашуотов, чем, признаться, я не огорчена – мне даже немножко любопытно, думаю, и ему тоже, хотя он в том не признается".

Письмо было таково, что Фанни жадно пробежала его глазами, потом читала не спеша, потом долго над ним размышляла и осталась в еще большем недоумении, чем прежде. Только лишь одно определенно можно было из него извлечь, что ничего решающего еще не произошло. Эдмунд еще не объяснился. Каковы на самом деле чувства мисс Крофорд, как она намерена поступить, или же поступит безо всякого намерения, или вопреки ему, так же ли много Эдмунд для нее значит, как до последнего расставанья, а если меньше, то будет ли и впредь значить все меньше или снова все повернется к прежнему – о том гадать можно было бесконечно и раздумывать в первый день и во многие последующие, не приходя ни к какому заключению. Всего настойчивей думалось, пожалуй, что, возвратясь к лондонским привычкам, мисс Крофорд почувствовала, что охладела, и заколеблется, однако же в конце концов убедится, сколь сильна ее привязанность и не пожелает от него отказаться. Она попытается быть более честолубивой, чем позволяет ей сердце. Будет сомневаться, мучить, ставить условия, будет много требовать и все же под конец согласится. На этой мысли чаще всего останавливалась Фанни. Дом в Лондоне! Вот уж что, по ее мнению, невозможно. Однако, поди скажи, чего не способна попросить мисс Крофорд. Будущее кузена казалось Фанни все безотрадней. Особа, которая, говоря о нем, только и говорит о его наружности! Какая недостойная привязанность! Находить поддержку в похвалах миссис Фрейзер! Ей, которая полгода так коротко его знала! Фанни стыдно было за нее. По сравнению с этим строки письма, которые касались до мистера Крофорда и ее самой, не так уж ее задели. Поедет мистер Крофорд в Норфолк до или после четырнадцатого, нисколько ее не заботило, хотя, если все обдумать, ему следовало бы ехать немедленно. В стараниях мисс Крофорд способствовать его встрече с миссис Рашуот сказала самая дурная сторона ее натуры, было это чрезвычайно жестоко и неразумно; но Фанни надеялась, что сам он не поддастся столь унижительному любопытству. Непохоже это на него, и сестре следовало бы знать, что им движут чувства более высокие, нежели ее собственные.

Однако после этого письма Фанни ждала следующего еще нетерпеливей прежнего; и несколько дней так была им растрожена – тем, что уже произошло и еще может произойти, – что почти совсем оставила обычное чтение и беседы с Сьюзен. Не удавалось ей сосредоточиться, как она желала бы. Если мистер Крофорд помнит о ее поручении к кузену, вероятно, очень даже вероятно, что тот при всех условиях к ней напишет; это было бы как нельзя более сообразно с его обычной добротой, и пока Фанни не отказалась от этой надежды, пока после трех-четырех дней ожидания постепенно ее не утратила, она терзалась неотвязной тревогой.

Наконец ее волнение несколько унялось. Надобно было примириться с этой неопределенностью, не дать ей изнурить себя, эдак она совсем никуда не будет годиться. Кое-чему помогло время, еще того более собственные усилия, и Фанни вернулась к заботам о

Сьюзен, обрела к ним прежний интерес.

Сьюзен все больше привязывалась к ней, и, хотя лишена была дара наслаждаться книгой, который был так силен в Фанни, и куда менее склонна к усидчивости и познанию познания ради, ей так сильно хотелось не казаться невеждою, что при ее ясном уме и понятливости она сделалась на редкость внимательной, преуспевающей, благодарной ученицей. Она почитала Фанни оракулом. Фаннины объяснения и замечания весьма существенно дополняли каждый очерк, каждую главу истории. Рассказы Фанни о прежних временах западали ей в ум верней, чем страницы Гольдсмита<sup>14</sup>; и она отдавала должное сестре, предпочитая ее манеру всему тому, что находила в книгах. Ей недоставало воспитанной сызмальства привычки читать. Однако ж беседы их не всегда были посвящены предметам столь высоким, как история и нравы. Находилось время и для материй не столь серьезных, и всего чаще разговор возвращался к Мэнсфилд-парку и всего долее на нем задерживался – на его обитателях, на их поведении, увеселениях и привычках. У Сьюзен был природный вкус ко всему благородному и хорошо устроенному, она жадно слушала о жизни в усадьбе, а Фанни не могла отказать себе в удовольствии поговорить о том, что было так дорого ее сердцу. Она надеялась, что в том нет ничего дурного; однако через некоторое время видя, как сверх меры восхищается Сьюзен всем, что говорилось и делалось в доме дядюшки, и как горит желанием побывать в Нортгемптоншире. Фанни стала корить себя за то, что пробудила мечты, которым не сбыться.

Бедняжка Сьюзен была приспособлена к родительскому дому не многим лучше своей старшей сестры; и, вполне это поняв, Фанни почувствовала, что, когда настанет час ее освобождения из Портсмута, ее радость окажется далеко не полной из-за необходимости покинуть Сьюзен. То, что девушку, столь способную перенимать все хорошее, придется оставить в таких руках, огорчало ее все больше. Будь у ней надежда обзавестись собственным домом, куда можно бы пригласить сестру, какое это было бы счастье! Будь она способна ответить на чувство мистера Крофорда, надежда, что он отнюдь не станет возражать против приглашения Сьюзен, была бы ей всего отраднее. В сущности, он человек славный, думала она, и ей представлялось, что в подобном плане он принял бы самое сердечное участие.

Миновали почти семь недель из двух месяцев, когда Фанни наконец вручили письмо, столь долгожданное письмо от Эдмунда. Она распечатала письмо, увидела, какое оно длинное, и приготовилась к описанию в подробности его счастья и к обилию изъяснений в любви и похвал в адрес счастливой, которая стала отныне госпожой его судьбы. Вот оно, это письмо:

"Мэнсфилл-парк

Дорогая моя Фанни, прости, что не написал тебе раньше. Крофорд передал мне, что ты хотела бы получить от меня весточку, но я не мог писать из Лондона и убедил себя, что ты поймешь мое молчание. Если б я мог написать несколько радостных строк, я б не заставил тебя ждать, но ничего подобного я был сделать не в состоянии. Я возвратился в Мэнсфилд с гораздо меньшей уверенностью, нежели его покинул. Надежды мои убывают. Ты, вероятно, уже осведомлена об этом. Мисс Крофорд в тебе души не чает, и потому вполне естественно, если она уже довольно рассказала тебе о своих чувствах, чтоб ты без особого труда могла догадаться о моих. Однако это не помешает мне сообщить тебе обо всем самому. Ты можешь выслушать признания от нас обоих, одно другому не помеха. Я не задаю вопросов. Что-то есть успокоительное в мысли, что у нас один и тот же друг и, какие бы злосчастные разногласия ни существовали меж нами, мы едины в своей любви к тебе. Для меня утешение рассказать тебе, как теперь обстоят дела, каковы мои нынешние планы, если можно сказать, что они у меня есть. Я здесь уже с субботы. В Лондоне я пробыл три недели и виделся с нею, по лондонским понятиям, очень часто. Фрейзеры оказывали мне все внимание, какого разумно было ожидать. Я же, надобно думать, был отнюдь не разумен, питая надежды на отношения, подобные тем, что были в Мэнсфилде. Беда, однако, скорее в ее поведении, нежели в недостаточно частых встречах. Будь она иною, чем я ее увидел, мне не на что было бы жаловаться, но она переменилась, это стало ясно с самого начала; в первый же раз она встретила меня так непохоже на то, чего я ожидал, что я было решил немедля уехать из Лондона. Мне незачем вдаваться в подробности. Ты знаешь слабую сторону ее характера и можешь представить настроения и слова, которые меня мучили. Была она очень весела и окружена теми, чьи дурные понятия – неподходящая опора для ее чересчур живого ума. Не нравится мне миссис Фрейзер. Она черствая, суетная женщина, замуж вышла из одной только выгоды и, хотя явно несчастлива в браке, приписывает свое разочарование не изъянам в суждениях или характере, не несоответствию в летах, а тому, что она не столь богата, как многие ее знакомые, особливо ее сестра, леди Сторнуэй, и притом она решительная сторонница всякого корыстолюбия и претенциозности, будь они только достаточно корыстолюбивы и претенциозны. Я почитаю тесную дружбу с этими двумя сестрами величайшим несчастьем в жизни мисс Крофорд и моей тоже. Они годами сбивают ее с пути. Если б ее можно было оторвать от них! И временами я перестаю отчаиваться, ибо мне кажется, что эта приязнь скорее с их стороны. Они ее обожают; а она, без сомненья, тебя любит более, нежели их. Когда я думаю о безмерной привязанности ее к тебе и вообще о ее рассудительном, прямодушном, истинно сестринском поведении, она мне кажется совсем иной натурой, способной

на подлинное благородство, и я готов винить себя за чересчур суровое толкование игривости. Не могу я от нее отказаться, Фанни. Она единственная женщина в целом свете, которую я могу представить своей женою. Не будь я уверен в некотором ее расположении ко мне, я, конечно, так бы не сказал, но я глубоко в нем уверен. Я убежден, что она оказывает мне предпочтенье. У меня нет ревности ни к какому определенному лицу. К влиянию света – вот к чему я ревную. Привычка к богатству – вот что меня страшит. Ее притязания не превышают ее собственных средств, но они выше, чем позволяют наши совместные доходы. Однако даже в этом есть утешение. Мне легче потерять ее оттого, что я не доволен богат, чем из-за моей профессии. Это лишь послужит доказательством, что ее любовь неспособна на жертвы, а их, я, в сущности, навряд ли вправе от нее ждать; и если мне отказано, я думаю, это и будет истинной причиною. Я полагаю, ее предрассудки не так сильны, как раньше. Я поверяю тебе свои мысли, дорогая моя Фанни, в точности так, как они у меня возникают; возможно, они подчас противоречивы, но оттого картина моей души не станет менее верной. Раз уж я начал, мне отрадно поведать тебе все, что я чувствую. Не могу я от нее отказаться. При том, как мы уже связаны и, надеюсь, будем связаны в дальнейшем, отказаться от Мэри Крофорд значило бы отказаться от общества кое-кого из тех, кто мне всех более дорог, лишит себя тех домов и друзей, к коим при любом другом горе я обратился бы за утешением. Потерять Мэри означало бы для меня потерять Крофорда и Фанни. Будь это решенным делом, прямым отказом, надеюсь, я знал бы, как его перенести и как постараться ослабить ее власть над моим сердцем... и за несколько лет... но я пишу вздор... будь мне отказано, я должен это перенести; и пока я существую, я не перестану искать ее согласия. Это правда. Весь вопрос в том, как? Каков тут наилучший путь? Порой я думаю после Пасхи опять съездить в Лондон, а порой решаю ничего не предпринимать, пока она не воротится в Мэнсфилд. Даже теперь она с удовольствием говорит о предстоящем июне в Мэнсфилде; но до июня еще так далеко, и я, верно, напишу ей. Я уже почти решил объяснить в письме. Возможно ранее достичь определенности весьма существенно. Мое нынешнее положение досадно и мучительно. Подумавши, я нахожу, что наилучший способ все объяснить – письмо. Я смогу написать многое, чего не сумел сказать, она же получит время для размышлений, чтобы решить, каков будет ее ответ, и меня не столько страшит итог ее размышлений, сколько первое же необдуманное движение; да, кажется, так. Всего опасней для меня, если она станет советоваться с миссис Фрейзер, а я издалика бессилён постоять за себя. Письмо опасно тем, что его показывают в поисках совета, и, если душа сама не находит истинного решения, советчик в злосчастную минуту может подвигнуть ее на поступок, в котором она потом будет раскаиваться. Мне надобно еще немного обо всем поразмыслить. Мое длинное письмо, полное забот, касающихся одного меня, боюсь, нелегкое испытание даже для такого друга, как Фанни. Последний раз я видел Крофорда на званом вечере у миссис Фрейзер. Я все более удовлетворен его поведением и речами. У него нет и тени колебаний. Он отлично знает, чего хочет, и поступает согласно своим намерениям – свойство неоценимое. Видя его и мою старшую сестру в одной комнате, я не мог не вспомнить то, что ты рассказала мне однажды, и, должен сказать, они встретились не как друзья. С ее стороны заметна была холодность. Они едва ли перекинулись несколькими словами; я видел, как он отступил от нее в удивлении, и пожалел, что миссис Рашуот не смогла извинить его

за воображаемое пренебрежение Марией Бертрам. Ты захочешь узнать мое мнение, в какой мере ей отрадно ее замужество. Непохоже, чтобы она была несчастлива. Надеюсь, что они совсем неплохо ладят. Я дважды обедал на Уимпол-стрит и мог бы там бывать чаще, но унижительно быть Рашуоту за брата. Джулия, похоже, безмерно наслаждается Лондоном. Мне мало что доставляло наслаждение там – но дома и того менее. Наше домашнее общество отнюдь не веселое. Тебя здесь очень недостает. А как ты необходима мне, не могу выразить. Маменька шлет тебе сердечный привет и надеется вскорости получить от тебя письмо. Не проходит часу, чтоб она о тебе не вспомнила, и мне грустно, как подумаю, сколько еще недель она, верно, должна будет обходиться без тебя. Папенька намерен привезти тебя сам, но только не ранее Пасхи, когда ему надобно съездить в Лондон по делам. Надеюсь, в Портсмуте тебе хорошо, но поездка туда не должна стать ежегодной. Я хочу, чтоб ты была дома и могла высказать мне свое мнение о Торнтон Лейси. У меня нет особой охоты к крупным усовершенствованиям, пока я не уверен, что Торнтон Лейси когда-нибудь обретет хозяйку. Пожалуй, я к ней все-таки напишу. Уже твердо решено, что Гранты едут в Бат, они покидают Мэнсфилд в понедельник. Я этому рад. У меня не слишком отрадно на душе, и я сейчас не подхожу ни для какого общества; но твоя тетушка, похоже, чувствует себя обделенной, оттого что столь существенную мэнсфилдскую новость досталось сообщить мне, а не ей.

*Всегда твой, милая моя Фанни".*

«Никогда, нет, никогда и ни за что не захочу я больше получать письма, – провозгласила Фанни про себя, дочитав до конца. – Что они приносят, кроме разочарования и горя?.. Не раньше чем после Пасхи!.. Как я это вынесу?.. И не проходит часу, чтоб моя бедная тетушка не заговаривала обо мне!»

Фанни постаралась, как могла, не дать этим мыслям завладеть ею, но еще мгновение – и подумала бы, что сэр Томас жесток по отношению к ним обеим, и к тетушке и к ней. Что же до главного предмета, которому посвящено письмо, ничего в нем не могло утишить ее досаду. Так она была уязвлена, что Эдмунд пробудил в ней чуть ли не неприязнь и гнев. «В промедлении нет ничего хорошего», – сказала она. Почему все до сих пор не решено? Он слеп, и ничто не образумит его, ничто, ведь сколько раз пред его глазами представала правда, и все напрасно. Он женится на ней и будет несчастлив, будет страдать. Дай Бог, чтоб под ее влиянием он не утратил благородства! Фанни опять просмотрела письмо. Она души во мне не чает! Какой вздор. Никого она не любит, только себя да своего брата. Друзья годами сбивают ее с пути! Очень вероятно, что это она сбивала их с пути. Быть может, они все развращают друг друга; но если они любят ее настолько сильнее, чем она их, тем менее вероятно, что они повредили ей, разве что своей лестью. Единственная женщина в целом свете, которую он может представить своей женою. Я в том нисколько не сомневаюсь. Эта привязанность будет направлять всю его жизнь. Согласится она или откажет, сердце его навсегда соединено с нею. «Потерять Мэри означало бы для меня потерять Крофорда и Фанни». Эдмунд, меня ты не знаешь. Если ты не соединишь наши две семьи, они никогда не соединятся. О Эдмунд! Напиши ей, напиши. Положи этому конец. Пусть кончится неопределенность. Решись, свяжи себя, приговори себя.

Однако подобные чувства слишком сродни злобе, чтобы долго преобладать в разговоре Фанни с самой собою. Вскорости она смягчилась и опечалилась. Сердечное отношение Эдмунда, его ласковые слова, его доверчивое обхождение глубоко ее трогали. Просто он

слишком добр ко всем. Иными словами, письмо его оказалось таково, что она, без сомненья, предпочла бы его не получать, и однако ему не было цены. Так она порешила.

Каждый, кто привержен писанию писем, даже если и писать-то особенно не о чем (к их числу принадлежит значительная часть женского общества), должен посочувствовать леди Бертрам, которой не повезло, что такая наиважнейшая мэнсфилдская новость, как неизбежный отъезд Грантов в Бат, стала известна в то время, когда она не могла ею воспользоваться, и каждый поймет, сколь обидно было ей видеть, что новость эта досталась ее неблагодарному сыну и со всей возможной краткостью упомянута в конце длинного письма, вместо того чтобы занять большую часть страницы в ее собственноручном послании. Леди Бертрам была, пожалуй, мастерица эпистолярного жанра, так как с самого начала замужества, не имея других занятий, и при том, что сэр Томас был членом парламента, она пристрастилась вести переписку и изобрела весьма похвальную заурядную манеру расписывать все в подробности, для чего ей довольно было и самой малой малости; однако ж даже чтобы написать к племяннице, она не могла обойтись без чего-то новенького; и при том, что вскоре леди Бертрам предстояло утратить такой благодатный повод для писем, как необходимость сообщить об очередном приступе подагры у доктора Гранта и об утренних визитах миссис Грант, ей было очень тяжело лишиться одной из последних возможностей написать о них.

Однако ее ждало богатое вознаграждение. Настал для леди Бертрам час удачи. Через несколько дней после получения письма от Эдмунда Фанни получила письмо от тетушки, которое начиналось так:

«Дорогая Фанни, я берусь за перо, чтоб сообщить весьма тревожное известие, которое, без сомненья, сильно тебя беспокоит...»

То было много лучше, чем взяться за перо, чтобы познакомить племянницу со всеми подробностями предполагаемой поездки Грантов, ибо теперешнее известие было таково, что обещало пищу для пера на многие дни и состояло не больше не меньше как в опасной болезни ее старшего сына, о которой в Мэнсфилде узнали от нарочного несколько часов назад.

В компании молодых людей Том отправился из Лондона в Нью-Маркет, где ушибы от падения, на которые вовремя не обратили внимание, и изрядное количество выпитого вина вызвали лихорадку; и когда компания разъехалась, он, не имея сил двигаться, был предоставлен в доме одного из этих молодых людей болезни и одиночеству на попечении всего только слуг. Вместо того чтобы, как он надеялся, быстро поправиться и последовать за приятелями, он совсем расхворался и через недолгое время почувствовал себя так плохо, что, как и его лекарь, решился отправить письмо в Мэнсфилд.

*«Сие горестное известие, как ты можешь представить, сильно нас взволновало, — заметила ее светлость, изложив суть случившегося, — и мы не можем избавиться от дурных предчувствий и великой тревоги за нашего бедного больного, чье состояние, как страшится сэр Томас, может быть очень опасно; и Эдмунд любезно предлагает немедля отправиться ухаживать за братом, но я рада прибавить, что сэр Томас не оставит меня в этот горестный час, ведь это было бы мне слишком трудно. В нашем домашнем кружке нам будет очень недоставать Эдмунда, но я верю и надеюсь, что он застанет бедного больного не в столь внушающем тревогу состоянии, как мы опасаемся, и вскорости сумеет его привезти в Мэнсфилд; сэр Томас полагает это необходимым и считает, что это будет лучше во всех отношениях, и я льщу себя надеждой, что бедный страдалец в скором времени сможет перенести переезд без особых неудобств и вреда для себя. Так как я нисколько не сомневаюсь, дорогая Фанни, что в этих горестных обстоятельствах ты нам сочувствуешь, я очень скоро*

*напишу тебе опять».*

Чувства Фанни по этому поводу были, разумеется, много искренней и горячее, чем манера тетушкиного письма. Она от всего сердца сочувствовала им всем. Том опасно болен, Эдмунд уехал ухаживать за ним, и печально маленькое общество, оставшееся в Мэнсфилде, — этих тревог было довольно, чтобы вытеснить все прочие тревоги или почти все. У ней только и достало эгоизма, чтоб подумать, успел ли Эдмунд написать к мисс Крофорд до того, как его призвали эти дела, но ни одно чувство, в котором не присутствовала бы чистая любовь и бескорыстное беспокойство, не задерживалось надолго у ней в душе. Тетушка о ней не забывала, писала снова и снова; в Мэнсфилде получали частые отчеты от Эдмунда, и отчеты эти с тем же постоянством передавались Фанни в той же многословной манере, в том же смещении веры, надежд, страхов, следующих друг за другом и нечаянно друг друга порождающих. То была своего рода игра в перепуг. Страдания, которых леди Бертрам не видела, она не умела вообразить; и вполне спокойно писала о волнении и тревоге и о бедном страдальце, пока Тома не доставили в Мэнсфилд и она не увидела воочию, как сильно он изменился. И тогда письмо, которое она начала писать до этого, было закончено совсем в иной манере, языком неподдельного чувства и смятения; она написала так, как могла бы сказать вслух: «Он только что приехал, дорогая моя Фанни, и его отнесли наверх; и когда я его увидела, мне стало так страшно, просто не знаю, что и делать. Без сомнений, он был очень болен. Бедный Том, мне так его жалко, и я так боюсь за него, и сэр Томас тоже; и как я была бы рада, если б ты была здесь, ты б меня успокоила. Но сэр Томас надеется, что завтра Тому будет лучше, говорит, Том ослаб еще и от переезда».

Настоящее беспокойство, которое теперь проснулось в материнской груди, прошло не скоро. Из-за крайне нетерпеливого желанья Тома оказаться в Мэнсфилде, в уюте родного дома, в кругу семьи, о которых он и думать не думал, покуда пребывал в добром здравии, его, видно, повезли туда слишком рано, а потому возобновилась лихорадка, и в первую неделю он находился в большей опасности, чем когда-либо. Все здесь были чрезвычайно испуганы. Леди Бертрам поверяла свои ежедневные страхи племяннице, которая теперь, можно сказать, жила этими письмами и все время проводила в страданиях из-за сегодняшнего письма и в ожидании завтрашнего. Она не питала особо нежных чувств к своему старшему кузену, но по доброте сердца со страхом думала о возможной утрате; а при чистоте ее понятий от мысли о том, как мало толку было в его жизни, как мало он, по всей видимости, способен был отказывать себе в своих желаниях, беспокойство ее становилось еще глубже.

Как и в более простых случаях, одна только Сьюзен оставалась ее слушательницей и наперсницей. Она всегда была готова выслушать и посочувствовать. Всех прочих ничуть не занимала такая далекая беда, как болезнь в семействе, пребывающем за сто миль с лишком отсюда... даже миссис Прайс, которая, увидав в руках у дочери письмо, разве что мимоходом задавала вопрос-другой, а изредка безучастно замечала: «У бедной моей сестры Бертрам, должно быть, сейчас множество хлопот».

Разделенные долгими годами и столь большой разницей в положении, они уже почти не ощущали кровных уз. И привязанность, отнюдь не пылкая, так же как их натуры, теперь существовала единственно на словах. Миссис Прайс поступала по отношению к леди Бертрам в точности так, как леди Бертрам поступила бы по отношению к миссис Прайс. Трое или четверо Прайсов могли быть сметены с лица земли, любой из них или все вместе, кроме Фанни и Уильяма, а леди Бертрам не очень-то и задумалась бы о том, или, возможно, стала бы повторять лицемерные речи миссис Норрис, мол, какое счастье и какое великое благо для бедняжки их дорогой сестры Прайс, что эти двое так хорошо пристроены.

Примерно через неделю после возвращения Тома в Мэнсфилд прямая угроза его жизни миновала, и ради полного спокойствия его матери объявлено было, что он вне опасности; она уже привыкла видеть его беспомощным и страдающим, слышала о его состоянии только хорошее, о плохом не задумывалась, и, от природы не склонную тревожиться или понимать по намекам, докторам было проще простого ее провести. Лихорадку одолели, а мучила его лихорадка, значит, конечно же, он скоро опять будет здоров; ничего иного леди Бертрам не предполагала, и Фанни разделяла тетушкину уверенность, пока не получила несколько строк от Эдмунда, написанных нарочно для того, чтобы разъяснить ей положение брата и сообщить его и отцовские страхи, которые в них заронил доктор в связи с явными признаками чахотки, что обнаружили, когда отступила лихорадка. Они сочли за благо не тревожить леди Бертрам страхами, которые, надо надеяться, не подтвердятся; но нет причины скрывать правду от Фанни. Они опасаются за его легкие.

По этим нескольким строкам от Эдмунда Фанни представила больного и его комнату в более верном и ярком свете, чем по всем пространным письмам леди Бертрам. Пожалуй, любой из домочадцев по своим наблюдениям написал бы о больном вернее, чем она; временами любой оказывался больному полезней ее. Она только и способна была, что тихонько проскользнуть к сыну в комнату и смотреть на него; но когда он был в силах разговаривать сам или слушать, как ему что-нибудь рассказывают или читают, он предпочитал общество Эдмунда. Тетушка Норрис утомляла его своими заботами, а сэр Томас не способен был умерить свое многословие и громкий голос соответственно раздражительности и слабости больного. Эдмунд – вот кто единственный был ему нужен. Уж в этом Фанни не усомнилась бы, и теперь, когда он помогал своему страдающему брату, поддерживал его, подбадривал, он более прежнего возвысился в ее глазах. Тут ведь потребовалась помощь не только из-за телесной слабости, следствия недавней болезни, тут, как она теперь узнала, требовалось успокоить крайне расстроенные нервы, поднять крайне угнетенный дух; и еще, как ей представлялось, надобно было направить на путь истинный душу.

В роду Бертрамов не было чахоточных, и Фанни, думая о старшем кузене, более надеялась, чем страшилась, – кроме тех минут, когда вспоминала о мисс Крофорд, ибо ей казалось, что мисс Крофорд – дитя удачи, а при ее суетности и себялюбии немалой было бы удачей, останься Эдмунд единственным сыном. Даже в комнате больного счастливица Мэри не была забыта. В конце Эдмунд приписал: «Что до предмета моего последнего письма, я и вправду начал писать к ней, но болезнь Тома меня оторвала, однако теперь мнение мое изменилось, я боюсь влияния ее друзей. Когда Тому полегчает, я поеду в Лондон».

Таково было положение в Мансфилде, и так продолжалось почти без перемен до Пасхи. Нескольких слов, которые Эдмунд иногда приписывал к письму матери, хватало, чтоб Фанни не мучилась неизвестностью. Медленность, с какой Том шел на поправку, внушала тревогу.

Настала Пасха – в этом году особенно поздняя, как с огорчением подумала Фанни, когда впервые узнала, что ней нет надежды уехать из Портсмута ранее, чем после праздника. Настала Пасха, а о возвращении в Мэнсфилд все ни строчки, и ни слова о поездке в Лондон, которая должна была предшествовать ее возвращению. Тетушка часто выражала желание, чтоб она приехала, но от дядюшки, который один это решал, не было никакого известия и уведомления. Вероятно, он еще не мог оставить сына, но для Фанни эта отсрочка была жестокой, невыносимой. Близится конец апреля, скоро уже почти три месяца вместо двух, как



она с ними в разлуке и дни свои проводит, будто наказанная, а всей суровости наказания, надеялась она, безгранично их любя, им просто не понять; и однако ж как знать, когда найдется время подумать о ней и забрать ее отсюда?

Она так горячо, нетерпеливо, так страстно желала снова оказаться с ними, что навсегда запомнила строчку из «Ученичества» Каупера. «Как жаждет дома быть она» – эти слова постоянно были у ней на языке, они верней всего выражали ее тоску; пожалуй, думалось ей, ни один ученик закрытой школы не тоскует острее по родительскому крову.

Когда она ехала в Портсмут, ей нравилось называть его домом, приятно было говорить, что едет домой; слово это было ей очень дорого; таким и осталось, только отнести его надобно к Мэнсфилду. Дом теперь там. Портсмут это Портсмут, а дом это Мэнсфилд. Так она уже давно осмелилась расположить их в своих тайных думах, и ничто не могло ее утешить больше, чем письмо тетушки, в котором та прямо так и писала: «Должна сказать, я сильно сожалею, что в эти горестные дни, столь меня угнетающие, тебя нет дома. Я верю, и надеюсь, и искренне желаю, чтоб ты никогда более не отлучалась из дому так надолго». Строки эти безмерно радовали Фанни. Однако упивалась она ими втайне. Из деликатности она старалась не выказать перед родителями предпочтения, которое отдавала дому дяди, и потому всегда говорила: «когда я поеду обратно в Нортгемптоншир» или «когда я ворочусь в Мэнсфилд», я сделаю то-то и то-то. Долгое время так оно и шло, но под конец тоска возобладала над осторожностью, и Фанни заметила, что говорит о том, чем станет заниматься, когда поедет домой. Она укорила себя, покраснела и со страхом посмотрела на маменьку и папеньку. Но понапрасну она смутилась. Родители ничем не выказывали никакого неудовольствия, ни даже того, что вообще услышали ее слова. Они вовсе не питали ни малейшей ревности к Мансфилду. Сделай милость, стремись туда или живи там, если тебе угодно.

Фанни было грустно лишиться всех отрад весны. Не сознавала она прежде, что, проводя март и апрель в городе, лишится их. Не сознавала, как отрадно, когда все начинает зеленеть и произрастать. Как сама оживала телом и душою, наблюдая приход весны, которая при всем своем капризном нраве неизменно восхитительна, и глядя, как все хорошеет вокруг, от первоцветов в самых теплых уголках тетушкиного сада до первых листьев на дядюшкиных полях и до великолепия его лесов. Лишиться такой отрады – не пустяк; лишиться же ее ради непрестанного шума и тесноты, быть запертой в четырех стенах, где духота и дурные запахи заменили свободу, свежесть, благоухание и зелень, и вовсе худо; но даже эти причины для сожалений были ничто в сравнение с уверенностью, что тебя недостает лучшим твоим друзьям, с жаждой быть полезной тем, кто нуждается в тебе!

Будь она дома, она была бы там полезна любому. Без сомненья, от нее всем был бы толк. Всех она могла бы избавить от разных забот и трудов; и даже если б она только поддерживала дух тетушки Бертрам, избавляла ее от тягости одиночества или еще злейшей тягости – общества особы суетливой, назойливой, всегда готовой преувеличить опасность ради того, чтоб придать себе весу, ее, Фаннино, пребывание там послужило бы общему благу. Она любила представлять, как читала бы тетушке, занимала бы ее разговором и старалась помочь ей ощутить, какое благо все то, что есть, одновременно подготавливая душу ее к тому, что может случиться; и от скольких хождений вверх и вниз по лестнице можно бы избавить тетушку, и сколько можно бы исполнить поручений.

Ее удивляло, что сестры Тома преспокойно остаются в Лондоне во все время болезни, которая с разной степенью опасности длится уже несколько недель. Они-то могли воротиться в Мэнсфилд когда им угодно; им-то это легче легкого, и для Фанни непостижимо было, как же они обе все еще не приехали. Если миссис Рашуот может воображать, будто ее

задерживают какие-то обязательства, то Джулии, уж конечно, ничто не мешает покинуть Лондон когда ей заблагорассудится. Как следовало из одного тетушкиного письма, Джулия предложила вернуться, если в ней нуждаются, но тем и кончилось. Очевидно, она предпочитает остаться в Лондоне.

Фанни стала думать, что пребывание в Лондоне весьма дурно сказывается на всех заслуживающих уважения привязанностях. Подтверждение тому она видела в мисс Крофорд и в своих кузинах тоже: привязанность мисс Крофорд к Эдмунду прежде заслуживала уважения, заслуживала более, чем остальное в ее натуре, а ее дружеские чувства к самой Фанни были, право, безупречны. Где ж теперь та привязанность и та дружба? Так давно уже Фанни не получала от нее никаких писем, что не без оснований усомнилась она в дружбе, о которой прежде столько размышляла. Уже давным-давно у ней не было вестей о мисс Крофорд и ее лондонском окружении, кроме того, что писали из Мэнсфилда, и она стала подумывать, что, пожалуй, пока они не встретятся с мистером Крофордом, она так и не узнает, поехал ли он опять в Норфолк, и этой весной уже не получит более известий от его сестры, но вдруг пришло письмо, которое оживило старые чувства и породило новые.

"Простите меня поскорей, душенька Фанни, за мое долгое молчание и поступите, пожалуйста, так, как если б могли простить меня тотчас же. Это моя нижайшая просьба и надежда, ведь Вы такая хорошая, и потому я жду, что Вы отнесетесь ко мне лучше, чем я заслуживаю, и пишу сейчас, чтоб попросить Вас ответить мне немедленно. Я хочу знать, как обстоят дела в Мэнсфилд-парке, и Вы, без сомнения, можете мне об этом сообщить. Надо быть вовсе уж бесчувственной, чтоб не пожалеть их в таком несчастье; и по тому, что я слышу, у бедного мистера Бертрама едва ли есть надежда на выздоровление. Поначалу меня мало беспокоила его болезнь. Я думала, что с ним чересчур нянчатся и он сам с собою нянчится при всяком пустячном недомогании, и огорчалась более за тех, кому приходилось за ним ухаживать; но теперь с уверенностью говорят, что его жизнь и вправду в опасности, что признаки самые тревожные, и что, по крайней мере, некоторым членам семьи это известно. Если это так, Вы, конечно же, входите в их число, в число проницательных, и потому умоляю Вас, напишите мне, насколько верны мои сведения. Мне нет надобности говорить, как Вы меня обрадуете, если окажется, что они не совсем верны, но мнение это слишком распространено, и, признаюсь, меня бросает от него в дрожь. Как было бы печально, если б жизнь такого прекрасного молодого человека оборвалась в расцвете дней. Для бедного сэра Томаса это будет ужасный удар. Я и вправду очень этим взволнована. Фанни, Фанни вижу, как Вы улыбаетесь и глядите испытующе, но, клянусь, я никогда в жизни не подкупала врача. Бедный мистер Бертрам! Если ему суждено умереть, на свете станет двумя бедными молодыми людьми меньше; и не побоюсь, глядя в лицо кому угодно, сказать, что богатство и положение достанутся тому, кто их достоин более всех на свете. То, что совершилось на Рождество, – плод безрассудной поспешности, но зло тех нескольких дней можно отчасти стереть. Лак и позолота каких только пятен не скрывают. Его же только нельзя будет именовать эсквайром. Когда любовь настоящая, как у меня, Фанни, можно и еще кой на что посмотреть сквозь пальцы. Напишите ко мне с обратной почтой, судите сами о моем волнении и не смейтесь надо мною. Скажите мне истинную правду, ту, что Вам известна из первых уст. А еще не мучьте себя, не стыдитесь моих чувств или своих собственных. Поверьте мне, они не только естественны, но и заключают в себе и человеколюбие и добродетель. Судите сами, разве, получив титул сэра, и все владения Бертрамов, Эдмунд не сделает больше добра, чем любой другой возможный наследник титула. Когда б Гранты были дома, я не стала бы Вас затруднять, но сейчас Вы единственная, от кого я могу узнать правду, так как сестры его для меня вне досягаемости. Миссис Рашуот, как Вам, конечно,

известно, проводит Пасху у Эйmlеров в Туикенеме и еще не воротилась, а Джулия сейчас у кузин где-то поблизости от Бедфорд-сквер, но я забыла их фамилию и название улицы. Однако даже когда б я могла тотчас обратиться к любой из них, я б все равно предпочла бы Вас, – мне бросилось в глаза, что им обоим слишком жаль расставаться со своими развлечениями, и потому они не желают видеть правду. Я думаю, пасхальные каникулы миссис Рашуот подходят к концу; для нее это, несомненно, доподлинные каникулы. Эйmlеры милые люди, а так как мистер Рашуот в отъезде, ей остается только наслаждаться жизнью. Отдаю ей должное, что она укрепила его желание исполнить сыновний долг, поехать в Бат за матерью, но как она уживется под одной крышей с этой достойной вдовицей? Моего брата сейчас нет рядом, так что от него мне нечего передать. Вам не кажется, что если б не болезнь мистера Бертрама, Эдмунд давно бы уж был в Лондоне?

Всегда Ваша, Мэри.

Я уже стала складывать письмо, но тут вошел Генри. Он, однако, не принес никаких известий, которые помешали бы отправить письмо. Миссис Р. знает, что опасаются за жизнь больного; Генри виделся с нею нынче утром, она сегодня возвращается на Уимпол-стрит, старая дама приезжает. Пожалуйста, не беспокойтесь и ничего не воображайте, оттого что он провел несколько дней в Ричмонде. Он всегда ездит туда по весне. Не сомневайтесь, он не думает ни о ком, кроме Вас. В эту самую минуту он до безумия жаждет Вас видеть и занят лишь тем, что изобретает возможности для встречи и для того, чтобы она тоже доставила удовольствие и Вам. В доказательство он повторяет, и еще горячий, то, что сказал в Портсмуте, что мы будем рады доставить Вас домой, и я всем сердцем присоединяюсь. Милочка Фанни, напишите тотчас и велите нам приехать. Нам всем это будет в радость. Мы с ним, понятно, можем поехать в пасторат и нисколько не обременим наших друзей в Мэнсфилд-парке. Право же, приятно будет снова всех их увидеть, а некоторое прибавление общества может оказаться им как нельзя более кстати; а что до Вас, Вы, конечно, чувствуете, сколь Вы там нужны, и при Вашей совестливости не можете сознательно оставаться в стороне, когда у Вас есть возможность воротиться. Мне недостает времени и терпенья передать Вам и половину тех слов, что желал бы Вам передать Генри, знайте только, что все они пронизаны неизменной любовью".

Большая часть этого письма вызывала у Фанни такое отвращенье и так ей не хотелось способствовать встрече той, которая его писала, с Эдмундом, что она не способна была (и сама это чувствовала) судить беспристрастно, следует ли ей принять предложение, содержащееся в конце. Для нее самой то был величайший соблазн. Через каких-нибудь три дня, быть может, очутиться в Мэнсфилде – большего счастья и представить невозможно, но в нем заключался бы существенный изъян: быть обязанной таким счастьем людям, в чьих чувствах и поведении она сейчас столь много осуждала; чувства сестры и поведение брата... ее хладнокровное домогательство... его беспечная суетность. Чтоб он продолжал знакомство, а возможно, и флиртовал с миссис Рашуот! Фанни была оскорблена. Она думала о нем лучше. Однако, по счастью, ей не нужно было взвешивать и выбирать, какое из противоположных стремлений, из вызывающих сомнение понятий предпочесть; не ей решать, удерживать ли Мэри и Эдмунда врозь. У ней было правило: во всех случаях жизни представить, как отнесся бы к этому дядюшка. Она благоговела перед ним, боялась выйти из его воли, а потому тотчас поняла, как ей должно поступить. Она безусловно должна отклонить предложение мисс Крофорд. Если бы дядюшка желал ее приезда, он бы послал за нею; и уже само ее предложение воротиться ранее было бы самонадеянностью, которую едва ли можно чем-то оправдать. Она поблагодарила мисс Крофорд, но наотрез отказалась. Как она понимает, написала она, дядюшка намерен сам за ней заехать; а раз кузен болен уже

столько недель и ее присутствие не сочли необходимым, стало быть, сейчас ее возвращение нежелательно и она только чувствовала бы себя обузой.

Нынешнее состояние кузена она описала в точности таким, как сама о нем понимала, таким, какое, вероятно, внушит ее жизнерадостной корреспондентке надежду, что все ее желания сбудутся. При определенном богатстве Эдмунду, верно, простится, что он стал священником; этим, должно быть, и объясняется победа над предрассудком, с которою он готов был себя поздравить. По мнению мисс Крофорд, на свете нет ничего важнее денег.

Фанни была убеждена, что своим ответом глубоко разочарует мисс Крофорд, и потому, зная ее нрав, ждала, что та, пожалуй, снова к ней приступит; и хотя новое письмо пришло только через неделю, Фанни взяла его с тем же чувством.

Она тотчас же поняла, что письмо короткое, а значит, подумалось ей, наверно, деловое, и написано в спешке. Содержание его не вызывало сомнений; в первые мгновенья она решила, что ей просто-напросто сообщают о своем приезде в Портсмут в этот самый день, и отчаянно заволновалась, не зная, как тогда поступить. Однако в следующий миг возникшие пред нею затруднения рассеялись, – еще не открыв письма, она понадеялась, что Крофорды обратились к ее дядюшке и получили разрешение. Вот это письмо.

"Только что до меня дошел совершенно возмутительный, злонамеренный слух, и я пишу Вам, дорогая Фанни, чтоб упредить Вас на случай, если он докатится и до Ваших мест, не давать ему ни малейшей веры. Это, без сомненья, какая-то ошибка, и через день-два все прояснится – во всяком случае, Генри ни в чем не повинен и, несмотря на мимолетное *etourderie*, он не думает ни о ком, кроме Вас. Пока я Вам снова не напишу, никому не говорите ни слова, ничего не слушайте, не стройте никаких догадок, ни с кем не делитесь. Без сомненья, все затихнет и окажется, – это одна только Рашуотова блажь. Если они и вправду уехали, то, ручаюсь, всего лишь в Мэнсфилд-парк и вместе с Джулией. Но отчего Вы не велите приехать за Вами? Как бы Вам после об этом не пожалеть.

Ваша, и прочее..."

Фанни была ошеломлена. Никакой возмутительный злонамеренный слух до нее не дошел, и оттого многое в этом странном письме ей понять было невозможно. Она могла лишь догадаться, что оно касается до Уимпол-стрит и мистера Крофорда, и лишь предположить, что там свершилось какое-то крайнее безрассудство, раз оно вызвало толки в свете и, как опасается мисс Крофорд, способно возбудить ее ревность, если она о том прослышала. Но напрасно мисс Крофорд за нее волнуется. Ей только жаль тех, кто в этом замешан, жаль и Мэнсфилд, если молва докатилась и туда; но Фанни надеялась, что так далеко слухи не дошли. Если, как следует из письма мисс Крофорд, Рашуоты сами поехали в Мэнсфилд, вряд ли им предшествовали неприятные вести и, во всяком случае, вряд ли произвели там впечатление.

Что же до мистера Крофорда, может быть, происшедшее даст ему понятие о собственном нраве и убедит, насколько он не способен на постоянство в любви, и он постыдится долее ухаживать за нею.

Как странно! А ведь она уже начала думать, что он и вправду ее любит, вообразила, будто его чувство к ней отнюдь не заурядное, и его сестра все еще уверяет, будто он только о ней, Фанни, и думает. И однако он, должно быть, весьма недвусмысленно выказал свою благосклонность к кухне, повел себя весьма опрометчиво, ведь ее корреспондентка не из тех, кто станет обращать внимание на пустяки.

Неуютно ей стало, и так будет, пока она не получит новых вестей от мисс Крофорд. Не думать об этом ее письме невозможно, и ни с кем нельзя об этом поговорить, облегчить душу. Напрасно мисс Крофорд так ее заклинала сохранить все в тайне, она могла бы довериться ее понятию о долге перед кухней.

Наступил новый день, однако нового письма не принес. Фанни была разочарована. Все утро она по-прежнему только об этом и думала; но когда к вечеру вернулся отец, как всегда с газетою в руках, она до такой степени не ждала из этого источника никаких вестей, что на

минуту даже отвлеклась от своих мыслей.

Она глубоко задумалась совсем о другом. Ей вспомнился ее первый вечер в этой комнате и отец с неизменной газетой. Теперь в свече уже нет надобности. До захода солнца еще полтора часа. Сейчас она всем существом ощутила, что уже прошли три месяца; от солнечного света, что заливал гостиную, ей становилось не веселее, а еще грустней; совсем не так, как на сельском просторе, светит в городе солнце. Здесь его сила лишь в слепящем блеске, в беспощадном, мучительном слепящем блеске, который только на то и годится, чтоб обнажать пятна и грязь, которые иначе спокойно бы почивали. В городе солнце не приносит ни бодрости, ни здоровья. Фанни сидела в гнетущей духоте, в пронизанном яркими солнечными лучами облаке беспокойной пыли, и переводила взгляд со стен в пятнах от головы отца на изрезанный, исцарапанный братьями стол, где стоял как всегда не отчищенный толком чайный поднос, кое-как вытертые чашки с блюдцами, синеватое молоко, в котором плавали ошметки пленок, и хлеб с маслом, становящийся с каждой минутой жирней, чем был поначалу от рук Ребекки. И пока готовился чай, отец углубился в газету, а мать по обыкновению причитала над порванным ковром, – вот бы Ребекка его починила; Фанни вышла из оцепенения, лишь когда отец окликнул ее, сперва похмыкав и поразмыслив над чем-то в газете:

– Как фамилия этих твоих знаменитых кузенов, которые в Лондоне, Фан?

– Рашуоты, сэр, – после минутной запинки отвечала она.

– И уж не на Уимпол-стрит ли они живут?

– Да, сэр.

– Тогда, скажу я тебе, неладно у них. Возьми-ка. – Он протянул ей газету. – Вот уж много чести тебе от таких родственничков. Не знаю, не знаю, что подумает о таких делах сэр Томас; может, он чересчур утонченный и светский джентльмен и не станет меньше любить свою дочку. А только будь она моя, вот не сойти мне с этого места, стегал бы ее, пока хватило сил. Небольшая порка всего лучше остережет и мужчину и женщину тоже от эдаких выкрутасов.

Фанни прочла про себя, что «с бесконечным сожаленьем наша газета вынуждена сообщить о супружеском fracas в семействе мистера Р. с Уимпол-стрит; прекрасная миссис Р., которая лишь недавно связала себя узами Гименя и которая обещала стать блистательной властительницей светского общества, покинула супружеский кров в обществе хорошо известного неотразимого мистера К., близкого друга и товарища мистера Р., и даже редактору нашей газеты неизвестно, куда они отправились».

– Это ошибка, сэр, – тотчас же сказала Фанни. – Это, должно быть, ошибка... Не может этого быть... Здесь, должно быть, имеются в виду другие люди.

Она говорила из безотчетного желания отодвинуть позор, говорила с решительностью отчаяния, ибо говорила то, чему не верила, не могла верить. Потрясенная, она не усомнилась в истинности прочитанного. Правда ошеломила ее, и после она изумлялась, что все-таки сумела не задохнуться, даже заговорить.

Мистера Прайса газетное сообщение не настолько встревожило, чтоб он стал всерьез отвечать.

– Может, это и вранье, – готов был допустить он, – а только нынче немало светских дамочек таким вот манером продают душу дьяволу, так что ни за кого нельзя поручиться.

– Уж конечно, будем надеяться, это неправда, – жалобно сказала миссис Прайс. – Это был бы такой позор!..

Добро б я говорила Ребекке про ковер всего раз, так нет же, раз десять я ей говорила, не меньше, верно, Бетси? А тут работы всего на десять минут.

Едва ли можно описать ужас и смятение Фанни, когда она уверилась, что те двое и вправду виновны, и отчасти представила себе, какие бедствия это повлечет. Сперва она словно оцепенела, но с каждой минутой все полнее сознавала, как дурно, как отвратительно то, что произошло. Она не думала, не смела надеяться, что в газетной заметке ложь. Письмо мисс Крофорд, которое она перечитывала так часто, что выучила наизусть, было в пугающем согласии с заметкой. Горячность, с какою мисс Крофорд защищала брата, и ее надежда, что скандал удастся замять, и нескрываемое волнение – все это ясней ясного говорило о поступке весьма неблагоприятном; и мисс Крофорд, видно, единственная женщина на свете, способная по складу своему счесть пустяком этот страшнейший грех, способная попытаться затушевать его и желать, чтоб он остался безнаказанным! Теперь Фанни поняла свою ошибку – поняла, кто уехал в Мэнсфилд-парк, верней, кого имела в виду мисс Крофорд в своем письме. Не мистера и миссис Рашуот, но миссис Рашуот и мистера Крофорда.

Фанни казалось, еще никогда не была она так возмущена. Она не могла успокоиться. Весь вечер мучилась, провела бессонную ночь. То гадко ей делалось, то она содрогалась от ужаса, то бросало в жар, то в холод. Случившееся слишком чудовищно, в иные минуты она отказывалась верить, думала, нет, не могло того быть. Женщина, которая вышла замуж всего полгода назад, мужчина, который клялся в преданности другой, причем близкой ее родственнице, даже считал себя помолвленным, вся семья, обе семьи связаны столькими узами, так близки и дружны!.. Смешение всякого рода вины тут слишком чудовищно, слишком бесстыдно переплетенье всевозможного зла, ведь на такое могут быть способны разве что натуры до крайности жестокие!.. И однако рассудок говорил ей, что все так и есть. Непостоянство Крофорда в любви, неотделимое от его суетности, явная влюбленность в него Марии и недостаточно твердые убеждения у обоих делали это возможным... и письмо мисс Крофорд служило тому подтверждением.

Каковы будут последствия? Кого только это не затронет! Чьи только намерения не изменит! Чей покой не нарушит раз и навсегда! Мисс Крофорд и Эдмунда... нет, на эту зыбкую почву ступать опасно. Фанни ограничилась, верней, попыталась ограничиться мыслями о безусловном и несомненном горе всей семьи, которое, если вина и вправду подтверждена и стала всеобщим достоянием, ощутят все до единого. Страдания матери, отца... Тут она задержалась мыслью. Джулии, Тома, Эдмунда... Тут еще долее она задержалась мыслью. Для них двоих это будет всего ужасней. Так велики отцовское рвение сэра Томаса и его чувство благопристойности и чести, доверчивость и подлинная сила чувства Эдмунда, его непреклонная честность, что при таком позоре как бы они не лишились разума и самой жизни; и ей показалось, что если думать лишь о том, что ждет их в земной юдоли, то для каждого, кто в родстве с миссис Рашуот, величайшим благом была бы мгновенная смерть.

Миновал день, за ним другой, но ничто не умаляло Фаннины страхи. Почта не принесла никакого опроверженья, ни публичного, ни частного. Не было второго письма от мисс Крофорд, которое объяснило бы первое; не было вестей и из Мэнсфилда, хотя тетушке давно уже пора написать. То был дурной знак. У Фанни едва ли осталась хотя бы тень надежды, которая ее успокоила бы, и она, глубоко удрученная, так трепетала, так стала бледна, что любая не вовсе равнодушная мать, кроме миссис Прайс, непременно бы это заметила; но вот на третий день раздался пугающий стук в парадную дверь, и ей опять вручили письмо. На нем стоял лондонский штемпель, и оно было от Эдмунда. «Дорогая Фанни, тебе известно наше нынешнее злополучие. Да поможет тебе Господь перенести свою долю его. Мы здесь уже два дня, но ничего не можем поделать. О них ни слуху ни духу. Ты, верно, не знаешь о последнем ударе – о побеге Джулии; она сбежала в Шотландию с Йейтсом. Она покинула

Лондон за несколько часов до нашего приезда. В любое другое время это повергло бы нас в отчаяние. Теперь же это ничто, однако же серьезно отягчает наше положение. Отец, не сломлен. Трудно было на это надеяться. Он еще в силах думать и действовать; и я пишу по его просьбе, чтоб предложить тебе воротиться домой. Он очень этого желает ради маменьки. Я буду в Портсмуте на другое утро после того, как ты получишь это письмо, и надеюсь, ты будешь готова отправиться в Мэнсфилд. Отец хочет, чтоб ты пригласила с собою Сьюзен погостить у нас несколько месяцев. Уладь все по своему усмотрению; объясни, как сочтешь приличным; я уверен, ты почувствуешь всю меру его доброты, если он подумал об этом в такую минуту! Отдай должное его желанию, хотя, возможно, я выразил его не очень ясно. Думаю, ты отчасти представляешь мое теперешнее состояние. Беды обрушиваются на нас одна за другой. Я приеду ранним утром, почтовой каретою. Твой и прочее...»

Никогда еще Фанни так не нуждалась в душевной поддержке. И никогда еще ничто так не поддерживало ее, как это письмо. Завтра! Уехать из Портсмута завтра! Ей грозит, да, конечно, ей грозит величайшая опасность, ибо в пору, когда многие несчастны, она будет несказанно счастлива. Общая беда принесла ей такую радость! Страшно ей стало, неужто она окажется глуха к этой беде. Уехать так скоро, быть призванной так милостиво, быть призванной ради утешенья, и с позволением взять с собою Сьюзен, столько счастья сразу... На сердце у ней стало горячо, и на время боль отступила, она не в состоянии как должно разделить горе даже тех, кому сочувствует всего более. Побег Джулии не слишком ее огорчил; она изумилась и возмутилась, но это не затронуло глубоко ни чувств ее, ни мыслей. Ей пришлось велеть себе задуматься о нем и признать, что это ужасное, прискорбное событие, не то за всеми волнениями, спешкой, радостными заботами, которые нахлынули на нее, она и не вспомнила бы о нем. Ничто так не облегчает горести, как занятие, деятельное, неотложное занятие. Занятие, даже печальное, может рассеять печаль, а Фаннины хлопоты исполнены были надежды. Ей столько предстояло работы, что даже чудовищный поступок миссис Рашуот (в котором теперь уже не оставалось ни малейших сомнений) не угнетал ее, как вначале. У ней не доставало времени чувствовать себя несчастной. Она надеялась, что не пройдет и суток, и она уедет; а до того надо поговорить с папенькой и маменькой, подготовить Сьюзен, собраться. Одно дело следовало за другим; день казался ей чересчур короток. Счастье, которым она оделяет и сестру, счастье, не слишком омраченное дурным известием, которое ей предстояло коротко сообщить родителям, их радостное согласие на поездку Сьюзен, общее удовольствие, с каким все, казалось, отнеслись к их совместному отъезду, и восторг самой Сьюзен – все это поддерживало ее настроение. Бедствие, которое постигло Бертрамов, на портсмутское семейство особого впечатления не произвело. Миссис Прайс несколько минут посокрушалась о своей бедняжке сестре... но во что сложить вещи Сьюзен – это занимало ее куда больше, ведь Ребекка унесла все сундуки и привела их в негодность, а что до Сьюзен, чье самое заветное желание так неожиданно сбылось, она не знала ни тех, кто согрешил, ни тех, кто страдал, но хотя бы не радовалась с утра до ночи, – можно ли ждать большего от добродетельной натуры в четырнадцать лет. Так как ничего, в сущности, не предоставили попечению миссис Прайс или заботам Ребекки, все делалось разумно, должным образом было завершено, и девицы были готовы к завтрашнему дню. Им бы хорошенько выспаться перед дорогою, но сон бежал от них. Кузен, который ехал за ними, чуть ли не полностью владел их взволнованными душами; одна была безмерно счастлива, другая в неопишемом смятенье. В восемь утра Эдмунд был у Прайсов. Девушки сверху слышали, как он вошел, и Фанни спустилась к нему. Мысль увидеть его тотчас же вместе с сознанием, что он, без сомненья, жестоко страдает, воскресили и ее прежние чувства. Он так близко от нее и несчастлив. Войдя в гостиную, она чуть не упала в обморок. Он был один, и



тотчас шагнул ей навстречу, и вот уже прижимает ее к груди, и она только может разобрать: «Фанни моя... единственная моя сестра... теперь единственное мое утешение». Она не могла вымолвить ни слова, несколько минут не мог более вымолвить ни слова и он. Он отвернулся, пытаясь овладеть собою, а когда заговорил снова, хотя голос его слегка дрожал, но по всему видно было, что он старается взять себя в руки и решил впредь избегать каких-либо упоминаний о случившемся. – Ты завтракала?.. Когда будешь готова?.. Сьюзен едет? – вопросы быстро следовали один за другим. Он всего более стремился как можно скорей уехать. Когда дело касается до Мэнсфилда, время всегда дорого; а на душе у него было таково, что ему легчало только в движении. Условились, что он велит подать карету к дверям через полчаса; Фанни должна была позаботиться, чтоб они позавтракали и были полностью готовы. Сам он уже поел и не захотел остаться и откусать с ними. Он пройдет у вала и будет здесь вместе с каретою. И Эдмунд опять ушел, он рад был скрыться ото всех, даже от Фанни. Он выглядел совсем больным; видно, его снедала тревога, которую он твердо решил от всех утаить. Фанни так и думала, но это ее ужасало. Карета прибыла, и в ту же минуту Эдмунд опять вошел в дом, как раз вовремя, чтобы провести несколько минут с семейством Прайс и присутствовать – ничего не видя и не замечая – при весьма спокойном расставании семейства с отъезжающими дочерьми, и как раз вовремя, чтоб помешать им сесть за завтрак, который на сей раз с помощью необычных стараний был совершенно и полностью готов, когда карета только отъехала от дверей. Последняя трапеза в родительском доме весьма походила на первую; Фанни была освобождена от нее столь же радушно, как тогда приглашена к столу. Легко представить, какая радость и благодарность переполняли сердце Фанни, когда карета миновала городскую заставу, как сияло неудержимой улыбкой лицо Сьюзен. Однако сидела она впереди, и за полями капора улыбка была не видна. Поездка обещала быть молчаливой. Слуха Фанни часто достигали тяжкие вздохи Эдмунда. Будь они вдвоем, он, несмотря на все свои решения, открыл бы ей сердце, но присутствие Сьюзен вынуждало его замкнуться, а когда он попытался поговорить о материях безразличных, такой разговор быстро угас. Фанни не спускала с него озабоченных глаз, и, встретясь порою с ней взглядом, он ласково ей улыбался, и это утешало ее; но в первый день поездки она не услышала от него ни слова о том, что его угнетало. Следующее утро кое-что ей принесло. Перед тем как им отправиться из Оксфорда, пока Сьюзен, прильнув к окну, жадно следила за многочисленным семейством, покидающим гостиницу, Эдмунд и Фанни стояли у камина; и Эдмунд, пораженный переменою, происшедшей в ее наружности, и не зная, какие испытания каждый день выпадали на ее долю в отцовском доме, приписал чрезмерно большую долю этой перемены, даже всю перемену недавним событиям и, взяв ее за руку, сказал негромко, но с глубоким чувством: – Что ж тут удивляться... тебе больно... ты страдаешь. Как можно было, уже полюбив, тебя покинуть! Но твоя... твоя привязанность совсем недавняя по сравнению с моей... Фанни, подумай, каково мне! Первая часть путешествия заняла долгий, долгий день, и до Оксфорда они добрались почти без сил; но на завтра они провели в дороге гораздо меньше времени. Они были в окрестностях Мэнсфилда задолго до обеденного часа: и когда приближались к заветному месту, у обеих сестер даже замерло сердце. Фанни стала страшиться встречи с тетушками и с Томом при столь унижительных для всех обстоятельствах; а Сьюзен не без тревоги думала, что все ее хорошие манеры, все недавно приобретенные знания о том, как принято вести себя в Мэнсфилде, надо будет вот-вот пустить в ход. Призраки хорошего и дурного воспитания, речей привычно грубых и новоприобретенных учтивостей маячили перед нею; и на уме у ней были серебряные вилки, салфетки и чаши для ополаскивания пальцев. Фанни по всему пути замечала, как все переменялось по сравнению с февралем; но когда они въехали в мэнсфилдские владения, все

ее ощущения, ее радость стали еще острее. Прошло три месяца, полных три месяца с тех пор, как она покинула эти милые ей места; и на смену зиме шло лето. Куда ни глянь зеленели поля и лужайки, а деревья, хотя еще не сплошь в листве, вступили в ту восхитительную пору, когда знаешь, что они вот-вот станут еще краше, когда, уже и так радуя взор, они сулят воображению еще много прелести. Однако радовалась она в одиночестве. Эдмунд не мог разделить с нею ее довольство. Фанни взглянула на него, но он сидел, откинувшись назад, погруженный в глубокую, как никогда, печаль, и глаза его были закрыты, словно веселые картины удручали его и он не хотел видеть очарования родных мест. Ее опять охватила печаль, а от мысли, как тяжело приходится сейчас тем, кто в доме, сам дом, современный, просторный и прекрасно расположенный, тоже показался ей печальным. Одна из тех, кто страдал сейчас там, ждала их с таким нетерпением, какого никогда прежде не знала. Не успела Фанни пройти мимо стоящих с горестным видом слуг, как из гостиной навстречу ей вышла леди Бертрам, вышла шагом отнюдь не ленивым и припала к ее груди со словами:

– Фанни, дорогая! Теперь мне станет спокойнее.

Все трое, остававшиеся в Мэнсфилд-парке, были несчастны, и каждый самым несчастным считал себя. Однако тетушка Норрис, привязанная к Марии как никто другой, поистине страдала более других. Мария была ее любимица, была ей всех дороже; брак племянницы, который, как она с гордостью чувствовала и о чем с такой гордостью говаривала, был делом ее рук, и неожиданная развязка совсем ее сразила.

Ее будто подменили, – притихшая, отупевшая от горя, ко всему теперь равнодушная, она стала неузнаваема. На ее попечении оставались сестра и племянник и весь дом, но она никак не воспользовалась этим, была не в силах ни править, ни распоряжаться, ни хотя бы воображать себя всеобщей опорой. Когда ее и вправду коснулась беда, ее деятельная натура оцепенела, и ни леди Бертрам, ни племянник не находили в ней ни малейшей поддержки, да она и не пыталась их поддержать. Она помогла им не больше, чем они друг другу. Каждый был равно одинок, беспомощен и заброшен; и теперь приезд Эдмунда, Фанни и Сьюзен лишний раз подтвердил, что ей приходится хуже всех. Остальным двум полегчало, но ей ничто не приносило облегчения. Эдмунд почти так же обрадовал своим приездом брата, как Фанни – леди Бертрам, а тетушка Норрис, вместо того чтоб с их прибытием поуспокоиться, при виде той, кого она, ослепленная гневом, почитала виновницею несчастья, только пуще разгневалась. Прими Фанни предложение мистера Крофорда, и не случилось бы этого несчастья.

Сьюзен тоже вызвала у ней неудовольствие. Она даже замечать ее не желала, только раза два посмотрела на племянницу с отвращением, но сочла ее шпионкой, втирушей, нищенкой и еще того хуже. Другая же тетушка приняла Сьюзен с тихой добротой. Леди Бертрам не могла уделить девочке много времени или много слов, но приняла ее как сестру Фанни, которая тем самым в праве гостить в Мэнсфилде, и готова была и приласкать ее и полюбить; а Сьюзен этому от души радовалась, ведь она загодя знала, что от тетушки Норрис не дождешься ничего, кроме дурного настроения; ее переполняло счастье, она блаженно сознавала, что избегла многих зол, и оттого легко примирилась бы с куда большим равнодушием, чем то, с каким ее встретили прочие домочадцы.

Она теперь много времени была предоставлена самой себе и могла сколько угодно знакомиться с домом, с парком и садом, и дни ее проходили очень счастливо, а те, кто при других обстоятельствах уделили бы ей внимание, запирались в четырех стенах или поглощены были каждый тем из домочадцев, кого он один и мог хоть немного утешить в эту трудную пору; Эдмунд, пренебрегая собственными чувствами, старался облегчить душевные муки брата, а Фанни, преданная тетушке Бертрам, вернулась к своим прежним обязанностям, только с еще большим рвением и с мыслью, что никогда она не сможет довольно помочь той, которой ее так недоставало.

Разговаривать с Фанни о постигшем семью ужасе, разговаривать и горько жаловаться – только это и утешало леди Бертрам. Терпеливо выслушивать ее и отвечать с добротой и сочувствием – вот и все, что можно было для нее сделать. Ничто другое не могло ее успокоить. Случившееся не давало покою. Леди Бертрам не отличалась глубокомыслием, но, направляемая сэром Томасом, она обо всех серьезных событиях судила верно; и потому понимала всю чудовищность того, что произошло, и не старалась сама и не ждала, чтобы Фанни стала ее уговаривать преуменьшить вину и бесчестье.

Леди Бертрам не умела любить горячо, не умела и подолгу задумываться об одном и том же. Несколько времени спустя Фанни почувствовала, что, пожалуй, уже можно отвлечь ее и

пробудить кой-какой интерес к обычным занятиям; но всякий раз, как леди Бертрам вновь возвращалась к случившемуся, она видела его лишь в одном свете: потеряна дочь, и позор никогда не будет смыт.

Фанни узнала от нее все подробности, которые прежде еще не всплыли наружу. Тетушка рассказывала не очень связно, однако с помощью писем к сэру Томасу и от него, да при том, что ей было уже известно и удалось разумно сопоставить, Фанни вскоре поняла все, что хотела, об обстоятельствах, которые сопутствовали случившемуся.

На Пасху миссис Рашуот вместе с семейством, с которым в последнее время коротко сошлась, уехала в Туикенем, – семейство отличалось живыми, приятными манерами и, вероятно, подходящим для нее нравом и свободомыслием, потому что именно в их дом мистеру Крофорду открыт был доступ в любое время. О том, что он жил по соседству, Фанни уже знала. В эту самую пору мистер Рашуот отправился в Бат, желая провести там несколько дней со своей матерью, а потом привезти ее в Лондон, и Мария, находясь у этих своих друзей, не была ничем связана, даже присутствием Джулии, которая недели за три до того покинула дом сестры и переехала к неким родственникам сэра Томаса; родители теперь полагали, что переезд был затеян ради большего удобства для встреч с мистером Йейтсом. Вскоро же после того, как Рашуоты воротились на Уимпол-стрит, сэр Томас получил письмо из Лондона от старого и весьма близкого друга; тот, наслушавшись и навидавшись довольно, чтоб встревожиться, советовал ему самому приехать в Лондон и, употребив свое влияние на дочь, положить конец, чрезмерной близости, из-за которой она уже удостоивается нелестных замечаний, а мистер Рашуот явно обеспокоен.

Сэр Томас уже готовился последовать совету друга, никому в Мэнсфилде не сообщая содержания его письма, но тут в новом письме с нарочным друг извещал, что молодые супруги на грани разрыва. Миссис Рашуот покинула дом мужа, мистер Рашуот, в сильнейшем гневе и отчаянии, обратился к нему, мистеру Хардингу, за советом; по мнению мистера Хардинга, речь идет по меньшей мере о совершенной сгоряча нескромности. Служанка миссис Рашуот-старшей грозит разоблачениями. Он делает все, что в его силах, чтобы унять страсти, в надежде на возвращение миссис Рашуот под супружеский кров, но ему так непримиримо противостоит своим влиянием мать мистера Рашуота, что следует опасаться наихудших последствий.

Невозможно было утаить это ужасающее сообщение от остальных членов семьи. Сэр Томас уехал, Эдмунд его сопровождал; оставшиеся погрузились в отчаяние, которое еще усиливалось с каждым следующим письмом из Лондона. К этому времени все уже стало достоянием злых языков. У горничной миссис Рашуот-старшей было что предать огласке, и, поддерживаемую хозяйкой, ее не удавалось заставить замолчать. Жена и мать мистера Рашуота даже за то короткое время, что они провели под одной крышей, успели рассориться; старшая ожесточилась против невестки, вероятно, столько же из-за оказанного ей неуважения, сколько от обиды за сына.

Так или иначе она оставалась непримирима. Но даже не будь она так несговорчива или не имей такого влияния на сына, который всегда слушался того, кто говорил с ним последний, того, кто мог подчинить его или заставить замолчать, все равно надеяться было бы не на что, ибо миссис Рашуот-младшая не появлялась, и были все основания полагать, что она скрывается где-то вместе с мистером Крофордом, каковой покинул дом дяди, якобы отправившись путешествовать, в тот самый день, когда исчезла она.

Сэр Томас, однако, еще несколько времени прожил в Лондоне, надеясь разыскать дочь и удержать от худшего падения, хотя она и так уже непоправимо себя опозорила.

Каково ему-то сейчас приходится, самая эта мысль была для Фанни мучительна. Лишь

один из всех его детей не доставлял ему теперь страданий.

Болезнь Тома, потрясенного поведением сестры, сильно обострилась, и его состояние опять стало настолько хуже, что даже леди Бертрам была испугана переменю в нем и обо всех своих страхах исправно писала мужу; а побег Джулии, еще один удар, который обрушился на него по приезде в Лондон, хотя он и не ощутил его в тот час со всей остротою, конечно же, причинил ему немалую боль. Фанни понимала это. Видела по письмам дяди, как ему это горько. Союз с Йейтсом был бы нежелателен при любых обстоятельствах, но оттого что он был заключен в такой тайне, и такое неподходящее для этого было выбрано время, чувства Джулии предстали в самом невыгодном свете, и тем безрассудней выглядел ее выбор. Сэр Томас назвал это дурным поступком, совершенным наихудшим образом в наихудшее время; и хотя Джулию можно было простить скорей, чем Марию, так же как безрассудство простительней, чем порок, он не мог не заключить, что сделанный ею шаг дает основания ждать от нее в дальнейшем, как от ее сестры, самого худшего. Таково было его мнение о пути, на который она ступила.

Фанни глубоко ему сочувствовала. Ни в ком, кроме Эдмунда, не находил он теперь утешения. Каждый из остальных его детей разрывал ему сердце. Она верила, что ее он судит иначе, чем тетушка Норрис, и его недовольство ею теперь пройдет. Она-то будет оправдана в его глазах. Мистер Крофорд вполне извинил бы ей отказ, вот что для нее самой было всего существенней, но сэра Томаса это не слишком утешало. Ее жестоко мучило дядюшкино недовольство, но что ему ее оправдание, благодарность ее и привязанность? Единственной его опорой остается Эдмунд.

Фанни, однако, ошибалась, думая, что за Эдмунда у отца сейчас сердце не болит. Боль была куда менее мучительного свойства, чем из-за остальных; но, по мнению сэра Томаса, оскорбление, нанесенное сестрой и другом, сделало сына несчастным, ибо не могло не оторвать от женщины, которой он добивался, к которой, без сомнения, питал привязанность и имел серьезные основания рассчитывать на успех и которая, если б не ее презренный брат, была бы для него весьма подходящей партией. Сэр Томас сознавал, как, когда они были в Лондоне, Эдмунд, должно быть, страдал и сам, а не только за других; он видел или догадывался, что тот чувствовал, и, не без оснований полагая, что одна встреча с мисс Крофорд состоялась, отчего сыну стало только еще тяжелей, стремился, по этой и по другим причинам, отправить его из Лондона; поручая ему доставить Фанни к тетушке, сэр Томас заботился о его благе и душевном спокойствии не меньше, чем о них обеих. Для Фанни чувства дядюшки не были тайной, как не был тайной для него нрав мисс Крофорд. Знай он, что за разговор состоялся у ней с Эдмундом, он не пожелал бы, чтоб она стала женою сына, будь у ней хоть сорок тысяч, а не двадцать.

Фанни не сомневалась, что отныне Эдмунд навсегда разъединен с мисс Крофорд; и однако, пока она не узнала, что именно таковы его чувства, своей убежденности ей было недостаточно. Так она думала, но хотела быть в этом уверена. Если б теперь он заговорил с нею, не таясь, что прежде подчас бывало ей нелегко, это утешило бы ее, как ничто другое; но казалось, этому не бывать. Фанни редко его видела, и никогда с глазу на глаз; он, верно, избегал оставаться с нею наедине. Что бы это значило? Видно, он решил покориться собственной горькой доле в несчастье, постигшем семью, но было это ему слишком больно и потому довериться кому-либо ему сейчас не под силу. Вот как, должно быть, сейчас у него на душе. Он покорился, но с такими муками, что не в состоянии разговаривать. Пройдет много, много времени прежде, чем он сумеет вновь произнести имя мисс Крофорд или у Фанни появится надежда, что между нею и Эдмундом вновь возникнет былая близость и доверие.

Времени и вправду прошло много. Они приехали в Мэнсфилд в четверг, и только воскресным вечером Эдмунд заговорил с нею о случившемся. Они сидели вдвоем в тот воскресный вечер – сырой воскресный вечер, самое подходящее время, чтобы открыть сердце другу, если друг рядом, и все рассказать... В комнате только еще мать, но она, растрогавшись от увещеваний, наплакалась и уснула... Не заговорить невозможно; итак, по своему обыкновению не вдруг, даже не уследишь, с чего он начал, по обыкновению с оговоркой, что, если она согласна послушать его несколько минут, он будет очень краток и, конечно, более никогда не злоупотребит ее терпением... пусть не опасается повторения... он более никогда не заикнется об этом... Эдмунд позволил себе роскошь поведать той, в чьем нежном сочувствии был совершенно уверен, обо всем, что произошло и каковы его чувства.

Можно представить, как Фанни слушала, с каким интересом и вниманием, с какою болью и восторгом, как следила за его взволнованным голосом, как старательно переводила взгляд с одного предмета на другой, только бы не смотреть на Эдмунда. Начало ее встревожило. Он виделся с мисс Крофорд. Он был приглашен повидаться с нею. Он получил записку от леди Сторнуэй, в которой она просила его прийти; и поняв это как последнюю встречу, последнее дружеское свидание, и наделив сестру Крофорда всеми чувствами, которые должна бы она испытывать за брата, и стыдом, и горем, он пошел к ней в таком состоянии духа, такой размягченный, такой преданный, что в какую-то минуту Фанни со страхом подумала – нет, не может эта встреча быть последней. Но Эдмунд продолжал рассказ, и страхи ее рассеялись. Мисс Крофорд встретила его серьезная, подлинно серьезная, даже взволнованная, но не успел он вымолвить хотя бы несколько связных слов, как она заговорила о случившемся в такой манере, которая, он должен признаться, ошеломила его: «Мне сказали, что вы в Лондоне, – сказала она, – и я решила с вами повидаться. Давайте обсудим эту печальную историю. Что может сравниться с безрассудством наших двух родственников?»

Я не мог отвечать, но, думаю, все было ясно по моему лицу. Она почувствовала себя виноватой. Как она порою чутка! Она опечалилась и уже печально прибавила:

«Я совсем не собираюсь защищать Генри и обвинять вашу сестру». Так она начала... но что она говорила дальше, Фанни... это невозможно, едва ли возможно повторить тебе. Всех ее слов я не припомню, а если бы и помнил, постарался бы забыть. Смысл их сводился к тому, что она возмущалась безрассудством их обоих. Она осуждала безрассудство брата – зачем, поддавшись женщине, которую никогда не любил, сделал шаг, навсегда лишивший его той, которую обожает; но еще более того осуждала безрассудство... бедняжки Марии, которая пожертвовала таким прекрасным положением, обрекла себя на такие сложности, думая, будто любима человеком, который давно уже ясно показал, сколь к ней равнодушен. Подумай только, что я при этом испытывал. Слушать женщину, у которой не нашлось более сурового слова, как безрассудство!.. Самой заговорить об этом так свободно, так хладнокровно!.. Без принуждения, без ужаса, без свойственного женской скромности отвращения!.. Вот оно, влияние света. Ведь разве найдется еще женщина, которую природа одарила так щедро?.. Ее развратили, развратили!..

После недолгого раздумья Эдмунд продолжал с каким-то спокойствием отчаяния:

– Я расскажу тебе все и больше никогда к этому не вернусь. Она видела в этом только безрассудство, и безрассудство, заклеятое только оглаской. Какое отсутствие обыкновенной осмотрительности, осторожности... Он поехал в Ричмонд на все время, пока она гостила в Туикенеме... Она отдала себя во власть служанки. Короче говоря, беда в том, что они не сумели сохранить тайну... Фанни, Фанни, не грех она осуждала, но неумение сохранить его в тайне. Неосторожность, вот что довело их до крайности и вынудило ее

брата расстаться с дорогой его сердцу надеждой ради того, чтобы бежать с миссис Рашуот.

Эдмунд умолк.

– И что... что же ты на это сказал? – спросила Фанни, думая, что он ждет от нее хоть слова.

– Ничего, ничего вразумительного. Я был словно оглушенный. Она продолжала, заговорила о тебе... да, заговорила о тебе, сожалела, сколько могла, что потеряна такая... О тебе она говорила вполне разумно. Но она ведь всегда отдавала тебе должное. «Он упустил такую девушку, какой никогда больше не встретит, – сказала она. – При Фанни он бы остепенился, она составила бы его счастье». Фанни, дорогая, надеюсь, этим обращением к прошедшему, к тому, что могло бы быть, но уже никогда не будет, я не столько причиняю тебе боль, сколько доставляю удовольствие. Ты ведь не хочешь, чтоб я молчал?.. А если хочешь, только взгляни, скажи одно только слово, этого будет довольно.

Ни взгляда, ни слова не последовало.

– Слава Богу! – сказал Эдмунд. – Все мы склонны были дивиться... но, похоже, Провидение оказалось милостиво, и сердце, не умеющее лукавить, не будет страдать. Она отзывалась о тебе с самой лестной похвалою и искренней нежностью. Но даже и здесь примешалось дурное, среди таких добрых речей она вдруг перебила себя на полуслове и воскликнула: «Зачем она его отвергла? Это она во всем виновата. Простушка! Я никогда ее не прощу. Отнесись она к нему как должно, и сейчас не за горами бы уже была их свадьба, и Генри был бы слишком счастлив и слишком занят и ни на кого другого не поглядел бы. Он бы и пальцем не шевельнул, чтоб восстановить отношения с миссис Рашуот, разве что немного пофлиртовал бы, да и раз в год они встретились бы в Созертоне и Эверингеме». Ты могла бы такое представить? Но чары разрушены. Я прозрел.

– Как это жестоко! – сказала Фанни. – Да, жестоко! В такую минуту позволить себе шутить и разговаривать весело, и с кем – с тобою! Она просто жестока.

– По-твоему, это жестокость?.. Не согласен. Нет, по натуре она не жестокая. Не думаю, чтоб она хотела ранить мои чувства. Зло коренится глубже: она не знает таких чувств, даже не подозревает об их существовании, зло в испорченности души, для которой естественно отнестись к случившемуся так, как отнеслась она. Она всего лишь разговаривала так же, как другие, кого ей постоянно приходилось слышать, и воображала, будто так рассуждают все. Тут повинен не нрав. По своей охоте она бы никому не причинила напрасной боли, и, возможно, я обманываю себя, но думаю, что меня, мои чувства она бы пощадила... Тут повинно убеждение, Фанни, притупленная деликатность и испорченный, развращенный ум. Возможно, для меня так лучше... ведь мне слишком мало о чем остается жалеть. Но нет, неправда. Теряя ее, я рад бы страдать во много раз сильнее, чем думать о ней так, как вынужден думать сейчас. Я сказал ей это.

– Неужто?

– Да, сказал ей на прощанье.

– Ты долго у нее пробыл?

– Двадцать пять минут. А она продолжала говорить, что теперь остается только одно – постараться, чтоб они поженились. Да с такой твердостью в голосе, не чета мне. – Сам Эдмунд, рассказывая, не раз замолкал, голос изменял ему. «Мы должны уговорить Генри жениться на ней, – говорила она, – в нем сильно чувство чести, и притом он уверен, что Фанни потеряна для него навсегда, и потому у меня еще есть надежда на этот брак. Даже он едва ли может надеяться теперь завоевать девушку Фанниного склада, и оттого, надеюсь, мы сумеем настоять на своем. Я употреблю для этого все мое влияние, а оно немалое. И когда они поженятся и миссис Рашуот станет должным образом поддерживать ее семья, люди

вполне уважаемые, ей, возможно, удастся хотя бы отчасти восстановить свое положение в свете. В иных кругах ее, разумеется, уже никогда не будут принимать, но, если она станет задавать пышные обеды и устраивать большие приемы, всегда найдутся люди, кто будет рад водить с нею знакомство. Нынче на такие дела, без сомнения, смотрят беспристрастней и свободней, чем прежде. Мой совет – пусть ваш отец не подымает шуму. Пусть не вмешивается, от этого будет один вред. Уговорите его, пусть предоставит всему идти своим чередом. Если он будет настаивать, чтоб она покинула Генри, и она послушается, едва ли Генри на ней женится, на это куда больше надежды, если она останется под его защитой. Я знаю, как верней повлиять на Генри. Пусть сэр Томас доверится его чувству чести и сострадания, и все кончится хорошо. Но если он заберет дочь, это выбьет у нас из рук главный козырь».

Пересказывая все это, Эдмунд пришел в такое волнение, что Фанни, которая следила за ним с молчаливым, но самым нежным участием, была уже не рада, что он решил с нею поделиться. Не сразу сумел он снова заговорить.

– Ну вот, Фанни, скоро я кончу, – сказал он. – Я передал тебе самую суть ее речей. Как только я смог заговорить, я отвечал, что, придя в этот дом с тяжелым сердцем, никак не думал столкнуться здесь с чем-то, о чем буду страдать еще сильнее, но едва ли не каждое ее слово наносило мне новую более глубокую рану. Я сказал, что хотя за время нашего знакомства я нередко ощущал разницу во мнениях, и притом в случаях немаловажных, но и помыслить не мог, будто разница столь огромна, как выяснилось сейчас. Что то, как она отнеслась к преступному шагу, совершенному ее братом и моей сестрой (кто из них более повинен в обольщении, я предпочел не говорить)... то, как она рассматривала самый этот преступный шаг, осуждая его за что угодно, только не за то, за что следовало, рассматривала его дурные последствия лишь с одной точки зрения – как бы встретить их, не страшась, и осилить, бросив вызов приличиям и глубже погрязнув в бесстыдстве; и самое последнее, самое важное, то, что она советовала нам быть уступчивыми, пойти на сделку с совестью, потворствовать дальнейшему греху в расчете на брак, которому, думая о ее брате, как я думаю о нем теперь, надо не содействовать, а помешать, – все это вместе самым горьким образом убедило меня, что прежде я совсем ее не понимал и ее душа, какою она мне представлялась, лишь плод моего воображения, она вовсе не та мисс Крофорд, к которой я так был расположен и многие месяцы не мог на нее налюбоваться. И что для меня так, наверно, лучше: мне придется меньше жалеть, что я жертвую дружбою... своими чувствами... надеждами, которые все равно неизбежно у меня бы отняли. И однако, должен признаться, – если бы, если бы я и впредь мог видеть ее такою, какою она казалась мне прежде, я без колебаний согласился бы, чтоб куда нестерпимей стала боль разлуки, лишь бы осталось у меня право сохранить нежность и уважение к ней. Так я ей сказал, – такова была суть – но, сама понимаешь, не так спокойно и последовательно, как передал тебе. Она удивилась, очень удивилась, даже более того. Я видел, она переменилась в лице. Вся залилась краской. Мне кажется, я видел, какие смешанные чувства она испытывала – сильная, хоть и недолгая внутренняя борьба, отчасти желание согласиться с правдою... отчасти стыд... но привычка, привычка одержала верх. Дай она себе волю, она б рассмеялась. И почти со смехом она ответила: «Ну и поученье, скажу я вам. Это что же, часть вашей последней проповеди? Таким манером вы быстренько обратите на путь истинный всех в Мэнсфилде и Торнтон Лейси. И в следующий раз, когда я услышу ваше имя, это, верно, будет имя знаменитого проповедника из какого-нибудь известного методистского общества либо миссионера в чужих краях». Она старалась говорить беззаботно, но вовсе не была так беззаботна, какою хотела казаться. В ответ я только и сказал, что от души желаю ей добра и горячо надеюсь,



что она скоро научится судить более справедливо и что драгоценнейшим знанием, какое нам дано, – знанием самой себя и своего долга – она будет обязана не слишком жестокому уроку судьбы, и тотчас же вышел из комнаты. Я сделал несколько шагов, Фанни, и тут услышал, что дверь у меня за спиною отворилась. «Мистер Бертрам», – сказала она. Я оборотился. "Мистер Бертрам, – сказала она с улыбкою... но улыбка эта плохо вязалась с только что закончившимся разговором, была она беззаботная, игривая, она будто звала, чтоб смирить меня; по крайности, так мне показалось. Я устоял – таково было побуждение в ту минуту – и пошел прочь. С тех пор... иногда... в иной миг... я жалел, что не воротился. Но конечно же, поступил я правильно. И на том окончилось наше знакомство! И какое же это было знакомство! Как я обманулся! Равно обманулся и в брате и в сестре! Благодарю тебя, Фанни, за долготерпенье. Мне очень, очень полегчало, и теперь хватит об этом.

И Фанни, привыкшая беззаветно верить каждому его слову, несколько минут думала, что с разговором этим и вправду покончено. Однако опять началось все то же или что-то очень сходное, и по-настоящему конец наступил лишь тогда, когда леди Бертрам совсем очнулась от сна. А до этой минуты они все говорили об одной только мисс Крофорд, о том, как она его обворожила, и какой прелестной создала ее природа, и каким она была бы чудом, если бы пораньше попала в хорошие руки. Фанни, которая теперь была вправе говорить откровенно, чувствовала, что непременно должна прибавить ему знания об истинной натуре мисс Крофорд, хотя бы намекнуть, что пожелала она полностью с ним примириться, по-видимому, не без мысли о том, как серьезно болен его брат. Услышать это было не очень-то приятно. Поначалу все существо Эдмунда возмутилось. Ему было бы куда милей, если б привязанность мисс Крофорд оказалась бескорыстней; но его тщеславие недолго противилось рассудку. Пришлось признать, что болезнь Тома и вправду повлияла на нее; утешала только мысль, что, хоть и воспитанная в совсем иных понятиях, она была, однако же, расположена к нему более, чем можно было ожидать, и ради него порою поступала ближе к тому, как бы следовало. Фанни думала в точности так же; они совершенно сошлись и во мнении о том, что разочарование Эдмунда никогда не забудется, оставит в его душе неизгладимый след. Время, без сомненья, несколько умерит его страдания, но вполне ему никогда их не побороть; а что до того, чтоб когда-нибудь ему встретить женщину, которая бы... Нет, об этом без возмущенья и помыслить невозможно. Ему остается лишь единственное утешение – дружба Фанни.

Пусть другие авторы подробно останавливаются на прегрешениях и несчастье. Я как можно скорей распрошусь с этими ненавистными материями, мне не терпится вернуть толику покоя каждому, кто сам не слишком повинен в произошедшем, и покончить со всем прочим.

Мне отраднo знать, что в это самое время милая моя Фанни, несмотря ни на что, была, наверно, счастлива. Несмотря на то, что она чувствовала или думала, что чувствует из-за горя окружающих, была она счастливницей. Кое-какие источники радости наконец стали ей доступны. Ее вернули в Мэнсфилд-парк, она нужна, ее любят; она избавлена от мистера Крофорда, а когда воротился сэр Томас, он, столь многим опечаленный, однако же, всем своим обращением доказал ей, что вполне одобряет ее и ценит больше прежнего; и, счастливая всем этим, она и без того была бы счастлива, потому что Эдмунд не заблуждался более касательно мисс Крофорд.

Правда, сам Эдмунд отнюдь не был счастлив. Он страдал от разочарования и сожаленья, горевал о прошлом и желал невозможного. Фанни это знала и огорчалась, но огорчение так покоилось на удовольствии, так склонно было смягчиться и так согласно было с самыми дорогими ее сердцу чувствами, что едва ли не всякий пожелал бы променять на него самое бурное веселье.

Сэру Томасу, злополучному сэру Томасу, отцу семейства, да притом сознающему, сколько ошибок он совершил как отец семейства, предстояло страдать дольше всех. Он понимал, что не должен был разрешать этот брак, что он достаточно ясно представлял себе чувства дочери, чтобы почитать себя виноватым за свое согласие, что, давая это согласие, он истинность принес в жертву практичности, и побуждали его к этому самолюбие и житейские соображения. Чтобы эти размышления утратили остроту, требовалось время; но чего только не сделает время, и, хотя от миссис Рашуот, принесшей такое несчастье, какого уж было ждать утешения, в других своих детях сэр Томас утешился более, чем ожидал. Союз Джулии оказался не таким уж огорчительным, как он полагал вначале. Она вела себя почтительно и искала прощения, а мистер Йейтс, жаждущий быть по-настоящему принятым в семействе Бертрам, на главу семейства смотрел снизу вверх и прислушивался к его мнениям. Был он человек не слишком почтенный, но можно было надеяться, что станет не таким уж никчемным, превратится в тихого и скромного семьянина; и во всяком случае, утешительно было, что его имение оказалось даже больше, а долги много меньше, чем опасался сэр Томас, и что он советовался с тестем и обращался с ним почтительно, как с добрым старым другом. Приносил отцу утешение и Том, к нему понемногу возвращалось здоровье, но не возвращались прежние его привычки, плоды ветрености и себялюбия. Болезнь сделала его лучше. Он изведal страдание и научился думать – два незнакомых ему дотолe преимущества; вдобавок прискорбное событие на Уимпол-стрит, к которому он чувствовал себя причастным из-за опасной близости, какую породил его не имеющий оправданий театр, пробудило угрызения совести, да притом ему уже минуло двадцать шесть лет и довольно было ума, добрых товарищей – и все это вместе взятое привело к прочным и счастливым переменам в его душе. Он стал тем, чем надлежало быть, – помощником отцу, уравновешенным и надежным, и жил теперь не только ради собственного удовольствия.

Вот оно, истинное утешение! И как раз тогда, когда сэр Томас уже мог черпать из этих источников душевного благополучия, Эдмунд еще прибавил отцу спокойствия, ибо произошла перемена к лучшему в том единственном, чем он тоже заставлял страдать отцовское сердце, – переменилось к лучшему его настроение. Все лето напролет он вечерами

бродил и сидел с Фанни в аллеях парка и настолько излил душу и покорился случившемуся, что опять повеселел.

Таковы были обстоятельства и надежды, которые мало-помалу успокоили сэра Томаса, притупили ощущение утраты и отчасти примирили его с собою; хотя никогда окончательно не отпустит боль от сознания ошибок, какие совершил он, воспитывая дочерей.

Слишком поздно он понял, как неблагоприятно для каждой юной души, когда с ней обходятся так по-разному, как обходились с Марией и Джулией он сам и их тетушка, что его суровости неизменно противоречила ее чрезмерная снисходительность и похвалы. Теперь он понимал, как неверно судил, надеясь уничтожить дурное влияние тетушки Норрис своим противодействием, ясно понимал, что лишь усугублял зло, приучая дочерей подавлять свой нрав в его присутствии, из-за чего от него оставались скрыты их истинные наклонности – и этим он сам заставлял их искать снисхожденья своим слабостям у той, которая тем лишь была им мила, что любила их слепо и хвалила без меры.

Да, он жестоко заблуждался; но, как ни тяжка его ошибка, постепенно он стал понимать, что не она оказалась всего страшнее в воспитании дочерей. Чего-то недоставало в них самих, иначе дурные последствия ее со временем сгладились бы. Он боялся, что недоставало нравственного начала, деятельного нравственного начала, никогда их должным образом не учили подчинять свои склонности и побуждения единственно необходимому, важнейшему чувству – чувству долга. Их религиозное воспитание было умозрительным, и никогда с них не спрашивали, чтоб они воплощали его в своей повседневной жизни. Удостоиться похвалы за изящество и всевозможные таланты – вот к чему они стремились со всеобщего одобрения, но это никак не способствовало их нравственному совершенствованию, не влияло на душу. Он хотел, чтоб они выросли хорошими, но пекся о разуме и умении себя вести, а не о натуре; и, пожалуй, никогда ни от кого не слышали они о необходимости самоотречения и смирения, что послужило бы к их благу.

Горько сожалел он об упущении, которое теперь едва ли можно было восполнить. Тяжко ему было, что при всех затратах и заботах старательного и дорогостоящего воспитания дочерей он вырастил их, не дав им понятия об их первейших обязанностях, не узнав их натуру и нрав.

Решительность и пылкость Марии особенно стали ему известны лишь тогда, когда привели к столь печальному исходу. Так и не удалось уговорить ее разлучиться с мистером Крофордом. Она надеялась с ним обвенчаться и не покидала его, пока не убедилась, что надеется напрасно, а разочарование и несчастье так дурно сказались на ее нраве и чувство ее стало так сродни ненависти, что несколько времени они были сущим наказанием друг для друга, и в конце концов сами порешили расстаться.

Миссис Рашуот медлила с разлукой, пока не дождалась от него упреков, что она лишила его надежды найти счастье с Фанни, и, уезжая, не имела другого утешения, кроме уверенности, что и вправду их разъединила. Может ли что-нибудь сравниться со страданиями подобной души в подобном положении?

Мистер Рашуот без труда получил развод; таким образом, пришел конец браку, заключенному при обстоятельствах, которые не позволяли рассчитывать на успех, на лучший исход. Миссис Рашуот презирала мужа и любила другого, а он прекрасно об этом знал. Обидам тупоумия и разочарования эгоистической страсти трудно сочувствовать. Он был наказан за свое поведение, а жена за большую вину была и наказана больше. Ему, освобожденному от этого союза, суждено оставаться униженным и несчастным до тех пор, покуда какая-нибудь другая хорошенькая девица не прельстит его и не повлечет опять к алтарю, и тогда он пустится во второе и, надобно надеяться, более успешное супружеское

плавание – и ежели будет обманут, то, по крайности, весело и счастливо; ей же предстоит одиночество и осуждение, которое никак не сулит второй весны ни ее надеждам, ни репутации.

Где теперь будет ее дом – об этом совещались с глубокой печалью и серьезностью. Тетушка Норрис, чья привязанность к племяннице после всего, что та совершила, казалось, стала еще крепче, хотела бы водворить ее под родительский кров, где все семейство будет ей поддержкою. Сэр Томас и слушать об этом не желал, и тетушка Норрис стала пуще прежнего гневаться на Фанни, полагая, что тому причиною ее присутствие. Только племянница мешает сэру Томасу согласиться с нею, утверждала тетушка Норрис, хотя сэр Томас торжественно заверял ее, что, не живи в его доме сия молодая особа, не живи тут никто из его молодой родни, будь то девица или юноша, кому было бы опасно общество миссис Рашуот или мог повредить ее нрав, он бы все равно никогда не нанес столь тяжкого оскорбления соседям, ожидая и от них какого-либо к ней внимания. Как дочь, и, он надеется, дочь раскаивающуюся, ему ее следует опекать и всячески ей помогать, и поддерживать, и поощрять ее попытки поступать как должно, – все это в той мере, в какой позволяет его и ее положение; но далее этого он не пойдет. Мария погубила свою репутацию, и он не станет понапрасну пытаться восстановить то, что восстановить невозможно, позволяя себе оправдывать ее испорченность, не станет и стараться уменьшить бесчестье, каким-либо образом способствуя тому, чтобы несчастье, которое постигло его, вошло и в какую-нибудь другую семью.

Кончилось тем, что тетушка Норрис порешила уехать из Мэнсфилда и посвятить себя своей злополучной Марии, и в далеком уединенном жилище, приобретенном для них в чужой стране, где они оказались почти без общества, при том, что одна не питала к другой любви, а той недоставало здравого смысла, легко представить, каким наказанием для обеих стал собственный их нрав.

Благодаря отъезду тетушки Норрис жизнь сэра Томаса стала много отраднее. С того дня, как он воротился с Антигуа, свояченица сильно упала в его глазах; при каждом совместном действии, ежедневном общении, деле, разговоре она с той поры вызывала у него все меньше уважения, и чем дальше, тем ясней ему становилось, что либо время сослужило ей плохую службу, либо он с самого начала изрядно переоценил ее здравый смысл и неведомо почему терпел ее обыкновения. Он стал видеть в ней неиссякаемый источник зла, тем более непереносного, что, казалось, ему не предвиделось конца; казалось, она часть его самого и придется ее терпеть до самой смерти. А потому избавление от нее было воистину блаженством, и, не оставь она по себе горьких воспоминаний, можно было опасаться, что он, пожалуй, станет одобрять само зло, которое способствовало такому благу.

В Мэнсфилде никто о ней не сожалел. Она никогда не умела привлечь к себе даже тех, кого более других любила, а с той поры, как миссис Рашуот сбежала от мужа, она постоянно так была раздражена, что всем доставляла одно мученье. Фанни и та не пролила по ней ни слезинки, даже когда она уехала навсегда.

Участь Джулии оказалась не столь безрадостной отчасти благодаря иной натуре и иным обстоятельствам, но всего более потому, что эта самая тетушка меньше ее любила, меньше хвалила, меньше и баловала. Ее красоте и талантам всегда отводилось второе место. Джулия и сама привыкла думать, что во всем несколько уступает Марии. Из них двух нрав у ней, естественно, был более легкий, а чувствами своими, хотя и пылкими, она лучше владела; и не в такой мере в ней воспитано было пагубное самомнение.

Она легче перенесла разочарование в Генри Крофорде. После того как прошла первая горечь от явного пренебреженья, которое он ей выказал, она довольно скоро вступила на

верный путь, решив более о нем не думать; и, когда в Лондоне знакомство возобновилось и Крофорд стал бывать в доме Рашуота, у ней хватило разума удалиться, именно в это время уехать к другим своим родным, чтобы не дать себе снова им увлечься. Вот отчего она переселилась к своим кузинам. Мистер Йейтс был тут совершенно ни при чем. Она иногда позволяла ему ухаживать за собою, но едва ли намеревалась одарить его подлинной благосклонностью; и если б сестра не повела себя таким неожиданным образом и саму ее по этой причине не объял страх перед отцом и домом, ибо она представила, что теперь с нею станут обходиться строже и уж не дадут никакой свободы, а потому спешно решила любой ценой избежать столь близких и грозных ужасов, – весьма вероятно, что Йейтс никогда бы не добился своего. Она сбежала всего лишь из страха за самое себя. Ей казалось, иного выхода у ней нет. Безрассудство Джулии вызвано было проступком Марии.

Генри Крофорд, которого погубила ранняя независимость и дурной домашний пример пожалуй, чересчур долго потворствовал причудам своего бессердечного тщеславия. Однажды, неожиданно и незаслуженно, оно открыло ему путь к счастью. Когда б он мог удовольствоваться победою над чувствами единственной прекрасной женщины, когда б нашел довольно причины для восторга в том, что преодолел нерасположение, приобрел уважение и приязнь Фанни Прайс, были бы все основания надеяться, что его ждет успех и блаженство. Его увлечение уже принесло какие-то плоды. Затронув его душу, оно уже позволило ему чуть затронуть и душу Фанни. Если б он заслужил большего, он большего и достиг бы; особенно же после того, как Эдмунд и Мэри вступили бы в брак, Фанни стала бы сознательно помогать ему преодолеть ее первую привязанность, и они чаще стали бы бывать вместе. Оставаясь он подлинно верен своему чувству, Фанни стала бы ему наградою, и наградою, которая была бы вручена ему весьма охотно, не слишком долго спустя после того, как Эдмунд женился бы на Мэри.

Поступи он, как намеревался и как, он сам понимал, поступить следовало, отправься он после возвращения из Портсмута в Эверингем, ему, должно быть, выпал бы счастливый жребий. Но его уговаривали остаться до приема, который устраивала миссис Фрейзер; его присутствия желали по причинам для него лестным, к тому же там предстояло встретить миссис Рашуот. Задеты были и любопытство и тщеславие, и для души, не привыкшей жертвовать чем бы то ни было ради добропорядочности, искушение получить немедленное удовольствие оказалось слишком велико; Крофорд решил отложить поездку в Норфолк, решил, что довольно будет и письма, а поехать не так и важно, и остался. Он увиделся с миссис Рашуот, был встречен ею с той холодностью, которая должна была бы его возмутить и навсегда породить между ними отчуждение; но Крофорд оскорбился, не мог он вынести, чтоб его оттолкнула женщина, которая еще не так давно неизменно отвечала улыбкою на каждый его взгляд; он должен непременно одолеть ее гордость и гнев, – ведь она сердится из-за Фанни, – надо переломить ее настроение, и пусть миссис Рашуот опять обращается с ним, как Мария Бертрам.

С такими намерениями он начал наступленье; и благодаря оживленной настойчивости вскоре восстановил своего рода дружеские отношения – любезные, легкие, которые не давали ему большой свободы, однако восторжествовали над сдержанностью, порожденной гневом, которая могла бы оберечь их обоих; завладел ее чувствами, а они оказались сильнее, чем он предполагал. Она любила его; не уклонялась от его ухаживаний, не скрывала, что они ей милы. Он попался в сети собственной суетности, и не было ему ни малейших извинений, потому что он не питал к ней любви, всеми помыслами он был с ее кузиной. Теперь всего важнее для него стало, чтобы Фанни и семья Бертрам не узнали о его отношениях с Марией. Для репутации миссис Рашуот тайна была не менее желанна, чем для его собственной.

Воротясь из Ричмонда, он был бы рад не видеться более с миссис Рашуот. Во всем последующем повинно ее неразумие; и в конце концов он скрылся с нею, потому что был к тому вынужден, но даже в ту минуту сожалел, что теряет Фанни, и еще горше сожалел, когда шум, вызванный этой связью, утих, и в первые же несколько месяцев разительное несходство между кузинами заставило его еще выше оценить кроткий нрав Фанни, чистоту ее души и возвышенность понятий.

Наказание, публичное наказание за бесчестье по справедливости приходится отчасти и на долю мужчины, но это, как мы знаем, не помогает обществу оградить добродетель. В нашем мире кара не всегда настолько соразмерна преступлению, как хотелось бы; но, не осмеливаясь надеяться на более справедливое возмездие в жизни будущей, мы вполне можем предположить, что человек здравомыслящий, каким был Генри Крофорд, испытывал немалую досаду и сожаленье, досаду, которая иной раз оборачивалась угрызениями совести, а сожаленье – горечью, оттого что так отблагодарил он за гостеприимство, разрушил мир и покой семьи, пожертвовал своим лучшим, самым достойным и дорогим сердцу знакомством и потерял ту, которую любил и умом и сердцем.

После того, что произошло и ранило и отдалило друг от друга семейства Бертрамов и Грантов, оставаться в таком близком соседстве им было бы весьма прискорбно; но последние отсутствовали несколько месяцев, намеренно откладывая возвращение, и разрешилось все счастливой необходимостью или по меньшей мере возможностью уехать навсегда. Доктор Грант, благодаря поддержке, на которую уже перестал надеяться, получил место каноника в Вестминстере, что дало ему случай покинуть Мэнсфилд, поселиться в Лондоне и получить большой доход, необходимый при возрастающих из-за такой перемены расходов, и очень устраивало и тех, кто уезжал, и тех, кто оставался.

Миссис Грант, словно созданная для того, чтобы любить и быть любимой, уехала, должно быть, сожалея о крае и людях, с которыми свыклась; но при ее счастливой натуре она в любом месте и в любом обществе найдет чему радоваться, и к тому же теперь она опять могла предложить Мэри крышу над головой; а Мэри за последние полгода уже пресытилась друзьями, пресытилась и тщеславием, и честолюбием, и любовью, и разочарованием, и потому нуждалась в истинной доброте сестры, в ее неизменном благоразумии и спокойствии. Мэри поселилась у нее; и когда из-за трех на протяжении одной недели обедов по случаю введения в сан с доктором Грантом случился апоплексический удар и он скончался, они не разлучились; Мэри твердо решила никогда более не связывать свою жизнь с младшим братом, однако среди блестящих молодых людей и праздных прямых наследников, готовых к услугам ее красоты и двадцати тысяч фунтов, она долго не могла сыскать ни одного, который отвечал бы ее утончившемуся в Мансфилде вкусу, ни одного, чья натура и поведение вселяли бы надежду на домашнее счастье, которое она научилась там ценить, или способны были вытеснить у ней из сердца Эдмунда Бертрама.

Эдмунд в этом отношении оказался несравнимо счастливее. Ему не надобно было ждать и искать кого-то, кто был бы достоин занять освободившееся в его сердце место Мэри Крофорд. Едва он перестал сожалеть об утрате Мэри и объяснять Фанни, что никогда он более не встретит другую такую девушку, ему пришло на мысль, а не подойдет ли ему девушка совсем иного склада... не будет ли это много лучше; не стала ли Фанни, со всеми ее улыбками, всеми обыкновениями, так дорога ему и так необходима, как никогда не была Мэри Крофорд; и нельзя ли, нет ли надежды уговорить ее, что сестринское тепло, с каким она относится к нему, послужит достаточным основанием для супружеской любви.

Я намеренно воздерживаюсь называть в этом случае сроки, пусть каждый будет волен назначить их сам, сознавая, что непросто излечиться от неодолимой страсти и перенести

свою неизменную любовь на другого, на это разным людям потребно отнюдь не одинаковое время. Я единственно прошу каждого поверить, что в точности тогда, когда это стало естественно для Эдмунда, и ни одной неделей ранее, он потерял интерес к мисс Крофорд и так загорелся желанием жениться на Фанни, как только она сама того желала.

При том, как относился к ней Эдмунд с давних пор, какой нежностью отзывался на ее невинность и трогательную беспомощность и все более ценил ее растущие достоинства, что могло быть естественней такой перемены? Он по-братски любил ее, направлял, защищал с первых же дней, когда десяти лет от роду она появилась у них в доме, душа ее прежде всего воспитывалась его попечением, его доброта оберегала ее покой, на нее неизменно было направлено его пристальное и совсем особое внимание, и от сознания, что он занимает в ее жизни такое важное место, она была ему дороже всех в Мэнсфилде, – остается лишь прибавить, что ему предстояло научиться предпочитать мягкое сиянье светлых глаз блеску глаз темных. И при том, что он постоянно был с нею рядом и доверительно с нею беседовал, а чувствам его, как это всегда бывает, благоприятствовало недавнее разочарование, мягкому сиянью светлых глаз не потребовалось много времени, чтоб затмить все остальное.

Однажды ступив на сей путь к счастью и ощутив, что шаг сделан, Эдмунд не видел в этом ничего неблагоприятного, ничего, что могло бы его остановить или замедлить движение по этому пути; ни сомнений, достойна ли его Фанни, ни опасений, что у них противоположные вкусы, ни нужды отказываться от привычного представления о счастье из-за несходства нрава. Не таковы были душа Фанни, ее натура, ее мнения и привычки, чтобы их требовалось хотя отчасти утаивать или обольщаться ими в настоящем, надеясь, что в дальнейшем они станут совершенствоваться. Даже в разгар своей последней влюбленности он признавал Фаннино умственное превосходство. Как же должен он был ценить ее ум теперь? Конечно, она слишком хороша для него; но ведь каждый не прочь владеть тем, что слишком для него хорошо, и Эдмунд решительно и настойчиво стремился к этому благу, и едва ли возможно, чтоб ему пришлось долго ждать награды. Хотя была Фанни робка, полна волнения и сомнений, но так его любила, что не могла иной раз не подать ему твердую надежду на успех; однако лишь много позже поведала она ему всю дивную и удивительную правду. Когда он узнал, что так давно любим, что давно отдано ему такое сердце, счастье его было безгранично, и, высказывая его и себе и ей, он был вправе облечь свои чувства в слова самые выразительные; дивное, должно быть, то было счастье! Но счастлива была и другая душа, и того счастья словами не передашь. Пусть никто не воображает, будто способен описать чувства девушки, получившей заверения в любви, на которую она едва ли осмеливалась надеяться.

После того, как обоим стали известны их чувства друг к другу, их не ждали никакие затруднения, никакие преграды из-за бедности или несогласия родителей. Этого союза сэр Томас желал еще до того, как ему стали известны их намерения. Пресытись отношениями, основанными на честолюбивом и денежном интересе, он все более ценил безупречность жизненных правил и чистоту натуры и, превыше всего стремясь соединить крепчайшими узами все, что осталось ему от домашнего благоденствия, с искренним удовлетворением размышлял, что, весьма вероятно, два молодых сердца, связанные многолетней дружбой, станут друг для друга утешением в постигшем каждого из них разочарованье; и довольство, оттого что сбудется его надежда обрести в Фанни дочь, и радостное согласие, каким он ответил на почтительную просьбу Эдмунда, и счастливая уверенность, что, получая Фанни в дочери, он приобретает подлинное сокровище, разительно не походили на его первоначальное об этом мнение, когда впервые обсуждался приезд бедной девочки в Мэнсфилд; так само время делает неизбежным разительное несходство между планами и

последующими решениями смертных – ради их собственного просвещения и развлечения ближних.

Фанни была как раз такой дочерью, какую он для себя желал. Своим милосердием и добротой он воспитал для себя первейшую свою отраду. Щедрость его была с лихвой вознаграждена, и его великодушные намерения в отношении ее того вполне заслуживали. Он мог бы сделать ее детство счастливей; но, неверно рассудив, держался с неизменной суровостью, и тем лишил себя в ранние годы ее любви; теперь же, когда они подлинно узнали друг друга, их взаимная привязанность необыкновенно укрепилась. Поселив Фанни в Торнтон Лейси и с неизменною добротой заботясь, чтобы ей там было уютно, сэр Томас почти всякий день стремился увидеть ее либо там, либо в Мэнсфилд-парке.

Леди Бертрам, которая долгие годы дорожила племянницей больше из себялюбия, не имела охоты расставаться с Фанни. Не настолько заботило ее счастье сына или счастье племянницы, чтобы желать этого брака. Но все же ей возможно стало расстаться с Фанни оттого, что ее место заняла Сьюзен. Новая племянница надолго – и с какой радостью – поселилась в Мэнсфилде и благодаря живости ума и готовности быть полезной освоилась с этим так же легко, как в свое время Фанни благодаря милому нраву и глубокому чувству благодарности. Без Сьюзен никак нельзя было обойтись. Поначалу как утешение для Фанни, потом как ее помощника и под конец замена, она обосновалась в Мэнсфилде по всем признакам так же прочно. Ей, не столь пугливой по натуре и не столь ранимой, все там давалось легко. Мгновенно понимая характер каждого, с кем ей приходилось иметь дело, и не отличаясь от природы робостью, которая мешала бы исполнить любую порожденную им прихоть, она вскорости стала приятна и необходима всем и после отъезда Фанни так естественно сумела поддерживать ежечасный тетушкин покой, что леди Бертрам постепенно привязалась к ней, пожалуй, даже сильнее, чем к Фанни. В благотворном присутствии Сьюзен, в совершенстве Фанни, в неизменно безупречном поведении и растущей славе Уильяма, в добром здоровье и благополучии всех прочих членов семейства Прайс, которые помогали друг другу преуспевать и делали честь покровительству и помощи сэра Томаса, он опять и опять находил причину радоваться тому, что сделал для них всех, и признавать, сколь полезны в юности лишения и необходимость себя ограничивать, а также сознание, что ты рожден для того, чтобы бороться и терпеть.

При стольких подлинных достоинствах и подлинной любви, не зная недостатка ни в средствах, ни в друзьях, кузен и кузина, вступившие в брак, обрели ту защиту, надежней которой не может дать земное счастье. Оба они равно созданы были для семейных радостей, привязаны к сельским удовольствиям, и дом их стал средоточием любви и покоя; а чтоб дорисовать сию прекрасную картину, надобно прибавить, что как раз тогда, когда, прожив вместе уже довольно времени, они стали желать большего дохода и испытывать неудобства из-за того, что так отдалены от родительского жилища, смерть доктора Гранта сделала их обладателями Мэнсфилдского прихода.

После этого события они переселились в Мэнсфилд, и тамошний пасторат, к которому при двух его последних владельцах Фанни всегда приближалась с мучительным стеснением чувств либо с тревогою, скоро стал так дорог ее сердцу и так на ее взгляд прекрасен, как было с давних пор все окрест, все, что находилось под покровительством Мэнсфилд-парка.